

S - 15.00

Н О В Ы Й
М И Р

12

Н О В Ы Й
М И Р

1965

12



1965

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL1

№ 12

Декабрь, 1965 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР НЕКРАСОВ — 1. За двенадцать тысяч километров (Из камчатских записей); 2. Случай на Мамазовом кургане, рассказ	3
А. МЕЖИРОВ — Из лирики, стихи	55
В. КОРНИЛОВ — Дочке, стихотворение	57
В. КЛИМУШКИН — Два рассказа	58
АННА МАСС — Любкина свадьба, рассказ	79
РОБЕРТ ФРОСТ — Два стихотворения. Перевел с английского Андрей Сергеев	90
В. СУХОМЛИН — Гитлеровцы в Париже. Окончание	96
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. БИБИК — Духом окрепнем в борьбе...	139
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГЕННАДИЙ ФИШ — У писателей Швеции	153
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. БИРМАН — Мысли после Пленума	194
В МИРЕ НАУКИ	
НОРБЕРТ ВИНЕР — Творец и робот. Перевели с английского М. Аронэ и Р. Фессенко	214
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — О мужестве и сострадании	226
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литературы и искусства</i>	236
А. Бочаров. С верой в человека — Е. Гинзбург. Живое сердце. — Лев Ротшаль. «Дело ясное, что дело темное». — Вл. Огнев. Жизнь поэта. — А. Анастасьев. Правда театра и правда о театре.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	250
И. Миндлин. Атеистическое наследие А. В. Луначарского.— А. Липелис. Книга публициста.— Т. Гнедина. От безумной идеи — к здравому смыслу.— Б. Кафенгауз. Интересные страницы истории.	
АЛ. СУРКОВ — Большими дорогами жизни (К пятидесятилетию Константина Симонова)	259
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. БЫКОВ — Джек Лондон и первая русская революция	262
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	266
КОРОТКО О КНИГАХ	274
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	280
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1965 ГОД	282

Виктор НЕКРАСОВ

★

1. ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

(Из камчатских записей)

Воспоминания о Внукове

Эта печальная история вспомнилась мне в самолете ЛИ-2 по пути из Козыревска в Петропавловск-на-Камчатке. Я сидел в пилотской кабине, смотрел на быстро приближавшуюся и поблескивавшую уже вдали Авачинскую губу, о которой говорят, что в ней может поместиться весь флот мира, и предвкушал сегодняшний вечер — мы условились с экипажем встретиться в девять часов в ресторане «Океан».

С ребятами из экипажа — Женей Федуловым и Леней Риконвальдом (бывает же такая фамилия у истинно русского человека) — мы познакомились недели две тому назад, когда они вели свой арендованный тогда рыбопромысловый самолет из Петропавловска на север, вдоль восточного побережья Камчатки. Хозяином самолета был Миша Несин — знаменитый летнаб, великий мастер поиска с воздуха косяков рыбы. Мы — я и мои друзья — были гостями Несина. Он показывал нам Камчатку с воздуха. Это было первое знакомство с ней. Часов в шесть вечера мы приземлились для ночевки, а на следующий день облетали еще Олюторский залив. Рыбы Миша так и не нашел — в этом году она что-то задержалась. Он как-то сразу загрустил, мы почему-то тоже и поэтому, увидев с воздуха идущий на юг теплоход «Николаевск», решили на нем отправиться в Усть-Камчатск — Миша должен был еще обследовать западное побережье, Охотское море. Мы расстались. С Мишей обнялись, обменялись адресами, а с ребятами из экипажа просто попрощались — оба дня и Федулов и Риконвальд (я тогда еще не знал их фамилий) держались как-то очень скромно, обособленно, то ли стеснялись нас, «гостей из Москвы», то ли не желали выпячивать свою дружбу с Мишей Несиным, камчатской знаменитостью.

И вот через две недели мы совершенно случайно встретились на Козыревском аэродроме, в тесном, душном буфете, где ничего не было, кроме теплой воды, слипшихся конфет и нежно-розового лосося — чавычи, на которую здесь никто не смотрел, а в Москве, появившись она только, к прилавку и не пробьешься. Увидев Женю Федулова — он первый вошел в буфет, — я бросился к нему, как будто мы с ним всю жизнь дружили и не виделись много лет. Он тоже обрадовался, долго тряс мне руку. Потом так же долго трясли мы друг другу руки с Леней Риконвальдом. Оба они вели пассажирский самолет из Петропавловска в Ключи.

— А вы куда?

— Мы, наоборот, в Петропавловск. Сидим вот и ждем самолета.

— Через полчаса будет, он уже вылетел из Питера.

— Жаль...

— Что жаль?

— Жаль, что не с вами.

Ребята переглянулись.

— Поднажмем?

— Поднажмем...

И действительно поднажали. Самолет их вернулся из Ключей минут через десять после того, как на Козыревском аэродроме приземлился петропавловский самолет. Билеты у нас были на петропавловский, но Женя одной своей улыбкой белобрысого, обаятельного рязанского парня обезоружил аэропортовскую девицу, и та, малость поворчав, переписала ведомость и номер рейса на наши билетах.

До Петропавловска лету час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться. Я сидел в пилотской кабине на каком-то ящике, напротив — Женя в своих наушниках, с никогда не сходящей с лица улыбкой, Леня же — спокойный и тихий — вел самолет, изредка поворачиваясь к нам и бросая две-три фразы.

И вот, сидя на своем ящике, — мы подлетали уже к Петропавловску и Женя включился в свою рацию — я невольно вспомнил одну малозначительную историю, которая в свое время очень расстроила меня.

Было это жарким московским летом во Внукове, в аэропорту. Я летел из Москвы в Киев. Летел я один, никто меня не провожал, к тому же от спешки я перепутал автобусы и приехал на полчаса раньше, чем нужно. Чтоб убить время, зашел в ресторан. Пристроился к столику, где сидел мальчишка лет пяти, сосавший через соломинку ядовито-красную жидкость. Делал он это очень сосредоточенно и на меня не обратил никакого внимания. Потом появился его папа — красный и потный от жары лейтенант в расстегнутом кителе.

— А ну их всех в баню... Пользуйтесь авиатранспортом — быстро, выгодно, удобно...

Ему нужно срочно отвезти ребенка в Киев. Мать там у больной бабушки, ему самому завтра с утра вылетать в Новосибирск, соседи по квартире на даче, а в кассе ни одного билета.

— Куда я его дену? Куда, спрашивается?

Лейтенант был молод, лет двадцати с небольшим, и, судя по всему, не научился еще житейской премудрости. Мне стало его жаль.

— Давайте я пацана доставлю.

— Что вы... этот герой только при папе герой.

— Ладно! — сказал тогда я. — Улетите. Берусь.

Я не сомневался. Выйдем на поле, поговорим с летчиками — и все будет в порядке. Летчики такой народ... Я развил даже теорию, вскормленную, очевидно, неореалистическими фильмами, что в сложную минуту люди склонны помогать друг другу, а фронтовики в особенности, с первого взгляда узнают один другого, и вот тут-то...

Короче, полный веры в человека, я вышел на летное поле. Киевский ТУ стоял совсем рядом, шагах в ста. В него грузили ящики. В тени крыла покуривали летчики. Мне они сразу понравились — молодые ребята с симпатичными физиономиями, улыбающиеся, веселые.

Я подошел к ним и объяснил всю сложность ситуации.

«Ну, конечно, о чем тут говорить! Потеснимся и доведем. Раз надо — значит доведем!» — так, считал я, должны были ответить летчики — веселые, улыбающиеся, с симпатичными физиономиями. Но ответили они совсем не так. Они просто сказали, что не имеют права, а если

моему знакомому действительно так уж нужно лететь в Киев, то вот идет командир корабля, может, он разрешит. И опять заговорили о своем.

Командир корабля оказался человеком немолодым, с лицом аса и грудью, на которой в годы войны красовались, безусловно, не один и не два ордена. С этим-то мы уже договоримся. То — все неоперившаяся молодежь, юнцы, а это фронтовик, прожженный вояка.

Прожженный вояка внимательно выслушал меня, глядя куда-то в сторону, потом печально развел руками:

— Рад бы, да не имею права.

— Да, но...

— Повторяю: рад бы, но не имею права. Обратитесь к начальнику перевозок.

Я пошел к начальнику перевозок. Убеждал я его так искренно, так доказательно, что, будь я на месте этого рыхлого, грузного, с потным, красным лицом начальника перевозок, я тут же выделил бы в наше распоряжение специальный самолет, ну — АН-2, допустим.

Нет, он этого не сделал. Он даже не посмотрел на меня; говорил по телефону, перебирал бумаги, потом, зажав на секунду нижнюю часть трубки, сказал: «На сегодня ни на один рейс нет», и продолжал говорить по телефону, предоставляя самолет не нам, а какой-то группе американских туристов, летящих через Киев и Одессу.

Я почувствовал, как во мне что-то закипает. Вот сидит человек, на груди у него два ряда планок — значит, тоже воевал, сидит и не смотрит на меня и наплевать ему сейчас на все, кроме этих проклятых интуристов. А я-то думал, что фронтовики понимают друг друга с полуслова, что летчики такой народ...

— Плюньте! — сказал лейтенант. — Опоздаете еще. А мы на вокзал подем. Ну их, этих парней всего мира...

Наш самолет уже вырুলивал на взлетную дорожку.

— Черта с два!

Я бросился к носильщику.

Через три минуты за дополнительную пятерку лейтенант имел билет на рейс 324-й, вылет в 13.15. Мне, как опоздавшему, рейс тоже заменили.

...Когда наш ЛИ-2 стал заходить на посадку, Женя виновато улыбнулся:

— А теперь пройдите в салон, а то нам взбучка будет. С пилотами посторонним запрещено, строго-настрого запрещено.

Несколько дней спустя, когда мы отмечали день рождения Миши Несина, все трое — и Миша, и Лсняя, и Женя — убеждали меня, что московские летчики были правы, что за провоз безбилетного пассажира им могло крепко нагореть, а лейтенант через час-другой достал бы билет, всегда какая-нибудь невостребованная броня остается, — короче, они меня убедили.

И все же до сегодняшнего дня мне грустно, когда я вспоминаю эту историю. Рассеялась какая-то иллюзия...

Тихоокеанский Чайльд-Гарольд

В тот вечер мы так и не попали в «Океан». Через три часа после прилета в Петропавловск я уже «выходил» на СКР — сторожевом корабле — на Командорские острова.

Связь с Командорами — здесь они называются только так — очень проста. Два раза в месяц туда заходит судно, завозит продукты,

газеты, почту. Кроме того, более или менее регулярно летают самолеты. Нам, мне и еще трем корреспондентам, была предоставлена возможность отправиться туда на военном корабле. Вместе с нами ехал и организатор этой поездки — Леонид Тимофеевич, секретарь обкома.

Поместили меня в каюте старпома, который был сейчас в отпуску. По вечерам, лежа на койке и поглядывая на полку с книгами, где стояли всякие лоции и графики приливов и отливов, я чувствовал себя если не старпомом, то во всяком случае человеком, к морским делам причастным.

На военном корабле я был впервые. Да и корабль, вероятно, не так часто принимал у себя сразу трех корреспондентов, писателя и секретаря обкома. Все это невольно накладывало и на тех и на других определенный отпечаток. На меня во всяком случае.

Помню, как меня сместили в Сталинграде столичные корреспонденты, когда они появились там в довольно большом количестве в самые последние дни боев. Особенно забавен был один, не помню уже из какой газеты. Маленький, незавидный, суетливый, он ужасно хотел походить на бывалого солдата. Ушанка у него была смята под кубанку, как у заправского старшины, на пистолете болталась цепочка немецкого шомпола, махорку курил из оранжевой круглой немецкой коробки, говорил «передок» вместо «передовая», бойцов окликал: «Эй, славянин!» (тогда это как раз входило в моду), а на ордене Красной Звезды, который красовался у него на груди, эмаль в одном уголке была отбита — высший фронтовой шик. Эффект получился как раз обратный: солдаты над ним подтрунивали и уважением он не пользовался никаким, во всяком случае куда меньшим, чем Василий Семенович Гроссман, который приезжал в самый разгар боев и, несмотря на свои очки и интеллигентный вид, сразу расположил к себе бойцов.

Само собой понятно, что, попав на корабль, я больше всего боялся походить на этого корреспондента. Но и «сухопутной крысой» тоже не хотелось прослыть. Надо было достаточно быстро и ловко взбираться и спускаться по крутым трапам, не хвататься за переборки во время качки, без посторонней помощи садиться в шлюпку, а главное, упаси бог, нельзя было «травить», то есть реагировать на качку и всякую там мертвую зыбь, как положено нормальной «сухопутной крысе». С этим последним я с честью справился и очень этим был горд.

На корабле мы пробыли десять дней. Дошли до Командоров, там покрейсировали между островами Беринга и Медным, и вернулись в Петропавловск.

За десять дней мы как-то привыкли друг к другу — экипаж к нам, мы к нему. У матросов шла своя жизнь, «служба», у нас — своя, несколько менее утомительная. Жизни эти не очень пересекались. Но когда пересекались, я с удовольствием смотрел на этих крепких ребят в робах и синих беретах. Все как-то у них спорилось, делалось легко, быстро, без всякого напряжения и, главное, весело — будь то боевая тревога или высадка на берег, приемка воды или возложение венка на могилу Беринга.

Этой последней акции Леонид Тимофеевич и замполит корабля придавали особое воспитательное значение. Сама могила — холмик и железный крест, поставленный уже при советской власти, — находится в пустынной части острова, на высоком берегу, в стороне от морских путей, надзора за ней нет, поэтому некоторая запущенность ее была понятна. Замполит и Леонид Тимофеевич с азартом взялись за работу. С раннего утра с группой матросов отправились они на берег, выкрасили крест, сплели громадный веночек из удивительно красивого, нежного, белого цветка, который растет только здесь, на Командорах (к сожа-

лению, у него очень некрасивое название — «кашкара», что повергло в уныние наших корреспондентов: «Ну, как напишешь — возложили венок из кашкары?..»), а на красной ленте корабельный художник очень красиво вывел подобающую надпись. Потом матросы, одетые в парадную форму, по очереди становились в почетный караул с автоматами на груди, и так приятно было на них смотреть — красивых, подтянутых, — и все по очереди с ними снимались: и замполит, и Леонид Тимофеевич, и корреспонденты, и я, грешным делом.

Одним словом, церемония удалась на славу: крест был выкрашен, венок возложен — все честь честью. Жалели только потом, особенно замполит и Леонид Тимофеевич, что не дали салюта — получилось бы еще торжественнее.

Тише и незаметнее всех на этой церемонии был командир корабля. — Слишком он у нас скромный, наш командир, — говорил мне потом бойкий и активный замполит со значком академии Ленина на груди. — Нет в нем рвения. Помните, когда венок возлагали — все снимаются, а он в сторонке стоит, мнется...

Это правда. Единственный из всех, кто не рвался под глаз объектива, был командир корабля. И вообще держался он на корабле как-то скромнее всех. Придет во время завтрака или обеда в кают-компанию, сядет на свое командирское место во главе стола, засунет руки в рукава кителя и молча поглядывает на всех, слегка улыбаясь. Юра Муравин, фотокорреспондент, «точит баланду», смешит всех — он великий мастер по этой части, — Леонид Тимофеевич тоже не прочь поговорить, вспомнить комсомольские годы или как он устанавливал советскую власть на Курильских островах, а Геннадий Павлович, командир, сидит себе и помалкивает, уху хлебает.

Замполит, тот куда живее — он и в машинное отделение нас водил, и на капитанский мостик, и как определять местонахождение корабля на карте показывал, и в первый же день продемонстрировал роскошный альбом «История корабля», правда еще не законченный, но обещающий быть очень интересным и содержательным. Как выяснилось потом, на корабле замполит совсем недавно — прямо из академии. Но за этот короткий срок, как он сам сказал, корабль с шестого места по боевой и политической подготовке перешел на второе.

Каким корабль был раньше, мне трудно было судить, но сейчас на него и на его команду приятно было смотреть. Я не слышал ни одного окрика — все шло ровно и гладко. Даже слишком гладко. Океан и тот был спокойный, как озеро. Хоть бы шторм поднялся, все же веселее было бы. Но шторма не было, только в последний день нагнало шесть баллов, и, откровенно говоря, веселее от этого не стало — уха расплескивалась на скатерть, ложка не попадала в рот, стаканы вырывались из рук и убегали на противоположный конец стола. Только Геннадий Павлович по-прежнему сидел на своем командирском месте, засунув руки в рукава, и, смеиваясь, поглядывал на нас.

Не знаю, насколько это лестно для морского волка, тихоокеанского притом, но своим присутствием он сразу придавал какой-то уют и покой кают-компания. Не хотелось уходить. Было приятно сидеть за этим длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, разглядывать горящие турецкие корабли на картине «Синопский бой», висящей над столом, следить за ловкими движениями вестового Федорова, бойкого малого, четыре раза в день открывавшего дверь нашей каюты и весело сообщавшего: «Всем наверх, форма одежды парадная, уха уже остыла...»

Я сидел, помешивая ложечкой пятый стакан чая с лимоном, слушал одним ухом Юру Муравина и все поглядывал на Геннадия Павловича.

Почему он так молчалив? Почему не рассказывает всяких историй? Самый раз блеснуть перед корреспондентами. Я уже начал создавать в уме историю о некоем современном Чайльд-Гарольде, о развенчанном и пониженном в должности за дерзкий поступок молодом офицере, о неудавшейся семейной жизни, о сложной и противоречивой судьбе. Хотелось спросить о командире кого-нибудь из офицеров или матросов. но как-то не получилось, не подвернулся случай, да и вообще спрашивать подчиненных о командире вряд ли стоит.

Так и не разгадал я нашего Геннадия Павловича до самого конца плавания. Даже познакомиться толком за эти десять дней не успел. Была у меня, признаться, мыслишка сбежать на острове Беринга в продмаг, но, подумав трезво, я до продмага не дошел, а свернул на почту — так лучше будет, подумал.

В воскресенье, 21 июня, мы пришвартовались в Петропавловске. На прощанье я сфотографировал нашего бойкого Федорова на фоне моря — пришлось сделать три кадра, так как ветер все время трепал его гюйс — матросский воротник, а этого он допустить не мог, — замполит преподнес мне в презент фотокарточку, где мы сняты с ним вдвоем у подножья утесов острова Медного, экипажу же от нашего имени Леонид Тимофеевич пожелал больших успехов в боевой и политической подготовке и счастья в личной жизни. Геннадия Павловича, прощаясь, я в шуточной форме поблагодарил за хорошую службу, он тоже что-то сказал подобающее моменту. Возможно, даже выразил надежду, что мы когда-нибудь встретимся. На этом и расстались.

В тот же вечер наш «корреспондентский корпус» по всем правилам сошедших на берег моряков собрался в «Океане», в том самом, в который не удалось мне попасть с летчиками.

Пришли, вошли в зал и вдруг видим — сидит за одним из столиков наш командир корабля, наш Геннадий Павлович. Я его сразу даже не признал — белая шелковая рубашечка, светлые брюки, ворот раскрыт. Он не был пьян, нет, просто весел и рад встрече. Мы тоже обрадовались.

— Садись к нам, товарищ командир!

— Да бросьте вы, какой я для вас сейчас командир.

Весь вечер мы были вместе. Нам нечего было особенно вспоминать, но мы вспоминали. Вспоминали, как кто-то «травил», как кто-то, прыгая с лодки, упал в воду, как цеплялся я за стол и еле держался на ногах из-за качки, выступая перед экипажем.

Я сидел, смотрел на нашего Геннадия — он был веселее обычного, но в той же обычной для него приятно-сдержанной манере, — смотрел и думал: а ведь никакой он не Чайльд-Гарольд, и ничего загадочного в нем нет, и никаких сверхдерзких поступков он не совершал — просто он очень естественный человек и ничего из себя не строит. И, может, именно поэтому так спокойно и ровно течет жизнь у него на корабле. А как это важно в армии — быть начальником, но не лезть из кожи, чтоб доказывать это на каждом шагу. Быть начальником и в то же время самим собой. Это нелегко, но зато как любят и уважают таких командиров солдаты.

Где-то к концу вечера я не выдержал и сказал Геннадию:

— Обидно все-таки. На десятый день только познакомились. Ноф знает, когда теперь встретимся.

— Обидно, — согласился он. — Очень даже...

— А кто виноват? Ты виноват. Мы все-таки гости, а хозяин ты. И не только хозяин, а и командир. Приказал — и все, нам только подчиниться...

Он вдруг сразу как-то протрезвел.

— Елки-палки! Да при чем тут я? У меня ведь все готово было, все припасено. Сигнала только ждал. Потом понял: вы все-таки при секретаре обкома, а он лепяющий, язвенник... Так и стоит все у меня в каюте.

— Ну, знаешь ли, после этого...

После этого нам ничего не оставалось, как разлить остатки водки и выпить за Леонида Тимофеевича, за то, чтобы у него скорее зарубцевалась язва.

Отшельник

Самая замечательная река на земле — это, конечно, река Камчатка. И не потому, что она самая большая, или глубокая, или широкая, или красивая (хотя действительно очень красивая), а совершенно по другим причинам. Это единственная в мире река (ни я, ни она не обидимся, если нас и опровергнут), плывя по которой мы переносимся из одного времени года в другое. Именно так.

В Усть-Камчатске на хилых его деревцах чуть-чуть намечались крохотные почечки, местами лежал еще снег (за день до этого наш «Николаевск» три часа не мог принять пассажиров в Анапке, их на плашкоуте затерло льдами), вечером мы уже вдыхали не слишком сильный аромат (на Камчатке цветы вообще слабо пахнут) бурно цветущего жасмина, а еще через два дня нас беспощадно жрали комары в тайге.

Географически это объясняется просто — на побережье Камчатки климат морской, а в средней ее части, отгороженной со всех сторон горами, резко континентальный. Прилетая на самолете, допустим, из Ялты в Москву в декабре или январе, тоже невольно поражаешься — там розы, а тут снег; но то самолет, чудо техники, а на реке Камчатке весна распускается буквально у тебя на глазах, почти как в кино, когда замедленной съемкой снимают распускающийся бутон.

Берега сначала плоские, голые, безрадостные, как и сам Усть-Камчатск — поселок не слишком красивый, — потом постепенно повышаются, сближаются и превращаются в так называемые «щеки» — сначала холмы, густо поросшие мхом, затем горы с не растаявшим на вершинах снегом. А внизу уже зелено, каменная береза вся уже в сережках, и мы, сняв куртки, остаемся только в свитерах. Затем «щеки» раздвигаются, сжатая ими река растекается сотнями рукавов, мы снимаем свитера и, распластавшись на носу моторки, молча глазеем на появившийся впереди мираж — в воздухе парит белоснежный конус Ключевской сопки. Становится жарко. В Ключах мы уже задыхаемся от пыли.

Дальше за Ключами появляется лиственница, а за Козыревском — густые заросли тальника. Река сужается, мы идем по каким-то рукавам, протокам, похожим на гроты, ветви подмытых водой деревьев хлещут нас по головам, по голым спинам — мы уже в трусах, мы загораем...

Теперь мне совершенно ясно, что такое настоящий отдых. Это когда все выключается. А все выключается тогда, когда ты лежишь на животе на носу лодки и ни о чем не думаешь, смотришь на воду, на проплывающие бревна, на берега, на чаек (они тут тоже есть, а вот ласточек нет), а водомет, который доставит нас в глубь Камчатки, монотонно журчит, стрекочет, и спину припекает и обвеивает ветерком, и клонит ко сну, и просыпаешься ты оттого, что хлестнула тебя по спине склонившаяся лоза. И ты переворачиваешься на спину и смотришь в небо.

Думал ли я когда-нибудь, что на Камчатке есть такая замечательная река? Лосось, тот давно уже знает — каждый год приходит сюда

нереститься. Чем она его так прельстила? Карася, того силком сюда завезли, набили битком все озера и пруды, а потом вялят его. Ели вы когда-нибудь вяленого карася? Пища богов. В первый и пока в последний раз в жизни ел я вяленых карасей у старика рыбака по фамилии Быков неподалеку от села Комаки. Потом, как мне кажется, именно их я видел развешанными на кустах у дяди Вани, но там я на них только смотрел, попробовать не удалось...

Вот и подобрался я к дяде Ване. Личность эта примечательная, и в среднем течении реки Камчатки знают его все. Рассказал нам о нем Николай Николаевич — личность тоже примечательная, но по другой части, о которой говорить не будем.

— Самое интересное здесь, в Ключах, это, — сказал он, — конечно, вулканы. Потом — дядя Ваня, потом — рыба. Впрочем, второе и третье легко совмещается. Если интересуетесь, могу помочь.

Мы заинтересовались, и Николай Николаевич помог — дал машину.

Дядя Ваня — отшельник. Лет ему много — что-то под восемьдесят. Живет совсем один, с котом, километрах в тридцати от Ключей. Маленькая деревянная хибарка на берегу озера, вернее, двух озер или, скорее, заливов, образуемых бесчисленными рукавами Камчатки. Кругом белым-бело от жасмина. На ветвях сушится рыба. На земле не доеденные котом рыбы головы и хвосты. В озерах и протоках — утки. Если сесть в лодку и немного проехать — открывается сопка Ключевская. Она похожа на Фудзияму, классической вулканьей формы, и сейчас вокруг ее кратера — кольцо дыма, как вокруг Сатурна. Она вместе с кольцом стражается в недвижной поверхности озера, и не сфотографировать ее невозможно.

Дорога к дяде Ване идет по лесу — лиственница и тополь, только не наш украинский, а кряжистый, с кроной, как у сосны. Местами лес выжжен и засыпан вулканическим пеплом — все серо и мертво, потом опять становится зеленым, живым, густым, с буреломом. Кое-где вместо дороги — русло речки, но наш грузовичок идет по ней, как по шоссе.

Дядя Ваня копошится возле своей хибарки. У него всклокоченная седая борода, такие же волосы и веселые хитрые глаза. Говорят, что он был когда-то богачом, не поладил чего-то с людьми и ушел от них. На Камчатке уже лет тридцать. Приехал из Сибири.

Принял он нас приветливо. Дал лодочки: «Поезжайте, постреляйте уток». Стрелять мы стреляли, уток не убили, поэтому ограничились традиционной на Камчатке ухой.

— Ну как, дедушка, живете здесь?

— Да ничего, помаленьку.

— Не скучаете?

— Нет, привык.

— А без людей не скучно?

— А я без людей не бываю. Заглядывают, не забывают...

Кроме нас, в этот день заглянули еще пятеро геологов, половили рыбку (поэтому-то у нас и была уха) и ушли себе потихоньку.

— А в Ключах бываете?

— А зачем они мне, ваши Ключи? Рыба есть, хлеб, соль люди добрые принесут, водочкой вот вы угостили... А в Ключах что? Шум, гам, всякие там рестораны, машины, пыль только поднимают...

Мы невольно рассмеялись.

Когда я летел из Москвы на Камчатку, все, за исключением разве что кассирши в Аэрофлоте, только диву давались.

— В такую даль? Ну и ну... Сколько ж туда добираться?

- Говорят, пятнадцать часов.
- Самолетом, что ли? На ТУ?
- На ТУ.
- Так там, значит, и посадочные площадки есть?
- Очевидно, есть, раз летает.

Пролетая над Камчаткой и глядя вниз на голые деревья и рыжую тундру с не растаявшим местами снегом (на всем пути из Москвы было жарко) и особенно на следующий день, когда снег повалил, как в январе — а было 24 мая,— и крыши домов покрылись белыми подушками, как на старых рождественских открытках, я невольно согласился с москвичами — ну и ну, занесло же меня... В тот день Петропавловск не покорил меня. Потом уже, в Корфе, Усть-Камчатске, в тех же Ключах, Петропавловск рисовался мне как некое Рио-де-Жанейро — портовый город, развлечения, кино, шик-блеск... А вот для дяди Вани таким Рио-де-Жанейро, центром городской цивилизации и распушенности, были Ключи — пыльные Ключи с единственным рестораном, где директор совмещает свою должность с обязанностями блюстителя порядка.

Мы сидели возле костра, подбрасывали сучки и веточки и слушали чуть-чуть захмелевшего старика. Он говорил об охоте, о рыбе, о каком-то полковнике, который часто сюда приезжал и с которым они все ночи напролет о чем-то там судили-рядили, потом переключился на ключевский ресторан, очень его возмущивший.

— «Одет, говорят, плохо, галстука нет», — вот и не пустили. «Я есть, говорю, хочу, а галстука у меня отродясь не было». — «Нет, говорит, нельзя». Ну тут я уж рассердился — и не в такие рестораны меня пускали. «Давай директора», говорю. Ну, с директором поладили как-то. Такой пир задал, никто не пожаловался, никого не обошел...

Он был очень горд этой историей и несколько раз к ней возвращался.

— Выходит, с людьми все-таки веселее? — допытывался мой товарищ.

— Может, и веселее, а тут лучше.

— А вдруг заболете?

— Помогут. Раза два доктор приезжал, хороший парень, молодецкий такой.

— С чего же вы живете?

— А рыба? — Дядя Ваня удивленно на нас посмотрел. — Иной раз утка. Помогают люди, не забывают...

Кроме того, оказывается, он получает пенсию — раз в месяц, в два возят его в Ключи. Вообще о своих посетителях он отзывается хорошо, особенно о том самом полковнике.

— Журналы мне привозил разные, вот и украсил я свои хоромы.

Все стены его хибарки оклеены были вырезанными из «Огонька» фотографиями. Системы особой не было, но с разных углов на нас глядели и Фидель Кастро, и Гагарин с Титовым, и Клиберн, и Кеннеди, и улыбающиеся сталевары, а на самом почетном месте, у изголовья, вырезанная из газеты Терешкова. В углу висела икона.

К концу беседы он вдруг сказал, что ему необходимо в Москву съездить.

— В Москву? В такую даль?

— Какая ж это даль? Раньше это даль была, а теперь, говорят, меньше чем за сутки — и в Москве...

— А что ж вы там делать будете? Дела какие есть?

— Найдутся, — уклончиво ответил старик. — Да и вообще надо посмотреть, как вы там социализм строите. Проверить хочу. — Он рассмехался и хитро посмотрел на нас. — Может, и с начальничком каким

большим встречусь. Потолкую. Не целый же день по кабинетам своим сидят. Может, и воздухом подышать выйдут.

— А о чем же толковать будете?

— Найдем уж о чем... Мне б только такого, что постарше, моих годков примерно. Повспоминаем прошлое, потом и о будущем. Я ведь лет двадцать собираюсь еще прожить. Меньше мне не надо...

Стало уже совсем темно. Мы начали собираться. Старик дружелюбно топтался вокруг нас, помогал что-то укладывать в машину и все уточнял детали своей будущей поездки.

Прощаясь, кто-то из нас сказал:

— Вы только, дедушка, галстук не забудьте захватить. Без него в Москве вас ни в какой ресторан не пустят.

— Ты, может, и бороду велишь сбрить? Пустят... И не только в ресторан. Я слово такое знаю.

Машина тронулась. Старик стоял, держа в одной руке своего кота, другой махая нам.

А что, если действительно соберется в Москву? Сядет в самолет и полетит?

— И очень просто даже,— сказал без всякого удивления ездивший с нами местный журналист.— Надумает — соберем денег и отправим. Провожатого еще дадим. Он старик крепкий еще.

Да, вот какие у нас отшельники пошли. Бойкие...

Впрочем, о чем уж говорить, когда папа римский в один день дважды слетал через Атлантику, произнес речь, отслужил два богослужения, встретился с Джонсоном, присутствовал на приеме в свою честь, а наутро, уже в Риме, выступил на Вселенском соборе. Чудеса, да и только...

Глядя на чучело неведомой птицы

Первым нашим знакомцем на острове Беринга был директор школы. Звали его Жозеф Мишкин. Сочетание довольно забавное, но, как выяснилось потом, он наполовину латыш, наполовину русский. Вероятнее всего, настоящая его фамилия Мишкинс или как-нибудь в этом роде, но здесь, на Командорах, это звучало бы претенциозно, поэтому он стал просто Мишкиным. Впрочем, все это мой домысел.

Нашу четверку поселили в школе, в большой классной комнате, сплошь увешанной автомобильными плакатами — разрезами всяких радиаторов, карбюраторов, акселераторов и другими премудростями. Вдоль стен стояли кровати. Привел нас сюда Мишкин.

— А теперь вам надо поесть,— сказал он и, не дождавшись ответа, скрылся.

Через минуту явился с громадной бутылкой молока и сковородкой, на которой шипела яичница. Это было очень кстати: мы проголодались, а столовая была уже закрыта.

После ужина он приволок откуда-то внушительных размеров приемник и гигантский репродуктор, такой, какой вешают на улицах, на столбах. К счастью, он оказался неисправен, тем не менее мы были очень тронуты.

Лицо у Мишкина было печальным, с печальными глазами и печальными, опущенными вниз усами. Лет ему было, очевидно, под сорок. Он нам понравился — спокойный, сдержанный, внимательный. До войны окончил институт в Прибалтике, кажется в Риге, потом провоевал всю войну от начала до конца. Правда, больше валялся в госпиталях, раз пять или шесть был ранен. Это как-то прибавило уважения. В каких войсках? — спросили мы. Да в разных, не уточняя, сказал он.

На какое-то время разговор увял. Мишкин стал возиться с приемником. Потом заговорили о Командорах, о котиках, о том, что голубой песец, которого здесь разводят, сейчас на Западе не в моде, нужен белый норвежский, а когда его сюда завезут — опять войдет в моду голубой. Разговор опять оживился. Мишкин много знал, умел интересно рассказывать. Потом мы легли спать.

Рано утром, в пять часов, мы отправились на вездеходе к лежбищу котиков. Без четверти пять Мишкин притащил груды яиц, масла, хлеба и опять-таки громадную бутылку молока.

— Вы долго здесь пробудете? — спросил он.

— Дня два, очевидно. Завтра — на остров Медный, потом назад, сюда, и в Усть-Камчатск.

— А на Топорок не ходите?

— Какой Топорок?

— Островок такой маленький — во-он он виден отсюда. Там птица топорок живет. Очень забавная, с таким вот громадным красным клювом. За ноги этим клювом щиплет, очень больно. Сходите туда, ее там тысячи.

— Это не от нас зависит. Как начальство скажет.

— А хотите, я вам чучело подарю?

Я поблагодарил, не совсем представляя, как я потом это чучело повезу домой.

— Спасибо, стоит ли...

— Стоит. Все-таки память о Командорах. Если достану мышьяк, завтра чучело будет готово...

Мышьяк он достал. Пока мы ходили на Медный, он смотался на Топорок, подбил птицу, и, когда мы вернулись, она уже ждала меня на деревянной подставке — большая, размером с утку, черная, блестящая, с великолепным ярко-красным клювом, почти как у попугая. Я ее погладил, и мне показалось, что она еще теплая. Только глаз у нее не было — Мишкин сказал, что их надо сделать из пуговиц.

Перед отъездом топорок был упакован в картонный ящик и благополучно довезен до Москвы в компании двух завернутых в целлофан лососей — чавыч, каждая по восемь килограммов весу. Одна из этих чавыч — нежная, розовая, слегка подсоленная, — наполовину была уничтожена в первый же московский вечер, а топорок стоял на шкафу и за всем следил, хотя пуговицы мы еще не нашли и глаз у него не было.

Прощались мы с Мишкиным у него дома. Жена его уехала на материк, и в не слишком прибранных его двух комнатах обитали сейчас школьный физкультурник и кочегар. Это существенно упростило сервировку и весь ритуал прощания.

— Я скоро буду на Севере, — прощаясь, сказал Мишкин. — Если хотите, я вам оттуда пришлю полное обмундирование из оленьих шкур, — и назвал каждую часть туалета по-корякски. — Стоит это гроши, а вам удовольствие и все завидовать будут...

Я ответил что-то неопределенное — опять-таки, где все это носить в Москве, в Киеве?

Мы попрощались. Мне было с ним жалко расставаться, хотя знакомы мы были всего два или три дня. Прощаясь, люди почему-то всегда улыбаются. Мишкин не улыбался. Он как-то мало улыбался — за все три дня один или два раза. Вообще что-то очень грустное было во всем его облике. Я с трудом представлял его себе в виде лихого офицера. Впрочем, один местный житель, весьма сведущий, имеющий отношение к анкетам, утверждал, что на фронте он был поваром, но в конце концов какое это имеет значение? Для меня Мишкин — просто гостеприимный и доброжелательный друг на острове Беринга.

Котики

В моем детстве вершиной роскоши и богатства считалось — нет, не бриллианты, жемчуга и прочие драгоценности — я их видел только в кино на «Авантюристке из Монте-Карло», — высшим шиком было котиковое манто. В нем ходили нэпманши. А нэпманы — в котиковых высоких шапках, промятых сверху, и шубах с котиковыми воротниками. Ни того, ни другого у меня, конечно, не было. Да я и не мечтал: в те годы хорошо одеваться считалось дурным тоном. А вот у Шуры Бергонье — моего школьного товарища — была котиковая ушанка. Мы его за это слегка презирали, но и завидовали — мех был такой нежный, мягкий, так хотелось коснуться его щекой. Девочки, те даже тайно целовали эту идиотскую шапку. Ребята постарше, поциничнее, с пробивающимися уже усиками, смеялись над нами, говорили, что это просто ободранные кошки, но мы-то знали, что это не так, что морской котик действительно похож на кошку, только побольше ее и живет на Крайнем Севере.

Сейчас котиковых манто нет. Куда они делись? Вышли из моды? Потерпели поражение в битве с нейлоном? Бог его знает. Но промысел котиковый есть. И выполняется план по забою. Шкурки отправляются в Ленинград. Там аукцион — на международном рынке, очевидно, они еще ценятся.

До того, как я увидел впервые живого котика, я увидел его изображение на громадном щите в поселке Никольском на острове Беринга. Плакат, выцветший от времени и непогоды, призывал к досрочному выполнению плана забоя и изображал здорового детину с палкой в руке в окружении котиков, которых он лупил этой палкой по голове. Я невольно вздрогнул, взглянув на этот плакат, но только на следующий день понял, насколько местный художник приукрасил действительность.

Для меня инстинкт животного — загадка. Я не понимаю, для чего, например, угрю нужно для продолжения своего рода пересекать Атлантический океан. Или почему лосось хочет нереститься на Камчатке и презирает Японию. Не могу понять я и котика. Он тоже всю зиму бороздит океан вдоль побережья Японии и Канады, вплоть до Калифорнии, а гаремы свои заводит только на Командорах и на островах Прибылова. Больше нигде. Еще на острове Тюленьем, недалеко от Сахалина, — вот и все. Больше нигде на земном шаре котиковых лежбищ нет — его безжалостно бьют, но на следующий год, если ему удастся выжить, весь покрытый шрамами, он возвращается на прежнее место. Я не могу этого понять.

На остров Беринга мы попали к самому началу промысла — в середине июня.

— Самки только начинают приходить, — объяснили нам зверобои, — но пока их мало, по две-три на одного секача. Потом будет по два, три, четыре, а то и пять десятков на каждого старика. Тогда начнутся драки, бои между холостяками и секачами, хозяевами гаремов. Этого вы сейчас не увидите. Это все будет позже. Сейчас разделять секачей и холостяков будем мы... Нам нужны только холостяки.

Еще издали, подходя к лежбищу, мы услышали котиков. Они завывали, стонали, вскрикивали, рычали, и рык их напоминал звук заведенного трактора. На широком, плоском, усеянном крупным камнем берегу их было несколько тысяч — больших, метра в два длиной, средних, маленьких и совсем крошечных, только что родившихся. Этих, правда, было еще мало, так как и самок было мало. Самка целый год вынашивает своего детеныша, попав на лежбище, рождает его и сразу же попадает в гарем. Тут-то и начинаются бои. Полтора-два месяца, пока длится брачный период, секач не сходит в воду и ничего не ест...

Было раннее утро. Серое, угрюмое, с нависшими серыми облаками. Серый берег... Тихо, чтоб не вспугнуть стадо, мы прошли по мостику через все лежбище на вышку. С вышки все хорошо видно. Лежат себе котики, темно-серые, бурые, рыжеватые, некоторые уже седые, посматривают на нас своими круглыми выразительными тюленьими глазами, пофыркивают, порыкивают, но, в общем, миролюбиво, без всякой злобы. Старики секачи, захватившие места получше, с них уже не сойдут, молодежь же резвится в море, ныряет, выпрыгивает, как дельфины, или просто сидит, высунув черную острую усатую морду. То тут, то там — малыши, такие крохотные и трогательные, что их хочется взять на руки и погладить. Все очень мирно, даже уютно.

В чем-то я, очевидно, человек неполноценный. Я не понимаю, например, прелести охоты. Мне почему-то жалко убитого зайца. Я всецело на стороне того мальчишка из фильма Ламорисса «Путешествие на воздушном шаре», который из своей корзины кричал и подсказывал великолепному затравленному оленю, как убежать от злых охотников. В то же время я охотно ем телятину и баранину и дружу с охотниками, вовсе не считая их убийцами. Что ж, есть люди, и неплохие совсем люди, которым охота нравится, и бифштекс, я понимаю, делается не из синтетического мяса. Но то, что я увидел на острове Беринга... Нет, лучше бы я этого не видел.

Мы стояли на вышке и фотографировали котиков. Большинство не обращало на нас внимания. Другие, скосив глаза, недовольно пофыркивали. Некоторые же, бесспорно, позировали, я в этом уверен — такие красивые позы они принимали. Я чувствовал себя почти как на пляже. И вдруг... Откуда-то сзади, с берега, со стороны прилепившихся к откосам сарайчиков, с нарастающей силой, подобно катящейся волне, донеслось нечто, напомнившее мне войну. Солдатское «ура-а-а»...

Я обернулся. В стадо котиков врезалась толпа здоровенных ребят. Размахивая длинными палками, неистово крича, они сначала кучкой, затем врассыпную неслись вдоль берега, нагоняя страх и ужас. Котики всполошились, засуетились, шлепая лапами и с трудом передвигая свое грузное тело, бросились кто в море, кто, неизвестно почему, навстречу людям. Только самые старые секачи остались на месте. Вздрыбились, затрубили тревожно, но не сдвинулись.

Кричащие, размахивающие палками люди отсекали тем временем часть стада, голов триста или четыреста, и погнали его в сторону сарайчиков. Котики пытались вырваться, убежать, давили друг друга. Их не пускали, сбивали в кучу, неистово лупили дубинками («дрыгалками», на зверобойничьем языке) куда попало. Над берегом стоял стон избиваемых животных, человеческий крик и свист дубинок.

Потом началось самое страшное. От сбитой в кучу массы ревуших котиков стали отделять группы в двадцать—тридцать голов. Меткими, молниеносными ударами направо и налево зверобои стали уничтожать это маленькое стадо; ловкие, сильные и бесстрашные — разъяренный котик опасен, он может повалить человека, — они с поразительным умением и меткостью наносили сокрушительный удар несчастному коту по кончику носа, и тот валялся, обливаясь кровью. Нос — самое чувствительное место у котика. От удара по носу он теряет сознание. Вторым или третьим ударом его добивают. Иногда, впопыхах, его не добьют и он пытается уползти или просто лежит, тяжело дыша и плача от бессильной злобы. Да, котики плачут. Настоящими слезами, я это видел.

Через несколько минут все кончено. Поле боя усеяно трупами. Секачей и самок отогнали в сторону, за небольшой утес, и там они, объятые ужасом, лезут друг на друга, сбиваясь в кучу. Недобитых холостяков

добивают «дрыгалками». Вздрагивающие еще туши оттаскивают к сараям.

Так повторилось пять, шесть, семь — не помню уже сколько раз. Хотелось убежать, скрыться, не видеть всего этого, но я стоял, не мог сдвинуться с места и все смотрел, смотрел на это побоище.

Особенно запомнился один, молодой, лет двадцати, не больше. Крепкий, мускулистый, с бронзовым горбоносым лицом индейца (в жилах алеутов течет кровь североамериканских индейцев), он привлек мое внимание еще задолго до того, как началась экзекуция. Очень толково и спокойно готовился он к ней. Не горюясь, натягивал высокие, до паха, сапоги, засучивал рукава, выбирал подходящую «дрыгалку», точил охотничий нож, очень эффектно потом повисший у него на поясе. Он был очень красив, этот молодой алеут-зверобой, хоть портрет с него пиши. Потом я видел его «в деле». Быстрый, ловкий, с горящими глазами, раздувающимися ноздрями, залитый с головы до ног кровью, он был первым среди всех, и голос его покрывал даже стон умирающих котиков.

Потом, усталый, но довольный, с окровавленными руками, он сидел за столом и не торопясь, с изящной даже ленцой хлебал щи, чувствуя на себе восхищенные взгляды молодежи. До этого он учил ее, как надо разделять туши. Это тоже дело нелегкое. Мне не хочется описывать весь этот процесс — под содранной шкурой у некоторых котиков еще трепыхалось сердце, — но и здесь молодой алеут был знатоком своего дела. И молодежь — четырнадцати-пятнадцатилетние хлопцы — старательно училась у него, как надо одним ловким, длинным ударом ножа взрезать шкуру, потом отрезать язык и, сунув по локоть руку в трепещущую ободранную тушу, вырвать сердце.

— Так, теперь суй руку, — спокойно говорил учитель, расставив крепкие ноги в высоких сапогах и вытирая окровавленный нож о ладонь, — суй, суй, не бойся. Дальше, еще дальше. Правей. Ухватил? Теперь вырывай его к черту!

Дрожащий от волнения и ответственности задания пацан долго возился, сопел, потом с силой рванул, и в ладони его оказалось что-то красное, сочащееся, бесформенное.

— Так. Теперь дальше.

Пацан бросил сердце в кучу других сердец и наклонился над следующей тушей.

Не мне судить, насколько важен стране промысел котиков. Очевидно, важен, иначе их не били бы. Я давно не видел котиковых манто, но на Западе их, очевидно, носят и платят за это деньги. И языки котиков, говорят, очень вкусны и нежны, и сердца тоже (наша группа даже задержалась с отъездом, чтобы их отведать, но я уже не мог, ничего не мог), и мясо котиков идет на корм песцам, которых растят и холят (с какой любовью и нежностью обхаживают их женщины на зверофермах), а потом тоже сдирают с них шкуру на чью-то шубку... Что поделаешь, такова уж жизнь, ее не переделаешь. Но когда я думаю о красавце алеуте, о его горящих глазах, мне становится не по себе...

Спасая товарищей...

На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой Комсомольской, возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом

центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие, ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Ново-Девичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Стапиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, правильными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертymi надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построенные белые кресты «айзенкрейтрегеров» — кавалеров железного креста — у разрушенного универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы...

В. С. Пекарский
р. 1933, ум. 1940
(Погиб в пургу в своем дворе)

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы...

Рыжков И. А. р. 1912
Погиб 1/IX-40 от удара лошади

Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.

Вот мрачный, некладбищенский юмор:

Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом
моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902—1954

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И, очевидно, так же кончил...

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

Погибли в барах 27/1-36
Гуманов, Степаненко
Спасая товарищей, погибли вместе с ними
Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,
Слюняева, Кочергина

Бары — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли на барах.

Моряки к/р «Исследователь» —
Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.

Тоже тридцать лет назад — «9/X-1935».

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоодевшая банка болгарского перца...

И былшем поросло... Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Вот было шесть парней, шесть рыбаков, шесть друзей. Молодые, здоровые, все впереди. А может, и не молодые, и не такие уж здоровые, и большее уже позади. Но были. И друзья у них были. Хорошие, надо полагать. Туманов и Степаненко, например. Их тоже нет. Лежат рядом. А остальные? Что ж, погоревали, повспоминали, выпили крепко за упокой души и ушли в море. Может, и их уже нет. Тридцать лет все-таки... И никто их не помнит. И сказок о них не расскажут, и песен о них не споют...

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Когда-то там была окраина, сейчас поселок разросся. Перенести в другое место? Зачем? Скоро весь Усть-Камчатск в другое место перенесут — подальше от цунами. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к первому июня... И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться... А ты о каком-то кладбище...

Цунами

Что это?.. Какая-то непонятная, противоестественная тишина. Пугающая тишина. Во время войны тишина тоже пугала. Стреляло, ухало, бухало, взрывалось, и вдруг — как ножом отрезало — безмолвие. Плохой признак. Значит, что-то будет. Готовься!

А здесь? На берегу океана? Что произошло?

Оказывается, умолк прибой. Был и прекратился. Нет прибоя. Океан превратился в озеро — тихое, безмолвное... И вдруг он начинает отступать. Дальше, дальше, еще дальше... Обнажается дно, вылезают из воды камни. Отлив? Нет, не отлив — слишком быстро отступает океан. Метр, пять, десять, двадцать, сто... Куда он уходит? Что это значит?

Больше не задавай вопросов. Беги! Сломь голову беги! Подальше от моря. Взбирайся выше, как можно выше. На скалы, утесы, горы... Иначе волна слизнет тебя. Вот она уже надвигается, несетя со страшной скоростью, водяная стена высотой с дом. И обрушивается на берег, снося, разрушая, поглощая все... За первой волной — вторая, третья, еще выше, еще разрушительней. Конец света...

Имя этому — ц у н а м и.

«Цунами» — слово японское. Обозначает оно морскую волну, возникающую от подводных землетрясений или извержений подводных или островных вулканов. Последствия цунами катастрофичны.

Четвертого — пятого ноября 1952 года цунами высотой в пятнадцать метров обрушилось на остров Парамушир. Только глухие слухи докати-

лись до нас — мол, какая-то волна на далеких Курилах разрушила почти весь город. Слово «цунами» никому не было тогда известно. Да и сейчас не все его знают. Если вы полюбозытствуете и заглянете в Большую Советскую Энциклопедию, вы не найдете там этого слова. Нету, и все...

Предсказать цунами невозможно, как невозможно предугадать землетрясение. В лучшем случае в твоём распоряжении двадцать—тридцать минут — от момента первого подземного толчка до прихода первой волны,— скорость распространения волн землетрясения (5—8 км/сек), к счастью, значительно выше скорости распространения цунами (0,1—0,3 км/сек). Но что за полчаса успеешь? Убежать? А если куда? Если ни гор, ни утесов поблизости нет?

Наиболее подвержен цунами район Тихого океана. В частности, побережье Камчатки. Японии, Алеутских и Курильских островов. Знают цунами и Гавайские острова, но океанические впадины, в которых находятся очаги возникновения цунами, расположены на значительном от них расстоянии, поэтому у жителей Гавайев есть время подготовиться. Волна Парамуширского цунами докатилась до них, например, только через шесть часов тридцать две минуты.

Ну, а как быть с Усть-Камчатском, Корфом, Анапкой, со всеми рыбацкими поселками и рыбоконсервными заводами? Ведь все они расположены на длинных песчаных косах, часто еще отделенных лагунами от берегов, в непосредственной близости от основных эпицентров подводных землетрясений...

Обо всем этом с тревогой говорил мне Александр Евгеньевич Святловский, директор вулканологической станции в Ключах. Александр Евгеньевич не только вулканолог, он и «цунамист», если можно так сказать.

— Вы, очевидно, уже заметили,— говорил он мне,— что основные предприятия Усть-Камчатска расположены на длинной плоской косе. Там и морской порт, и два рыбоконсервных завода, и вводящийся в эксплуатацию деревообделочный комбинат. Все это должно быть перенесено в другое место, в поселок Варгановка, подальше от моря. Есть решение, ассигнованы средства, ведется уже строительство. Но, если учесть, что в год вводится не больше четырех-пяти тысяч квадратных метров, для того, чтобы обеспечить жильем одиннадцать тысяч человек, потребуются годы и годы...

Только вчера я был в Усть-Камчатске. Поселок как поселок, мало чем отличающийся от других, именуемых, как и он, поселком городского типа. Расположен на двух берегах устья реки Камчатки. Южная часть— административный центр. Райком, райисполком, гостиница, ресторан, кино и местный «Бродвей» — достаточно широкая пыльная улица. Эта часть отделена от моря косой. Северная часть — промышленный район и порт — сама на косе, по которой в 1923 году прошли уже волны цунами. В мае 1959 года во время землетрясения в Петропавловске, оказавшись эпицентр его километров на сто северо-восточнее, Усть-Камчатску опять бы несдобровать. К счастью, пронесло.

— Не считайте меня паникером,— немного смущаясь, говорил мне Святловский.— Сильные землетрясения повторяются в одних и тех же местах не так уж часто. Соответственно еще реже цунами. В районе южной Камчатки, например, за двести лет было только два разрушительных цунами, а на Курилах, в районе пролива Буссоль, между двумя сильными цунами прошло сто пятьдесят лет... И все же трагедия Парамушира не дает мне покоя...

Катастрофа в Северо-Курильске произошла из-за того, что население ничего не знало о цунами. Службы предупреждения, которая суще-

стует сейчас на Камчатке и Курилах, не было. О возможной катастрофе никто ничего не мог даже предположить — просто никто не знал, что существует на свете цунами.

Обо всем этом мы узнали во всех подробностях несколько лет спустя: в 1958 году Академия наук СССР выпустила «Бюллетень Совета по сейсмологии» № 4, посвященный цунами 4—5 ноября 1952 года. А до этого о цунами не говорилось ни слова. За два года до выхода бюллетеня Большая Советская Энциклопедия в 38-м томе писала о Северо-Курильске: «Рыбный порт... Рыбокомбинат. Средняя школа, Дом культуры, клуб, библиотека...»

Один довольно ответственный камчатский товарищ, с которым я поделился тем, что поведал мне Святловский, несколько встревоженно посмотрел на меня:

— Надеюсь, вы об этом писать не будете? Дело, конечно, серьезное, и мы уделяем ему большое внимание, но стоит ли широкому читателю обо всем этом знать? Вот был у нас здесь один корреспондент, потом написал статью или очерк «В стране вулканов». Таких ужасов там написал, что волосы на голове шевелятся. Да еще фотографии всяких там извержений приложил. Кому это надо? Людей только отпугивать. Ты лучше о рыбе расскажи, о наших славных рыбаках, о четырех миллионах центнеров, которые мы обещали дать стране и дадим, — а он, видите ли, о всяких ужасах пишет. Кто ж к нам поедет?

Прав этот товарищ или нет? Боюсь, не очень, хотя о рыбе и рыбаках действительно надо рассказывать.

«Алло, Ключи!»

Как-то так сложилась моя жизнь, что за всю войну я не познакомился ни с одним генералом, а после войны — ни с одним секретарем обкома. Впрочем, с одним из этих последних судьба меня все-таки свела во время моего камчатского путешествия.

К секретарю Петропавловского обкома Леониду Тимофеевичу Иванову я просто вошел в кабинет и представился: интересуюсь, мол, Камчаткой и рассчитываю на помощь и содействие обкома. Он встал из-за стола — высокий, подтянутый, очень худой (я тогда, не зная причины этой худобы, приятно был поражен подтянутостью начальства), — протянул руку и сказал:

— Что в наших силах, сделаем. Чем в основном интересуетесь?

Я начал перечислять, чем интересуюсь: вулканами, гейзерами, рыбой, котиками, песцами, алеутами, эвенками, китами, новым строительством, пограничниками, охотниками и опять-таки рыбой и рыбаками...

— М-да, — сказал он, — и все это вы хотите за месяц? Аппетитец неплохой, ничего не скажешь... А теперь давайте по-деловому.

Так произошло наше знакомство — первое мое знакомство с секретарем обкома.

Должен сказать, что поначалу я думал ни к какому начальству не заходить — не хотелось, чтобы тебе создавали какие-то исключительные условия. Эти наивные рассуждения были тут же высмеяны моими камчатскими друзьями. Они долго смеялись надо мной. «Видали героя? Ты что, в Москву приехал или Ленинград? Сел в метро и покатыл? Дайте мне билетик до Ключевской сопки, я на вулканы посмотреть хочу. Тут, браг, не Южный берег Крыма. Хрен ты тут за месяц увидишь. Слушайся нас. И вообще в конце концов это просто невежливо — приехать и даже не поздороваться».

Я сдался, пошел здороваться и теперь только благодарен моим друзьям.

Путешествие по Камчатке — не туристская поездка. Комфортабельных автобусов с гидами тебе не подадут, билетов не покупают, номеров в гостинице не бронируют, стандартными обедами и завтраками не кормят. Передвигайся как знаешь: хочешь пароходом, хочешь самолетом — твое дело, а концы все камчатские — досюда пятнадцать рублей, дотуда тридцать... Одним словом, вылететь в трубу можно в течение двух-трех суток.

Знакомство с Леонидом Тимофеевичем сразу все упростило. Перво-наперво он позвонил на радио, и моему другу, разъездному корреспонденту «по рыбе» Роману Райгородецкому — мы с ним еще по Киеву были знакомы, — сразу же дали двухнедельную командировку. Лучшего гида и спутника трудно было найти: парень он энергичный, Камчатку знает и любит, везде полно друзей. Ко всему он великий мастер говорить по телефону, а искусство это не из самых простых, в камчатских условиях особенно. Камчатка — «великий телефонный полуостров». Расстояния громадные, дорог нет, самолеты летают нерегулярно (июнь месяц, аэродромы не везде просохли), пароходы тоже, то из-за шторма, то из-за льдов запаздывают. Вот тут-то и выручал телефон или рация.

Дзвониться из Козыревска, допустим, до Петропавловска — дело нелегкое. То Ключи заняты, то Усть-Камчатск, то повреждение какое-то, то еще что-нибудь. Когда Роман брался за это дело, я знал — все будет в порядке. Очень спокойно, уверенно заходил он то ли в райком, то ли к начальнику аэродрома, авторитетно представлялся: «Корреспондент камчатского радио» — снимал трубку и не клал ее до тех пор, пока не добивался того, что ему надо было. Я любовался им и подышал от зависти, слушая его негромкий, спокойный, категорически-убедительный, не терпящий возражений телефонный разговор. И начальник аэродрома почему-то не перебивал его, не раздражался, сидел и ждал, когда кончатся бесконечные его: «Алло, алло, Ключи, Ключи, дайте мне Ключи, весьма срочное дело...»

Кончалось все, как правило, победой — оставляли койки в гостинице, давали транспорт, назначали встречи. Только когда на проводе был Леонид Тимофеевич, Роман передавал трубку мне. «Все-таки ты гость, тебе труднее отказать». Кстати, Леонид Тимофеевич никогда не отказывал, наоборот — сам предлагал. Когда, например, мы собирались отправиться из Козыревска дальше вверх по реке до Милькова, он через секретаря Усть-Камчатского райкома разыскал нас, и за сотни километров я услышал его голос:

— Если интересуетесь Командорами, завтра к двенадцати прибудьте в Петропавловск. В случае каких-либо неполадок с рейсовыми самолетами я дал указание, чтоб маленький АН-2 из Эссо захватил вас в Козыревске и доставил в Петропавловск.

Роман только иронически подмигнул:

— А? Приедешь в Киев, обязательно книжку ему пошли. Видал бы ты без него Командоры.

Судя по нашей литературе и кинофильмам, секретарь обкома должен обладать не менее чем десятком положительных качеств: быть энергичным, чутким, принципиальным, ну и так далее, разрешая себе только изредка, после утомительного дня, потерять область сердца и помечтать о рыбалке.

Насколько отвечает всем этим нелегким требованиям Леонид Тимофеевич Иванов, мне судить трудно, да и не очень имею я на это право —

все-таки недостаточно близко знаком и в повседневной работе не видал, — но то, что он человек дела и слова, я это понял. И поговорить, как это у нас называется, с народом не прочь, что, как известно, тоже является одной из неотъемлемых черт хорошего секретаря обкома. Делает он это обстоятельно, не торопясь, останавливаясь на мелочах.

Я наблюдал за его беседами в поселке Никольском на острове Беринга и вряд ли мне было интересно.

Как-то, много лет тому назад, у меня возник небольшой спор с одним очень известным писателем. Он упрекал меня в том, что я мало езжу по стране, плохо знаком с ее успехами, достижениями. И под конец сказал:

— Давайте сядем в машину и поедem к Посмитному, Дубковецкому, к Олене Хобте. Увидите, как люди живут, трудятся, с жизнью познакомитесь.

Я согласился, но предложил заехать не только к Посмитному и Олене Хобте и путешествие совершить если и в машине, то хотя бы без лауреатских медалей.

— А почему без? — удивился именитый писатель. — Почему вы их стесняетесь? Это награда, ею гордятся.

В поездку мы не поехали. Я не очень об этом жалею. Даже совсем не жалею, так как вовсе не уверен, что такой способ «знакомства с жизнью» может принести кому-либо какую-либо пользу. Да и вообще в самом этом определении — «знакомство с жизнью» — есть что-то постыдное.

Ну, а секретарь обкома? В частности, камчатского? Как ему не отрываться, как говорится, от жизни? Заседаний и выступлений достаточно. Телефонных звонков тоже. Область величиной с Францию, даже чуть больше ее. Дорог нет. Тайга, тундра, острова... Как за всем уследить, во все вникнуть, разобраться в мелочах, не поддаться обману, без которого, увы, не везде еще у нас обходятся? Вопрос не простой. Гарун-аль-Рашидом на Командоры не приедешь и матросом на сейнер, чтоб с рабочего места, так сказать, на все посмотреть, тоже не наймешься.

Мне кажется, Леонид Тимофеевич понял это. Заходил на звероферму или на строительство склада и говорил прямо:

— Здравствуйте. Я секретарь обкома Иванов. Есть какие-нибудь претензии и жалобы? Выкладываете.

Тут начинали выкладывать. Претензий и жалоб всегда бывает много, особенно если учесть, что люди живут на острове, в двухстах километрах от материка. Говорили прямо и открыто, ждали ответа. Леонид Тимофеевич отвечал, иногда переходил в контратаки. Это уже по части работы, ее качества, выполнения плана.

Не обходилось и без курьезов. Зашли в один из сарайчиков. Немолодая женщина в резиновом переднике готовит пищу для песцов — раздвигает котиковые туши. Стасик Чекалин вытащил свой магнитофон, Юра Муравин — фотоаппарат.

— Ну, как с планом? — спросил Леонид Тимофеевич. — Выполняем? Женщина несколько удивленно на него посмотрела.

— А бог его знает...

— То есть как это — бог его знает?

Женщина пожала плечами.

— Важно, чтоб песцы были сыты. У меня они сыты. А с планом -- не знаю я никакого плана...

Повисла пауза. Стасик завозился с магнитофоном. Леонид Тимофеевич спросил:

— А давно тут работаете?

— Давно-о-о... Не помню уже сколько. И когда отдыхала, тоже не помню.

— Это почему же? Отпуска, что ли, не дают? — Леонид Тимофеевич грозно посмотрел на директора зверофермы.

— А зачем он мне? Я и не просила. Надо же кому-то Ванек кормить... (На Командорах песцов зовут Ваньками.)

Все рассмеялись. Иванов погрозил директору зверофермы пальцем, затем спросил у кормилицы Ванек, хорошо ли работает на острове радио, та с готовностью сказала: «С этим-то у нас все в порядке», и дальше пошло все гладко...

На следующий день мы поехали на лежбище котиков. И тут я обнаружил еще одно качество у нашего секретаря обкома. Он оказался страстным кинолюбителем. Трудно сказать, сколько катушек он отснял — восемь, десять, двенадцать? — но то, что более подробного рассказа о забое котиков в мировой кинодокументалистике нет — в этом я уверен. Он был неутомим. Носился по всему берегу, взбирался на скалы, сидел на корточках, влезал чуть ли не в самое стадо, аппарат его ни на минуту не умолкал. К сожалению, я не видел его фильма, но в нашем соревновании кинорепортеров (я тоже был с аппаратом), не глядя, признаю свое поражение.

Перед отъездом домой я зашел к Леониду Тимофеевичу попрощаться. Не очень длинный наш разговор раз восемь или десять прерывал телефон. «Противная все-таки штука телефон,— подумал я, забыв, как он помог мне в путешествии,— удобная, но противная». Я ненавижу телефон. Только возьмешь книгу и ляжешь на диван — обязательно кто-нибудь позвонит. А вот Леонид Тимофеевич отвечает подробно, обстоятельно, не раздражается... Как-то я позвонил ему домой — секретарю обкома домой! Ответил детский голосок. «Можно Леонида Тимофеевича?» — попросил. «Папа — тебя!» Невиданный случай! Даже у меня дома всегда спрашивают: «А кто говорит?» А тут: «Папа — тебя!»

И все же как-то обидно...

На большой, белый, красивый, весь обтекаемый теплоход, идущий из Олюторска в Петропавловск, пассажиров «грузят» с плашкоутов в так называемом «парашюте». Это скорее «авоська», а не парашют, но называется она «парашютом». Подымают вместе с грузом. Внизу ящики и мешки с почтой, сверху, цепляясь за канаты, люди. Лебедкой все это подымают и выгружают на палубу.

Пока ты еще болтаешься в воздухе, с палубы тебе уже кричат:

— Водки нет! Водки нет!

— А места есть?

— Места есть. Давайте паспорта.— Их очень быстро и ловко отбирают, тут же пересчитывая всех нас.

Корабль сверкает чистотой. Все блестит: ручки, поручни, лампочки, всякие там непонятные корабельные устройства. Каюты с занавесочками, душ, ванная. Мы тут же начинаем полоскаться, потом вытягиваемся под прохладными простынями. Сразу же засыпаем, не читая даже. Спим. Очень приятно.

Назавтра — разочарование:

— Можно попросить ключ от каюты, вчера нам не дали.

— А я тут при чем? У коридорной спрашивайте.

— А где она?

— Почем я знаю?

— Кто же знает?

— А я что, за всех отвечать должна? Ищите.

Ищем. Не находим. Идем на палубу.

— Куда претесь? Видите, уборка идет.

— Мы не премся, а идем. На палубу.

— Нельзя туда.

— Почему?

— Нельзя — и все. Русским языком сказано... Шляются тут всякие, делать им нечего...

Делать нам действительно нечего, поэтому и идем на палубу. Попадаем в конце концов. Пристроились у борта, покуриваем, смотрим на проплывающие льдины. Красиво.

С капитанского мостика:

— Эй вы там! Раскурились. Делать вам нечего. Бросьте сейчас же! Оглохли, что ли?

На море не хочется уже смотреть. Оно даже красивым не кажется. Выпить, что ли, по чашке кофе? Идем в буфет. Он закрыт.

— Когда откроется?

— Когда, когда... Когда откроется, тогда и откроется. Видите, переучет идет...

С горя идем в свою каюту.

— Ну, куда, куда вы лезете? Видите, уборка идет...

— А, ч-черт, пошли к капитану!

Вид у нас непрезентабельный — свитера, куртки, сапоги. Раз пять нам говорят: «Куда вы претесь?», но мы все же пробиваемся к капитану.

Красивый, немолодой уже грузин.

— Ну, чего вам надо?

Говорим, что хотим с ним поговорить.

— О чем? Видите, я занят.

Мы этого не видим, поэтому настаиваем.

— Ну, давайте. Только покороче.

В самом сжатом виде говорим о том, как нам обидно за этот теплоход. Такой он красивый, чистый, удобный, а хочется поскорей с него уйти — чувствуешь себя каким-то преступником, все на тебя кричат, смотрят, как на врага.

Капитан настораживается:

— А вы кто такие?

— Никто. Пассажиры.

Капитан еще больше настораживается:

— А кто на вас кричал? Скажите фамилии.

— Дело не в фамилиях, а в общем духе на корабле. Обидно как-то... Вот об этом нам и хотелось сказать вам.

Капитан перестает вдруг быть капитаном.

— Эх, ребята, ребята, вы вот жалуетесь... А нам, думаете, не обидно? Получили корабль, новенький, красивый, с иглочки. На нем не путешествие, а отдых. Так нет, велели партию вербованных везти в Олюторск. И что же? В полчаса всю водку разобрали, потом в каюту ко мне стали рваться: «Давай еще! У тебя спрятана»... Потом в самом Олюторске со всех сторон шлюпки, катера, ботики. И все одно, все одно! А у меня что, «гастроном»? Нет, ребята, не понимаете вы всего. Не черноморская экспрессная линия, нет, ох как нет...

Появившийся к концу разговора молоденький помощник капитана в красивой плоской фуражке с крабом, тот самый, что кричал на нас за курение, говорит в тон капитану:

— Что тут скажешь, без году неделю на этом корабле служу, а рейс этот на всю жизнь запомню.

Мы выслушиваем жалобы еще минут пять, потом прощаемся и уходим.

Что тут действительно скажешь. Не черноморская экспрессная линия... И все же как-то обидно. Невольно я вспомнил нашего тихого, спокойного Геннадия Павловича и его сторожевой корабль — может, дело не только в вербованных, которые приняли теплоход за «гастроном», а и в тех, от кого зависит не только чистота корабля, но и весь дух его, атмосфера, отношение к людям...

Из своих красивых, уютных, с душем кают мы выбрались в Усть-Камчатске без особого сожаления...

Правильный парень

Я получил письмо от Толи Побеленко. В нем он пишет:

«Дела в колхозе идут успешно — на сегодняшний день выловлено 273 тысячи центнеров рыбы при плане 344. Наш СРТР-400¹ «Керчь» на днях побил всесоюзный рекорд — 32 тысячи центнеров, обязуются за год выловить 40 тысяч.

У меня тоже есть успехи. Экзамены в институт сдал, зачислен на вечернее отделение (спец.— судовые силовые установки). На катере уже не работаю, в связи с экзаменами меня перевели на судоремонт. Коротко все. Приезжайте на Камчатку, тем для работы у вас будет достаточно.

Толик П. 8.9.64.

Р. С. Экстренное сообщение — только что передали по радио: БМРТ² «Амгу» побил мировой рекорд по вылову рыбы БМРТ «Хинган». Рекорд «Хингана» — 110 тыс. центнеров за год — «Амгу» выполнила за восемь месяцев и неделю. Обязуются дать 130 тысяч.

Да здравствуют рекордсмены!»

Если б я не знал Толи Побеленко, я, конечно же, решил бы, что это «организованный» какой-нибудь редакцией материал.

А вот и нет. Письмо пришло не в газету по заказу зав. промышленным отделом, а ко мне, в конверте с маркой, из Петропавловска-на-Камчатке.

Толя Побеленко — колхозник. Член рыболовецкого колхоза имени Лешина — самого большого на Камчатке. Лет ему двадцать пять. Когда я с ним познакомился, он был простым матросом на аварийном катере «Ведущий». Сейчас, как видите, он уже студент.

С колхозом этим у меня произошел конфуз. Вернее, у колхоза со мной и моим приятелем Яном Вассерманом.

Поначалу все шло честь честью. Мы пришли к председателю колхоза товарищу Старицыну и не меньше часа просидели в его большом кабинете за столом в виде буквы «Г». О колхозе этом, выполняющем и перевыполняющем план, писали и пишут очень много, а о председателе его в обкоме мне было сказано: «Интереснейший человек! Хоть роман о нем пиши». Как там насчет романа — не знаю, может быть, кто-нибудь и напишет, даже наверное напишут, но то, что человек он толковый и дело у себя в колхозе поставил на широкую ногу — это действительно так. Приведу один только пример: рядовой рыбак-колхозник зарабатывает в месяц в среднем четыреста рублей. Пожалуй, ни один из знакомых мне инженеров или архитекторов столько не зарабатывает.

¹ СРТР — траулер-рефрижератор.

² БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер.

К концу разговора мы с Яном попросили разрешения выйти с рыбаками в море. Старицын охотно согласился, и решено было, что мы выйдем в море на РС — рыболовном сейнере, капитаном которого был Герой Социалистического Труда, фамилию которого я забыл по той простой причине, что познакомиться с ним мне так и не удалось. А не удалось потому, что на сейнер доставить нас должен был аварийный катер «Ведущий», а катер этот, отвалив от пирса и не дойдя даже до выхода из Авачинской губы, сел на мель.

Так и просидели мы на мели с шести утра до восьми вечера.

Не могу сказать, чтобы это был самый веселый день в моей жизни. Ян, развалившись на койке, углубился в какой-то толстенный роман без начала и конца, я же, как на грех, забыл в номере гостиницы очки, в шахматы играть не умею, поэтому вынужден был целый день маяться и предаваться болтовне, причем болтовне, увы, ничем не подкрепленной, — шлюпки на катере не было, а безрезультатно пытавшийся снять нас с мели буксир ушел в море. Так и проболтались мы на сухую четырнадцать часов, с тоской поглядывая на белевший у пирса рыбокооп.

Наевшись ухи, все завалились спать. Катер буквально сотрясало от храпа четырех здоровенных глоток. Мы же с Толей Побеленко предались элементарному «трепу».

Чем объясняется то, что с одними людьми интересно, а с другими нет? Несколько лет тому назад я ездил за границу с одним очень известным ученым. Его знают во всем мире, книги его переведены на множество языков. И вид у него очень вальяжный — борода клинышком, галстук-бабочка, походка царственная. А вот начнет говорить — и сразу тоска нападает: так все плоско, неинтересно, банально, столько раз уже слышано. За всю нашу поездку только один раз он нас развел. В Ватикане, когда наш переводчик Лева, глядя на вереницу лимузинов, из которых вылезали кардиналы и епископы, в шутку сказал: «А может быть, и нам сходить к папе римскому благословения попросить?» — академик с явным осуждением посмотрел на нас и сказал: «Лев Михайлович, что вы говорите, ведь вы же коммунист...»

Толя Побеленко особой ученостью не блещет, но мне с ним было интересно и весело. Бойкий, живой, всем интересующийся. И работает он весело — приятно смотреть. Раз-два — помыл палубу, почистил рыбу, сварил уху. И все это с шуткой, с улыбкой, с юмором. Ничего придуманного, напускного. И в пьсьме его, с которого я начал, тоже все не придумано — его действительно радуют успехи БМРТ «Амгу». Он неплохо зарабатывает — сто шестьдесят пять рублей в месяц. Работу свою не презирает — нет, ничуть, — но хочется ему быть инженером. И будет им, хотя на первых порах после окончания института зарабатывать будет в два раза меньше.

— Вообще-то пацаном я был несерьезным, — говорил мне Толик. — Учиться особенно не хотел. Кончил десятилетку в Омске, потом техническое училище — и пошел работать. На завод наладчиком. Хватит, решил, с учебой, ну ее. В пятьдесят девятом призвали в армию, на Камчатку. Вот тут уж до меня дошло то, чего не мог уразуметь раньше. Притом понятие вошло не через голову, а через руки. Часть была отличной, в округе занимала вторые-третьи места. А вы знаете, в лучшей части больше и спрашивают. Одним словом, стал человеком, задвигал вдруг мозгами. Вначале все о доме думал. Отслужу — и домой. А как-то, помню, был в наряде — был уже август шестьдесят второго года, — всю ночь не спал, засела мысль в голове: а что, если не поеду домой, останусь здесь? Подработаю малость и учиться пойду. Вот так, в одну ночь решил... После смены пошел к командиру роты и попросил увольнительную для трудоустройства. Дома решили, что по-

шутил. Поверили, лишь когда прислал письмо после демобилизации. Ну, потом пошел в колхоз Ленина. Сразу работал на судоремонте. Потом на сейнере «Пржевальск». Сходил на нем на зимнюю пугину на западное побережье, летом в Олюторку на селедку. Съездил в отпуск, друзей познакомил, родных. Сейчас знаю, что поступил правильно. Мама, конечно, тревожится, старенькая она уже, шестьдесят пять лет, пенсионерка. Убеждаю как могу, чтоб не волновалась... А в общем, поступил правильно, вижу, что правильно...

Рассказ его приведен почти дословно. Мне самому он невольно показался слишком правильным. Все как-то очень уж гладко, без сучка и задоринки. Но что поделаешь, если это действительно так. Да, Толик Побеленко — правильный парень. Очень даже правильный. Не болтун, не хвастун, а просто веселый, жизнерадостный и очень правильный парень. Дай бог ему всю жизнь быть таким.

Благодарность министру

Посылаю на Камчатку яблоки. Большие, красивые, одно к одному, не очень спелые, чтоб по дороге не испортились. Дома нашелся большой, десятикилограммовый ящик с дырочками (в свое время посылал фрукты из Крыма), и, взвалив его на плечо, иду в соседнее почтовое отделение.

Народу, слава богу, не много. Перекладываю яблоки скомканными газетами, чтоб не болтались, заполняю бланк и иду к старушке, которая упаковывает яблоки.

— Э-э, сынок, на Камчатку фрукты не принимают.

— То есть как это не принимают?

— Не принимают. Не разрешено.

— Ничего не понимаю.

— Я тоже, — улыбается старушка. — Но не я придумала.

Я требую, чтобы мне объяснили, на каком основании. Старушка отсылает меня во-он к тому мужчине, заведующему.

Иду к тому мужчине.

— Не разрешается. На Камчатку, Сахалин, Магадан, Красноярский край посылки с фруктами не принимают. Приказ министра.

— А в Ялту, в Сочи можно?

— В Ялту и Сочи можно, — без тени улыбки отвечает мужчина.

Возвращаюсь взбешенный к старушке. Хотелось порадовать друзей с Командоров, а тут тащи десять килограммов назад, домой. Идиотство!

Старушка загадочно наклоняется ко мне:

— А ты знаешь что, сынок, сделай? Переложить в ящик без дырочек — и все. Кто там узнает, что у тебя внутри?

Милая старушка. Только сейчас замечаю, какое у нее симпатичное, доброе лицо.

— А еще лучше положи туда хвостик хрену. Или головку чеснока. Микробы убивает.

Ну до чего же милая старушка!

Я перегружаю яблоки в ящик без дырочек, старушка очень старательно забивает крышку. У нее это очень красиво и ловко получается.

— Артистку Тевелеву знаешь, певицу? Два раза в месяц посылочки сыну посылает. Он там, на этих самых Командорах. И всегда доходят. За неделю доходят. А то и за четыре-три дня, как там с самолетами удается. Только следующий раз обязательно хрену положи. Теперь вон в то окошко...

Я пытаюсь ей что-то сунуть.

— Что ты, что ты, сынок, не надо...
 — Это за то,— говорю,— что гвоздей не жалели.
 — А чего их жалеть? Посылка-то далеко идет, кому-то радость доставит. Чего же их жалеть.

Весь день после этого у меня был какой-то веселый, светлый.
 Спасибо министру. Не издай он того приказа, я бы через две минуты забыл о существовании старушки.

Царицы Савские и Жан Марс

«...И тут увидел девушку всю в рыжем — тонкий коричневый свитер, темно-каштановые брючки, и волосы рыжей волной, и притушенное потемками лицо...

...А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке,— свитер у нее черный, а брючки тоже черные, в топ льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке... есть в ней что-то змеино гибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать...

...Еще издали я увидел девушку в алой майке и синих рейтузах... Я прошел мимо девушки, этакой жгучей, как огонь, и колюче-гибкой, как рапира...»

О ком это идет речь? Кто эти змеино-колюче-гибкие девушки, привыкшие повелевать и властвовать? И где все это происходит? В Монте-Карло? Майами? Одна из них к тому же любит Альфреда де Мюссе, другая прекрасна, как царица Савская, как Клеопатра, Земфира... Кто они такие?

Не удивляйтесь — это работницы рыбозавода. И никакос это не Монте-Карло, а остров Шикотан, Южные Курилы... Вот так-то, Южные Курилы...

.. Спешу оговориться, сам я на острове Шикотан не был и с гибкими, как рапира, девушками познакомился в повести одного нашего писателя, напечатанной в журнале «Молодая гвардия» в конце шестьдесят третьего года. Прочитай я эту повесть до своей поездки на Камчатку — я обязательно сделал бы на обратном пути крюк и побывал бы на Южных Курилах: все-таки нечасто попадают на рыбозаводе царицы Савскис, увлекающиеся Альфредом Мюссе.

Те, которых я видел не на Курилах, правда, а на Камчатке, выглядели не слишком царственно. На них были грубые, топорщащиеся рыбы, резиновые фартуки, с пог до головы они были в рыбьей чешуе, руки красные, головы обмотаны платками. А кругом рыба, рыба, рыба... Отбирай ее, проталкивай по конвейеру, режь, опять отбирай, упаковывай в банки, заливай маслом, наклеивай на коробки этикетки...

Я смотрел на этих здоровых, крепких девушек с медными лицами, в своих робах и сапогах больше похожих на парней, и постеснялся спросить их, как относятся они к своему нелегкому труду. Но ответ я получил. Получил от одной из шикотанских Клеопатр, укладчицы рыбы по имени Муза. «Какое уж тут, с позволения сказать, творчество! — ответила она герою упомянутой выше повести, оказавшемуся менее стеснительным, чем я.— Но эта механическая работенка даст мне ту лишнюю копейку, за которую можно даже в четвертый раз сходить на «Девять дней одного года», посмотреть Смоктуновского».

Я не уверен, что Муза предпочитает Смоктуновского Жану Марс (об этом дальше), как и в том, что она ходит в узеньких брючках, но то, что она больше любит ходить в кино, чем укладывать рыбу,— этому я верю. И не вижу ничего в этом зазорного.

И вот за эту-то прорвавшуюся вдруг в повести правду автору ее и

досталось. «Работа для его героинь,— прочел я как-то в «Литгазете»,— остается еще механической, отупляющей, не вызывающей в них никаких творческих импульсов... А как сделать так, чтобы работа была не добытием средств к жизни, а самой жизнью, полной, радостной?»

Укладывать рыбу в консервную банку — это не то же самое, что делать операцию человеку или даже морской свинке, строить дворец спорта или хотя бы железнодорожный пакгауз, чем варить сталь, вязать арматуру. Это — укладывание рыбы в консервную банку. Искать в этом занятии «творческих импульсов», считать «самой жизнью, полной, радостной», может только человек, никогда не укладывавший рыбу в консервную банку.

Не знаю, в какой уже раз я задаю себе вопрос: почему мы стараемся изображать людей не такими, какие они есть? Становятся ли они от этого лучше? И действительно ли это лучше? В старое время писатель назывался сочинителем, но нужно ли именно так сочинять?

Иногда говорят так: «Да, это еще нечасто встретишь, но мы к этому стремимся, в этом есть тенденция развития». Так рождались «Кубанские казаки».

Неправда убивает искусство. Она бывает разная — в желании увидеть то, чего нет, или не видеть то, что есть. Я не знаю, что хуже.

Однажды на какой-то читательской конференции, где я рассказывал о кинофильме «Солдаты», один из очень уж молодой человек набросился на картину, особенно на ее начало — сцены отступления.

— Что это? — сказал он. — Солдаты растерзаны, разуты, расхристаны... Никакого порядка, никакой дисциплины. Не армия, а шайка бандитов...

Я заинтересовался, приходилось ли ему воевать и, в частности, отступать?

— Еще как! От Харькова до самого Сталинграда. И не такое было... Но я не хочу об этом вспоминать. Понимаете, не хочу! Не хочу, чтоб мой сын видел, как драпал его отец. Надо, чтоб он уважал своего отца, уважал свою армию.

На первый взгляд все эти примеры — шикотанские красавицы, воспевание труда укладчицы, последний случай с отцом и сыном, — на первый взгляд все они лежат в разных плоскостях. Нет — в одной! Все они рождают неправду. А неправда — недоверие и, что еще страшнее, неверие.

Но вернусь к царицам Савским. Одна из них — не в штанишках и не в робе, а в нормальном универмаговском платье — делилась на автобусной остановке своими впечатлениями после «Парижских тайн».

— Завтра обязательно еще раз пойду... Нравится мне этот Жан Марс. Такой он смелый, благородный. И так непохоже на все...

Я понял ее. Она вовсе не против «похожести» — понимай «правды», — она за нее. Но если уж ее нет, так давай непохожее на всю железку: полумаски, шпаги, плащи, поединки...

Баллада о сапогах

Я приехал на Камчатку в кедах. Ян Вассерман — в резиновых сапогах. Обоих нас подняли на смех. «Это все, что у вас есть?» Все...

В Корфе, промочив насквозь свои кеды, я зашел в промтоварный магазин и купил сапоги. Прекрасные кирзовые сапоги за одиннадцать рублей. Ян иронически на меня поглядывал. В своих резиновых чоботах он бесстрашно шел вперед, пробивал нам дорогу сквозь сугробы. Я завидовал ему.

Резиновые сапоги! Честь и слава тому, кто вас придумал! Что делали бы мы без вас среди болот и топей, в дождь и слякоть, как хороши вы на охоте, как нужны рыбакам в путину! Честь вам и слава!

Но потом мы попали в пыльные Ключи и в тайгу. Здесь уж я начал поглядывать иронически. Впрочем, не всегда. Когда мы устраивали в лесу привал, надо было укладываться от Яна не меньше чем на пять-десять метров, да и то не с подветренной стороны — у Яна была только одна пара носков, к тому же шерстяных, а температура воздуха колебалась где-то около двадцати градусов.

Две недели топал Ян в своих сапогах по дорогам Камчатки, по бревенчатым лежневкам, по листьям и хвое тайги. «Ну, как там, Ян, не жарко?» — «Да нет, ничего, жить можно...» Но какое блаженство было на его лице, когда мы куда-нибудь приходили — он мгновенно разувался и босиком мчался в поисках крана, графина, ручья... Потом лежал, закинув ноги на спинку кровати или поваленное бурей дерево. Блаженствовал. Счастливейшей его минутой на Камчатке была, по-моему, минута, когда выяснилось, что мы летим в Петропавловск. Он надел мои кеды, а сапоги выбросил в окно: «Чтоб не видел я вас никогда!»

Я возмущался — сапоги в окно? Такие чудные, такие резиновые, такие еще совсем не стоптанные. Грех!

— Ну и бери их себе на память!

— Мне они не нужны, — спокойно сказал я, — но кому-нибудь они определенно пригодятся.

— Ну и делай с ними, что хочешь...

Я предложил их дежурной по гостинице — милой старушке, укутанной в платок. Она отказалась. Я решил, что постеснялась, и поставил возле ее столика. Она вторично отказалась — не нужны они ей.

— Ну, сыну, внуку...

— Нет, нет, — засуетилась она. — Берите их с собой. Не нужны они мне.

— Так я ж даром.

— И даром не нужны... Не привыкла я.

Я предлагал их по очереди продавщице в продмаге, ее заведующему, двум покупателям в том же продмаге — здоровенному парню и старику, очень похожему на охотника, затем на почте, куда мы зашли за переводом, — никто не взял.

Я начал раздражаться.

— Превосходные же сапоги. Почти не ношенные. Отдаю даром. Мне их деть некуда. Возьмите...

Никто не брал. Зачем они им?

Один рязанский парень говорил мне потом: «Появись ты у нас на Рязанщине с ними — с руками бы оторвали». А тут презрительная улыбка и пожимание плечами.

Последнюю попытку я сделал на Козыревском аэродроме.

Кажется, никогда в жизни у меня не было такой униженной, просительной интонации, как в этом кратком разговоре с шофером грузовика, который доставил нас на аэродром.

Лихой этот парень, со сдвинутой на одно ухо кепчонкой, с нескрываемым удивлением посмотрел на меня.

— А на ча они мне?

— Ну, просто так, в подарок. За то, что быстро довез.

— За это сто грамм полагается, а он мне сапоги. Шесть пар таких у меня дома валяется...

— Ну, на пол-литра обменяешь.

Тут уж он просто с презрением на меня посмотрел.

— Это что, у вас там на материке так делают? — Он нажал на стартер. — Вот и берите с собой, опохмелитесь там.

Когда он тронулся, я бросил сапоги в кузов и тут же дал ходу — авось не заметит.

Несостоявшаяся встреча

Второй день маемся у подножия Ключевской сопки.

Всю жизнь думал, что сопка — это печто маленькое, не заслуживающее внимания, плюющееся грязью (сибиряки всякий даже холмик называют сопкой), — и вдруг оказалось, что сопка — это самый что ни на есть настоящий вулкан, изрыгающий по всем правилам огонь и лаву и по размерам не уступающий Казбеку.

Классических очертаний, точь-в-точь из учебника географии, Ключевская спокойно-торжественно высилась над покорно распластавшимися у ее ног Ключами. Слегка курился кратер — маленькое беленькое облачко на фоне бледного неба. Так простояла она целый день, потом ей вдруг надоело, и она закрылась тучами. Как раз когда мы решили подняться в воздух и посмотреть, как она выглядит в компании своих соратников. Вот и томимся второй день в ожидании, когда она смилостивится.

Живем у вулканологов в стсловой. Спим в спальных мешках, днем бездельничаем. Новые наши друзья ушли на четыре дня в экспедицию. Роман от нечего делать ходит со своим магнитофоном, кого-то записывает. Единственная женщина нашей «экспедиции», жена Романа Лариса, как и положено женщина, занята стиркой и мытьем головы, мы же с Яном валяемся на траве.

Ян — чудесный парень. Он санитарный врач, альпинист, скалолаз и поэт. Кроме того, верный друг и редкой доброты человек. Какой он врач — я не знаю. Заведует чем-то по санитарной части в Ялте. Об альпинистских качествах его знаю от друзей — говорят, неплохие. А вот друг он отличный.

Сейчас, растянувшись на траве, он пишет стихи. Каждую свободную минуту он пишет стихи — в самолете, на привале, в столовой между первым и вторым, даже в приемной у секретаря райкома. Я читаю брошюру нашего хозяина, Александра Евгеньевича Святловского, директора вулканологической станции. Называется она «Вулканы и электростанции».

Век живи, век учись. Опять же всю жизнь думал, что вулканы — это что-то страшное, стихийное, засыпающее пеплом Помпею, а оказывается, и их приручить можно. Кое-где даже приручили. В Новой Зеландии, например, на вулканическом газе и паре вот уже семь лет (с 1958 года) работает геотермическая электростанция мощностью 69 тысяч киловатт. Это примерно двадцать процентов всей вырабатываемой на островах электроэнергии. Сейчас в Новой Зеландии найдено месторождение вулканического пара, достаточное для постройки электростанции мощностью 250 тысяч киловатт. В будущем мощность ее предполагается довести до 400 тысяч киловатт (Днепрогэс — 650 тысяч киловатт), что полностью покроет потребность страны в электроэнергии.

Все-таки здорово! Стоит станция, никаких тебе труб, никакого дыма, никаких подъездных путей для подвозки топлива — все из-под земли, бесplatно.

Впервые, оказывается, подземные «паровые котлы» использованы были в Италии лет шестьдесят тому назад. Ни угля, ни нефти, ни полноводных рек в Италии нет, а вулканов много. Сейчас по использованию их энергии Италия на первом месте. Отапливается вулканами и маленькая Исландия. Рейкьявик — столица ее — полностью теплофицирован вот

уже двадцать лет. В городе нет печей и труб — тепло дают вулканы. Любой ребенок знает вкус отечественных бананов — их выращивают в теплицах. Бананы в преддверии Арктики — чудеса!

Ну, а Камчатка? Так же, как Италия и Новая Зеландия, она бедна энергетическими ресурсами. Зато вулканов не меньше, чем в Исландии. Там — тридцать, на Камчатке — двадцать восемь действующих. А на Курилах — тридцать девять. Почему бы и камчатскому пацану не пожевать бы собственных бананов, не сходить в баньку с подземной горячей водой? Пока, может, и рано об этом говорить, но на Южной Камчатке, в Паужетке, строится уже экспериментальная геотермическая станция, не очень большая — пять—десять тысяч киловатт, — но в конце концов важен первый шаг. А он уже сделан.

А давно ли в этих краях не менее экзотическим фруктом была картошка? Помню, как мы, когда я жил во Владивостоке (это было, правда, давно, двадцать пять лет тому назад), тосковали по картошке. Рис, рис, рис, иногда как высший деликатес — сушеная картошка. А теперь — пожалуйста, в любом продуктовом магазине Петропавловска сколько угодно картошки, с доставкой даже на дом. И не привозная, а своя, местная, камчатская. Даже на материк вывозят.

Тут, правда, вулканы ни при чем, все это дело рук человеческих, но до вулканов доберутся — такая дешевая энергия не может пропадать. Тем более что водную энергию на Камчатке использовать нельзя. В реках ее и озерах размножаются ценнейшие породы тихоокеанского лосося. Плотины и водохранилища нарушат режим рек, и рыба погибнет. Коротче, без вулканов никак не обойтись...

...Меня клонит ко сну. Прикрыв лицо книгой, засыпаю. Хорошо. Ни ветра тебе, ни комаров, солнышко припекает. Век бы так валялся!..

Будит Ян. Он написал свои стихи, и ему хочется разговаривать.

— Слушай, а почему бы нам все-таки не заглянуть в кратер? А?

— Заглядывай.

— Нет, серьезно. За день управимся. Обидно все-таки добраться до вулканов и даже не заглянуть внутрь.

— А я с самолета загляну.

— АН-2 выше четырех тысяч метров не подымается, а кратер...

— Так я в профиль на него погляжу.

Ян — альпинист, и ему хочется карабкаться в гору. Когда-то в юности я тоже этим увлекался, ходил с рюкзаком по всяким Военно-Осетинским и Военно-Сухумским дорогам, подымался на Эльбрус и даже красивый значок за это получил, но сейчас я постарел, разленился и вполне разделяю Ромкину сентенцию: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

— И вообще, дорогой мой Ян, я видал фильм «Встречи с дьяволом» французского режиссера Тазиева, и с меня вполне достаточно. До сих пор мурашки по коже пробегают...

Ян меня презирает, я это чувствую. Перед отъездом поклялись: подняться на вулкан и выкупаться в Тихом океане. Ни то, ни другое не выполнено. Мне стыдно, но, ей-богу же, чего это я за здорово живешь полезу в эти ледяные неуютные волны?

Наутро тучи рассеялись. С аэродрома позвонили: «Готовьтесь. Высылаем машину». Это все Николай Николаевич. Тот самый Николай Николаевич, что устроил нам поездку к дяде Ване. Удивительный человек!

Когда мы прибыли в Ключи, выяснилось, что гостиница (две комнаты и коридор, впритык уставленные кроватями) заполнена вдоль и

поперек, а из местного начальства никого нет. Закутанная в платок девица из поссовета сказала:

— Позвоните на «Вулкан» Святловскому. А еще лучше — Николаю Николаевичу. Они вам помогут.

— А кто это Николай Николаевич?

— Большой здесь человек. Хозяин. Все может.

Роман снял трубку. Начал, как всегда, веско и убедительно, на низких нотах. Потом вдруг весело и несколько удивленно:

— Ну, спасибо, спасибо большое! Ждем, значит.— Он положил трубку и пожал плечами.— Странное все-таки начальство... Сказал, минут через двадцать придет в гостиницу. Видал такое? Большой человек называется...

Через полчаса мы уже сидели с «большим человеком» в пыльном дворике нашей гостиницы. Он действительно оказался большим, чуть-чуть начинающим полнеть, как это случается с перевалившими за сорок мужчинами, с приятной интеллигентной наружностью и удивительно веселыми, ироническими, совсем не начальническими глазами.

— Ну так что, ребята? Захотелось Камчатку посмотреть? Надоела цивилизация? МХАТы, манежи, «Арагви» с люля-кебабами? Что ж, в добрый час. Чем могу служить?

Стараясь не очень зарываться, мы высказали свои пожелания, закончив их робкой просьбой о вертолете.

Николай Николаевич почесал затылок.

— Вот уж чего вам не советую, ну его... Давайте-ка лучше без него как-нибудь обойдемся.

Мы сразу же приуныли — очень уж хотелось на вулканы сверху поглядеть.

— Давайте лучше так. Завтра поезжайте к дяде Ване. Рыбка, уха, со стариком поговорите... А в понедельник с утра заглянете ко мне, — тут он слегка подмигнул, — проверим вашу, так сказать, лояльность и, буде летная погода, отправим вас на добром, верном АН-2. Всем спокойнее будет. Идет?

Ну, что тут было сказать? Пригласить в ресторан? Постеснялись, да и вообще была суббота и, судя по всему, Николай Николаевич собирался на охоту.

— Зверья здесь видимо-невидимо. Следующий раз приедете — без трофеев в Москву не отпущу...

Маленький четырехкрылый АН-2, уютно стрекоча мотором, большими витками подымается вверх. Слегка потряхивает. Под нами Ключи. Они станвятся все меньше и меньше, а река Камчатка — все больше и больше: сплетение рукавов, протоков, озер... Какая она большая, запутанная, ветвистая и какая красивая! Заливные луга и тайга — кое-где выжженная, сухая, в основном же темно- и светло-зеленая, густая, не везде и пройдешь. Вон там где-то, среди тихих озер, в зарослях цветущего жасмина живет наш дядя Ваня...

Еще выше. Приближаемся к Ключевской. Под низом уже не тайга, а сухая, безжизненная земля. Серая, бурая, с маленькими кратерами-нарывами. Их очень много, этих фурункулов, один раз прорвавшихся и засохших. Еще выше... Кругом облака — не сплошной массой, а рваные белые клочки ваты. Исчезает дымка первых полутора тысяч метров — очертания вулканов станвятся четче, воздух прозрачнее.

Поднялись на четыре тысячи метров. Начинаем огибать Ключевскую. Оставляем вправо ближайшую ее соседку сопку Плоскую. Впереди Камень, за ним Безымянная, еще дальше Зиминая, Толбачик, Удина. К сожалению, Безымянную плохо видно — мешают облака, а это самый

интересный из вулканов. Несколько лет тому назад он взорвался, и кратер его развалился. В музее вулканологической станции я видел множество цветных фотографий этого взрыва. Жутко и в то же время красиво... Клубы дыма, расплавленная лава, огненные, раскаленные бомбы, вырывающиеся из кратера. Светопреставление... Сейчас внизу тихо, спокойно. Застывшие реки лавовых потоков — бугристые, складчатые, мертвые... Вулканы спят. Только Ключевская чуть курится. Напоминает: «Не забываете, люди, я тоже могу...»

А что знают люди о вулканах? Оказывается, вовсе не так уж много. До сих пор ученые спорят, откуда берется тепло. До центра земли так и не добрались. Что там? Расплавленная масса или ядро, состоящее из железа и силикатных пород, приобретших под влиянием большого давления свойства металлов? Так откуда же тепло? Когда-то думали — и я так всю жизнь думал, — что извержение вулканов — это вырвавшееся наружу через глубокие трещины в отвердевшей оболочке огненно-жидкое ядро земли. Теперь же ученые считают, что главной причиной образования внутреннего тепла земли является радиоактивный распад элементов урана, тория и калия-40. А земля по-прежнему вздыхает, трясется в конвульсиях, плюется огнем и раскаленными бомбами... Две из них, черные, как уголь, пористые, похожие на окаменевшие губки, мирно лежат у меня сейчас на подоконнике рядом с дырявым, как решето, очень похожим на современную абстрактную скульптуру камнем, выброшенным волной на остров Беринга, и еще одной жертвой вулкана — куском мозаичного пола из Помпеи...

Медленно проплывают мимо нас вулканы. Мрачные, угрюмые, сейчас безжизненные. Летчики делают крутые виражи, развороты, повороты, чтоб нам удобнее было снимать. Мы мечемся от борта к борту, залезаем в летчицкую кабину и все щелкаем, щелкаем своими «ФЭДами», «зоркими», «экзактами»...

В кратер заглянуть так и не удалось — не под силу нашему самолетику. Ян на меня не смотрит. Обижен... С горя пишет стихи. О несостоявшейся встрече с дьявлом...

Ну и бог с ним, с дьяволом! — думаю я.

Через две недели прощаюсь с Камчаткой.

Последнее впечатление — после проводов, объятий, поцелуев, рукопожатий — густое, клубящееся море облаков и, точно одинокие острова на нем, черные конусы вулканов. Это уже другие, это стражи Петропавловска — Вилуй, Авача, Коряжский...

Незаметно, чтоб в самолете никто не увидел, машу им рукой До следующего раза!

2. СЛУЧАЙ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Рассказ

Что сулят встречи с прошлым, с молодостью? Нужны ли они? Что ощущаешь ты, например, когда на улице тебя окликает некто с брюшком, лысиной, одышкой, и оказывается, что это не кто иной, как Венька Шустрый, в свое время появлявшийся в классе преимущественно через окно, по водосточной трубе? Что ощущаешь ты?

С грустью вспоминаю я случай, когда один мой приятель, ныне ленинградец, приехав в Киев, решил устроить встречу одноклассников.

Что ж, все говорили потом, что получилось все очень мило, что приятно все же через столько-то там лет повидать друг друга, вспомнить прошлое, учителей, всякие там проказы, что, в общем-то, мы все мало изменились, во всяком случае внутренне, душевно. Действительно, все было очень мило — вспоминали, разглядывали фотографии, погоревали об ушедших, а потом, когда сели за стол, выяснилось, что водки-то можно было и не покупать. Зато минеральная вода была нарасхват.

Часов около одиннадцати, похлопывая друг друга по спицам, расстались, условившись завтра обязательно встретиться на Владимирской горке и всем вместе сфотографироваться. Я знал, что «старики» на меня обидятся, но не пошел — не смог.

Нет, не поддавайтесь искушению, не возвращайтесь на места, где вы провели детство, не бродите в одиночку по аллеям, где когда-то ходили в обнимку, не восстанавливайте искусственно былых отношений, не встречайтесь с давно ушедшим. Даже единственное в таких случаях спасение — юмор и тот не спасет.

Все это я знал, когда брал билет на турбоэлектроход «Россия», шедший рейсом Москва—Ростов-на-Дону с остановками в крупных портах, в том числе в Гсрьком, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде.

Сталинград... Вот что меня ожидало и чего я несколько опасался. Однажды я уже с ним встречался после войны, и радости эта встреча мне не принесла. Сейчас я подсознательно боялся этой второй встречи, а может быть, просто предчувствовал, что со мной в этот приезд и должна произойти та удивительная история, о которой пойдет речь впереди. Так или иначе, но я долго колебался, прежде чем взял билет. Но уж больно соблазнительна была неожиданно подвернувшаяся поездка по Волге: ну как откажешься от такой счастливой возможности сочетать отдых с работой? Все лето я проторчал в городе, в суете и в жаре, не имея возможности сесть за работу, а сроки ее неумолимо надвигались. Короче, я плюнул на все и взял билет.

Жалею я сейчас об этом или нет? Трудно ответить. И да и нет. Скорее все же нет. По натуре своей я не люблю неожиданностей, предпочитаю покой и тихую, размеренную жизнь. Но именно поэтому, очевидно, и нужны иногда встряски, может быть, не такие энергичные и труднообъяснимые, как та, что со мной произошла, но все же нужны.

Одним словом, билет я взял и в назначенное время явился на теплоход, стараясь не думать об ожидавшей меня встрече с далеким прошлым.

Та, предыдущая встреча, о которой я упоминал, произошла летом 1950 года, ровно через семь лет после окончания войны в Сталинграде. Приехал я туда в командировку, но, как и всякий другой на моем месте, с аэродрома ринулся прямо на Мамаев курган.

За годы разлуки он не изменился. И вокруг почти ничто не изменилось. Стройка шла в городе, на заводах, здесь же все было по-прежнему. Сухой, некрасивый, заросший мелким кустарником курган похо-

дид на самого себя, каким он был в июле сорок второго года, когда я впервые его увидел, попав в Сталинград, после всем памятного нам отступления из-под Харькова. Даже крохотный, восстановленный поселочек у его подножия выглядел точно так же, как в то жаркое, удушливое лето.

Не торопясь, то и дело останавливаясь, я подымался по знакомому мне оврагу, кратчайшему и наименее опасному пути на передовую, вышел на нейтральную полосу — жалкие шестьдесят метров, отделявшие нас от немцев, — и огляделся по сторонам.

Война не ушла еще отсюда. Окопы обвалились, обмелели, заросли травой, но они были. И ржавые патроны, гильзы, каски, котелки, штыки, затворы, пулеметные ленты, истлевшие портянки из вафельных полотенец... И кости... То тут, то там белели в траве черепа — теперь уж не поймешь, где русские, где немцы. Уходя в марте сорок третьего отсюда, мы похоронили всех павших, но грунт был мерзлый, закапывали неглубоко — за семь лет размыло дождями, развеяло ветром...

С кургана я возвращался подавленный и разбитый. Внизу, в городе, рычали бульдозеры, двигались краны, с красных полотнищ и в репродукторы призывали сталинградцев досрочно восстановить родной город-герой, а здесь, на забытой передовой, до сих пор царилла смерть. В обкоме я встретил смущение и растерянность — что поделаешь, до всего руки не дотягиваются, за всем не углядишь.

Всю эту печальную историю я рассказал вовсе не для того, чтобы разбередить старые, зажившие уже раны, а чтоб объяснить, почему я колебался при покупке билета и почему в последнюю перед Сталинградом ночь — а «Россия» должна была прийти туда в пять часов утра — я промаялся на палубе, не находя себе места.

Весь путь от Москвы до Сталинграда я провел в одиночестве. У меня была прекрасная отдельная каюта, в которой можно было отгородиться от всего света, радио на пароходе почему-то не работало, персонал был обходительный, приветливый, пассажиров не много и тоже какие-то не шумные, преимущественно преклонного возраста, дремавшие на палубах в шезлонгах или разглядывающие в бинокль берега. По утрам, до завтрака, я работал, потом тоже устроивался в шезлонге, читал «Семью Тибо», на стоянках в одиночестве бродил по улицам незнакомых городов или валялся в трусах на прибрежных пляжах, любуясь Волгой — стоял конец сентября, но жарко было по-летнему. Чувствовал я себя безмятежно, как может чувствовать себя человек, которому куда торопиться и который знает, что до него никто не доберется.

После Саратова я почувствовал вдруг беспокойство. Работа застопорилась, «Тибо» показались скучными и растянутыми, пассажиры стали раздражать — как им не надоедает круглосуточно спать, стучать в «козла» и бегать на каждой остановке на пристань покупать жратву.

После ужина я попытался сесть за письма, но они получались какими-то вымученными, с плоскими сентенциями и жалкими попытками на остроумие. Я их порвал и пошел в буфет. Там было пусто. Буфетчица что-то подсчитывала за своей стойкой. Попытка заговорить с ней — толстой, вялой, с ярко окрашенными губами — успехом не увенчалась. С пожилым, бухгалтерского типа человеком, пришедшим за минеральной водой, самому общаться не захотелось, зато, когда перед закрытием буфета появились два молоденьких солдата, я насторожился. Они долго подсчитывали деньги, о чем-то шептались, искоса поглядывая на меня, наконец взяли бутылку портвейна. Этим они решили свою участь.

Через полчаса, взяв в буфете подкрепление, мы удалились в мою каюту.

Ребята оказались очень славные. Оба волжане, белобрысые, коротко стриженные, подтянутые, в белых подворотничках — оба демобилизовались и ехали домой, — они поминутно поправляли складки своих гимнастерок и очень стеснялись. Зато я говорил. И конечно же, о войне, о Сталинграде.

Я до сих пор краснею при воспоминании об этом вечере. Я говорил без умолку. Вспоминал различные эпизоды, товарищей, разъяснял обстановку, рисовал какие-то схемы, а главное, рассуждал. Ребята деликатно жевали колбасу, очень внимательно, не перебивая, слушали меня, но больше всего, по-моему, хотели спать. А я все говорил, говорил, в чем-то их убеждал, что-то доказывал, время от времени задумываясь и произнося многозначительное «м-да»...

Когда ребята ушли — а сделали они это как-то разом, поднявшись и сказав: «Нам пора, спасибо большое», — я почувствовал вдруг стыд, особенно оттого, что настойчиво и неоднократно предлагал им пойти со мной на Мамаев курган. «Я там полковым инженером был, я там все знаю», — а они переглядывались, благодарили, а потом вот встали и сказали, что им пора.

Всю ночь я не мог заснуть. Бродил по палубе, пытался вздремнуть в шезлонге, смотрел на берега. Прошли Дубовку, Пичугу. Осенью сорок первого года мы сюда пришли — запасный стрелковый батальон — и простояли всю зиму. Копали мерзлую землю, кололи чучела, разбирали и собирали винтовку, потом солдат отправили в Крым, а нас, командиров, разбросали по частям, готовившимся на фронт. Это было перед весенним наступлением на Харьков...

Все сейчас было неузнаваемо — ГЭС все изменила.

В Сталинград мы пришли точно по расписанию, ровно в пять. Торопливо, боясь встретить своих солдат, я спустился на берег.

В Сталинграде я был и до, и во время, и после боев. Я хорошо помню его во всех стадиях, во всех видах. Помню унылым, заснеженным, глубоко гыловым, с толкучкой, где я покупал своим бойцам рукавицы, с офицерской столовой возле универмага, казавшейся лучше всех ресторанов; помню июльским, прифронтовым, с зенитками в скверах, подбитым «юнкерсом» на площади Павших борцов, с вереницами раненых из-под Калача и Абганерова; помню памятный всем день 24 августа, день первого массированного налета, когда кругом все рушилось и пылало; помню последний день, когда мы уходили из города, — руины, снег, греющихся у костров пленных и трупы, трупы, тысячи, десятки тысяч трупов — не было сил их убрать...

Сейчас передо мной был громадный, незнакомый и совершенно чужой город. От старого не осталось ни следа, разве что универмаг, затевшийся среди новой планировки.

Что ж... Так оно и должно быть. Прошло почти четверть века. На месте руин, мертвого города вырос новый, живой, с не очень красивыми, но большими домами, новыми улицами, новыми названиями, новыми людьми.

Я поднялся по широкой, парадной лестнице, украшенной колоннадой, и вышел на площадь Павших борцов. Посреди — разросшийся сквер, вдали силуэт вокзала с башней и шпилем. Все очень торжественно, в стиле сороковых годов. Пусто. Еще очень рано, к тому же, кажется, воскресенье — народу почти нет. Не жарко. И ветра нет, значит и пыли.

До Мамаева кургана иду пешком, трамваи еще не ходят. Впрочем, я все равно пошел бы пешком.

Иду по проспекту Ленина. Когда-то он был проспектом Сталина. До войны его вообще не было. Он очень широкий, длинный и тянется

вдоль Волги до самого Тракторного завода. Направо и налево дома, дома, дома... «Гастроном». «Ткани». «Обувь». «Культтовары». Опять «гастроном». Кое-где на бетонных постаментах орудийные башни тридцатьчетверок — линия фронта...

Дом Павлова... Очень обыкновенный, выкрашенный в розовую краску, такие строили в тридцатые годы. На нем мемориальная доска, перед ним все та же башня с тридцатьчетверки. Кругом новые дома — площадь Солдатской славы. Надписей на доме никаких — а когда-то было очень много, снизу доверху, — сейчас все замазано розовым.

Постоял и пошел дальше.

Скоро будет завод Метиз — левый край нашей обороны. За ним большой пустырь и мясокомбинат. В мясокомбинате был КП первого батальона. Направо, к Волге, сожженный поселок, нефтебаза — она очень долго горела, заслоняя солнце черным сплошным облаком. Налево железная дорога и Мамаев курган. Участок между сожженным поселком и железной дорогой можно было преодолеть только ночью — он простреливался вдоль и поперек. Чуть левее и ближе к Метизу стояли трамвайные вагоны... Все это было очень давно — двадцать три года тому назад...

Дойдя до мясокомбината, решил вдруг — а почему не зайти? Авось сохранилось кое-что из прошлого? В подвалах, например, где был КП?..

У проходной обычная история — кто, да что, да по какому делу. Вахтер полон подозрения, но все-таки кому-то звонит.

В прошлый мой приезд нечто подобное произошло у меня на ТЭЦ Тракторного завода. Требовался отдельный пропуск, долго куда-то звонили, я тряс документами, и только после не менее чем полуторачасовой процедуры меня туда пустили. Самое смешное во всей этой истории было то, что в сорок втором году, когда немцы рвались к Тракторному, судьба ТЭЦ была буквально в моих руках — рубильник от проводов, которые шли к взрывчатке, разложенной под всеми агрегатами ТЭЦ, находился у моего изголовья, — от одного моего движения зависела жизнь и смерть электростанции.

После очень основательного выписывания пропуска — крупным, каллиграфическим почерком переписывается буквально весь текст моего паспорта — я попадаю к замдиректора, обходительному немолодому человеку, который, против ожидания, сразу понял, какими чувствами я обуреваем. Вызвав кого-то из своих помощников, он так ему и сказал:

— Ознакомь товарища с процессом, не очень утомляя его, а потом покажи, как пройти в подвальное помещение — у товарища с ним связаны личные героические воспоминания. — Он понимающе улыбнулся мне.

Помощник — молодой парень в спецовке — выполнил указание в точности: процессом не утомил, из вежливости поинтересовался, как мы здесь воевали, и на прощанье предложил фонарик.

— Там у нас, мягко выражаясь, захламлено малость. Если хотите, могу проводить...

— Что вы, зачем? — воспротивился я. — В те годы там паркет тоже не каждый день начищали...

Он улыбнулся. Мы распрощались, и, вооружившись фонариком, я стал спускаться по темной лестнице. Тогда эта лестница тоже существовала, но ею не пользовались, в КП куда проще было попасть через подвальное окно и люк в полу.

Люк этот я не сразу обнаружил. Помещение, в котором он находился, действительно было малость захламлено, и мне пришлось поряд-

ком-таки повозиться, пока я не расчистил вход в подвал. Крышка тоже не сразу открылась, но с помощью железной рейки я ее победил. По скрипучей, по-моему сохранившейся еще с того времени, деревянной лестнице я осторожно спустился вниз.

Теперь надо было пройти нечто вроде длинного коридора, вдоль которого тянулись трубы, и в конце его должна была быть железная дверь, а за ней тот самый подвал, где был КП первого батальона.

КП находился здесь довольно долго — с августа сорок второго, когда немцы захватили водонапорные баки на вершине кургана, до конца ноября: с переходом в наступление нашу дивизию передислоцировали правее, к высотке Безымянной. В свое время я сюда довольно часто наведывался — батальоном командовал отчаянно смелый, лихой капитан Беньяш. Это был удивительно красивый, кудрявый, веселый парень, гроза немцев и окрестных санинструкторш. Это у него на КП, в этом самом подвале, устраивались концерты, и мы, штабные поверяющие, под любым предлогом приходили «поверить» именно этот батальон. В конце октября или начале ноября Беньяш погиб. Погиб по-глупому, от случайной мины, во дворе мясокомбината, где он назначил свидание одной из своих поклонниц. Мы долго оплакивали его. Похоронили на высоком волжском берегу, а когда в Сталинграде кончилась война, на могиле поставили памятник. Сделали его наши полковые саперы по моему эскизу. Это был первый памятник в Сталинграде. Он хорошо был виден с Волги. Сейчас его нет: он был деревянный.

Итак, я спустился по лестнице и двинулся по длинному коридору с трубами. Как ни странно, но здесь был сравнительно больший порядок, чем там, наверху, вернее, меньший беспорядок. В одном месте у стены стояло десятка два ящиков, очень похожих на патронные. В свое время они назывались цинками. Я раскрыл один из них и, к великому своему изумлению, обнаружил, что он полон патронов. Поразительнее всего было то, что у них был совершенно свежий вид, точно их только что принесли. Даже масло не просохло. Подумать только, за все эти годы никто не удосужился сюда спуститься. Я мысленно представил себе, как торопились хозяева этого подвала, покидая насиженное место, и практичный старшина, взглянув на ящики, махнул рукой: «А ну их, таскаться еще... На новом месте дадут новые». Так и пролежали они здесь двадцать три года...

Подходя к железной двери — она тоже сохранилась такой, какой была, — я почувствовал легкое волнение, будто был я здесь совсем недавно, только вчера, и что сейчас, как и вчера, мы с Беньяшем или его начальником штаба отправимся на передовую проверять огневые точки, а может, никуда и не пойдем, а будем пить чай и крутить патефон — у Беньяша полно было пластинок.

Я толкнул дверь...

В жизни каждого человека есть периоды, в памяти не задерживающиеся; есть периоды провалов, но бывают дни, которые запоминаешь с первой до последней минуты, запоминаешь каждую деталь, каждую мелочь, каждое произнесенное слово, каждую мелькнувшую у тебя мысль. К этим дням я сейчас и подошел. Всю мою жизнь, до последнего дня, они будут стоять перед моими глазами ясные и четкие, как на экране, хотя я никогда так и не узнаю, когда же это произошло — вчера или двадцать три года назад...

В тот самый момент, когда я толкнул дверь, над головой у меня грохнуло что-то очень тяжелое и с потолка посыпалась штукатурка. Похоже было, что где-то вверху разорвался снаряд порядка 152 мм. От непривычки я вздрогнул, очевидно, или попятился.

— Э-э, капитан, да ты у нас, видать, нервный...

Сказано это было без всякого желания обидеть, с юмором, и я сразу узнал голос. Полулежа и подперев одной рукой голову — любимая его поза, — на меня с нар глядел из-под упавших на лоб черных завитков кудрей веселыми, живыми глазами капитан Беньяш.

— Давай-давай заходи, не стесняйся. Мы сегодня тебя по-царски встретим. Кое-чем разживились.

Вверху опять что-то разорвалось, но, кроме меня, никто не обратил на это внимания...

Первое невольное ощущение у меня было, что я присутствую на киносъемке фильма об Отечественной войне. Но ни операторов, ни режиссеров, ни юпитеров не было. Подвал освещен был большой керосиновой лампой, очень уютной, с зеленым абажуром. Свет от нее падал на шахматную доску, стоявшую на нарах между комбатом и его замполитом, сгатым, всегда подтянутым грузином, фамилию которого я никак не мог припомнить. В углу при свеге контящей артиллерийской гильзы сидел и что-то читал молоденький, очень рябой связист с подвешенной к голове трубкой. В другом возился старшина — перебирал белье. Двое или трое бойцов, укрывшись шинелями, спали на полу, подстелив под себя войлок. Лампа с абажуром стояла на столике возле комбата. Столик этот я хорошо помнил — изящный, легкий, на гнутых ножках в виде львиных лап. Над ним висело большое зеркало в золотой раме с амурчиками и венками. В зеркало была воткнута фотография какой-то девицы в кудряшках. Вряд ли это была жена Беньяша, по-моему, он был холост.

Я мог бы со всеми подробностями описать сейчас всю обстановку подвала, вплоть до даты — 5 октября — на табель-календаре, висевшем между зеркалом и вырезанным из журнала портретом Сталина в маршальском мундире. Но я не хочу отвлекаться от основного. Скажу только, что именно портрет Сталина привлек мое внимание, и Беньяш, заметив это, мимоходом уронил, вставая со своих нар:

— Ничего, ничего, не осудит...

Беньяш никого на свете не боялся, даже своего замполита. Уверен, что он и перед самим Сталиным стоял бы, как позволял себе стоять перед командиром полка или дивизии — не вытянувшись в струнку, а свободно, расслабив одну ногу, с высоко поднятой головой и чуть-чуть согнутыми в локтях и сжатыми в кулаки руками. Ни разу ни от кого он не получил за это замечания, даже от Чуйкова, а тот отнюдь не отличался любовью к вольностям.

Враскачку, как моряк на берегу, Беньяш прошел через весь подвал, порывлся в угол и вернулся с бутылкой коньяка. Коньяк был французский, «марсель», с множеством медалей и гербов на этикетке.

— Для знатоков держу. — Он срезал ножом колпачок и одним ударом выбил пробку. — И лимончик дам. Нарезь-ка, Сидоренко. И сахару натолки. Мы с тобой сейчас, инженер, по всем правилам все сделаем. Вилочки, ножички, скатерть постелим... — Он иронически взглянул на замполита. — А ты чего лыбишься? Вам, брат, нельзя, не положено, примером для бойцов должны быть... — И весело подмигнул мне: — Садись, инженер. Что-о ты сегодня как в воду опущенный? Не узнаю. Нагорело, что ли?

Вид у меня был, очевидно, очень растерянный. Я подсел к столику и только сейчас увидел в зеркале, что на мне гимнастерка, расстегнутая телогрейка, а лицом я похож на свою фотокарточку из офицерского удостоверения — ни усов, ни морщин, ни мешков под глазами. Потом я несколько раз ловил себя на том, что поглядываю все время в зеркало, — в последнее время, особенно в парикмахерских, это не достав-

ляло мне удовольствия, сейчас же, наоборот, было даже приятно. Я как-то даже осмелел.

Что ощущал я в эти первые минуты? К концу дня я как-то привык к своему противоестественному положению (именно «как-то», другого слова не нахожу), но в первую минуту у меня было желание рвануться назад, вскарабкаться по скрипучей лестнице и найти того парня в спешке — кстати, фонарик его я до сих пор сжимал в руках.

— А ну покажи, покажи.— Беньяш протянул руку за фонариком.— Где достал? Ты смотри, китайский...

— Китайский...— сказал я, и это было первое, что я произнес.

— Мелитоп, смотри, китайский фонарик. Своих, фрицевских, не хватает, подавай им китайский...

Замполит подошел, взял его в руки, и оба они долго возились с ним, пуская луч в разные стороны и восторгаясь его силой. Потом его рассматривали старшина и связист. Я невольно пожалел, что оставил в каюте свой маленький транзистор «сокол».

— Ну, ладно,— сказал Беньяш.— Хватит баловаться. Пора за работу. Это все разведчики мои.— Беньяш кивнул в сторону спавших в углу бойцов.— Сделали ночью небольшую вылазку и раскулачили офицерский блиндажик. Небось никогда не пил такого, а?

Такой или приблизительно такой я пил в Италии, но это было пять лет тому назад или, наоборот, лет пятнадцать спустя.

— Коньяк приличный,— сказал я, и мы выпили еще по одной.

Беньяш сжалился над замполитом и дал ему тоже попробовать. Затем старшине и связисту. Все хвалили коньяк, закусывали его лимоном, и некоторое время мы говорили о различных напитках, сравнивая их качество и силу воздействия.

Черт его знает, о чем же говорить. Треплюсь о всякой ерунде, а хочется о другом. Ведь я так много знаю. И чем все это кончится, и как долго продлится, и что будет потом. Но как заговоришь? И главное, как уберечь Беньяша от того, что его ждет? Как его предупредить, как удержать?

Позвонили из штаба. Спросили про обстановку.

— Да ничего, тихо,— сказал в трубку Беньяш.— Пока не лезут. Ночью собираюсь... Кстати, у меня тут инженер. Погоди немного, не бросай трубку.— Он повернулся ко мне.— Слушай, у тебя мины есть какие-нибудь там? Мне в одном месте надо было бы поставить, разрыв получился.

Я растерялся — есть у меня мины или нет?

— Радио,— крикнул в трубку Беньяш.— Разуши сапера, выясни насчет картошки и пускай он сюда позвонит.

Так началась моя вторичная служба в армии.

Хуже всего было то, что я все перзабыл. Забыл названия и характеристики мин, забыл, как составляются отчетные карточки на минные поля, как обращаются со взрывателями — одним словом, все забыл. В конце концов это было не очень важно: мой командир взвода — а он к вечеру пришел с двумя саперами и мешком противопехотных мин — во всем отлично разбирался и на него можно было положиться. Но, в общем-то, чувствовал я себя идиотом. Мучительно пытался вспомнить все касавшееся октября сорок второго года. Весь сентябрь я пробыл на Тракторном заводе, готовя его к взрыву, потом нас с этого дела сняли, сколько-то там дней я провел на левом берегу и где-то в конце сентября попал в эту дивизию, в этот полк. Значит, я здесь совсем недавно, дней десять, не больше. На календаре у Беньяша крестиками зачеркнуто все до 5 октября. Сколько же у меня было тогда саперов? Еще порядочно. Сейчас, по-моему, они должны были рыть в крутом волж

ском берегу землянки для командира полка и штаба. Из дальнейшего разговора с Лисогором, моим командиром взвода, выяснилось, что это так и есть,— одну почти совсем закончили и обшивают досками, ко второй только приступили. Кроме того, он мне сказал, что вечером ожидается партия лопат и киркоматыг — приходил связной от дивинженера — и что надо их не прозевать, чтоб не расхватали соседние полки. Я знал, к чему он клонит — свалить минные поля на меня, а самому вернуться на берег: он не очень-то любил передовую. Я на это пошел и отпустил его — в конце концов он привел двух лучших минеров, Шушурина и Сагайдака, а сам он был незаменим в хозяйственных делах, и, если мы хотим иметь побольше лопат, на берег должен идти он, а не я.

Перед самым своим уходом он обнаружил коньячную бутылку и стал делать круги вокруг Беньяша. Но тот сразу дал понять, что из этого ничего не выйдет.

— Есть еще одна. Но откроем мы ее только после того, как будет поставлено минное поле. Ясно?

Лисогор покрутился-покрутился и ушел. Это было вечером, часов около восьми.

До этого я прилично выспался. Всю ночь на теплоходе я почти не спал, поэтому, когда беньяшевский старшина — пожилой, обстоятельный усач — предложил мне тюфячок и одеяло, я с готовностью ими воспользовался. Говорят, днем была небольшая бомбежка, но я ничего не слышал, спал как убитый.

Проснулся оттого, что кто-то деликатно, но настойчиво тряс меня за плечо. С трудом раскрыл глаза — передо мной Валега, мой связной.

— Обед принес, товарищ инженер. Кушать пора.

Я с аппетитом уничтожил полкотелка перлового супа и котлеты из офицерской столовой и, только отдавая Валеге котелок, понял, что все еще больше осложняется. Валеги-то у меня в Сталинграде не было. Был Титков, а Валега появился только летом сорок третьего года, когда я из госпиталя попал в саперный батальон. В Сталинград же, вернее «в окопы Сталинграда», я его перевел уже после войны, пользуясь своим писательским всемогуществом,— об этом я даже написал потом небольшой очерк в «Новом мире» — «Три встречи». И вот, пожалуй, стоит сейчас передо мной маленький, головастый, как всегда угрюмый и недовольный моим поведением — почему ушел в первый батальон без него, непорядок...

Я растерялся, но все же мимоходом спросил о Титкове: где он, чем сейчас занимается.

— Как где? — удивился Валега.— Вы ж его сами в медсанбат отравили. У него ж желтуха...

Так, желтуха... В Сталинграде многие тогда болели желтухой. Желтухой и куриной слепотой — от отсутствия каких-то там витаминов,— но я что-то не припомню, чтоб Титков когда-нибудь чем-нибудь болел — здоровенный сибиряк, никакая хвороба его не брала.

Сложный ход моих мыслей нарушило появление разведчиков. Не батальонных, а полковых. Явилось их четверо — три бойца и их командир Фищенко. Все четверо были в тельняшках, выглядывавших из-под гимнастерок, а командир к тому же и в бескозырке. Вид у всех был лихой, особенно у Фищенко. Кургузая, на три пальца ниже пупка, гимнастерка, черный моряцкий ремень, хромовые сапожки, собранные в гармошку, и фрицевская финка с пупыристой костяной ручкой на боку. На другом боку, вернее на заду,— «вальтер» в изящной кобуре, но без немецкой цепочки-шомпола: к тому времени она слишком вошла в моду и знатоки высшего фронтового шика «сняли ее с вооружения». Все четверо были великолепны. «Великолепная четверка»...

Сняв автоматы, молча расселись на нарах.

С Ванькой Фищенко в те дни мы из-за какой-то ерунды поцапались. Я как старший по званию и возрасту — ему было тогда девятнадцать лет — отчитал его, повернул «кругом, шагом марш!», и он долго мне этого не прощал. Год спустя мы оба были ранены под Голой Долиной на Донце, попали в один госпиталь в Баку, и там он признался мне, что собирался со своими разведчиками сделать мне темную, «чтоб не был таким разумным, интеллигента кусок».

Сейчас он сидел на нарах, расставив колени, и на меня не глядел, насупил. Мне стало смешно. Ведь мы с тобой, гад этакий, в госпитале потом четыре месяца провалялись и никакой водой, никаким брандспойтом разлить нас нельзя было, а после войны три года ты прожил как миленький у меня на диване, когда учился в техникуме. и в этом году прислал мне к 9 мая поздравительную телеграмму великолепного содержания: «Пью победу твое здоровье ты же понимаешь Ванька». А сейчас, кривоногая твоя морда, сидишь и глаз в мою сторону не подымаешь.

Сложность ситуации усугубил Беньяш. Оказывается, разведчики были вызваны им, чтоб обеспечить мне установку минного поля, проверить участок разрыва между второй и третьей ротой. Я невольно подумал, а не в этот ли самый раз мы с Ванькой и поцапались — может, во второй раз удастся этого избежать? Но потом вспомнил, что ссора наша произошла не на передовой, а на берегу.

Так или иначе, но часам к двенадцати вся наша восьмерка — четверо разведчиков, я с саперами и обязательный во всех случаях Валега — отправилась на передовую.

До этого ничего особенного не произошло — немцы вели себя тихо, устроили себе, по-видимому, выходной. Раза два звонили из штаба. Звонил и Лисогор — хвастался, что объегорил соседние полки, взял больше инструментов, чем положено, и успел уже три лопаты обменять на ножницы для резки проволоки, которые у нас сперли, и немецкий автомат.

Когда мы уходили, Беньяш похлопал меня по плечу:

— Вернетесь с победой — ставлю угощение. Учти, участок этот между ротами — паршивый участок, ракет там фрицы не жалеют.

Что и говорить, я волновался. Все-таки последний раз ставил мины двадцать лет тому назад и, хотя перед отходом заставил Шушурина и Сагайдака в порядке, так сказать, тренажа снарядить и разрядить несколько мин, противное чувство страха не покидало меня. Я понимал, что это глупо, что убить меня не убьет, дожил же я до конца войны, и даже не ранит — ожидает меня это не скоро, в июне будущего года, — и все же, что поделаешь, волновался, как необстрелянный новичок.

Подымаясь из подвала по скрипучей лестнице, я невольно поймал себя на том, что втайне надеюсь застать там, наверху, в мясокомбинате, все таким, каким оно было утром — тихим, мирным, с въезжающими и выезжающими машинами, с ругающимся, занудным вахтером. Увы, ничего этого не было — только посеченные осколками стены и воронки от мин...

Весь путь до передовой мы прошли довольно быстро. У длиннущего разбомбленного железнодорожного состава с солью по всем правилам устроили небольшой перекур. Пять месяцев спустя, когда мы будем покидать Сталинград, бойцы моего взвода под руководством Титкова набьют свои сидора прозимовавшей всю зиму солью и потом, на Украине, будут бойко ее обменивать на молоко, сметану, гворог... А потом, в пятидесятом году, нет, позже, когда мы снимали здесь фильм «Солда-

ты», мы с ребятами из группы где-то у этой насыпи тоже перекуривали, и, конечно же, я рассказывал про этот путь от мясокомбината на передовую, а потом наверху, у водонапорных баков, сфотографировались на память.

Вот так-то... А теперь опять иди на передовую, растыкивай эти чертовы мины. Тьфу!

Собственно говоря, я мог и не ходить устанавливать мины — это не входит в обязанность инженера, — но го ли хотел себя проверить, то ли просто растерялся и не знал, как поступить, чтобы не уронить свое достоинство, — так или иначе, но пошел. Думаю, что я скорее мешал саперам, чем помогал, но, в общем, все сошло благополучно и без потерь: мины мы расставили и даже нашлось к чему их «привязать» (самое сложное дело на передовой, где нет ориентиров), потом разведчики, как всегда, отправились к артиллеристам, саперов я отослал домой, а сам завернул в третью роту — я немного растянул связки на правой ноге, хотелось потуже обмотать шишолотку.

Молоденькая санинструкторша — очень хорошенькая, лет восемнадцати, не больше, почему-то я ее совсем не помнил, — быстро и ловко обмотала мне ногу.

— А где командир роты? — спросил я. Фамилию я назвать не решился — забыл, кто в это время командовал ротой.

— Сейчас придет, с минуты на минуту, — ответила санинструкторша и вопросительно посмотрела на меня. — Чайку вам дать? Крепенького?

Я не отказался. Пока она заваривала чай, позвонил Беньяшу и сказал ему, что картошка посажена.

— Приветствую и поздравляю. Заслуженная награда ждет. Не задерживайся.

Но воспользоваться ею, увы, мне так и не пришлось. И Беньяша я тоже уже больше не увидел. Меня до сих пор грызет совесть: битых два часа просидели мы с ним, говорили о всякой дребедени, а о самом главном, о том, что его ждет через месяц и как от этого уберечься, об этом толком-то мы и не поговорили.

А как об этом скажешь? И что скажешь? Не назначай свидания санинструкторшам? Или назначай их в защищенном месте? Береги себя? Переходи в другой батальон? Перенеси КП? Это последнее — единственное, что я мог ему посоветовать, но достаточно мне было тогда об этом заикнуться, как Беньяш гут же поднял меня на смех:

— Да таких хором во всем Сталинграде нет. Ты что, спятил? У самого Чуйкова и то нет. Ютится где-то там на берегу, в трубе, а у нас хоть ансамбль песни и пляски приглашай. И перекрытие дай бог, бетонное... И вообще я, как кошка, привыкаю к месту...

Что я мог ответить?

Итак, чай был приготовлен, разлит по алюминиевым кружкам, и в этот момент явился командир роты.

За те несколько часов, что прошли до его прихода, меня мучило главным образом неполное совпадение прошлого с тем, что происходило сейчас. С самим фактом возвращения в прошлое я как-то примирился (после кибернетики меня ничем уже не удивишь), но какая-то неточность в происходящем, какие-то сдвиги (одновременность существования Титкова и Валегги, например) то и дело сбивали меня с толку. Появление командира роты еще больше спугало карты.

В землянку, тут же за что-то зацепившись шинелью, неловко, как-то бочком втиснулся высокий узкоплечий лейтенант в очках, в каждом движении которого видно было, что это человек сугубо гражданский. Я его сразу узнал. Узнал и обомлел. Это был Фарбер.

Здесь я вынужден несколько отвлечься. Я упоминал уже о написанном несколько лет тому назад очерке «Три встречи». В нем шла речь о моем связном Валеге, вернее о трех Валегах — о действительно существовавшем, о его литературном двойнике из повести «В окопах Сталинграда» и о воплощенном на экране артистом Соловьевым в фильме «Солдаты». Каждый из них существовал сам по себе и в какой-то степени заслонял и подменял собой другого. В очерке я пытался разобраться в их взаимоотношениях, но, кажется, запутал все дело еще больше. Вряд ли в этом вообще можно разобраться. Более того, встретиться мы трое — я, живой Валега и Юра Соловьев, — боюсь, что даже тогда мы не распутали бы этого сложного клубка, вероятнее всего еще больше запутали бы. Но не в этом дело.

Дело в том, что такая встреча могла бы состояться. Могла, хотя о судьбе живого Валеги (а я все еще надеюсь, что он жив) я до сих пор ничего не знаю. Но так или иначе встреча эта теоретически вполне реальна. И тут я возвращаюсь к Фарберу. С ним такая встреча исключена. Исключена по той простой причине, что он слеплен из нескольких людей, виденных мною в разное время и в разных местах. И вот он передо мной. Втиснулся в землянку, протер очки и сел со мной за один стол, вернее за снарядный ящик, покрытый клеенкой.

— Вы долго меня ждали? — спросил он.

— Да нет. Минут пять, не больше.

— А я пулеметы ходил проверять. Один опять из строя вышел. Придется в артмастерскую тащить. Третий раз уже. Все заедает там что-то...

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине. Я узнал этот голос, эту манеру говорить, эти длинные пальцы, эти глаза — умные и грустные, этот взгляд — иногда растерянный, иногда уходящий куда-то внутрь, в себя. Все это принадлежало Фарберу, Фарберу, каким я его себе представлял. И в то же время все это принадлежало еще одному человеку — Смоктуновскому. Да, передо мной сидел Смоктуновский. Иннокентий Смоктуновский, Фарбер из «Солдат»... Сидел и меланхолично помешивал ложечкой чай.

Первые несколько минут я был настолько растерян, что не мог вымолвить ни слова. Фарбер, человек неразговорчивый и малообщительный, молча пил чай, глядя куда-то в одну точку. Санинструкторша, примостившись в углу, перематывала бинты. Где-то тикали ходики. Вошел и вышел боец. Взял лопату и вышел, не произнося ни слова. Все почему-то молчали. Это начинало тяготить. Правда, при Фарбере я, а точнее Керженцев, всегда чувствовал себя неловко и скованно. Но ведь это не Фарбер, это Смоктуновский — человек веселый, остроумный, насмешливый. Вот отодвинет сейчас кружку, хитро взглянет на меня, подмигнет и скажет: «Ну, ладно, хватит дурака валять. Поигрались и будя. Сходим-ка в буфет». Но он не посмотрел на меня хитро, не подмигнул, а все так же, глядя в одну точку, пил чай, изредка барабаня пальцами по столу.

Я встал.

— Пора идти...

Я чувствовал, что настало наконец время собраться с мыслями. Спущусь к Беньяшу, лягу, укроюсь с головой шинелью и постараюсь во всем разобраться. А отчетные карточки и формуляры сделаю утром — не умрет дивинженер...

— Пора идти, — сказал я.

— А нога? Как же нога? — Санинструкторша встрепелулась.

— Вы что, ранены? — спросил Фарбер.

— Ерунда. Малость растянул связки. Это у меня бывает.

Фарбер поднялся из-за стола.

— Тогда я вас провожу.

— Не стоит.

— Стоит. Заодно покажете мне, где вы картошку натыкали.

Мы вышли. Было темно. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Где-то очень далеко стрекочет пулемет.

Пройдя по мелким траншеям — в полный рост так до конца войны мы их и не сделали, — вышли к оврагу и медленно стали спускаться вниз. Оба молчали. Только где-то у выхода из оврага Фарбер сказал:

— Здесь много мелких воронок, осторожно.

У разрушенного моста — перекур. Такова традиция: по дороге туда — под вагонами, обратно — у мостика.

— Сейчас концерт будет, — сказал Фарбер, осветив огоньком сигарки часы. — На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы?

— Должно быть, из Москвы.

Мимо прошли бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса опять будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего зараз нести по четыре батальонных мины. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце — опять на берег, с берега — на передовую, с передовой — на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю.

— Ничего, — равнодушно отвечает Фарбер. — Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высаживались, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение!

— Юнцы?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да... — говорю я. — Паршивая штукавина.

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает вторую сигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— А вам никогда не казалось, что жизнь — нелепая штука? — спрашивает он.

— Жизнь или война?

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос... Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно, вы...

— Да без всякой связи... Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что уже можно подытожить... Вы никогда не задумывались, например, о своей прошлой жизни?..

Стоп! Не повторяться! Все это уже было... И в книге было, и в фильме «Солдаты». В фильме диалог этот между Фарбером и Керженцевым, правда, был несколько сокращен и передвинут в другое место — перед самой атакой, но Смоктуновский и Сафонов сыграли эту сцену прекрасно, выражаясь по-актерски, «концертно». Сейчас мы с Фарбером

повторили не экранный, а книжный вариант. Слово в слово. И хотя все слова, все фразы были придуманы и написаны очень давно, лет двадцать тому назад, мы повторили, точнее воссоздали, их так, как будто рождались они именно сейчас, у этого разбитого мостика, в эту темную, необъяснимо тихую ночь... Потом до нас долетело *Andante cantabile* из Пятой симфонии Чайковского и монотонно прогудел тяжелый ночной трехмоторный бомбардировщик, прозванный «туберкулезом», и Фарбер сказал: «Смешно, правда?» — «Что смешно?» — «Все это... Чайковский, шинель, «туберкулез»...»

Потом концерт кончился. Мы посидели еще немного молча и пошли назад, к Фарберу. Мне не хотелось с ним расставаться.

Не знаю, как для других, но для меня человек, который относится к себе критически и даже в том хорошем, что у него есть, видит скорее плохое, — для меня такой человек всегда притягателен. Нет хуже людей самоуверенных, пусть даже это называется более мягко — уверенных в себе. Война, где многое становится особенно очевидным, еще раз убедила меня, что я прав. Первые воевали лучше вторых. Лучше, потому что требовательны были в первую очередь к себе, а потом уж к подчиненным. Фарбер был именно таким. И Смоктуновский очень тонко это понял и не менее тонко сыграл.

Хорошо, но с кем же я сейчас иду? С кем подымаюсь вверх по оврагу к передовой?

А не все ли равно? Просто мне не хочется расставаться с этим человеком, именно с этим, с которым только что сидел у разбитого мостика и исповедь которого выслушал. Более того, мне захотелось самому говорить — до сих пор я больше слушал, — захотелось рассказать о том, что я знаю, рассказать именно ему, им, сидящим на Мамаевом кургане, придуманным и непридуманным, живым и мертвым друзьям самых, может быть, значительных лет моей жизни... Имею я на это право?

Мы молча, не торопясь подымались в гору. Где-то справа опять застрекотал пулемет. Взметнулось несколько ракет — немецких, конечно, — они медленно опустились, роняя искры, и после них стало еще темнее.

Бог ты мой, где и как собраться с мыслями? Хотя бы каких-нибудь десять минут. Лечь, закрыть глаза и подумать. У Беньяша лег, закрыл и заснул...

А сколько таких минут, сколько часов было у меня на пароходе! Шезлонг, свежий ветер, чайки, проплывающие мимо берега... О чем я думал? О сценарии, который должен закончить, о том, что писать его надо, но не получается, о неведомом режиссере, который по этому сценарию будет делать фильм, о будущих редакторах, главке, министерстве, которые будут убеждать меня делать так, а не так, хотя я знаю, что надо делать именно так... А вообще-то я просто сидел в шезлонге, читал, смотрел по сторонам и старался ни о чем не думать. Потом учил солдат уму-разуму: вот, мол, как воевали ваши отцы, в книгах обо всем этом не прочтешь, а отцов становится все меньше, все меньше...

Нет, собраться с мыслями мне не удалось. Прогулка наша кончилась. Мы вернулись в землянку...

И вот тут-то...

Я подошел наконец вплотную к самому сложному моменту всей этой удивительной истории. Возможно, все обернулось бы иначе и бог его знает, как закончилось бы, если бы Фарбер, забравшись в землянку, не спросил бы у связиста, звонили ли ему из штаба.

— Да нет, — вяло, очевидно спросенок, ответил связист. — Из штаба не звонили. Отдыхают все, не только фрицы... — Потом, вспомнив, доба-

вил: — Да, лейтенант Керженцев звонили, спрашивали, надолго ли вы ушли...

Лейтенант Керженцев? Что ж это такое в конце концов? Не может быть, чепуха какая-то. Пусть что-то там дофантазировано, изменено, придумано, добавлено, передвинуто, но Керженцев и я. в общем-то, одно и то же лицо... Правда, мне до сих пор неизвестно, за кого именно меня здесь принимают — ни по имени, ни по фамилии меня не называют, говорят «инженер», «товарищ инженер», «лейтенант», и, в общем-то, я не очень удивился бы, если б меня назвали Юрием, но то, что сколько-то там времени тому назад этот самый Юрий звонил сюда и в любой момент может опять позвонить, а то и зайти и протянуть руку — согласитесь, тут есть отчего окончательно стать в тупик.

Я в лоб спросил Фарбера:

— Кто это Керженцев?

— Как кто? — удивился Фарбер. — Комбат-два.

— Его зовут Юрием?

— Юрием.

— Он из Киева?

Фарбер недоуменно смотрел на меня.

— Я не понимаю ваших вопросов. Что они значат?

— Они значат то, что значат... Можно мне поговорить с вами серьезно?

Фарбер все так же недоуменно смотрел на меня.

— Пожалуйста...

Весь последующий разговор в основной, существенной его части я привожу текстуально, хотя ни тогда, ни потом не записал ни одного слова из него — просто я до сих пор слышу глуховатый, негромкий голос Фарбера, слышу каждую его интонацию, вижу его плохо выбритое лицо, освещенное неярким светом копящей гильзы, его глаза, руки, его расчесанные, падающие на глаза, давно не стриженные волосы. Помню хорошо, как будто он сидит сейчас передо мной, маленького связиста, сначала дремавшего, положив голову на руки, потом начавшего к нам прислушиваться и даже вступившего в разговор. У него очень забавно торчали уши на совершенно круглой, коротко остриженной голове, и фамилия у него тоже была забавная — Лаидрин. Помню, как в середине разговора в углу вдруг что-то зашевелилось, и это оказался фарберовский старшина — приподнялся, посмотрел на нас заспанными, ничего не соображающими глазами, сказал: «И чего она от меня хочет? Чего? Что она мне — жена?» — и опять завалился спать. Одним словом, помню все, от первой до последней минуты, от первого до последнего слова.

Итак, Фарбер сказал: «Пожалуйста». Я собрал в себе все, что во мне было трезвого и разумного, и начал так:

— Я прошу отнестись к нашему разговору самым серьезным образом. Многие из того, что я вам сейчас скажу, — нет, не многое, по-видимому, даже все. — покажется вам странным, неправдоподобным, даже диким. Я не удивлюсь, если вы посчитаете меня ненормальным. Но, поверьте, что это не так. Я нормален, как никогда, ненормальна ситуация, в которую я попал. Разобраться один в ней я не могу. Поэтому я обращаюсь к вам. Вам я верю.

Всю эту вступительную тираду я произнес очень медленно, подбирая и взвешивая каждое слово. Фарбер молча слушал. Под конец кивнул головой — слушаю, мол. Я продолжал:

— Как бы вы отнеслись, например, и что подумали бы обо мне, если б услышали от меня, что сегодня утром я стоял на палубе великолепного белоснежного турбоэлектрохода «Россия» II, опершись о перила,

смотрел, как он пришвартовывается к пристани, на которой громадными буквами написано «Волгоград».

— Что ж,— Фарбер улыбнулся,— сначала удивился бы, потом спросил бы, а что такое Волгоград?

— Волгоград — это Сталинград. Его переименовали в тысяча девятьсот шестьдесят первом году после Двадцать второго съезда...

Зажмурив глаза, я выстрелил этой фразой и ожидал после нее определенной реакции — недоумения, возмущения, недоверчивой улыбки, совета обратиться в санчасть. Но Фарбер даже не улыбнулся, а просто сказал:

— А вот то, что сейчас здесь происходит, как называется: может быть, Волгоградская битва?

— Представьте себе, одно время некоторые говорили именно так.

Несколько секунд мы молчали, потом, зажмурившись опять, я сделал второй выстрел:

— Из сказанного мною единственное, что вас поразило, это переименование Сталинграда? Больше ничего?

— Простите, но, кроме этого, вы пока ничего не сказали.

— Нет, я сказал о Двадцать втором съезде.— Опять молчание.— А до него были Двадцать первый и Двадцатый, было развенчание культуры личности. А до этого еще масса событий, в том числе победа над Германией и разгром немцев вот здесь, под Сталинградом.

Фарбер оживился.

— Разгром? Победа? Ни минуты в этом не сомневался. Верите, ни минуты... А когда? Когда?

— Здесь — второго февраля сорок третьего года. А над Германией в сорок пятом году, девятого мая...

Фарбер посчитал на пальцах.

— Октябрь, ноябрь, декабрь, январь... Четыре месяца все-таки. Порядочно...

— За четыре месяца знаете сколько тут народу перемелет? Подумать страшно.— Это сказал связист Ландрин. Потом добавил: — Особенно если пацанов и стариков будут присылать. Винтовка из рук валится.

Я не выдержал:

— Слушайте, Фарбер, вы что думаете, я в игру с вами играю?

— Если в игру, то занятную. Но я вовсе этого не думаю.

— Что же вы думаете?

— Пока ничего. Жду.

— Чего?

— Ваших объяснений.

В этом месте проснулся старшина, потом пришел боец и сказал, что командир взвода интересуется, почему до сих пор не принесли с берега ужин. Связист позвонил на берег и узнал, что ужин уже в пути. Когда боец ушел, Фарбер посмотрел на меня, как мне показалось, с улыбкой, а может быть, это мне действительно показалось, и тихо заговорил, коснувшись моего плеча:

— Я сказал, что жду ваших объяснений. Нет, я не жду их. Я готов принять, что есть на свете явления, которые трудно объяснить. Что такое, например, шаровая молния, явление Фединга, Тунгусский метеорит, телепатия... Я, например, верю в телепатию, верю в передачу мыслей на расстояние. Я знал человека, который утверждал, что живет второй жизнью, что первый раз дожил до шестидесяти с чем-то лет и умерщвлен был опричниками. Все считали его сумасшедшим, а мне очень интересно было с ним разговаривать, особенно когда он

начинал рассказывать о князе Курбском, которого, по его словам, будучи московским боярином, хорошо знал. Может быть, он действительно его знал...

— Уж не считаете ли вы и меня...— начал было я, но Фарбер тут же перебил:

— Упаси бог. Я ничего не считаю. Просто мне хочется облегчить ваше положение. Облегчить, дав понять, что верю в ваш утренний — как он называется — турбоэлектроход? — не меньше, чем в то, что параллельные линии пересекаются. Пусть в бесконечности, но пересекаются. Утверждают же, что пересекаются, и мы верим — что остается делать? И в бесконечность верим, хотя понять и объяснить ее не можем.

— Спасибо,— сказал я.

— Не стоит благодарности,— в тон мне ответил Фарбер.— Благодарить надо немцев, дают нам сегодня спокойно поговорить...

(К слову сказать, весь день и ночь я удивлялся неестественной тишине на передовой. Потом уже, после всех этих событий, я обнаружил в своей книге, которую после многолетнего перерыва, конечно, сразу же перечитал, что в начале октября немцы дали нам два дня отдыха: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было.)

— Так что,— продолжал Фарбер,— не будем тратить время попусту, скоро и ночь пройдет. Вот вы упомянули о культе личности. Это что? Неужели речь идет о...— Он запнулся.

— Да.

— Невероятно...

Фарбер повернулся к Ландрину:

— Шел бы ты спать. Я тут сам у аппарата подежурю.

— Я что, мешаю?

— Говорят тебе, иди спать, и все.

Впервые я услышал в голосе Фарбера повелительные интонации.

Ландрин неохотно вышел.

— Все это слишком сложно, пусть лучше поспит. К тому же треплив невероятно. Бог его ведает, чего на весь полк наболтает.— Помолчав, он добавил: — А что, были еще какие-нибудь перемены? Вернее, будут?

— Да... и довольно существенные.

Я пытался обратиться с мыслями. А они расползались.

В землянке никого не было. Только я и Фарбер. Пора... Больше тянуть нельзя. Расскажу обо всем, что знаю, чему мы, оставшиеся в живых, были свидетелями. Но Фарбер мне не дал.

— Погодите. Не торопитесь. Для одной ночи, пожалуй, многовато. И вообще сочтите меня страусом, кем угодно, но я еще не уверен, что должен все это знать. Узнавать надо все самому, из жизни. А сейчас — мы воюем, вот и все, правда? Даже здесь еще четыре месяца прозоюем. До февраля, вы сказали?

— Да, до второго февраля. А потом будете приводить себя в порядок, пополняться. На Украине, в районе Купянска. До самого июля.

Фарбер вынул и поставил на стол рыжую круглую, как у всех нас в то время, коробку с табаком.

— У вас есть газетка?

Я стал рыться в карманах и, к своему удивлению, обнаружил в левом кармане гимнастерки кожаный бумажник с изображением оленя, купленный в прошлом году в Таллине. В нем лежал аккредитив и несколько почтовых марок. Я их купил несколько месяцев назад, 9 мая, в Москве на Центральном телеграфе, серию марок, посвященных двадцатилетию окончания войны.

— Вот вам маленькое доказательство того, что утром действительно был турбозлектроход «Россия».

Фарбер взял протянутые марки. Они были большие, квадратные, с золотым тиснением, датой 1945—1965 и копиями известных картин периода войны. На одной, в шестнадцать копеек, изображена была картина Юона «Салют Победы» — Кремль, Красная площадь, небо в огнях...

Фарбер долго рассматривал ее, потом сказал:

— Хотелось бы дожить... Представьте себе, хотелось бы...

Я вспомнил, что Смоктуновский воевал под Сталинградом, и как-то само собой у меня вырвалось:

— Доживешь, Кеша, доживешь.

— Как вы сказали?

— Доживете, говорю. Я это знаю.

Фарбер поднял на меня глаза.

— Мы что?.. После войны мы с вами встретимся?

— Встретимся. Даже здесь, в Сталинграде...

Фарбер снял очки и несколько секунд молча смотрел куда-то в угол.

— М-да... Все это очень странно. Очень...

Он опять надел очки и внимательно стал разглядывать другую марку, репродукцию известной картины Ф. Богородского «Слава павшим героям». Мертвый моряк, лежащий, очевидно, на носилках, укрыт шинелью. Над ним склонилась мать. На переднем плане коленапреклоненный офицер в живописной плащ-палатке и с множеством орденов. Сзади два суровых солдата с автоматами, тоже в плащ-палатках и в касках. Все это на фоне громадного знамени. Откуда-то падают кленовые листья.

Я так подробно описываю эту случайно подвернувшуюся марку не потому, что я был когда-то заядлым филателистом, а потому, что именно она, эта марка, отвлекла нас с Фарбером от разговора, которого оба мы до смерти хотели, но оба опасались, а потому и оттягивали.

— Вы знаете, о чем я сейчас подумал, взглянув на эту роскошную марку? — сказал Фарбер после недолгого молчания. — О том, что будут о нас рассказывать, когда кончится война. И как?

Я мог на этот вопрос ответить, но промолчал. Мне интересно было, что дальше скажет Фарбер.

— Вот пройдет сколько-то там лет — десять, двадцать, тридцать, сто, — и придут сюда, на это место, где мы сейчас с вами сидим, люди. Школьники, пионеры, экскурсанты. А с ними экскурсовод. Что он им расскажет? Что они увидят? Что поймут?

— Что увидят, пока трудно сказать. — Я вспомнил свое первое посещение Мамаева кургана. — А расскажут, очевидно, о боях, о героизме, о стойкости сталинградцев...

— Слова, слова, слова... Все это не то... Я знаю, как надо рассказать. Оставить все, как есть — окопы, блиндажи, землянки. Чтоб пришли люди и увидели — вот как они воевали. Сидели в этих норках, отбивались в этих окопах неполного профиля с трехлинейкой в руках, ворчали, ругались, курили одну сигарку на троих, ползали в грязи на брюхе, спали под любой бомбежкой, а в результате, если верить вам, победили. — Он старательно и очень аккуратно разорвал надвое листок отрывного календаря, на котором лежал сахар, и протянул одну половину мне. — А в общем-то, друг Горацио, рано еще об этом говорить. Давайте закурим...

— Вы поклонник Шекспира, — сказал я.

Фарбер улыбнулся, второй раз за все это время.

— Скажу по секрету: в свое время я держал экзамен в театральную студию и с треском провалился. А Шекспира действительно люблю... —

Он посмотрел на часы.— Ого! Скоро уже и подъем. Не вздремнуть ли нам? Боюсь, что фрицы завтра попытаются возместить свое сегодняшнее молчание.

Я тоже посмотрел на часы. Было без четверти семь. Разумнее всего было бы, конечно, пользуясь последним темным часом, отправиться к себе на берег или хотя бы к Беньяшу, но я почувствовал вдруг такую усталость — после всего дня, минного поля, ночного разговора,— что о столь долгом путешествии и думать не хотелось.

— Я останусь у вас,— сказал я Фарберу.— Не прогоните?

— Конечно же, прогоню.— Он огляделся по сторонам.— Место старшины вас устроит? Небось шестой сон уже видит.

Старшина, покашливая, поднялся и вышел на двор. Я последовал за ним.

Уже светало. Левый берег Волги рисовался совсем четко. Где-то там, за горизонтом, находятся наши аэродромы. С первыми лучами солнца, неистово гудя, пронесутся над головой «нлюши» — штурмовики, и почти сразу же вернутся продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас своими шасси. Вернется половина, а то и меньше. «Мессера» долго еще будут кружиться над Волгой, а где-то далеко за Ахтубой печально подымется к небу черный гриб горящего самолета... А потом появятся «певуны», или «музыканты»,— Ю-87, по-немецки «штукас»,— красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. И целый день будут они на нас пикировать, сбрасывая бомбы, психологически распределяя дозы, гудя своими мерзкими сиренами от темна до темна... Так продлится весь октябрь. И начало ноября. 13 ноября будет последняя бомбежка. «Хейнкели» и «юнкерсы-88». Сделают три захода, сбросят вразнóбой бомбы, не пикируя, и улетят. Навсегда... 19-го начнется наше наступление.

Почему я все-таки не рассказал обо всем Фарберу? Побоялся? Чего? Ответственности? За что? Ведь если знаешь, что победишь, легче воевать. Я ему сказал об этом. Ну, а о том, что после радостных дней мая сорок пятого года наступили январь и февраль пятьдесят третьего,— нужно ли было об этом говорить? Как об этом всем скажешь? Как скажешь о том, что имя, которое в годы войны олицетворяло собой партию, Советский Союз, победу, через несколько лет стало звучать иначе?

Конечно, о тридцать седьмом годе Фарбер знал и без меня. Но мы никогда об этом не говорили. Ни о сверстниках, ни о друзьях, ни об отцах, которые не могли, как мы, защищать родину с оружием в руках, о которых мы думали с болью и недоумением. Мы избегали об этом говорить... Ну, а теперь? Я ведь мог рассказать о многом, чего Фарбер не знал. О возвращении из лагерей, о восстановлении чести и достоинства тех, кому, увы, не пришлось вернуться, о многом, что изменилось в нашей жизни после пятьдесят третьего года... Но как обо всем этом скажешь? За один час, за тот единственный час, который остался до рассвета, до того момента, когда, может быть, надо будет подымать солдат в атаку?

Нет, очевидно, Фарбер прав — узнавать надо все самому, из жизни...

Где-то внизу, у подножья кургана, раздался гудок. Низкий, чуть хриловатый гудок... Я вздрогнул. Потом послышался отдаленный, все приближающийся стук колес на стыках, и хрип паровоза еще долго стоял в моих ушах. Наконец затих. И тут прокричал петух. Господи — и три раза...

Если я сейчас же не лягу спать, я сойду с ума...

Но в эту ночь мне не суждено было спать. Фарберовской землянки, той самой, из которой я только что вышел, в которой перевязывал ногу,

пил чай, разговаривал с Фарбером, маленькой, неказистой землянки с коптящей гильзой. храпящим старшиной и лопухим Ландриным — ничего этого не было... Вот так — не было. Ни следа. Ни признака...

Зато прямо передо мной, чуть левее водонапорных баков, высилось нечто громадное, непонятное, напоминающее издали не то утес, не то руину какого-то здания... Подойдя ближе, я увидел, что это гигантских размеров изображение полуголого человека с автоматом в руке. Мне стало не по себе...

Вечером того же дня, выйдя из своей каюты, я нос к носу столкнулся со своими ребятами-солдатами. Они, вежливо поздоровавшись, прошли мимо, потом один из них, тот, что постарше, подошел ко мне.

— Вы нас простите, но мы очень хотели бы... Может, не откажете...

В ресторанс мы пустого столика не нашли, поэтому вынуждены были подсесть к пожилому лысому человеку, печально сидевшему над куском осетрины и полупустым графинчиком чего-то, напоминающего портвейн.

— Мы вам не помешаем? — спросил старший из солдат.

— Чего там... Садитесь, коль пришли.

После первой рюмки — она была поднята за город-герой, который мы недавно покинули, — младший из солдат, чтоб завязать никак не начинающийся разговор, спросил меня:

— А где это вы руки так поцарапали?

Я посмотрел на свои руки — они действительно были все в царапинах.

— На Мамаевом кургане, — сказал я.

— А вы там были?

— Был.

— И шахиншаха видели?

— Нет, шахиншаха не видел.

— А мы видели.

— Ну и как?

— Ничего. Представительный мужчина. Седой, в темных очках. С девятнадцатого года, говорят. И шахиня с ним. Черноглазенькая такая...

— Она архитектор по образованию, — мрачно сказал наш сосед.

— Да, архитектор, — с готовностью согласился младший из солдат. — В Париже, говорят, училась.

Некоторое время разговор крутился вокруг шахиншаха, его супруги, его ситы, автомобилей, венков, почетного караула, потом стал увядать. Солдаты чувствовали себя неловко, я молчал, зато унылый наш сосед, заказав себе второй графинчик, вдруг оживился:

— Вот смотрю я на вас, молодых людей, защитников родины, и знаете, о чем думаю? Были вы на месте великих боев, великого кровопролития, где люди жизнь отдавали, чтоб вам жилось хорошо. Не им, а вам. А вы, кроме шаха и шахини, ничего там не увидели. Ну, приехал шах, ну, возложил венки, все возлагают венки, а вы рты поразевали.

— Так мы ж в первый раз, интересно все же... — робко сказали солдаты.

— Что интересно? На царей смотреть? Я вот на этом кургане тоже воевал. Пришлось. Ну не на самом кургане, но бывать приходилось. Не узнаешь его теперь. Не курган, а символ. Это про отцов ваших, про героизм ихний.

Ребята вдруг обиделись.

— Не учите нас, — сказал старший. — О том, что здесь происходило, мы понимаем не хуже других. Если что, мы ведь и сами... — Он замолчал и видимо смутившись резкости своих слов, протянул соседу пачку «казбека».

— Нет, батенька, не курим. Давно не курим, второй год уже не курим. И что ж, утром проснусь, хоть бы раз кашлянул. Не верите? — Он посмотрел на меня. — Попробуйте. Вы, я вижу, одну за другой, изо рта не выпускаете. Напрасно. В высшей степени напрасно. Человек вы немолодой, книги и газеты читаете, о губительных последствиях никотина, очевидно, знаете...

— И водки тоже. — Я посмотрел на своих ребят, они еле сдерживались от смеха. — Может, повторим вчерашнее, пойдем в мою каюту, а?

И мы пошли в мою каюту. Но о войне я больше не говорил. Выпили только положенную на троих норму и разошлись. Из остатков водки я сделал себе компресс — шиколотка моя все-таки распухла и стала багрового цвета.

На этом можно было бы и кончить эту в высшей степени странную, так идиллически закончившуюся историю. Но еще об одном эпизоде, имеющем к ней косвенное отношение, я не могу не рассказать.

Месяца через полтора-два в Москве я повстречался с Смоктуновским. Он был не один, с ним шел человек, назвавшийся при знакомстве Василием Григорьевичем Шуйским.

Он был немолод, лет шестидесяти, очень бледен, с высоким лбом и умным, немного ироническим взглядом. Одет был просто, я сказал бы даже неряшливо, как одеваются среднего достатка, много уже повидавшие актеры. Но что сразу приковало мое внимание — это огромный сердоликовый перстень-печатка на указательном пальце правой руки. Разговаривая, он машинально все время его вертел. Мне очень хотелось рассмотреть его повнимательнее, но я постеснялся.

Когда Василий Григорьевич ушел, Смоктуновский сказал мне:

— Очень интересный тип. Когда-то был актером, и, говорят, неплохо. Сейчас суфлер. Одинокий. Очень милый. Много читал. Это чувствуется, правда? Но есть у него один псих. Ты видал этот перстень? Так вот, он утверждает, что подарен он ему ни более ни менее как князем Курбским. А? Неплохо? Встретишься с ним — не пожалеешь и послушаешься таких рассказов, что граф Алексей Константинович Толстой позавидовал бы...

Но Василия Григорьевича я больше не видел. Авось встретимся еще когда-нибудь. Интересно все-таки. Впрочем, интересными встречами меня теперь не удивишь.



А. МЕЖИРОВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

ЛАДОГА

Вл. Лифшицу.

Сон. Машину с неслитой водой
У землянки оставил на стуже.
Это дело чревато бедой,
Все равно, что испортить оружие.

Гнал машину за Ладогу, в тыл,
На сиденье промерзшем елозил.
Ах ты господи, воду не слил —
Неужели движок разморозил?!

Мне комбатом совсем не за так
Эта самая ездка обещана.
Если выбьет заглушку — пустяк,
Хуже, если на корпусе трещина.

По настилу к машине бегу.
Моросянка. Бусит, как из сита.
Коченеет мой «газик» в снегу, —
А вода, как положено, слита.

Возле печи валюшь досыпать,
Но, пристроясь к сердечному стуку,
Возникает в землянке опять
Тот же сон — хорошо, что не в руку!

ПРЕДВОЕННАЯ БАЛЛАДА

Сороковые, роковые ..

Д. Самойлов.

Летних сумерек истома
У рояля на крыле.
На квартире замнаркома
Вечеринка в полумгле.

Руки слабы, плечи узки. —
Времени бесшумный гон, —
И девятиклассниц блузки.
Пахнувшие утюгом.

Пограничная эпоха,
Шаг от мира до войны;
На «отлично» и на «плохо»
Все экзамены сданы.

Замнаркома нету дома,
Нету дома, как всегда
Слишком поздно для субботы
Не вернулся он с работы —
Не вернется никогда.

Вечеринка молодая —
Времени бесшумный лёт,—
С временем не совпадая,
Ляля Черная поет.

И цыганский тот анапест
Дышит в души горячо.
Окна звонкие крест-накрест
Не заклеены еще.

И опять над радиолой,
К потолку наискосок,
Поднимается веселый,
Упоительный вальсок.

И под вальс веселой Вены,
Шаг не замедляя свой,
Парами
 в передвоенный
Роковой, сороковой...

НОВЫЙ ВОЗРАСТ

Плясало надменное пламя,—
И я, выбиваясь из сил,
Ненужными бредил делами
И лишние вещи носил.

Но ветер-предзимник лютует,
И волос почти поседел,
И возраст сурово диктует
От лишних избавиться дел.

Насущное видится резче
Глазами разумной жены.
Прощайте ненужные вещи,—
О, как вы мне были нужны!

Останется нужная только,
Нужнейшая самая часть.
Но жизни заметная долька
От жизни успела отпасть...



В. КЛИМУШКИН

★

ДВА РАССКАЗА

Зойка

Где-то около полудня, непогожим осенним днем с разлетающимся на бесконечные клочья низким небом, серыми порывами мороси на плачущих стеклах, как есть с постели, сидел у себя дома, на стуле у окна, строительный мастер Василий Антонович Дронов, потряхивал нечесаной головой, словно пытаюсь сбросить одетый на нее невидимый обруч, барабанил пальцами по столу, напевал рассеянно мотивчик, залезший в голову с самого утра, неизвестно где, когда и от кого услышанный. «Зачем я мальчиком родился...» — медленно и с неохотой выводил он тоненьким голоском, скупая глазами по столу, по буфету с растворенной дверцей и разбитой чашкой в нем, по стене с заплывшей бесструнной скрипкой, с чьей-то фотографией под нею... «Зачем я полюбил тебя...» Дальше не знал и дополнял мурлыканьем.

Мурлыкал Дронов и мурлыкал, — и мотив ему надоел, и не оторваться, да и другое не лезло в голову. Это как детская конфета тянучка: жуешь-жуешь — и выплюнуть охота, а не выплюнешь — сладко, хоть и во рту вяжет...

Воскресный день у Василия Антоновича Дронова начался на редкость неудачно. Поутру было тихо, не звонил будильник, как в обычные дни, а поспать не пришлось: во-первых, приснился сон, будто прораб Стрельников, добряк и молчальник наяву, гоняется за ним с тяжелой связкой бумаг в каком-то помещении, вроде бы в конторе, бьет его по голове и приговаривает еще со злорадством: «Вот тебе, вот тебе... и еще тебе». Дронов аж вздрогнул, проснулся с сильно бьющимся сердцем, понял, что лежит на левом боку, успокоился было и повернулся на другой бок, но тут заходила, поплыла сразу перед глазами комната, затяжелило, лишь приподнял с подушки голову, стянутую жестоким обручем после вчерашней беспорядочной, по случаю дня получки, выпивки, не оставившей сколь-нибудь ясных следов в памяти, кроме смутного ощущения неловкости от громких речей, запанибратских похлопываний, душевных разговоров с какими-то знакомыми и незнакомыми личностями. Дронов полежал еще немного с закрытыми глазами, повспоминал подробности вчерашнего, но все путалось в голове, и воспоминаний не получилось, — так оно всегда и бывает...

Поддал Дронов сердито одеяло ногами, потер кулаком голову, сел на кровати. Вот тебе и выходной день: ждешь его, надеешься хоть отоспаться за все дни, да не просто выспаться, а с долгими потягиваниями, зевотами полежать, не открывая глаз, в постели, поулыбаться очередным островам передачи «С добрым утром», послушать музыку, баюкающую

нежно сквозь дремоту, потом подняться не спеша, умыться, одеться, ощутить прикосновение чистого белья, словно вливающего в тебя добрую порцию свежести и бодрости. А вместо этого проснешься ни свет ни заря и кидаешь по кровати тело с бока на бок...

Так и получается всегда, когда ждешь чего-то, а как дождешься — тьфу! Даже плюнуть хочется...

Поднялся Дронов тяжело со стула, прошелся по комнате, налил воды в стакан, стоя, мелкими глотками принялся пить у буфета. Должны бы сегодня гости приехать, приятель мастер с женой, — да где придут в такую погоду? И черт с ними, не до гостей сейчас...

Выпил воду Дронов, ссутулясь, подперев руками голову, оглядел себя в зеркальную дверцу буфета. Хорош, тоже мне, Василий Антонович... Глядело на него худое, помятое, грустное лицо с заметными линиями морщин у глаз, да и лоб весь в морщинах, и на щеках под глазами пятна какие-то пошли, и на голове, как ни прикрывай ее длинным, все еще густым пока волосом, плешь уже намечается обширная. Мигал-мигал Дронов покрасневшими с похмелья глазами в зеркало, и жалко ему самого себя стало, до того жалко, что сладкий озноб по телу пошел, от этой жалости ревмя реветь хочется или нахлестаться до буйства и первому встречному-поперечному вывернуть все обиды, копившиеся годами, рассказать обо всем, что подступило сейчас комом к горлу: о том, как неудачно сложилась жизнь, о теперешнем холостяцком житье-бытье и что уже переваливает за тридцать пять, а на работе замучили командировки, долгие разъезды — мотаешься целыми днями, ночуешь где придется, мерзнешь, неделями не переодеваешься, а у начальства хоть и на хорошем счету, только благодарность тоже шиш заработаешь: давай, мол, работай... Подстегивал себя, мучил, припоминая все новое и новое, Дронов, пока не повело разноцветными кругами голову — и набухли и застучали жилки на висках, и полезло целыми кусками из прошедшего...

Тут и Василий Дронов, улыбчивый, аккуратно причесанный парень, на выпускном вечере в техникуме, — музыка, ярко разряженные однокурсницы, гомонящий, освещенный зал. Василий стоит, прислонившись к стене, возле колонны с хитроумной лепкой наверху, и делает, вернее старается делать, вид спокойный и безразличный. Но это все только кажущееся: незаметный, искоса взгляд вырывает из толпы, среди множества проплывающих, колышущихся перед глазами молодых лиц и улыбок одну точку и надолго привязывается к ней — хоть сейчас закрыл глаза, встанет снова. Эта точка для Василия в движущемся, словно волнуемом ветром зале — красный бант; лица память не уберегла, а красный бант остался навсегда. Она танцует с незнакомым рослым парнем, танцует, как все, строго, по всем правилам, как учили на школьных вечерах, и он тоже кавалер как кавалер, но что-то мучит Василия, срывается безразличие на его лице в гримасу. Кусает губы Василий и ничего не может поделать с собой, не может ни взгляда отвести, ни сердце унять, до болезненного громко отстукивающее одним и тем же кодом: «Посмотрит или не посмотрит... Неужели не посмотрит? Знает же хорошо... Чувствует...» И выдает себя Василий, сразу, не в силах сдержаться, расплываясь в глупейшей, как ему кажется, улыбке... Обернулась!.. Увидела!.. Смотрит!.. Пошатываясь, идет он из зала и, взяв у кого-то из протянутой пачки папиросу, в первый раз затягиваясь длинными затяжками, стоит в дверях, не сводя глаз с пробирающегося к нему через весь зал красного банта...

И деревенское лето, пахучее утро с четкой кромкой спокойных розоватых облаков на горизонте, — они едут куда-то с отцом на телеге, кажется на покос, едут долго, телега прыгает и переваливается на колдобинах тенистых лесных дорог, весело пылит на полевых... Маленький Васька

упал на дно телеги, лежит, подсунув руки под голову, пошевелиться лень, а солнце выше и выше, уже над полями, все лучи можно пересчитать, и само кажется цветком, не то подсолнухом, не то еще каким-то, старинным, виденным на полотенцах и вышивках бабушкиной работы.— вот оно начинает припекать, становится жарко, и по солнечному лучу, прямо к нему в телегу, спускается застенчивое тилиликанье жаворонка...

Аж глаза закрыл, застонал Дронов... Все так, словно картину рассматриваешь — стоишь рядом, видишь яркие, наложенные густо мазки, глаза слепят краски, занимают одни цвета, и только, а отойдешь чуть подальше — и мазки складываются между собой, намечаются очертания, начинаешь различать детали, потом получается и сама картина, и, что самое невероятное, нельзя подойти к ней снова, потрогать руками, разглядеть поближе поразившие тебя места... Все прошло, все — музыка, улыбки родных и друзей, ожидание своей выдуманной незнакомки, первая любовь, умные книги, бессонные ночи и грустные стихи... А что же дальше теперь? Все покатится по-старому, незаметно, хлопотливыми днями — и ожидания позади, и вся жизнь позади...

«Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком», — кольнуло еще одним, строчкой из любимого когда-то... Так-то... Дронов оторвался от зеркала, налил себе воды, выпил еще стакан, поплескал на лицо, на грудь, стараясь отогнать от себя мысли, лезшие безостановочно, словно в голове у него испортился какой-то механизм, но прогнать или остановить их было уже не так просто, ему еще раз ждало сердце и гулко ударило им в грудную клетку...

Он постоял, подумал, повздыхал, и ему захотелось почитать хорошую книжку, развлечься; есть же такие, сам любил когда-то — попадетсЯ, читаешь-читаешь, оторваться не можешь. К тому же, в противовес бсей этой путанице в голове, может, и вычитаешь что-нибудь дельное, легче сразу станет... Он долго, присев на корточки у низкой этажерки с отбитой ножкой, копался в тощем ее содержимом — тонкие специальные брошюрки, полное собрание сочинений Шолохова, папки с деловыми бумагами, толстая порванная книжка без обложки, с лохматыми краями, на месте разрыва, на последней странице, слова: «И вечный ропот человека их вечный мир не возмутит...» И здесь одна меланхолия... Попался на глаза новенький, в твердом переплете, купленный недавно «Справочник маляра-альфрейщика». Дронов псвертел его в руках, полистал страницы и сел на прежнее место к окну читать.

Читал недолго — надоело; он кинул справочник обратно на этажерку, залил авторучку, взялЯ за папки, сел к столу писать наряды. Дело это, малинтересное на первый взгляд, в жизни Дронова занимало важное место. Он не любил составлять наряды в конторе, где вечная толчеЯ, табачный дым, хлопанье дверьми, стучанье машинок. Хотя наименование всех работ вЪелось ему в память, в справочник не заглядывал, — в этом деле он всегда старался быть аккуратным, любил обдумать все и без спешки. Взять, к примеру, такую операцию, как «перенос кирпича на расстояние... и укладка его в штабель». Вчера только подсобница Фимка, толстая, неопределенного возраста украинка — неопределенного из-за черноты лица и волос, вечно накрашенных, бурачного цвета щек и нахальных, неморгающих, навывкате глаз, — вчера только Фимка кричала и аж притоптывала ногой в тяжелом кирзовом сапоге:

— Да це ж рази десять метров, Василь Антоныч, да подивитесь жа, тут уси сто и с гаком! — И подмигивала товаркам и самому Дронову. — Да подойдите сюды, да подивитесь жа, и як таскали, це ж все носилками, через увесь двор. да подивитесь жа, Василь Антоныч...

Дронов страдал про себя, слушая хитрую бабу, объяснял как мог убедительнее, руку к груди прижимал:

— Да поймите ж, мне самому не жалко, хоть километр вам напишу, все равно ведь в расчетном столе не пройдет, и не подпишет никто, не дураки ведь...

— Да пишите, Василий Антоныч,— хлопала себя по коленке рукавицей Фимка.— Ей-богу, пишите... Так, девки?..— И смотрела дерзкими глазами и на девок и на Дронова.

Как ни увертывался Дронов, а записал двадцать метров, что с ними поделаешь. Подсобницы эти — особая статья, набраны кто откуда и испугать их нечем: уйдем, говорят, хоть сейчас. Начальство на это сквозь пальцы смотрит, сами понимают: заработка нет, кто ж работать станет?.. Плотничья бригада — совсем другое дело, люди в основном пожилые, семейные, свое дело знают и цену себе знают, заработки всегда приличные; придут, посмотрят, проверят, потолкуют и мастеру подскажут, где ошибка какая и что к чему — и все без шума, не торопясь, с перекурами, без обиды. И Дронова все знают, и он всех их изучил, и все у него с ними всегда гладко и благополучно. А с такими вот попробуй...

Женщины, почти все молодые, приехали в город из деревень и на работу свою смотрят как на временный этап к дальнейшему устройству — пока обживутся, квартиру получают, то да се... Вон их сколько: Агапова, Башкирцева, Кириенко Евфимия, Льнова — это уже новенькая, всего несколько дней работает, потом Фирсова, или, между собой, Зойка, самая молодая на вид из них. Над этой приостанавливается и задумывается Дронов частенько, и встает перед ним эта самая Фирсова, почти девчонка еще, всегда в цветастой, повязанной низко, до самых глаз, косынке, а глаза не девичьи, не стреляют, не лукавят, одинаковые какне-то, равнодушные и строгие. Никогда не замечал Дронов, чтобы с напарницами она смеялась или с парнями баловалась, как другие, одна в сторонке сидит, подопрет руками щеки и разглядывает перед собой что-то-го...

Часто задумывается над нею Дронов, а что писать, кто его знает... Не пошлешь ведь с другими строительный камень возить, если сапоги на ногах едва таскает, или на погрузку цемента, когда работы нету подходящей. В результате — чистка двора, перенос досок, а что за это идет — копеек, и, главное, не ходит никогда, не жалует, даже наряды не придет проверить, все на совести Дронова... «Эх, девушка, тебе бы маникюрщицей где, пальчики-ноготки подкрашивать, а тут подсобница...» Подумает Дронов, подумает, да и напишет еще что-нибудь вроде «дождевых» или «простоя по вине шофера» и километраж накинет...

Впечатлительный, совестливый человек Дронов, а что станешь делать?.. С людьми работать — не у станка стоять: гони стружку, и весь спрос с тебя; тут и индивидуальный подход нужен, и такт особый нужен, когда и душой покривишь, зато все оно и окупается в дальнейшем. Недаром у Дронова участок ходит в передовых — и строительные работы в срок, и качество из лучших; сколько комиссий ни проверяло, всегда хороший балл ставят, а если работы какие имеются низкооплачиваемые или дефицит, никогда у Дронова никаких споров, как у других мастеров, где чуть не до драки дело доходит; у него пошлешь — можешь надеяться: сделано будет безропотно. Психология — большое дело...

Оторвался от бумаг Дронов передохнуть и чувствует — отогнал от себя, как сиплый папиросный дымок рукой, все скверные мысли... Да... Чего нет, того нет, а вот знание этой самой психологии у него не отберешь, и все сослуживцы понимают это и завидуют ему, пожалуй... «А чего завидовать, — усмехается довольно Дронов, — человек есть человек, какими его приказами да нарядами ни окручивай, он по-человечески всегда к себе терпения и понимания требует... Так-то...»

Тщеславия хватило, однако, всего на несколько минут, опять стянул обруч проклятый голову, закололо в груди под сердцем... Дронов отодвинул от себя бумаги, потеряв к ним интерес, и вот уже снова, как серой бумагой, застилает перед глазами и берedit его беспокойство какое-то и беспричинное томление — спяну ли оно все, или болезнь какая, заболел, может?..

Посмотрел Дронов в окно и видит — идет кто-то в самом конце вьющегося напротив переулка, изрезанного вдоль и поперек кипящими от дождя лужами, да сквозь мутное, оплывшее стекло не разберешь кто; идет, пригнув от ветра непокрытую, с залысынами голову, пальто нараспашку, развеивается. Присмотрелся Дронов получше и узнал Ивана Акимовича Мирского, местного художника, — он один, больше никому, ходит круглый год без шапки и пальто не застегивает, дождь ли, буря — лишь потуже шарфом повяжется. Мирский вхож в дом на равных с хозяином правах, он один из тех друзей собутыльников, что можно внимания не обращать — не обидится, и обругать можно — тоже не обидится. «Ш. П.» — так он и сам представляется: «Швой парень». Полчаса раньше Дронову неприятен был бы его визит, а сейчас он даже обрадовался — так просто, со скуки, языком почесать, настроение разогнать. Он прилег на кровать, улегся поудобнее, подложил вторую подушку и полотенце на голову, помочив, положил — может, еще пройдет оно все...

Хлопнула дверь в сенях, затопал ногами друг-приятель, он всегда так делает, вроде условного сигнала — знай, мол, кто идет, — и рывком влез в комнату. Мужчина он по внешнему виду невзрачный, непропорционально большую голову на коротком, с жирными плечами и грудью теле держит немного набок; на лице, разбитом частыми складками на куски, словно слепили его из рыхлых пышек, — безбровые и без ресниц глаза смотрят исподлобья и чуть косят. Когда Мирский разговаривает, все лицо его шевелится и движется: кажется, засмеялся он сейчас — и разлезется оно на все свои составные части... Но смеется он редко, а в обычной манере ироничен, зол и многоречив.

Мирский повертел головой по комнате, ища Дронова, одновременно снимая галоши; найдя приятеля на кровати, гмыкнул неопределенно и, достав носовой платок, долго сморкался, наваливаясь с натуги глазами на Дронова. Только после этого поздоровавшись, прошел в комнату, остановился у кровати.

— Ну и погодка, — потирая руки и не глядя на Дронова, начал Мирский. — «И разверзлись хляби небесные»... Завидую я тебе, спишь и в ус не дуешь, а тут и сны не берут, лезет в голову разное... Сидел-сидел дома один, как пень, дай, думаю, схожу...

Мирский провел вскользь глазами по Дронову, пошел за стулом, и неожиданно на лицо его, обрюзгшее и невыразительное, выползла гнилозубая, но приятная улыбка:

— Э-э-э, да ты, брат, в ризоположении... У Столяровых опять небось?..

— Ну, — слабо кивнул Дронов, — понимаешь, по рюмочке собирались, а вышло...

— Ну, прораб, — черт ты, а не прораб, — восторженно рычал Мирский, садясь и потряхивая всеми складками на лице, — гнать тебя надо в три шеи, куда у вас начальство смотрит, черт вас знает... Подсказать бы надо... Пьянствуете, а еще людьми руководите...

— Тише ты, — морщится Дронов, поправляя полотенце на голове. — Если хочешь знать, на работе я корректен и вежлив, — проснулось в нем вдруг недавнее самолюбие.

— Кой черт в твоей вежливости, если пьянствуешь, как биндюжник, — ворчит потише Мирский. — Гнать вас надо...

И вытряхивает из пальто вместе с брызгами, отлетающими далеко в сторону, явственное бульканье в боковом кармане. Дронов провел глазами, обнаружил и мысленно вырисовал очертания знакомого предмета. «Чекушница», — оживился он...

— С вами, чертями, как с детьми малыми, а еще обижаетесь на меня. А я как знал, что с похмелья: дай, думаю, забегу... Давай что-нибудь на закус... Да не лежи, не лежи. Хватит мечтать, встань, по комнате пройдишь, выпей — вот оно и пройдет... Ей-богу, дети малые...

Мирский говорит, а дело делает. Взболтнул бутылку, сорвал зубами зеленую обертку с горлышка, сощурил один глаз, понюхал, прежде чем ставить на стол. Дронов сходил ополоснул стаканы, вытащил из буфета полбуханки хлеба, стукнул дверцами, еще чего-то ищет.

— Эх, огурца бы...

— О, это дело, огурец пошел бы сейчас... Да не ищи, не ройся, нету там у тебя ни хрена, иди вот с хлебом... И когда я к тебе, дьяволу, приду, чтоб угошенье было и огурец... Женить тебя надо...

И понес и понес друг-приятель, быстренько опрокидывая стакан; если послушать минуту, выгнать во двор захочется и по морде надавать вдогонку. Но Дронов привык к подобным речам, привык к манерам Мирского и слушает его так, больше для вида, собой занимается — выпил, ощутил во рту привычную сивушную горечь и сидит, дожидается результата — то на окно посмотрит, то хлеба пожует в рассеянности.

— Я, брат, талант несостоявшийся, — наваливаясь грудью на стол, словно собираясь боднуть пустую бутылку, тяжело дышит Мирский. — Работы мои в молодости Непринцев хвалил, ты вот и не слыхал такого. «А у вас, — он мне говорил, — несомненная одаренность, больше заниматься вам надо...»

— Знаю уже... слыхал, сто раз говорил...

— Ни черта ты, прораб, не знаешь... А какие я картины писал, а? Никаких банальностей, весен да закатов. У меня на полотне дышит все, каждая черточка, а если и солнце рисую, то солнце как солнце — глаза закрывай: краски такие знал... А знаешь, кто мой самый любимый художник был, и не гадай, все равно не скажешь — Гоген, ты вот и знать такого не знаешь. Завидую я вам всем, живете себе, спите, жрете, отправления разные совершаете, а для меня он в те годы был вроде бога: как увидишь, где что новое, глянешь и по его мерке меряешь, так или не так, у него получше было бы, а может, вот так... Сгубился, правда, быстро, а есть что вспомнить...

— На вот, выкуси, не знаю! — поднял внезапно голову Дронов, слушавший, как начинает пошумливать в голове, пока тихо-тихо не закачалось перед ним, будто на кисее от ветра, изображение Мирского и самому спорить не захотелось. — А «Дама с анемонами» — хочешь?.. Раз... «Парижское кафе вечером»... Два... И еще ухо сам себе отрубил, из-за любви, кажется, если хочешь знать...

— Ни черта ты не смыслишь, прораб, слыхал краешком где-то, и все у тебя перепуталось — и Гоген, и Ван-Гог, и Ренуар, и живете вы так от зари до зари, не разбираетесь ни в чем, и в какого вы бога веруете, хрен вас знает!..

— А иди-ка ты со своими художниками, — обозлившись, махнул рукой Дронов. — Надоел ты... Толку-то что с тебя, что с них... — И, не раздеваясь, завалился на кровать, прикрыл подушкой голову.

— Обиделся, ну и обижайся, — равнодушно запакивается в пальто Мирский, — а я, брат, правду всегда люблю, если правда — я всегда скажу, хоть кого не побуюсь... Давай дрыхни, прораб, набирайся ума...

А Дронов, качаясь в подступающей дремоте, медленно припоминал, что он собирался сделать сегодня; так и не припомнив, задремал, сквозь

сон слышал, как сморкался Мирский, гремел столом, опрокинул стакан, возился, тяжело разговаривая сам с собой себе под нос, — потом накрыло Дронова плотным бесшумным покрывалом, и проспал он, так и не просыпаясь, крепким, глубоким сном до вечера.

На другой день у Дронова с самого утра планерка — производственное совещание мастеров. В кабинете начальника — легкий сквознячок от вентилятора; в чистых, блестяще вымытых стеклах, над густыми кустами акаций в палисаднике, — голубизна намечающегося погожего дня. Собираются человек пятнадцать, садятся кто где на принесенных с собой стульях и табуретах, тихо переговариваются меж собой, поглядывают на часы, ждут начальника. К восьми часам все на месте — ровно в восемь приходит начальник. Начальник строг и пунктуален. Точно в восемь он смотрит на часы — медленно, чтобы все видели, заноса руку, — обведет глазами притихших мастеров, подыметя над столом, перелистывая бумаги перед собой: «Ну так вот, товарищи...» Если заходит в кабинет опоздавший, начальник не ругается, не отчитывает; не подымая глаз на вошедшего, он делает паузу в самом неподходящем месте и шарит руками по карманам, начиная с брючных, потом выше и выше, а их у него штук шесть, ищет очки, хотя пользуется ими в редких случаях. «В левом боковом, — хочется подсказать в такие минуты Дронову. — Сам ведь знаешь прекрасно...»

Но Дронов молчит и с интересом наблюдает за происходящим — что ни говори, а невинный психологический прием рассчитан точно, эффект получается немалый. Правда, начальник не оригинален, прием изучен всеми до тонкостей, знает его и виновник, но деваться некуда — хочешь не хочешь, а приходится терпеливо ждать, пока вытащит наконец начальник из бокового кармана свои очки, протрет, прицелится в них глазами, еще раз протрет, после всей церемонии водрузит их на нос, вскинет глаза на вошедшего, скажет рассеянно: «Ах да, садитесь...» — снова снимет, в левый боковой положит и — дальше пошел...

Одобрят начальника Дронов и не одобряет и побаивается, как все, но больше, пожалуй, одобряет: как же иначе с людьми работать, тем более начальником, — очень простое дело...

Сегодня начальник в отъезде. Замещает «зам». В кабинете легкий говорок не прекращается ни на минуту, и вообще, если вспомнить прежнее у начальника, когда муха не пролетит, — самое безобразное оживление. Планерка проходит быстро и деловито. Разобрав по бумажке работу участков, по бумажке же похвалив кое-кого, соответственно покритиковав, «зам» дает в конце разнарядку на неделю и отпускает всех.

Дронов сразу же, не задерживаясь в коридоре, где не могут разойтись, бродят кучками, беседуют мастера, идет к себе в «каптерку» — низкое, звучное помещение с одним-единственным столом, проломленным от играния в домино, и лавкой под измызганными плакатами. И тут предстает себя на месте начальника и позавидует немного — жалко, очков нету; да не в очках дело — знает Дронов, не получится у него, хоть как старайся, и публика не та. Здесь Дронова слушают так, до времени — не прекращаются стук костяшек, выкрики, перекидывается смешками между собой молодежь; ученики-ремесленники — те и вовсе чуть не за волосы хватают друг друга; по другую сторону стола на лавке пожилые кадровые рабочие беседуют о работе, воскресной рыбалке, на международные темы, покрикивают изредка на чересчур расшумевшуюся молодежь. Отдельно в сторонке стоят женщины — тем вообще все нипочем, затеют словесную войну с мужиками — держись только... Где Дронову с ними разговориться: раздал работу — и уходи...

Окончив, Дронов сначала пошел в контору; дела вроде на копейку, а провозился часа два, подписывал требования, сверялся с документами в расчетном столе, сходил в кладовую, обыскался, пока нашел кладовщицу, торопясь прежде других получить только что прибывший инструмент, долго осматривал, выбирал, щупал руками, и так протянулось до обеда, и все на ногах, вроде незаметно, а усталость дает себя знать, хорошо, что ехать никуда не пришлось... В обед Дронов сходил по соседству в ларек, взял два бутерброда с колбасой и бутылку пива. Аппетит пропал совсем за последнее время, он еле дожевал бутерброды, а пиво выпил прямо из горлышка, присев за конторой на бревно посреди строительного хлама и мусора. Думалось при этом Дронову, что пиво стали делать кислое и невкусное. не чета тому, которое пивал когда-то, — возмешь, бывало, прежде чем выпьешь, все пеной изойдет, а теперь вода одна и из холодильника черт знает когда... Отшвырнул непитую бутылку Дронов и больше не стал ни о чем думать, прилег на теплое бревно погреться на солнце...

Когда шел обратно в контору через стройдвор, его окликнули. На рассыпавшейся куче сухого, утыканного кирпичом песка под навесом сидели и лежали женщины, пили из бутылок принесенное с собой молоко, смеялись между собой, а кто и так лежал, спрятав в косынки лица от солнца. Поодаль, на брошенных наспех носилках со сваленными на них телогрейками, сидела Фимка; держа во рту шпильку, трудно чесала свалевшиеся, с жирным отливом волосы.

Дронов подошел к женщинам, постоял около, потоптался, пожелал хорошего аппетита, его поблагодарили, но, занятые своими делами, кто чем, не обратили никакого внимания. Окликнула Фимка — откинувшись на локоть, простоволосая, в бесстыдно расстегнутой кофте, она манила рукой Дронова; когда тот подошел, улыбнулась кокетливо, далеко разводя толстые, бурачные щеки:

— Идите к нам, Василь Антонович, посидьте трохи, во помидоры е, свежие... Хотите?.. Не хотите, ну як хотите... — И, посерьезнев, поднялась, отряхнула кофту, оглядевшись кругом, таинственно кивнула куда-то за сарай Дронову: — Ходить сюды, Василь Антонович, щось сказать надо...

Дронов молча пожал плечами, пошел следом за Фимкой, поминутно оглядывавшейся на него хитрющими глазами. Здесь, за сараями, в отброшенной ровным треугольником тени, Фимка остановилась, остановился на некотором расстоянии и Дронов...

— Да ходить ближче, — тихо засмеявшись, шагнула Фимка, притянула к себе в тень растерявшегося Дронова. — Да чего ж вы такой, господи... Бойтесь, чи шо!..

— Я вас слушаю, — резко отстранился Дронов, негодуя на Фимку. — Видите ли, я спешу...

— Да не спешить, — почти ласково сказала Фимка, совсем близко подходя к Дронову, беря его за рукав. — Спешить кому дела нема, а к вам дело е... Я вот девкам кажу сегодня, який у нас мастер хороший да пригожий... И чего спросить вас хочу... — блестя в упор круглыми кошачьими глазами Фимка. — Холостякуете все, Василь Антонович?..

Дронов рванул рукав, отшатнулся от Фимкиного странного лица — аж передернуло всего, — но Фимка, не отпуская, крепко держа за рукав Дронова, приподнялась на цыпочки, затараторила, переходя на шепот:

— Да слушайте ж, куды вы все торопитесь, шо скажу я вам, во, разрази громом, не брешу, улюбилась у вас тут одна, Фирсова Зойка, ей-богу, не брешу, Василь Антонович, молчала-молчала, да тут одной нашей Машке Льновой и каже, люблю я, говорить, и все... Она возьми и девкам скажи, девки в смех, на всю общежитию, знаете, кобылы наши

яки, куды, кажуть, тебе... А та в слезы, не говорить, каже, ему... И чуєте, еще что каже? Он, говорить, необыкновенный какой-то, не таки, як усе... Чуєте!..

Нахальные Фимкины глаза поедали поедом растерявшегося Дронова, она дергала его за рукав, не отпуская и не давая ему прийти в себя.

— Мне чего, мое дело сторона, сказав — и все, для вас хочу, як лучше...— И, заговорщицки подмигнув, зашептала Дронову, жарко дыша где-то около уха: — Хотите позову сюды, ей-богу, Василь Антонович, только погодить трохи, сейчас покличу... Погодить, я мигом...

Отпустив рукав, стрельнув глазом в Дронова, Фимка выскочила за угол...

— Зойкя!..— сразу же раздался ее голос, противно сорвавшийся на визг.— А, Зойкя!..

— Чего? — в противоположность Фимкиному не ответил, а пропел слабый девичий голос, а после и весь разговор с Зойкой донесся.

— Ходить, говорю, сюды, дура,— кричала Фимка.

— Не пойду,— упорствовала та.— Сказала: не пойду!..

— Ходить, говорю, дура, дело е, мастер требует,— видимо, выведенная из себя, прибегла к последнему средству Фимка.

На этот раз не донеслось ничего в ответ, и Дронову скорее почудились, чем услышал, робкие шаги.

— Ну во, дура,— слышался Фимкин удовлетворенный смешок,— а то кажу, кажу, не слушае...— И о чем-то перешли на шепот...

Дронов, в сердцах от неловкости своего положения ругая Фимку, выступил из-за сарая, не дав Фимке и рта раскрыть, быстро шагнул навстречу, решив взять положение в свои руки, чтобы отвязаться скорее от всего и уйти...

— Я вам... Я вас хотел спросить...— начал Дронов, чувствуя всю смехотворность происходящего и свою в том числе.

Зойка, не доходя нескольких шагов до Дронова, остановилась, хотела спрятаться за Фимку, но та отскочила в сторону и отвернулась. Зойка потупилась, приподняв худые плечи, бросила книзу руки, вытянув их по швам перестиранного комбинезона, и осталась так стоять, будто провинившаяся.

— Я вас хочу спросить,— стараясь быть построже, подбирая слова Дронов.— Я хотел спросить насчет нарядов, почему, например, не зайдите никогда смотреться... Бывает ведь всякое, может, что неправильно, забываешь иногда сам, в конторе ошибиться могут...

— У вас все правильно выходит...

— Может, недовольны чем?..— Дронов глядел сквозь Фимку, делавшую ему какие-то знаки в сторону потерявшей дар речи, как неживой Зойки и видел пустую голубизну, далеко-далеко расходящуюся над дальними крышами...

— Я ничего,— лепетала в ответ Зойка, поеживаясь всем телом,— у меня все правильно...

— Хорошо,— оборвал враз комедию Дронов.— Будут какие недоразумения — заходите...— И, не оборачиваясь, быстро зашагал к конторе.

Весь остаток дня Дронов находился под впечатлением случившегося. Не то чтобы очень поразило его все или удивило, а как-то поползли новые мысли, копошатся взамен старых, привычных, неестественно кажутся. Тут и Зойкино поведение припомнил за последнее время, и ее саму; старался по-новому все представить, а что тут припомнишь — знал и раньше, что чудная, и все, разве внимание обращаешь... Тут и не то сочувствие какое-то появилось, не то жалость, как-то по-новому при-

помнилась первая любовь — черте-те что кажется в обожаемом предмете, а на самом деле... смех один. Потом будто рассеивалось, приходила усталость и раздражение ко всему, — игрушка он, что ли, на кой это ему... И опять червяками лезли в него незнакомые мысли, наталкивая на новое и новое... «А я даже лица ее не видел по-настоящему, не смотрел, и все; как-то так, все мимо проходишь...» И опять заплясало в голове... Под конец работы мысли стали приходиться уже совсем дикие и даже нескромные. Дронов, чертыхаясь, отворачивался в сторону, словно от самого себя, стараясь забыть их, вроде бы и не думалось...

В таком хаосе и неразберихе и вышел Дронов, специально уйдя раньше с работы — ему нужно было наедине разобраться во всем, обдумать, а главное, узнать все, тут надо и меры какие-то принять... Проходя мимо магазинной витрины, Дронов остановился; оглянувшись по сторонам, оглядел в ней свою сутуловатость, резко бросающуюся в глаза, когда смотришь сам со стороны, длинноту и худобу свою, а прикрито все помятой, неизвестно каких лет фасона шляпой, сползающей на глаза... «Герой, тоже мне, — как можно горше усмехнулся он, — есть же дуры на свете...» Попробовал расправить плечи, выпрямиться во весь рост, посмотреть, что из этого получится, но в плечах заломило с неприязнью, и, заложив руки в карманы, он отправился дальше.

Придя домой, Дронов улегся сразу же на кровать и засмотрелся на потолок в одну точку старым, испытанным приемом, но в этот раз почему-то не подействовало — сон не приходил. Дронов поворочался-поворочался на кровати, встал и заходил по комнате.

Завтра же пойду и скажу, радуясь ясному и простому решению, пришедшему вдруг, а вслед за ним освобождению от своих опасений, думал Дронов. Так и скажу: «Хватит дурака валять, работать надо, носишься с вами, наряды передергиваешь, сам положением рискуешь...» Дронов припомнил смешливые лица подсобниц, устремленные на него, и обозлился: нянчишься с вами, обрадовались, нашли простака: «Василь Антонович, пораньше с работы надо», «Василь Антонович, запишите», — а я церемонюсь, долгие разговоры, то да се... Так прямо и скажу: не рассчитывайте, мол, на Антоныча, раскусили, влюбляться начали — антимионии с вами разводи, а там и вовсе на голову съедете...

Что-то не то все, вздохнув, оборвал Дронов неоспоримо логичную нить рассуждений. Больно уж жестоко все, как бюрократ какой... Или вот так — подойти к ней одному, с глазу на глаз поговорить, что взять-то с нее: молоденькая, из деревни, наверное, и людей не видела; и вот так: «Девушка...» Нет... «Послушайте, девушка!» Дронов облокотился на буфет, отыскивая в зеркале подходящую позу. Вот так если — сощурив глаза и подобрав губы в улыбку бесстрастного, много повидавшего человека, ни одним мускулом не дрогнув в лице: «Послушайте, я уже не молодец, поймите меня правильно, все пройдет, как болезнь, я не вправе калечить вам жизнь, вам еще жить да жить, вы молоды, красивы, у вас все впереди, послушайте меня...»

И так ли уж красива, — сбился Дронов с найденного правильного тона, — не знаю ведь даже, глаза какие, может, — да, кажется, так и есть, некрасивая вовсе...

Скажи пожалуйста — «необыкновенный», покачал головой Дронов, перейдя сразу же на другое. И надо же придумать... Все-таки позавидуешь Мирскому — человек и человек, каждый посмотрит и скажет: пьяница, а здесь действительно — разберись, кто ты. Такой же ведь, разве что от глаз посторонних прячешься... А тут вот на тебе, необыкновенный... Может, раньше и было чего, мечтал, к чему-то стремился, все чего-то не хватало, надеялся на большее...

Чего ж надеяться — пронадеешься всю жизнь, и одна награда тебе за все: глупенькая девчонка, устав плакать тайком, укажет на тебя пальцем подруге, не стерпев возрастного томления крови: «Он необыкновенный»... И тоже будет мечтать о нем, пока не найдет, чтобы ругаться потом всю жизнь, ссориться, выслушивать вопреки этого самого «необыкновенного». Будет ли по-иному когда-нибудь или было когда-то?.. В книгах, пожалуй, одних — там только все складно и занимательно...

«А может, и не так, может, из обыкновенного-то и берется все, — повернулось опять в голове у Дронова. — Немножко мечты, немножко фантазии, желания наконец, и оно готово... Живут же люди, мир движется, не разбегаются кто куда воющей толпой — значит, находят свое необыкновенное. Может, так оно и получается — у каждого свое, а когда вместе сложится, вот оно и есть в итоге самое большое, самое желанное всеми необыкновенное... Кто знает?..»

Дронов и не заметил, как влез в комнату Мирский, подошел, остановился рядом, разглядывая Дронова, сумасшедшими глазами уставившегося в зеркало. Поглядел-поглядел, не вытерпел и кашлянул. Дронов, еще не придя в себя, отскочил как ошпаренный, увидел лицо, складывающееся в ироническую улыбку...

— Слушай, ты, — сжав кулаки, шагнул к нему Дронов, повинуюсь неизвестному чувству, вырвавшемуся из него. — К чертовой матери!.. Катись отсюда!.. Слышишь!.. К чертовой матери!..

И, сжимая и разжимая кулаки, ждал, пока медленно пятившийся задом Мирский не вылезет совсем. Закрыв за ним дверь, Дронов стоял, потом подошел к окну и долго наблюдал за курицей, почти цыпленком, выскочившей, вероятно, в первый раз из соседнего дома на улицу: растерянно растопырив крылья, она металась из стороны в сторону, спасаясь от луж на дороге, шагов прохожих, обилия льющегося света...

Кружным путем

С иней уральской осенью, в самом начале сентября, у Лексана Земскова, известного по деревне за большого любителя садоводства и мастера на все руки, полег весь сад. На удивление всей деревне яблони южных, расписных сортов третьего года урожая, сбереженные Лексаном, не вымерзшие и на этот год, осыпались сразу, в одну ночь, и все до единой, будто обобранные чьей-то рукой. Может, повлияли первые сизые, хрустящие утренники, а может, самого Лексана вина: посмотрел и не уберег от червя или насекомого, кто знает... Утром пришли в сад и подивились цветному яблочному падежу, морозно блестящему в прибитой инеем траве. Зато рябины, неприметные ранее, поднялись над опустевшими, в пожухлых, съезженных листьях яблонями и рдели крупными тяжелыми гроздьями вдоль забора...

Лексан, мужчина серьезный и ко всему на свете, кроме своего любительства, относившийся с прохладцей, не выказал и сейчас тревоги, походил в задумчивости по саду, поковырял ногою яблоки, надел шапку и ушел на работу на целый день. А чуть позже понашли соседи, качали долго головами, ахали удивленно на великолепие плодов земных, высланных на обозрение, давали всякие советы Лексановой жене Анне, строившей догадки с соседскими бабами и ругавшей погоду — от этих советов у нее голова пошла кругом, и, сама не зная, что ей делать — плакать или бежать за Лексаном, она растерянно слушала бабье восхищенное цоканье, мужичьи жалостные покрякивания, детский

вкусный хруст крепкими, холодящими зубы яблоками, видом своим непохожими ни на одну местную породу. Ко всему этому еще набегали соседские куры; откормленный петух красного с отливом пера, стоя на одной ноге, разбойничал всюю, завлекая наседок гулким постукиванием клюва о яблоки; принялись за дело черви, появились какие-то зверьки — не то крот, не то еще что... Анна не выдержала и побежала за Лексаном.

Лексана она нашла за пыльными, в ржаной свежей шелухе, колхозными сараями, душно пахнувшими зерном,— сидел на лавочке у пожарной бочки, беседовал с мужиками и по виду вроде и забыл вовсе, что творится у него дома. Анна, разгорячившись лицом от беготни, поминутно оправляя волосы, лезущие из-под платка, отозвала его тревожным голосом...

— Лексан, а Лексан! — не дав подойти мужу, набросилась она, гневными глазами сверля Лексана.— Сад пропадает, Лексан... а ты куришь все, лешак. Вроде не тебя касается... Соседи вон смеются. Добро ведь пропадает...

Лексан, подойдя, остановился, бросил окурок, стукнув каблуком, загнал его в землю и стал слушать дальше...

— И черви пошли всякие, и куры... Срамота, будто хозяина в доме нету,— продолжала сыпать Анна, вертя головой, не успевая прятать волосы под наспех заброшенный платок.

— Чего ж,— сказал наконец Лексан, почесав переносицу.— Чего ж еще... Как уродил сад, так и стоял до поры, а как пора пришла, ну и обсыпался... Природа такова... Чего ж тут...

К вечеру уговорила Анна мужа везти урожай на продажу, пока не испортили, не растащили все яблоки, и Лексан пошел в правление договариваться насчет подводу...

Въезжал Лексан задолго до зари, не спав всю ночь, прособиравшись в дорогу; не умывшись, одетый по-дорожному, в телогрейку, сидел он с краю на возу, прикрытом рогожей. Натужно морщил лоб, чего-то соображая, хлопал, проверяя, кнутом, не обращал никакого внимания на Анну, отдававшую ему зябким спросонья голосом последние приказы и наставления. Анна кончила и поднялась в дом, а он все сидел, не меняя позы, пока Чалый сам не догадался, что надо делать,— дернулся с места, качнув Лексана, потащил телегу в темень, щиплющую легким морозцем, по улочке с редкими огоньками, с хриплым собачьим лаем вдогонку...

Трясся Лексан на медленной подводе в продолжение всего длинного осеннего утра, курил без интереса болгарские сигареты, навезенные в окрестные магазины, подзадоривал время от времени кнутом Чалого, перебиравшего с ленцой ногами, и думал о том, как бы успеть пораньше распродать на станции яблоки и пойти побродить по городу, где когда-то жил сам, в войну еще, нес трудовую повинность, а позже учился на механизаторских курсах,— успеть бы зайти повидать кого-нибудь из знакомых, если еще живы и на местах... А насчет продажи ничуть и не обольщался Лексан, хоть и знал: идут три пассажирских и скорый. Народ едет с той стороны отдыхающий и денежный, да на кой ему уральское яблоко, когда рядом, за Казанью, самые яблочные края — бери на выбор, что душе угодно. И товару Анна наложила, словно оделить всех проезжающих думала, так и разогнались они, жди... Тьфу!.. Дура баба...

Эти и другие мысли приходили Лексану в голову вместе с дремотой, пока, очнувшись и поглядев вокруг себя жмурящимися глазами, он не увидел, что проспал зарю: вот-вот должно взойти солнце. Он про-

ехал уже около половины дороги — легко пылившая следом, она протягивалась сейчас мимо серых, сыплющих листьями березнячков, поблескивающих паутиной, мимо колючих, недавно убранных ржаных полей, мимо побуревших и полегших картофельных рядов. Вот-вот, не сегодня-завтра, самая начнется горячая пора, подумалось Лексану, в колхозе каждая лошадь на счету, а он развезжает... «Тьфу...» — не выдержал, снова сплюнул Лексан...

А там из-за леска, прямо в поле вылезло и солнце, покатилося следом за телегой, подпрыгнуло, зацепившись лучами о землю, и опять скрылось за сплошными осинниками, окружившими дорогу, разжигаясь костровым пламенем в просветах меж стволов, далеко наперед заливая ровным красноватым сиянием рощи, отвлекая и наводя на веселые мысли Лексана...

На станцию Лексан успел к самому пассажирскому. Торговля шла бойко, что несказанно удивило Лексана, а затем, ко второму поезду, выручки почти и не стало: возьмет кто полдесяток яблок, а то и по три, и по два. Разве это в счет?.. Лексан, соскучившись, толкался среди баб-торговок, разложившихся в ряд на перроне со своим товаром, обошел все пристанционные ларьки, разглядывая зевающих продавцов за прилавками, решил любым путем дожидаться скорого — почему-то казалось ему, что публика едет там посолиднее, небось оценят и раскушают его яблоки, вот тогда и наверстают погубленное зря время.

Но время, как на грех, шло медленно, едва достигло полудня, где тут дождешься — часа три еще по расписанию. Лексан, не выдержав, продал остатки по дешевке торговкам и, чувствуя, как груз свалился с плеч, ни минуты не медля больше, затарахтел по булыжникам в город. Здесь он поставил у знакомых лошадь, а сам пошел бродить по городу; день был воскресный, солнечный, народу в магазинах, на улицах, в столовых — не пробешься. Лексан купил себе без примерки, на глаз, сапоги, а сыну ботинки и, устав от толчеи на главной улице, размаривающего солнечного тепла, пошел обратно, проспал у знакомых несколько часов, а когда проснулся, солнце стояло низко над домами, собираясь опять к себе, за картофельные поля, где застал его утром Лексан...

Обратный путь по городу проделал Лексан безо всяких приключений, никуда не заезжая, остановившись лишь на самом краю у чайной, в том самом месте, где петлявшая меж домов булыжная мостовая, вырываясь из-за угла, переходит в наезженный, торный большак, делящий надвое распахнувшиеся широко дали, теряясь где-то там, поближе к Лексанову дому, у черты горизонта... Тут вспомнил Лексан, что за весь день вежливо, наспех похлебал супа у знакомых, а в кармане у него куда как нечасто водятся деньги, — потянул носом запахи, плывущие из отворенных настежь окон, мелко позвякивающих посудой, поглядел на шоферов и разный приезжий люд, заворачивающий сюда, не выдержал, кинул из-под сиденья остатки сена мерину, отряхнулся и, почистив о траву сапог, не спеша поднялся на ступеньки.

Войдя в чайную, Лексан долго и внимательно рассматривал меню, вывешенное высоко на стенке в толстой, как на портретах у него в доме, рамке, размышляя про себя, какие взять подешевле из блюд, чтобы осталось на выпивку, и при том уложиться в три рубля — больше нельзя. Жена сразу заподозрит, не оберешься скандалу. Думал-думал Лексан, шевеля про себя губами, пока двое рабочих не вкатили тяжелую, скользкую бочку с пивом, вызвавшую оживление в зале, вздохнул и заторопился в очередь.

Беря пиво, он с удивлением узнал в толстой, с накрашенными пунцовыми губами продавщице в замызганном халате свою старую, еще по

дням молодости знакомую, некогда улыбчивую, пылавшую телесным жаром красавицу Любашу, имевшую самый серьезный амурный интерес к самому Лексану. Это открытие развеселило Лексана и в то же время тронуло какую-то струну, вызвавшую воспоминания, разбередило душу разным, считавшимся Лексаном забытым для него навеки, в том числе и тем, чего вовсе бы и не следовало вспоминать. Он сидел, не торопясь тянул пиво, качал головой, посматривал на продавщицу, лениво перемывающую кружки, дожидаясь, когда сойдет народ, чтобы заговорить о прежних холостяцких временах, ковырнуть запретное и легкомысленное, чего старался не вспоминать никогда Лексан даже наедине с самим собой, и вообще потолковать о том, о сем, как со старой знакомой...

Дожидался Лексан долго, успел взять четвертинку, разлил ее на две кружки, сделал «ерша» и посолив крутой солью, выпил и только после всего подошел, улыбаясь, выказывая почернелые, испорченные куревом зубы, — подошел, поставил громко кружку, кашлянул, оглядываясь по сторонам. Вроде бы никого нету...

— Повторить? — стоя к нему спиной, пересчитывая деньги, отозвалась бывшая Любаша, не поворачиваясь к Лексану.

— Кгм-кгм, — еще сильнее и таинственнее заулыбался Лексан, подмигивая самому себе, и, заходя сбоку, прислонился к буфету, задевая ее рукой. — Ан не узнала, а?.. Если не ошибусь... то Любаша Гончаренко вас звали-величали, а?..

Она, стоя так же, оглянулась через плечо на гмыкающего Лексана, перебирая бровями, как бы вспоминая, оглядела его.

— А может, припомните Земскова Александра, может, прогулки там разные, кино, а?.. А в городском саду, может, припомните карусели: кто на карусели, а мы куда, а?.. Гы-гы-гы...

Может, этого Лексану и не надо было говорить, может, чего другое, да так вышло уж...

— Кто там упомянет?.. — пожав плечами, отвернулась продавщица, слянявя палец для счета. — Где вас всех, кобелей, упомнишь... Пиво если или чего, говори!..

— Гы-гы-гы, — довольно гоготал Лексан, идя на место, а сам чуть обиделся... «Где вас всех упомнишь... Такую любовь разводили, разные слова — не забывать и прочее. Да чего с них возьмешь, баба бабой и есть»...

Через несколько минут Лексан позабыл весь недавний разговор и, не замечая, что, кроме него, осталось два-три посетителя, сидел с недопитой кружкой в руке и затевал разговор с вновь зашедшим и подсевшим к нему низеньким худым человечком в заношенной кепочке с пуговкой, туго замотанным в теплый шарф, надетый прямо на самый нос. Лексан познакомился, потискав по-детски слабую, с короткими пальцами ручку, и сразу же и забыл, как звать.

— Ты пойми, — стуча кружкой, доказывал Лексан, — а я говорю, что баба она баба и есть, хоть любую возьми. Я вот встречаю любушку свою прежнюю: здравствуйте, мол, как поживаете, то да се, а она мне: я, мол, вас знать не знаю, первый раз вижу, а?..

Человечек оказался на редкость неразговорчивым, молча слушал, кивал в нужных местах и шевелил впалыми, беззубыми щеками.

— Ты пойми одно, — гудел ему Лексан, расплескивая в кружке пиво, добрея к человечку, может, за его худобу или тихое, угодливое помаргивание, — вот ты, например, ко мне в попутчики просишься. Это одно... А другое, позвольте вас спросить, в какую такую сторону ехать собираетесь: если в Криулино, то пожалуйста, очень рад, довезем, это нам по дороге... И еще я хочу вам сказать, что очень мне с вами выпить

хочется, хотите обижайтесь, хотите нет, еще б четвертинку нам с вами — и в дорогу, а?..

Попутчик согласно кивнул, встал и тут же принес еще водки. Они выпили, закусив остатками Лексановой котлеты, но засиживаться им не дали. Та же Любаша подошла к ним и, дергая за рукав разговорившегося Лексана, потребовала убираться на все четыре стороны. Лексан было заспорил с грозно подступавшей буфетчицей, но человек вскочил и, растормошив Лексана, не дав ему докончить, повлек за собой к двери.

На улице упирающегося, раскрасневшегося Лексана обдало свежим ветерком от прогоревшей, осевшей на самый край длинной полоски зари, бледная сумеречная звезда забилась, задрожала над головой, подмигивая Лексану, будто хотела выразить этим, чтоб не расстраивался из-за погубленного дня, а может, просто так, подбадривала в дорогу, обложенную густеющей фиолетовой дымкой вечера. Но Лексана и без того сейчас трудно было вывести из настроения — тревог и волнений как не бывало...

— Знаешь чего, — отвязывая телегу, икая, говорил Лексан усевшемуся уже на телеге попутчику. — Знаешь, чего я тебе скажу, мил друг, куда мы с тобой поедем на ночь, а поедем мы лучше с тобой кружным путем, тут рукой подать, если кружным — первая деревня, к самому тут у меня наилучшему другу, там заночуем на ночь, а то ехать нам с тобой до Криулина, а мне еще дальше, на всю ночь. А утром подымемя — и в дорогу, а?..

Попутчик, пожав плечами, взял за пуговку кепку, приподнял и, натянув пониже, нахохлился и замолк...

Всю дорогу Лексан, погоняя лошадь, учуявшую наконец настоящую хозяйскую руку, больше для самого себя, чем попутчику, завернувшись в плащ, рассказывал про своего друга, про свое совместное с ним развеселое житье-бытье когда-то в молодости в одной комнате общежития, потом в механизаторской школе, — и как хорошо им будет ночевать в заботливом, ухоженном доме, вместо того чтобы трястись по ночному холоду, и какое пиво крепкое и вкусное варят в этих краях. Обязательно в следующее воскресенье заедет Лексан из-за одного только пива...

Постепенно расплывчатые тени ночи сомкнулись впереди и потемнели, замелькали огоньки, четкой ломаной линией наметился рельеф деревни, лошадь, почуяв жилье, замотав головой, пошла скорее. Спустившись в долину, проехали колышущиеся мостки, у первого дома возле реки спросили адрес, и вскоре Лексан, туго затягивая вожжи, остановился возле нового, в рост человека забора с лавочкой, за ним дом с коньком над крышей, с видимой из-за забора половиной освещенного окошка...

— Тпрууу!.. — пропел Лексан, соскакивая с телеги. — Вот и приехали, не ошиблись, кажется, а?..

Пока Лексан привязывал у ворот лошадь, попутчик ходил, разминаясь, стараясь заглянуть в видный ему краешек окошка, затянутый занавеской. Лексан — ростом повыше, ему побольше видно, — не заметив никаких признаков появления хозяев, шагнул к воротам, заколотил, рассыпая грохот из-под своих кулаков по тихой, из десятка разбросанных домов деревеньке, вызывая в ответ цепной звон и дурной, захлебывающийся рев кобеля.

— Затворились-то, а... — отойдя в сторону, дожидаясь результатов, приглядывался Лексан. — Как купцы какие... а деревья-то на дворе, фруктовые, кажется, ты поглянь...

— М-да... — задумчиво поддержал попутчик. — Дом хороший... Хозяйская рука...

— Домна что надо... Что ж они там, вроде и не спят...

Но на крыльцо уже с зажженным фонарем, полоснув пучком света из сеней, вышла фигура и пошла к воротам в сопровождении грозного, раскатистого рычания...

— Кто там?..— раздалось наконец из-за ворот.— Кто такие...

Лексан сразу же по голосу узнал Фрола и заволновался.

— Свои, открывай, Фрол... Романович,— дрогнувшим голосом откликнулся он, прислонясь к калитке.— Навестить вот тебя, может, пригнешь гостей, а?..

Калитка защелкала, отпираясь, и отворилась бесшумно; человек в рубашке навыпуск, с погнутыми от худобы плечами стоял, держа высоко фонарь, кося одним глазом, сбоку, по-птичьи, рассматривал приехавших. Лексан молча шагнул к нему под фонарь.

— Ах ты ж...— тихо простонал хозяин, опуская фонарь.— Лександр, ты вроде...

— Узнал ведь, а,— схватил протянутую другую руку Фрола Лексан.— А мы вот с приятелем сейчас и думаем,— совестливо поведя головой, старался вызвать он внимание на одиноко стоящего спутника,— во, сейчас, мол, Фрол кобелей на нас спустит, а?..

Попутчик перелез через высокий порог, закрыл калитку и тоже подержал за руку хозяина.

— Ну вот, значит, и надумал Лександр, сколько лет уж, я-то думал — в края какие подался... Ну, хорошо-хорошо, хоть навестить собрались,— поглядывая на путника, идя в дом, говорил Фрол.

— А у меня тут случай один получился, так бы и не заехали, случай один произошел, вот и остались на ночь глядя, дай, думаю, прямо к Фролу.

— Во-во, молодцы, значить,— невидимо улыбался на крыльце Фрол, туша фонарь.— Цыть, падла! — это на пса и затем пропустил гостей в сени.— Милости просим...

Комната, в которую вошли, носила следы переполоха, который сделали они своим приездом: горшки, составленные с лавки прямо на пол, стояли, наспех прикрытые полотенцем, в другую комнату проскочила, любопытно оглядываясь, голоногая девчонка, за дверьми слышалась возня и непрекращающийся шепот, длинная русская печь на полкомнаты, недавней побелки, раскрытая широким прямоугольником, плотно занавешена колышущейся марлей.

Гости остановились, здороваясь, в дверях, щурясь на электрическую тусклую лампочку, наполнявшую фантастическими тенями комнату, но им никто не ответил, хотя по всему чувствовалось присутствие многих людей, прятавшихся где-то. Фрол сразу же засуетился, скидывая кота с лавки, шутейно махая поверху полотенцем, сдувая пыль, усаживая обоих.

— А мои тут, понимаешь, спать полегли уж, привыкли с петухами, а я вот, знаешь, книжку сам почитаю, помастерю чего-нибудь... Мань, а Мань,— кричал в пространство Фрол,— гости приехали нежданные, а знаешь кто — Земсков Лександр с приятелем, как чувствовалось будто: кобель весь вечер пробрехал... Мань, а Мань,— смешно прыгал долговязый Фрол перед гостями, непонятно к кому обращаясь,— давай вставай, ты погляди только, кто приехал, гостям чего-нибудь, свининки приготовь, а может, горячего — так на машинке разогрей...

— Да мы ничего, мы сытые,— стеснялся Лексан, посмеиваясь глазами над заботливостью Фрола.— Чего домашних-то тревожишь, нам переночевать бы где, чего зря беспокоишь... Рассказал бы лучше сам, как живешь-поживаешь...

— Во-во, Лександр, надумал спать, знаю я вас, как сытые, извиняйте уж, если бы днем, шкалик взял. Сам не держу, непьющий, а сейчас вот поздно...

— Чего, шей бы можно,— неожиданно, зашевелившись, произнес попутчик.

— Во-во, видишь, Лександр,— опять забежал Фрол с тряпкой в руках от стола к лавке, задевая ногами мебель...— Я ж знаю, что сейчас горячего...

— Может, ему, коли хочет,— пряча неловкость, добрым голосом сказал Лексан.— А мне дак и не к чему...

— Да, Лександр,— останавливаясь и с ходу садясь на табурет, махнул Фрол рукой: фу, мол, забыл вовсе...— Как живу, говоришь... А вот, как видишь, плотничаю все, в город хожу, у нас какая работа — заработок кот наплакал, ну и семья, конечно, сын вот женился... дом строю, вот как отделимся, попросторней будет... Ну, а ты как?..

— Да я чего ж... у меня, Фрол, случай какой произошел, сейчас я тебе расскажу. Посадил, значить, я сад...

В эту минуту где-то сверху, на шуршащей печи, за шевелящейся беспрерывно занавеской раздался сухой треск и сейчас же за ним детский, пронзительный визг, сопровождавшийся тяжелым, большим кашлем; мальчишка лет двенадцати, вытянув ноги, шлепнулся с печи, бросился ошалело мимо отшатнувшихся гостей в горницу. Лексан так и застыл с открытым ртом.

— Ах ты, сукин сын! — приподнялся Фрол.— Я тебе сейчас... Средний мой,— пояснил он гостям,— играет там с дедушкой... Ну, вы посидите тут немножко, а я пойду, чего-нибудь вам сейчас...— И, глянув на Лексана, настороженно прислушивавшегося к сопению и кряхтению на печи, будто там потревоженный медведь проснулся, кивнул: — Дедушка там, старичок, он больной, с печки так и не слазит... Ну, вы погодьте тут...

И ушел в соседнюю комнату, где голоса женские и детские становились все громче и гневливее, вскоре и Фролов голос затесался между них, что-то бормоча и срываясь на ругательства.

— Каки ши, каки ши? — плакался в ответ — слышно было сквозь стенку — женский рассерженный голос.— Где сейчас лазить станешь,— черти носят по ночам, оглашенные!..— И опять Фролово, вперемежку с детскими криками, бормотанье...

— Кгм-кгм,— вздрогнув, излишне громко закашлялся Лексан, чистя горло.— Закурить ничего нету, а?..— покосившись на спутника, повернулся он, заминая слышный весь за стенкой разговор.— Пачку положил где-то новую, никак отыскать не могу.

— Я не курю,— коротко мотнув головой, открыл глаза попутчик, по виду начавший дремать.

— Вот беда-то,— крикнул Лексан.— Ну как у Фрола не будет...

Вошел Фрол без улыбки, вздохнул и сел за стол.

— Шей-то, оказывается, нету,— сообщил он,— а вот блинчиков сейчас поищем.

Следом за ним раздался стук босых ног о пол, и Лексан сготовил соответствующую позу, думая, что идет сама хозяйка. Вышла невестка, рябая девка в мятом сарафане, без живота и с тугим, изогнутым коромыслом задом. Она оглядела сонно гостей и полезла за загнетку за спичками.

— Каки таки блины, каки блины, о господи!..— завздохало, заворочалось, застонало на кровати женским некрасивым голосом в приоткрытую дверь из темноты.— Каки блины, когда вечер еще съели, и чего искать там зря... Го-осподи!..

Невестка постояла у печки, разглядывая потолок, почесалась, махнула рукой — «да ну вас» — и ушла.

— Ничего, ничего, Фрол, — заторопился Лексан, — нам не важно, привыкли, мы лучше вот если закурить есть, дай чего, да и спать ляжем, чего ж там...

— Дал бы вот, Александр, от чистого сердца, — приподнялся Фрол, скрещивая на груди руки, — некурящий я, давно как бросил, не держу больше... вот у дедушки разве, тот табачок курит, самосадный... Батюшко, а батюшко, — треснувшим от ласковости голосом покликнул он, подойдя к печке, — ты спишь?.. Табачку отсыпь, гостям вот... — И, не дождавшись ответа, покивал на печку: — Болеет он, старичок, сам чувствует кончину, вот и капризничает... Батя, а батя, отсыпь, говорю, табачку-то гостям, Лександр приехал, Земсков, помнишь, может, — и сделал рукой снисходительно Лексану: «Где, мол, упомнит!»

— Чего-сь? — после некоторого молчания тоненько донеслось с печи.

— Табачку, говорю, отсыпь гостям...

Занавеска с краю медленно раздвинулась, и костлявая рука, согнутая в щепоть, просунулась над Лексаном. Лексан подскочил и поспешно принял из дрожащих мошей в замызганный газетный обрывок скудную порцию махорки.

— Дай да дай вам все, — злился невидимый дедушка с печи. — А как старцу чего, кто какие подношения делает?.. Голиафы...

— Так это же я, дедушка Василий, — неловко оправдывался Лексан, — еще к вам захаживал, к Фролу, может, помните...

— А-а-а, — равнодушно согласился старик и, вытянув щепоть, сыпанул еще, уже щедрее. — А ты скажи, молодец, с города какво али местный, откуда сам?..

Голос у деда, как из дудочки, вырезанной неумелой детской рукой, — дрожащий и силпый, на тоненькой распевной ноте.

— Не, дедушка Василий, не местный я, тут, в деревне, в сорока километрах живу, вот в город приезжал по делам...

— А-а-а, — снова пропел старик. — А какво там слышать, людей в небеса не запускали еще?..

— Не пока.. Да я в газетке на днях читал... — вертя сигарку, глобокомысленно обращался к печке Лексан, поддельваясь под дедов лад. — Так скоро на луну полетят, все ученые сейчас проекты изучают, как, мол, в один день туда и обратно.

— А-а-а, — опять на одной ноте несется с печки. — Так то, как дозволено будет, а то дай господь... В канонических книгах про это ничего не сказано...

— Это, наверное, смотря в каких, — раскуриваясь, оживает Лексан. — Я вот родителя своего помню, тоже был старичок, так он все книги старинные читал, так там все написано, что впредь предвидится: и птицы железные, и войны, и смятения, и про ракеты сказано в ином виде...

— Так то книги мирские, а апостольские иносказанием и мудростью богодухновенной повествуют... А вам, истинно говорю я, левиафаны вы и сикамбри... — повысил вдруг голос дед, — не будет вам моего прощения, как сыну Ноеву... — И замолк, заворочался, засипел про себя...

— С глузду съехал, Лександр, — зашептал, заморгал на печку Фрол, — который год с печки не слазит, начитался писанин, вот словами божественными и ругается!.. Анюта, — крикнул он, оборотясь от печки, — а ну, стели гостям чтой-то такое, время уж, людям в путь завтра, а они пухнут... А может, деда-то на лавку на одну ночь, ничего не сде-

ляется, там места хватит, а вам чего на полу спать... Матвейко, а Матвейко,— идя в горницу, звал Фрол и, притворив за собой дверь, командовал:— А ну, давай сбегай на печь, подергай за бороду деда... ему, храподолю, надоело уж, бока небось пролеживает...

— Да, подергай,— хныкая, жаловался Матвейко,— а он опять как плевать начнет, сегодня как дал костью, так весь лоб болит...

— Давай, Фрол,— со странной усмешкой поднялся Лексан,— давай тут, поедем мы, Фрол.

— Да ты чё, Лександр? — выскочил Фрол из горницы.— Я вот сейчас...

— Не, ехать надо,— не глядя, натягивал картуз Лексан,— никак нам нельзя. Прощай, Фрол... И вы тоже. Пошли, что ли, приятель...

Приятель, невозмутимо дремавший на лавке, подскочил, на ходу поправляя кепочку, вылез за дверь, следом за ним и Лексан.

— Не, Фрол, не, и не упрасивай даже,— зацепившись в сенях за что-то, ударившее его больно по спине, гудел Лексан.— Спасибо тебе за все, за угощение, за табачок... а нас не уговаривай, ехать надо...

— Да чего ж вы, о господи, непорядок, конечно, в доме, сам знаешь, строюсь я, куда народ-то деть, во как расстроюсь — приезжай в любой момент... а может, останетесь, огурчиков бы свеженьких... Брысь, стерва... а ну, пошел!.. — зыкнув на пса, обстукивал себя, стоя на крыльце, Фрол, ища спички зажечь фонарь; не найдя, сбегал в дом, а когда выбежал снова, Лексан отвязывал, удерживая коня, рвущегося мордой к калитке, откуда запахи жилья, коровника и густой сенной запах сытно били ему в ноздри.

— Н-н-о,— силой заворачивая, хлопал его по губам Лексан.— Н-н-о, кляча...

— Лександр! Дак приезжай, Лександр, как расстроимся, дак тогда...

Лексан, не оглядываясь, бежал за разгонявшейся под горку телегой, на ходу вскочил в нее, заворотясь от пыли, поднятой над скособоченными, в лопухах и крапиве плетнями; за поворотом блеснул издали фонарь выбежавшего на дорогу Фрола, и мрачный сосновый бор, открывшийся за деревней, смолисто вздохнул навстречу подъезжающим путникам, загудев таинственно и тревожно. Глухая звездная ночь прикрыла враз и деревню, и Лексанову телегу, и полевою дорогу, невидимо стучавшую под колесами... Лексан, свесив ноги, согнувшись и подперев руками щеки, бросив вожжи, отдался коню, звездной ночи, своим копошившимся в голове, обступившим кругом думам...

— Ну и дела!.. — словно приходя в себя, вдруг неестественно громко в тишине захохотал попутчик, переворачиваясь к Лексану.— Вот это да-а!.. Ну и кержак же у тебя приятель...

— Тьфу!.. — вместо ответа сочно сплюнул Лексан.

— Ну и кержак, таких поискать надо, а ты мне тут всю дорогу: друг, приедем, во встречу закатым... Говорил — ко мне поехали, переночевали б, бутылку тебе выставил бы безо всякого... Во как, брат!.. А живут хорошо, черти, крепко живут, одних сараев три штуки насчитал, да кроме еще курочка квохчет — птичник, видно, есть, а дом-то, видел,— хоромы, а ворота, ворота пушкой не пробьешь — во, действительно живут люди, а кержак на кержаке, с богатства-то оно всегда так... А я б не так, я б по-иному распорядился,— доверительно, придвигаясь поближе, выморкался в носовой платок спутник.— Кабы мне так, я б порядок завел прежде-напрям, потом псу голову снес бы к едреной матери... Да... А как он тебе: приезжай, Александр, как расстроюсь, огурчиком угощу... Ха-ха-ха!.. Ну, брат, и насмешил ты меня путешествием своим, век вспоминать буду!..

Лексан покачивался под мерный ход лошади и в который раз хватался за карманы, забывая, что кончилось курево.

— Что и говорить, подвел я тебя,— каялся Лексан,— извиняй уж, товарищ...

— Ну уж и гусь действительно, да бес с ним... А возле дома — замечал? — пристройки какие-то, сразу за стенкой, от забора, крольчатник — наверное, кроликов держит, а лесу сколько у дома, лесу, мать моя, откуда только тащат... В колхозе, конечно, работавши, столько не наберешь... Умеет жить, хозяйственный мужик... Я вот так считаю, что до благосостояния не дойдешь прямым путем...

В колышущемся, искристом небе вспыхивают и исчезают, описав полукруг, падающие звезды, новые занимают их места, низко опускаются, расплескиваясь зыбким светом над землей, над трудно различимой сейчас линией горизонта, куда Чалый увозит шаг за шагом разговорившегося попутчика и поникшего Лексана...

— А вот скажу я тебе прямо,— выждав немного, ведет разговор дальше попутчик, провожая глазами очередную звезду.— Не обидься, конечно... Тебя как по батюшке-то?.. Иванович?.. Ну так вот, Иванович, какой он тебе на самом деле приятель?.. У тебя вон на лице кожа да кости одни вместо мяса, да и то в шетине, а с трудов-то твоих и богатства, видно, кот да кошка, деньги небось завелись раз и те в пивную отнес... Свое ведь, от наживного горбом, и то не мог сберечь... Я, мол, садовод, у меня сад, неприятность, мол, вышла, а как не смог добром воспользоваться — за бесценок отдал, теперь вот шиш вези домой, верно ведь? А приятель твой тары-бары да ближе к делу, видит — с вами, приятелями, каши не сварить... Хозяйственный мужик...

— Ты чё это?.. — поднял голову Лексан, прислушиваясь к разговору, лыщемуся вроде бы безо всякой издевки...

— Верно ведь говорю, мне чё, я вот доехал с тобой, шапку снял — и поминайте, а тебе дельное говорю, хочешь слушай, хочешь нет...

— А ну, слазь с коня, мать твою!.. — рявкнул вдруг Лексан, хватая вожжи, ударившись каблуками о скрипнувшее и замолкнувшее колесо.— Слазь, говорю... И катись, чтоб тут твоей ноги не было... Давай, давай,— торопил он хлипкого мужичка, подталкивая его с телеги.— Вылазь, тебе говорят...

— Да ты што... Иванович... — Сняв шапку, испуганно стоял попутчик у дороги. — Не понял ты меня. Я ж в шутку все... Ну, куда мне теперь, на ночь-то...

— Разве что на ночь уж... Жалко тебя... — поколебавшись и уже мягче ему — Лексан.— Прыгай давай, куда тебя в самом деле...

Остаток ночи проехали с неловкостью, отворачиваясь друг от друга. Лексан так и не смог задремать, смотрел пустыми глазами на зацветавший туманной бледностью восток, пока не развиднелось совсем, обнажив впереди дорогу, бодря Лексана, кутавшегося в телогрейку, зоревым, покалывающим холодком. У тропки, отбегающей с дороги, брошенной в голье поля раскрученным мотком веревки, не заметил, как соскользнул с телеги путник, засеменя следом, придерживаясь задка, заворачивая полу длинного, до самых пят, плаща. Лексан обернулся нечаянно и встретился глазами.

— Чё, приехал?.. Твоя станция?..

— Приехал... На вот, держи... Иванович. Эх, не понял ты меня... Я же сам такой, как и ты... Возьми вот...

— Не...

— Держи, говорю, чудной, что ж, даром вез, что ли...

— Не, говорю... Прощай...

— Ну коли так...

Потерялась и оставила попутчика в подымавшемся тумане тропинка, запахло сыростью, телега затахтела по спуску, простучала по бревнам мостка, поднялась в гору, и чем дальше отъезжал Лексан, тем сильнее приходило ему на память, как из сна, все недавнее, мерещились ему лица, улыбки, разговоры, чьи-то шаги, догонявшие совсем рядом, заставлявшие вздрагивать и поплотнее кутаться в телогрейку...

Лишь к восходу выехал Лексан из зардевшегося, пахнущего венниками и грибами березняка, с изрытой колеями дороги на свой большак, к знакомым картофельным полям с первыми пристройками и фермой начинавшейся деревни. И здесь для успокоения вылил всю накопившуюся злость Лексан на Чалого.

— Пошел, пошел!..— привстав, нахлестывал не разбирая, выговаривал коню Лексан.— Чтоб тебя!..

Вывози давай к чертям собачьим, вывози давай хоть куда от ночитмени, сыплющей, как листьями осенними, звездами, от шагов, чудящихся все еще сзади, куда-нибудь увози от срама Лексанова, на всю жизнь вывози давай с кружного пути...

Свердловск.



АННА МАСС

★

ЛЮБКИНА СВАДЬБА

Рассказ

Возле склада девчата-рабочие собрались на посиделки. Недавно закончился ужин, поварахи мокрыми тряпками протирают клеенки, а у них над душой уже стоят любители шахмат и домино, ждут, когда можно будет расположиться на чистом столе.

Фонари тускло освещают экспедиционную базу, на высокой мачте полощется флаг. Ветерок прохладный — дыши, насыщайся воздухом, завтра опять в поле — глотать горячую пыль.

В палатках сейчас пусто. Раскрыты брезентовые створки, словно и палатки, широко раскрыв рты, торопятся наглотаться свежего воздуха.

Девчата у склада щелкают семечки и обсуждают новость:

— Нет, вы подумайте, Любка-то!..

— Окрутила все-таки Генку!

Нинка Зайцева, которая знает все, пришепечывая и понижая голос для большей таинственности, выкладывает:

— Она ко мне подходит и говорит: прямо не знаю, как быть — приглашать Маслова на свадьбу или нет. Вдруг не придет? Я говорю: ясное дело, не придет. И не зови.

— Почему, почему не придет? — предвкушают девчата.

— Привет! А вы не знаете? Во второй партии все знают. Она же в прошлом году с Масловым...

— Да-а-а-а?! — изумляются слушательницы.

— Что же я, врать, что ли, буду? Мне Райка Кузнецова рассказывала, из второй партии. Вообще во второй партии все знают...

— На-а-а-а-а же! А строит из себя!

— Вот именно что строит! — Нинка захлебывается от торопливости. Вечерняя пора, когда можно всласть посплетничать, — лучшее время ее жизни. В эти минуты она расцветает. — А что вы удивляетесь? Что она, с одним Масловым, что ли? Когда мы в Ростовской области работали, так она там, знаете...

— На-а-а-а же!

А Любка между тем и вправду готовилась к свадьбе. Маленького роста, угловатая, с жидким полуразвившимся перманентом, она бегала по базе в своем линиялом халате, суетилась, ругалась с кем-то, посылала кого-то в Прикумск за водкой, готовила на кухне холодец из баранины и была похожа на кого угодно, только не на невесту.

И что только Гена в ней нашел?

Гена Панкратов работал старшим буровым мастером партии. Высокий, сильный, с волевым ртом и спокойными глубокими глазами, он вы-

делялся среди парней. Девчата заглядывались на Гену, и, конечно, ему, при его внешности, все равно недолго бы ходить холостяком, но почему Любка? Ни статью, ни характером она ему не подходила. И старше его была к тому же.

Любке было двадцать шесть лет, а выглядела она на все тридцать. Морщинистое, дочерна загорелое лицо как бы в белой кайме: девчата, работая в поле, повязывались платками, стараясь прикрыть лоб и щеки, и лица загорали некрасиво, треугольником.

Передние зубы у Любки — тоже, как у других, — обломаны. Во время работы часто приходится зубами сдирать изоляцию с проводов, а то и перекусывать провод. На это существуют кусачки, но не всегда они под рукой. Обрыв, например, произошел на конце косы — не бежать же полкилометра на сейсмостанцию за кусачками. Каждая минута дорога. Ну и перекусишь. И ничего вроде. И в другой раз перекусишь. В результате у большинства девчат, проработавших в сейсмоотряде на косе несколько лет, полон рот стальных зубов. А Люба работает уже шестой год.

В двадцать шесть лет Люба — старуха не старуха, а так, женщина без возраста.

У Любы есть пятилетняя дочка, которая живет с бабушкой недалеко от Цимлянска, Люба снимает им комнату. Экспедиция строит квартиры для своих постоянных сотрудников, но рабочие не считаются постоянными. Их берут на сезон — с апреля по конец октября.

У склада девчата продолжают сумерничать.

— Ясно, из-за квартиры, — говорит Нинка Зайцева. — Ему же как старшему бурмастеру должны дать. Любка не дура, своего не упустит!

Нинка Зайцева знает все. А если случайно чего-нибудь не знает, то тут же и домыслит.

— Трепло ты, Нинка, — говорит Римма Сиротина. — Язык у тебя полощется, как мокрая тряпка по ветру. Тошно слушать.

— А тошно — так не слушай! — молниеносно парирует Нинка.

— В клуб пойду, на танцы, — решительно говорит Римма. — Всех сплетен до утра не переслушаешь.

— Видела я, с кем она все танцует, — пошмыгивая носом, сообщает Нинка, как только Римма скрывается в темноте. — Вячеслава знаете? Ну, местный, с овцефермы. Ну, пиджак у него с разрезом, импортный! Ну, пьяный позавчера напился и в лужу упал возле магазина! Вот с ним.

Девчата зевают вовсю, но не расходятся. Ждут, чтобы Нинка ушла первая.

По базе медленно идет худой, высокий старик. В одной руке у него гитара, в другой пучок зеленого лука.

— Это что еще за дед? — спрашивает кто-то из девчат.

Нинка тут же дает справку:

— Сторож взрывсклада. Взяли из местных. Он тут парикмахером работал.

— И откуда ты, Нинка, все знаешь?

— А вот знаю. Говорят, этот дед умеет играть на семи разных инструментах.

— Смотря как играть, — откликается Клавка. — Я и на четырнадцати могу, голько весь вопрос — как?

Возле склада старик остановился.

— Люблю гитару! — сказала, потянувшись, Клавка. — Сыграй, дед, что-нибудь!

— Что же вам сыграть? — спросил старик. Ему было, пожалуй, далеко за семьдесят. Беззубый, шамкающий рот; крупный нос с горбинкой резко выступает на худом иссохшем лице; бесцветные стариковские глаза.

Старик заиграл что-то веселое, какой-то танец. К удивлению девчат, это не было обычным бренчанием, когда гитарист, уставясь на струны и вывалив язык, с напряжением переставляет пальцы, пыхтит, краснеет и прекращает наконец игру со словами:

— Инструмент паршивый. А то бы я...

Старика окружили. Люба-невеста тоже подошла, стала рядом с Нинкой Зайцевой. Нинка обняла ее за плечи, погладила по жиденькому перманенту:

— Любочка, что я тебе потом скажу...

Старик играл недолго, оборвал в самом быстром месте и поднялся.

— Мечтаю сыграть на свадьбе у своей внучки.

— Она маленькая? — спросила Любка.

— Она через год окончит Ленинградский университет.

И дед, взяв под мышку гитару, направился к взрывскладу.

— Темная личность! — сказал шофер Иван Воробьев. — Про него такое рассказывают — жуткое дело! Белогвардеец бывший. Я бы его своими руками придушил, гада недорезанного!

И, как бы в подтверждение своих слов, Иван пнул ногой маленького белого щенка, лизнувшего ему ногу. Щенок с визгом отлетел в сторону.

— Ты бы придушил, — сказала Любка. — Тебе лишь бы покуражить-ся. Я этого старика на свадьбу позову. Своя музыка будет.

Свадьбу играли на квартире у старшего механика партии Федора Григорьевича. На длинном, от стены к стене, составленном из нескольких, столе были расставлены бутылки и закуски. Бутылок было много больше, чем закусок, хотя Люба постаралась закупить все, что только было в совхозном магазине: бычков в томате, судака в масле и даже консервированную морскую капусту.

Холодец не застыл — негде было заморозить его, но он и незастывший был хорош, украшенный кружочками свежей редиски и хвостиками зеленого лука. За редиской (и водкой, кстати) ездила машина за сто пятьдесят километров, в районный центр.

В ожидании ужина гости собрались во дворе. Обсуждали волновавший всех вопрос: перевод буровиков на сдельную работу.

До сих пор буровики работали на повременке: отработал семь часов — и свободен. Сколько бы скважин ни набурил — зарплата одна. На сдельной работе буровики заинтересованы в том, чтобы пробурить как можно больше скважин.

Но в банке заявили: оплачивать будем не всю глубину скважины, а только ту, на которую опустили заряд.

— Почему? — возмутились буровики.

— А вдруг вы будете приписывать глубины?

Сейчас бурмастера сидели на скамейке перед домом и спорили.

— Да какой мне интерес работать сдельно, — кричал Тима Приходько, — если мне за двадцать метров глубины платят как за десять?

— А это, милый, тебя не спросили, — усмехнулся старший механик. — Начальство захочет, так ты за двадцать метров как за пять будешь получать.

— Как это меня не спросили! — горячился Тима. — А я вот хочу, чтобы меня спрашивали, прежде чем мои интересы ущемляют. Я человек, между прочим!

— Это для себя ты человек,— заметил механик.— А для начальника экспедиции ты знаешь кто? Фонд заработной платы. Он на тебе экономит, понял? Он тебя на сдельщину переведет, а в конце сезона сэкономленные денежки ему премией обернутся.

— Да буровики не согласятся — и все! — удорствовал Тима.

— Как это они могут не согласиться? Ну как?

— Очень просто! Откажутся работать — и все!

— Ну, вот лично ты — откажешься? Ты, ударник коммунистического труда, откажешься? Что молчишь?

— Да ведь это ж обман!

— Почему обман? Экономия по фонду заработной платы. Никакого тут обмана.

— Нет, погоди...— крутил головой Тима.

Любка все суетилась, боялась, что не хватит посуды, что сорок человек не рассядутся, огорчалась, что холодец не застыл, и всем порывалась объяснить, почему он не застыл, хотя никому это не было интересно. Она и на свадьбе не была похожа на невесту, хоть и принарядилась. Вот Гена — тот выглядел настоящим женихом: не принимая участия в общем разговоре, он сидел среди гостей подтянутый, серьезный, в черном пиджаке, застенчивом, несмотря на духоту, на все пуговицы, и внимательно слушал.

Тихо брэнчал на гитаре приглашенный старик.

Бухгалтер Николай Яковлевич крикнул:

— Долго мы еще во дворе топтаться будем? А ну, жених с невестой, приглашайте к столу, а то водка прокиснет, хо-хо-хо!

С этой минуты Николай Яковлевич крепко взял в свои руки организацию веселья и стал душою общества.

— Я чур возле жениха сяду, держать буду, если удирать вздумает, хо-хо-хо! А то Любка одна не удержит небось, а? Как, Люба, удержишь жениха-то, а?..

Гости смеялись.

Молодых посадили, как водится, на самое видное место. Все смотрели на них и невольно сравнивали. Контраст бросался в глаза: юный красавец Гена — и Люба, немолодая, неумело причесанная, в крепдешиновом платье с оборками, затянутая широким лакированным поясом, приземистая, сутулая...

Люба, видно, сама ощущала это несоответствие, и лицо ее, обычно непроницаемое, было на этот раз испуганным и каким-то умоляющим. Она то и дело исподтишка поглядывала на Гену, и чувствовалось, что она влюблена в него и сама своему счастью не верит.

...Давно уже съеден был холодец — даром что не застыл,— гости откричали «горько!» и опустошили значительную часть бутылок, молодым были вручены подарки, и уже кто-то из гостей, навалившись грудью на стол, бодро затянул:

...Вот умру я, умру я,
Похоронят меня...

И вдруг встал тот старик, гитарист, и сказал:

— Я хочу произнести тост.

Кое-кто из гостей обернулся к нему.

Старик сказал:

— У Шопенгауэра в «Афоризмах житейской мудрости» говорится: естественна тяга противоположностей друг к другу, ибо каждый индивидуум ищет в другом то, чего лишен сам. Будем надеяться, дорогие Люба и Гена, что ваш брак будет олицетворять собой единство противоположностей. Основное, чего я вам желаю,— это вечной душевной бодрости

и здоровья, ибо «в здоровом теле здоровый дух», как говорили древние римляне!

— Образованный! — с радостным изумлением воскликнул бухгалтер.— Дай, старик, чокнусь с тобой, хоть ты и белогвардеец!

— Вы ошибаетесь,— ответил старик.— Я не белогвардеец. Полковник в отставке Василюк Михаил Семенович.

— Полковник! — еще больше обрадовался бухгалтер.— А золотые погоны где прячешь? Ак-ксель... банты?!

Бухгалтер икнул.

— Отстаньте вы от него,— вмешалась Люба.— Привязались — белогвардеец, белогвардеец! Давай, дед, тарелку, я тебе салата положу.

— Благодарю,— ответил старик и вдруг предложил:— Люба! Хотите, я постригу вас?

— Да что ты, дед,— сказала Люба.— Мне стригись не стригись — лучше не стану. Ты девочкам предложи — вон Маше, Клавке...

— Ну да, еще чего! — захохотала Клавка.— Оболванит, да еще и платить заставит! Сама стригись!

— Возьму, да и постригусь,— сказала Люба.— Правда, Гена?.. Давай я постригусь, а?..

Жених не обернулся, увлеченный спором с Федором Григорьевичем.

— Стригись, чего там! — крикнул бухгалтер.— Хуже не станешь! Если Геннадий тебя нестриженую взял, то, может, и стриженую не бросит, хо-хо-хо!

Люба вымученно улыбнулась.

Бухгалтер затащил громким, фальшивым голосом:

По долинам и по взгорьям!..

Остальные не в лад подхватили, заглушая звон стаканов. В комнате нечем было дышать, и гости вышли во двор.

— Танцы! Танцы! — заголосил бухгалтер и первый принялся отплясывать.

Старик играл на гитаре.

— Танго, дед! — кричали ему, и он послушно играл танго.

— Русского! — и он играл русского.

— Молодец, дед! — кричали ему.— Пей!

Дед пил.

Опьянел он как-то сразу, и хотя продолжал наигрывать, взгляд его помутнел, нижняя губа отвисла. Вскоре гитара выскользнула у него из рук, жалобно зазвенев, упала на землю.

Гости продолжали отплясывать под аккомпанемент собственных хлопков.

Любка села на скамейку рядом со стариком, устало сложив на коленях руки. Вокруг смеялись и пели, а у Любки было грустное, погасшее лицо, словно чего другого ожидала она от этой свадьбы.

— Смейтесь, Люба! — неожиданно звонко произнес старик.— Смейтесь! Смех есть неразменная монета счастья, как сказал великий философ!..

— До дому шел бы, дед,— сказала Люба.

— Дом! — повторил старик.— Что есть дом?..

Он взял Любку за руку и глядел ей в лицо заблестевшими, пьяными глазами.

— Подпоили деда,— хихикнул Иван Воробьев.— Совсем окосел!

— Ума у вас нет ни грамма,— сказала Любка.

— Мой дом! — пробормотал старик.— Он везде и нигде...

Любка потрясла старика за плечо:

— Где ты живешь-то, дед?

Старик вдруг снова поник, ослабел, глаза его потускнели.

— Возле клуба... Третий налево...

— Проводил бы тебя кто. Свалишься на дороге.

Она оглянулась. Свадьба была в разгаре. Никому не было дела до пьяного старика.

У низкого саманного сарайчика Нинка Зайцева, приглашенная на свадьбу, точила лясы с подружками.

— В прошлом году аборт делала. А теперь, гляди, невпниность строит. Генка-то небось и половины не знает.

— А ты ему расскажи!

— Надо больно! Не бойся, без меня расскажут!

Любка подняла с земли гитару и, поддерживая старика, который с трудом держался на ногах, повела его к калитке.

— Люба! Никак ты со своей свадьбы уходишь? — крикнула Клавка.

— Больно я тут нужна! — Люба покосилась на Геннадия, поглощенного разговором с приятелями, и вышла за калитку.

— Во как! — удовлетворенно заметила Нинка. — Совсем баба совесть потеряла! Со стариком ушла!..

Отдельной палатки молодоженам не дали, не было, и они поселились в четырехместной, вместе с шофером Толиком Тимохиным и его женой Валей, топографом. Толик собирался с Валей расходиться и все свободное время проводил с ребятами, в холостой компании. Валя допоздна занималась в красном уголке — готовилась к экзаменам в техникум. Так что Гене с Любкой, можно сказать, повезло.

Для Любки с замужеством мало что изменилось — стирки разве только прибавилось. Все так же каждое утро она выходила из палатки, наскоро завтракала в столовой и спешила к бортовой, где обычно уже сидели девчата-рабочие ее отряда и насмешница Римма Сиротина кричала:

— Долго дрыхнешь, молодая! Видно, опять Гена всю ночь спать не давал!

И так же, как всегда, шофер бортовой Ермилов, рыжий нескладный парень, плюхался на сиденье, включал мотор и гнал машину на полной скорости, не притормаживая на ухабах. Девчата стонали и ругались, подскакивая на неоструганных досках, протянутых от борта к борту. Неунывающая Клавка запевала каждый раз свою любимую:

В жизни раз бывает восемнадцать лет...

Девчата подхватывали, голоса прыгали и срывались.

Пели и другие песни, но к концу пути обычно замолкали, измученные жестокой тридцатикилометровой тряской. Вцепившись в борта и сиденье, глядели в серое однообразие степи, в синее, но уже начинающее накаляться небо и ловили ртами бьющий в лицо горячий, пыльный ветер.

Возвращались домой, когда тускло-красное, пропылившееся солнце стояло почти у кромки горизонта. Подъезжая к базе, снова пели: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Это считалось шиком — довести песню до самого дома.

Однажды на базе снова появился старик гитарист. Из самодельного мешочка извлек ножницы, гребенку, безопасную бритву, пудреницу и пульверизатор и разложил все это на досках возле склада.

Отряды еще не приехали с поля. Палящий зной постепенно сменялся обычной предвечерней жарой.

Девчата вернулись на базу серые от пыли и усталости. Сойдя с машины, устремились к бочке с питьевой водой и стали пить жадными, большими глотками. Прислонившись к бочке, стояли, отдыхая, и снова пили и пили. Только потом медленно направились к столовой.

После ужина, когда усталость отступила немного, старика вдруг заметили.

— Девки, гляньте! — крикнула Клавка. — Дед-то парикмахерскую открыл!

Старика окружили.

— Где ж твои бигуди, дед? — смеялась Клавка. — Я, может, хочу перманент сделать!

— А я — маникюр! — задорно поддержала Римма.

— Могу сделать прическу по последней моде, — улыбаясь, сказал старик.

— Иди, дед, на овцеферму, овец стриги по последней моде! — съязвила Римма.

— Во, правильно! — обрадовалась Нинка Зайцева. — На овцеферме тебе самое место! Такими ножницами только баранов холостить!

Девчата хохотали. Тут не было злости, скорее разрядка после напряженного дня.

Старик начал суетливо запихивать в мешочек свои парикмахерские принадлежности.

Любка вдруг развязала платок, вытерла лицо и шею и села на складной стульчик.

— Очумела! — ахнула Клавка.

— Слезай со стула, дура! — сказала Римма. — Генка увидит — он тебе даст!

— Ничего он мне не сделает, — отозвалась Люба. — Он и не заметит.

— Он заметит! — торжественно сказал старик. — В этом я вам ручаюсь!

Старик шелкнул ножницами — и мелкозавитые Любкины кудерьки бесшумно упали на землю. Обнажилась тоненькая шея, неожиданно белая над загаром. Открылся большой лоб, до этого закрытый все теми же мелкими кудерьками. Вместо них легла на лоб маленькая прядка.

Любка на глазах молодеда.

Наконец Любка встала со стула. От нее пахло пудрой и одеколоном.

— А что — ничего! — протянула Римма, а Маша Белоконь робко спросила:

— Меня пострижете, дедушка?

— Милости прошу, — ответил старик.

— Сколько с меня? — спросила Люба.

— О, нет-нет! — сказал старик, поднятой ладонью как бы отстраняя Любкин вопрос. — Я не возьму с вас денег.

— Да как же...

— Не будем об этом говорить! — твердо сказал старик.

— Любочка, какая же ты красавица! — пропела Нинка Зайцева. — Геночка увидит — влюбится, ей-богу!

— Верно хорошо? — спросила Любка. Смущаясь своей неожиданной радости, она улыбалась, потупив голову, чтобы не показывать обломанных передних зубов. — Пойти Гене показаться, что ли? — сказала она и пошла, бережно трогая рукой волосы. У палатки она оглянулась и крикнула: — Дед, спасибо!

Отдежурив положенное на взрывскладе, старик стал появляться на оазе со своими парикмахерскими принадлежностями. Денег за стрижку

он не брал, на вопросы отвечал многословно и витиевато. Его считали ненормальным, прерывали, не дослушав, и он послушно замолкал.

Любка, пожалуй, единственная разговаривала со стариком всерьез. Когда не было желающих стричься, Любка иногда садилась рядом со стариком на доски и не то жаловалась ему, не то просто рассказывала тихим, грустным голосом:

— Гена — он ласковый, вы не думайте. Он только стесняется дружков своих. У них ведь принято это с женщинами — криком да смехом. А так-то он неиспорченный. А что выпивает — так ведь спаивают дружки. Сам-то он не пил бы... Но он пьяный не драчливый, не то что некоторые...

— Пьянство — не есть несчастье само по себе, — отвечал старик. — Пьяница делает несчастными своих близких.

— Чудак ты, дед. Какая же я несчастная? Я говорю — он не грубый. Ничего, это спервоначалу мне с ним трудновато, потом легче будет. Домом заживем. У меня ведь сбережения есть — тысяча рублей. Десять тысяч по-старому, вон сколько. С шестидесятого года коплю. Полдома хочу купить. Уж почти сговорилась с одной хозяйкой. Ох, как своего угла хочется! У меня ведь дочка есть, знаешь, дед? Замужем не была, а дочка есть, вон как. Он-то, отец ее, в армию ушел, я тогда и думать ничего не думала, дура душой была. Как узнала, что ребенок будет, — написала ему. Дескать, приедешь — распишемся. Так он не приехал. Не ответил даже. Кто его знает, где он теперь. Я уж его совсем забыла. Помню — невысокий. А лица не помню...

Взрывсклад был в полукилометре от базы. «Опасная зона» — было написано на доске, прибитой к невысокому столбу.

Здесь были в беспорядке навалены пустые ящики из-под взрывчатки, а рядом стояла маленькая брезентовая палатка и был натянут тент, защищавший от солнца. Под тентом, на пустом ящике из-под тола, лежали книги и журналы. Была даже старенькая готовальня, в которой не хватало половины деталей, и старик, надев очки с треснувшим стеклом и резинкой вместо отломившейся дужки, чертил что-то на кусках миллиметровки.

Как-то Люба пришла на взрывсклад.

— Завхоз черешню достал. Всю уже расхватали. Я попросила на твою долю — полкило дали...

Она оглядела стариково хозяйство.

— Вон у тебя как... А что ты чертишь?

— Это так, для себя. Фантазирую... Меня иногда просят начертить проект дома — обычного саманного дома. Я черчу. Без чертежа не дают разрешения на строительство.

— Ученый ты...

— Я инженер. Военный инженер. Бывший.

— На пенсии, что ли?

— Это не важно. Я не нуждаюсь. Мог бы хлопотать, но зачем? Я, как Диоген, довольствуюсь малым.

— Ладно, побежала я, — сказала Любка. — Черешню-то бери, ешь.

— Спасибо, Люба. Посидите со мной, если не торопитесь.

— Тороплюсь: тапочки надо отнести к сапожнику. Прохудились тапочки — а не выбросишь: кожаные. В магазине только на резине. А на резине по степи не побегаешь — все ноги сожжешь.

— Оставьте тапочки мне, — сказал старик. — Я отнесу. Мы с сапожником живем в одном доме.

Вечером старик подошел к Любиной палатке. Люба стирала. Старик протянул ей сверток.

— Тапочки? — обрадовалась Люба. — Так быстро?

— Я сам сделал,— ответил старик.

Люба развернула сверток. К тапочкам были прибиты гвоздями толстые резиновые подметки. Вся подошва была сплошь заделана гвоздями. Видно, старик на совесть потрудился.

— Сапожник уехал,— сказал старик.— Я подумал, что вам трудно будет работать в босоножках: камешки, колючки и прочее... Я нарочно подобрал резину покрепче. Носите на здоровье.

— Спасибо,— сказала Люба, рассматривая свои изуродованные тапочки.— Выручил ты меня, дед...

Тапочки Любка выбросила, никому ничего не рассказав. Смеху было бы! А зачем? Тапочек было жаль, но на деда Любка не сердилась: что ж на чудака старого сердиться? Он ведь от чистого сердца.

Наоборот, после этого случая Любка с дедом подружилась.

Любка сидела под тентом, на ящике из-под тола. Здесь солнце не пекло, обдувало легким ветерком.

— Вот, дед, рубаху тебе принесла. Генина рубаха, я ее постирала, зашила вот здесь, у ворота. Совсем незаметно. Гена не будет ругаться, я ему новую куплю. Эту рубаху ведь тоже я ему купила, а он ее износил за месяц. На нем горит все. Сбережений никаких не хватит. Помнишь, я говорила — сбережения у меня есть — тысяча рублей? Подтаяли. Триста рублей уже взяла с книжки. Одна свадьба почти двести стоила. А ты думал сколько — сорок человек напоить-накормить?.. У Гены денег нет, он ведь не бережливый. У него чуть завелись деньги — в момент с друзьями прогуляет. А недавно мы послали сто рублей на Кубань — Гениным родителям. Им дом нужно ремонтировать. Я тебе правду, дед, скажу: жалко мне денег. А с другой стороны — как не послать: они ведь еще не знают меня, вот, скажут, какая жена скупая Гене досталась. А теперь уж не скажут. И Гена доволен. А ты рубаху носи. Она крепкая. А эту, в чем ходишь, брось, истлела совсем.

Любка частенько стала наведываться к старику. Здесь она отдыхала от дневной беготни, от постоянного многолюдья.

Старик радовался, когда она приходила, и Любка была благодарна ему за эту радость.

Ей нравилось слушать старика. Она тихонько сидела на рассохшемся ящике, изредка задавая вопросы.

Спокойным, ровным голосом, как не о себе, старик рассказывал ей свою жизнь. О том, как учился в Петербурге, в институте гражданских инженеров, и как, не закончив ученья, уехал за границу, спасаясь от ареста: принял участие в забастовке. Потом служил матросом на американском пароходе, объезжал лошадей в Южной Америке, работал на плантациях... Рассказывал, как вернулся на родину и уже в конце второй мировой войны, в чине полковника, получил назначение на строительство маленького военного городка.

Время от времени он прерывал себя и смущенно спрашивал:

— Вам не скучно, Люба?

— Чего там — скучно! Завидно — повидал ты сколько! Мне бы — хоть половину... А у меня, наверно, так вся жизнь и промелькнет — от стоянки к стоянке... Рассказывай, дед, дальше!..

— Я ни о чем не жалею, нет-нет, Люба,— говорил старик.— Были ошибки, но что была бы наша жизнь, не совершай мы ошибок? Скучная, серая материя. Нет-нет, я не жалею.

— А как ты в Калмыкию попал, дедушка?

Старик пожевал беззубыми деснами.

— В сущности — нелепо. Но люди не всегда хозяева своей судьбы.

Порой события происходят помимо наших желаний, наперекор всякой справедливости. Так получилось, Люба. А теперь мне некуда ехать.

— А родные?

— Жена умерла давно, задолго до войны. А сын... Знаю только, что в сорок четвертом году он служил на Северном флоте. Последнее письмо от него я получил в марте сорок четвертого.

— Дед, а внучка? Та, что в Ленинграде, в университете?

Старик встрепенулся.

— Да, внучка!.. Она жила в Ленинграде с матерью. Сын служил в Кронштадте, а девочка с матерью — в Ленинграде. Она родилась за год до войны. С сорок четвертого я ничего о них не знаю. Сейчас ей должно быть двадцать три года.— Старик удивленно повторил: — Двадцать три года!..

— Значит, всех растерял,— сказала Люба.

Старик посмотрел на нее вдруг заблестевшими глазами.

— Пойди сюда,— сказал Гена.

Любка выволакивала из палатки спальные мешки — проветрить.

— Да погоди, брось. Подойди, говорю.

Люба послушно опустила спальный мешок на землю.

— Вот что. Бить тебя или там материть я, конечно, не буду. Я моральный кодекс чту. Но чтобы на взрывсклад больше не шлялась. Раз и навсегда говорю, поняла?

— Да что ты, Гена! — Люба всплеснула руками. — Я ж к старику хожу! Посидеть, поболтать.

— Неинтересно мне, зачем ты к нему ходишь. Мне лично наплевать, посидеть ты к нему ходишь или еще зачем. А люди мне в глаза смеются! Шуточки отпускают!

— Кто смеется-то, Гена? Глупые — и пусочки смеются. Небось Нинка Зайцева?

— А кто бы ни был,— медленно, злобно проговорил Гена.— Не желаю, чтоб смеялись, ясно? Еще рубахи мои будешь дарить!

— Не желаешь! — крикнула Люба.— Один раз над тобой дураки посмеялись — ты обиделся. А над ним все время смеются — он молчит. Много ли смелости — над одиноким стариком потешаться? Я к нему прихожу — уж как он радуется мне! Глаза так и засияют навстречу. Может, он один мне и радуется. Тебе я так угодить стараюсь — ты хоть раз спасибо сказал? Я перед девками хвастаюсь: мой, говорю, грубого слова не скажет, не дерется. А ты хоть раз слово ласковое сказал мне? А мне, думаешь, не нужно оно, ласковое слово? Я с тобой как заледенелая. Только с ним и оттаиваю.

— Тихо ты,— сказал Гена, оглянувшись.— Рассопливилась. Люди увидят.

— Они и так уж увидели,— сказала Люба.— И что было, и чего не было.

— Смотри,— сказал Гена с удивлением,— как заговорила! Думаешь, свадьбу сыграли, так я привязанный? Нет, я не привязанный. Я, может, жалею тебя. Будешь срамотить меня — дня не останусь. Девочек вокруг много. И с деньгами есть, между прочим.

Люба вскинула на Гену усталые, в красных жилках, глаза.

— Да я, Геночка, разве что? Это я так, от усталости. За день намотаешься — вот и рычишь. Ты не сердись! Зимой заживем, Гена, в своем доме — я тебе слова поперек не скажу, вот увидишь! Ты только не сердись!

Она боялась — и Гена понимал это,— боялась, что он и вправду уйдет и она снова останется одна, без опоры. Боялась насмешек, кото-

рых она в последнее время перестала бояться, потому что рядом с ней был он, Гена.

— Да не сержусь я,— сказал Гена.— Чего это я буду на тебя сердиться?

Он погладил ее по голове и, как котенка, почесал за ухом.

Любка так и потянулась к нему, так и расцвела вся от снисходительной Гениной ласки.

— Не ходи больше к старику,— сказал Гена.— Не надо. Неприятно это мне.

— Не буду, не буду, Геночка,— глядя на него все еще испуганными, преданными глазами, закивала Любка.— На что он мне сдался, старик этот?..

Старик медленно шел по базе, чуть приволакивая ноги. Был вечер, тарахтел движок, тускло светились лампочки на столбах.

Возле склада девчата-рабочие сидели на куче досок и обсуждали последнюю новость:

— Начальник экспедиции приезжает. Совещание будет.

— О чем совещание-то?

Нинка Зайцева уверенно ответила:

— Переходящее знамя будут вручать. Опять премии начальнички получат.

— Премии — они всегда начальникам достаются...

— Добрый вечер, Люба,— сказал старик, снимая фуражку.

Любка не ответила.

— А у меня для вас подарок, Люба,— сказал старик.

Он стал неловко доставать из авоськи сверток.

— Иди, дед, иди! — крикнула Люба.— Нужен мне твой подарок! Ковыляй давай на склад, а то весь тол разворуют! А меня не жди, меня Геночка мой ревнует.

Девчата хихикнули.

Старик вытащил из свертка новые кожаные тапочки и поставил на доски рядом с Любой.

— Вот,— сказал он и пошел к взрывскладу, дряхлый, прямой, не похожий на других и потому особенно одинокий.

Тапочки пошли по рукам.

— Вещь,— сказала Клавка.— Мне бы такие.

— Знал старик, что подарить!

Нинка Зайцева ехидно спросила:

— Интересно, за чтой-то он тебе подарки дарит?

Девчата со смехом начали строить предположения. Любка отшучивалась.

На доски от склада падала густая тень, и никто из девчат не видел, что Любка плачет, не всхлипывая, не вытирая слез, стараясь дышать ровно и отшучиваться позадорнее.



РОБЕРТ ФРОСТ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С английского

ТОПОРИЩЕ

Тогда, в лесу, топор мой занесенный
Ольха внезапно придержала веткой.
Но то в лесу — ольха мне помешала
Ударить по корням другой ольхи,
И мой топор тогда держала ветка.
А нынче это был сосед Батист,
По снегу он ко мне подкрался сзади,
Когда я во дворе колол дрова.
Он ловко ухватил мой занесенный
Топор в последнее мгновение взмахом,
Когда я был бессилён помешать,
Попридержал его, чтоб я остыл,
И просто вынул у меня из рук.
Я знал его неважно и не понял,
К чему бы это все. Возможно, он
Хотел потолковать с плохим соседом
И для того его обезоружил.
Но он сказал на ломаном английском
Не обо мне самом, о топоре,
Я важен был лишь как его владелец:
Мне продали плохое топорщице.
«Машинная работа», — он сказал,
Указывая заскорузлым ногтем
На белые волокна древесины,
Которые пересекали ручку —
Как две черты на долларовом знаке.
«Покрепче стукнешь — и напополам.
И гвой топор по воздуху летит».
Допустим. Но ему-то что за дело?

«Пойдем ко мне, я дам тебе другое.
Не поломать. Береза. Хорошо!»
Быть может, он хотел продать? Но нет.
«Я подарю. Скажи, когда придешь?
Сегодня?»

Что ж, сегодня так сегодня.

Мой дом из всех окрестных выделялся
Лишь жаром лучше вытопленной печки.
Соседи знали, отчего я здесь.
И коль Батист меня не станет мучить
Ненужными расспросами, то мне,
Пожалуй, стоит заглянуть к соседу,
Позволив ему выказать свои
Особые познания в топорах,
И оценить их по-добрсоседски.
Французу, жизнь прожившему меж янки,
Не грех предстать во всем французском блеске!

Жена его устроилась в качалке,
Качавшейся, как мир, многообразно:
Взад и вперед, от света к черной тени,
К небытию и постепенно вбок,
Что привело бы к столкновенью с печкой,
Когда бы, вовремя не спохватившись,
Жена рукой не выправляла курс
И снова не пускалась взад-вперед.
«Не может по-английски — просто горе».

Переводя глаза с меня на мужа,
Жена его стараясь делать вид,
Что понимает все, что происходит.
Батист боялся за нее, однако
Не более, чем за себя, ведь он
Хотел скорей исполнить обещанье,
Чтоб я все то, что он сказал мне утром,
Не принял за пустую похвальбу.

Излишне суетясь, он разложил
Передо мной охапку топорищ
И сам мне выбрал лучшее из них —
Ведь в этом я не смыслил ничего.
Он указал мне на его красоты,
Чтобы они не пропадали втуне.
Стройней тростинки было топорище,
Ни одного сучка, и о колено,—
Пружиня, чуть не гнулось — как клинок.
В хорошем топорище, пояснил он,
Все линии дает сама природа,
И нож лишь выявляет их, срезая
Ненужное. И вот отсюда прочность
В работе. Он шершавою рукою
Огладил топорище сверху вниз,
Примерил к топору и заключил:
«Гм-гм. Ну тут поправить — пустяки».
Батист, любя, растягивал работу
И не терял при этом ни минуты.

И знаете, о чем мы говорили?
О знаниях! Он рассказывал о том,
Что не хотел пускать детишек в школу —
Как будто школа, дети и раздумья

О пользе обязательной учебы
 Имели что-то общее с желаньем
 Вручить мне топориче и хоть этим
 Однажды залучить меня к себе.
 По-видимому, он во мне нуждался,
 Чтобы послушать об образовании,
 Считая, что о нем имеют право
 Судить лишь образованные люди!

И наконец, стряхнув с колена стружку,
 Батист поставил на пол мой топор
 На самую подкову топорича,
 И он стоял, упругий и прямой,
 Как искуситель змей тогда в Эдеме,
 С тяжелой головой и легким телом,
 Слегка задрав стальной холодный нос.
 И было это очень по-французски.
 Батист откинулся и произнес:
 «Смотри, какой он важный!»

ЖЕНА ПОЛЯ БАНЬЯНА

Бывало, спросят Поля: «Как жена?»
 От этого пустячного вопроса
 Он тотчас убегал с лесоповала.
 Одни считали — нет жены у Поля
 И шутка ему кажется обидной;
 Другие — что ходил он в женихах,
 Но перед свадьбой получил отставку;
 А третьи — что была жена у Поля,
 Хорошая жена — да вот сбежала.
 А кто-то говорил, что Поля женат,
 И чуть ему напомнят о супруге,
 Как он стремглав несется поглядеть,
 Все ли в порядке дома: «Как жена?»
 Надеюсь, ничего с ней не случилось.
 Никто, конечно, в мыслях не имел
 Обидеть Поля и прогнать насмешкой.
 Поля Баньян стал героем лесорубов
 С тех пор, как он однажды, похваляясь,
 Снял с тамариска целиком кору
 Так чистенько, как у ручья в апреле
 Мальчишка с прутника плакучей ивы
 Кору снимает, мастера свисток.
 Все спрашивали Поля: «Как жена?» —
 Чтоб посмотреть, как быстро он бежит.
 Ни разу он не стукнул никого
 Из шутников. Он просто исчезал —
 Никто не знал куда, но очень скоро
 С соседней лесосеки несся слух,
 Что Поля у них, наш добрый старый Поля,
 Со старыми своими чудесами.
 Все удивлялись: отчего вдруг Поля
 Смущает этот вежливый вопрос?

Обычно Полю скажешь что угодно —
И ничего. Ответы вам известны.
И вот еще ответ, вернее сплетня:
Женат на недостойной и стыдится
Такой жены. Чтоб быть герою ровней,
Жена сама должна быть героиней;
Но если Мерфи рассказал нам правду,
То Полю было нечего стыдиться.

Про чудеса его слышали все.
Однажды кони сдвинуть не могли
Огромный груз — и Поль их так хлестал,
Что упряжь сыромятную они
До места назначенья растянули.
Поль боссу объяснил, что все в порядке:
«Ваш груз доставит солнце». Так и вышло —
Просохла упряжь и втянула груз.
Тут явно прибавляют. Но зато,
Похоже, факт или почти что факт —
Как он с разбега мог на потолке
Подошвы отпечатать обе сразу
И приземлиться на обеих на пол.
Так вот что: Поль добыл себе жену
Из срубленной сосны. И там был Мерфи —
Он видел, так сказать, рождение леди.
Поль не гнушался никакой работой.
Он относил напиленные доски,
Старался взять побольше, проверяя,
А нет ли где такой охапки досок,
Чтоб даже он не смог ее поднять.
Нескладный пильщик, нагружая Поля,
Вдруг громынул все доски о колоду,
С которой только срезали горбыль.
И по растерянным и виноватым
Их лицам было видно, что они
Как будто так и знали, что с колодой
Поаккуратней надо обращаться.
На свежем срезе вдоль всего ствола
Вдруг обнаружилась полоска грязи.
Однако, проведя по ней рукой,
Поль понял: тут совсем не грязь, а щелка.
В стволе сосновом оказалась полость.
«Впервые вижу полуую сосну.
Все это штучки Поля, не иначе, —
Ворчал с досады пильщик, — ну их к черту!»
Тут все сбежались посмотреть на диво
И Полю начали давать советы
(Все порешили, что сосна — его):
«Чуть-чуть подрежь — и вот тебе челнок.
Половишь рыбку». Поль смотрел и думал,
Что в этом чистом и большом стволе
Едва ли жили птицы или пчелы.
Ни выйти, ни войти ведь. Эта полость
Его своей манила новизной.
Тут, правда, стоило пройтись ножом.
И в тот же самый вечер он вернулся

К сосне и щель расширил в ней настолько,
Что мог взглянуть, а нет ли там чего.
Внутри ствола тянулась сердцевина,
Похожая на сброшенную кожу
Змеи, попавшую случайно в ствол
И простоявшую в нем целый век.
Поль осторожно вынул сердцевину
И, поглядев на пруд у лесопилки,
Подумал: «Не снести ль ее к воде?»
Не ветер, а встревоженный шагами
Ленивый воздух ношу сдул с ладоней
И чуть было не поломал о берег.
Поль положил ее лицом к воде.
Глоток — чуть встрепенулась и обмякла.
Еще глоток — и стала невидимкой.
Поль даже пальцами в песке пошарил:
Неужто же растаяла? Исчезла.
И вот на том туманном берегу,
У лесосплавной пристани, меж бревен
Возникла девушка, она лежала,
И были мокры волосы ее,
И взгляд ее, направленный на Поля,
Заставил Поля оглянуться — все же,
Быть может, она смотрит на другого,
Стоящего у Поля за спиной.
А там был Мерфи, только он стоял
В сарае, и никто его не видел.
Рожденная еще казалась слишком
Озерной и лесной, но вот она
Вздыхнула, улыбнулась, поднялась
И зашагала по плавающим бревнам,
Лоснящимся, как спины крокодилов,
И что-то молвила не то себе,
Не то ему — и Поль пошел за ней.

Назавтра Мерфи с пьяною оравой
Отправился разыскивать ушедших.
Следы их привели на Катамаунт —
Его вершину видно отовсюду.
И там под полночь, если верить Мерфи,
Они узрели Поля и ее —
То было в первый и последний раз
С тех пор, как Поль и странное создание
Нашли друг друга у того пруда.
За милю, над вершинами деревьев
Они сидели в нише на горе,
И девушка светилась, как звезда,
А Поль был темен, словно ее тень.
Свет исходил и правда не с небес,
Там не звезда, а девушка светила,
И это подтвердилось очень просто.
Хмельные парни громко завопили
И бросили в их сторону бутылку
В знак преклоненья перед красотой
Бутылка до горы не долетела,
Когда ж до девушки донесся крик,

Она потухла, словно светлячок.
Выходит, есть свидетели, что Полю
Супруги вовсе нечего стыдиться.
Все домыслы и слухи — сущий вздор.
И Мерфи объяснял, что Поль сбегает
От вежливых расспросов потому,
Что он ужасный собственник и деспот:
Моя жена — так, стало быть, моя,
Не ваше дело толковать о ней
И выкиньте ее из головы.
Такой великий человек, как Поль,
По мнению Мерфи, вынести не может,
Чтоб говорили о его жене
На языке, доступном человеку.

Перевел Андрей Сергеев.



В. СУХОМЛИН

★

ГИТЛЕРОВЦЫ В ПАРИЖЕ*

Осенью и зимой 1940 года наша жизнь в оккупированном Париже понемногу наладилась. Приходилось так или иначе приспособляться к условиям существования в обстановке европейской катастрофы.

Прежде всего — в отношении чисто материальном. Надо было обеспечить себе хотя бы минимальное пропитание и минимум тепла в неотапливаемых квартирах. С продовольствием было туго. По карточкам выдавали очень мало, в ноябре рационы были снова сокращены, а часто и по карточкам ничего нельзя было достать. Те, кто не мог пользоваться черным рынком или получать продукты от деревенских родственников — что тоже запрещалось, — жили впроголодь. Меня и моих друзей, принадлежавших, как мы говорили, к «братству маленького св. Бенедикта», спасали хозяева этого ресторанчика, добрейшие супруги Варэ. К своим старым клиентам они относились, как к членам семьи. Мсье Варэ умудрился каким-то образом доставать на Центральном рынке требуху, и мы в течение всей зимы получали ежедневно по глиняному горшочку горячей густой похлебки из рубцов «по-нормандски», на белом вине с луком. В октябре, когда появились устрицы, которыми немцы почему-то пренебрегали, я каждый день подкреплял свои силы двумя-тремя дюжинами этих моллюсков, чрезвычайно полезных, по мнению французов, для «серого вещества».

От холода мы спасались, проводя по нескольку часов в день в кафе «Флор», или же согревались «животным теплом», собираясь на квартире у кого-либо из нас.

Работы у меня не было. Все мои друзья так или иначе устроились: Бакалов писал свои корреспонденции, посещал немецкие пресс-конференции, ездил за город покупать овощи у огородников и продавал их на черном рынке, фабриковал какие-то кремы и притирания в лаборатории своей тетки; Елизавета Р., прекрасно говорившая по-немецки, поступила буфетчицей в один из театров; знакомые учителя и профессора вернулись с началом занятий в свои учебные заведения; адвокаты по-прежнему защищали своих клиентов в суде. Промышленность восстанавливалась медленно, фабрики работали в треть силы, а то и меньше. В октябре в Париже было около шестисот тысяч безработных, получавших пособия по французским законам. Я успел до занятия Парижа взять в банке свои сбережения и получить крупную сумму у своего издателя, благодаря чему мог жить несколько месяцев без заработка. Но по старой привычке продолжал просматривать всю прессу и делать заметки. Послал через нейтрального журналиста две-три корреспонденции в неокку-

* Окончание Начало см. «Новый мир» № 11 с г.

пированную зону. Каждый день бродил по городу, заходил в кафе, беседовал с людьми, собирал материал для воображаемого репортажа, которому не суждено было появиться в свет...

Довольно часто мы ходили в театры. В октябре и ноябре, вслед за мюзик-холлами и театром «Эвр», постепенно открылись Французская комедия, Большая опера, Комическая опера, Одеон, Ателье, театры Мон-парнаса и другие. В ноябре мы видели во Французской комедии «Сида» в новой превосходной постановке Копо, с Жансм-Луи Барро в роли Родриго, с Мадлен Рено и Мари Белл.

Во время антрактов шли оживленные споры: приверженцы традиционной декламации осуждали «реалистические» новшества режиссера и талантливых молодых артистов. Два-три немецких офицера оставались скромно сидеть на своих местах тише воды, ниже травы. Никто не обращал на них внимания, а когда один из них при выходе из театра пытался в гардеробной подать даме мантию, она резко отказалась от его услуг. В других театрах немцы появлялись редко. Парижане — и мы в том числе — ходили в театр, пожалуй, чаще, чем до оккупации. Это не был «уход от действительности», как могут подумать иные критики, а своего рода самозащита, инстинктивное стремление подышать несколько часов свободным воздухом своего, национального искусства. В кино мы не ходили. Там давали немецкую кинохронику и дрянные фильмы.

В театре парижане чувствовали себя в своей среде, в своей умственной и моральной атмосфере. Актеры, оставшись на своих постах, не «сотрудничали» с оккупантами, а выполняли национальную повинность.

Кафе «Флор» стало для нас своеобразным клубом. Большинство обычных его посетителей в Париж не вернулось. Но все же кафе наполнилось каждый вечер безработными интеллигентами — кинематографистами, журналистами, литераторами и художниками. Изредка появлялись здесь американские корреспонденты, которые после занятия Парижа избрали местом для своих ежедневных встреч какой-то бар, недалеко от посольства США. Немцы в кафе «Флор» не бывали. Один только раз зашел при мне немецкий офицер. Он сел за свободный столик, заказал коньяк, осмотрелся, подозвал к себе старшего гарсона кафе Паскаля, указал ему на одну из дам и сказал: «Передайте ей, что я хочу с ней познакомиться». Паскаль, служивший в кафе «Флор» более двадцати лет, знавший весь литературный и художественный Париж, ответил, что «в кафе «Флор» это не принято», после чего отошел от столика и шепотом рассказал всем нам об этом инциденте. В шумном кафе воцарилось молчание. Немец расплатился и ушел с надменным видом.

Вероятно, уже тогда в кафе бывали шпионы, но мы их не замечали. Заходили изредка фашиствующие сторонники политики «сотрудничества», но в разговоры с нами не вступали. Один только раз мирное течение нашей «сенжерменской» жизни было нарушено арестом шведского журналиста, каждый вечер заседавшего в кафе «Флор» с двумя или тремя коллегами, среди которых была бельгийская журналистка... княжна Шаховская. Швед этот зашел к букинисту, чтобы не то продать, не то купить какую-то редкую книгу, и напоролся на полицейскую засаду: букинист распространял деголлевские листовки. Убедившись, что нейтральный журналист тут ни при чем, немецкая полиция его освободила на другой день. Приблизительно в это же время был арестован и отправлен в лагерь аптекарь с соседней улицы Жакоб. На несколько часов появился бежавший из плена молодой писатель Малакэ, получивший премию «Теофраст Ренодо» за роман «Яванцы» из жизни бесспортных эмигрантов — поляков, чехов, немцев, югославов, испанцев и других работающих в шахтах на юге Франции. Мы переправили его на юг, в «свободную зону». В остальном жизнь в замкнутом мире нашего

кафе продолжалась, как прежде — с разговорами об искусстве, о кризисе культуры, о последних событиях в редакции «Ожурдюи» с обычными флиртами и размолвками. Не обошлось и без любовной драмы: мой сосед, друг Малакэ и тоже начинающий романист, пытался покончить с собой, и мне пришлось выслушивать объяснения маленькой киноактрисы, просившей меня убедить его, что нельзя в такое время травиться из-за любви.

Кое-кто из клиентов кафе был уже тогда связан с первыми подпольными изданиями, но об этом могли знать, разумеется, только близкие друзья.

Небольшие наклейки с антифашистскими лозунгами — «бабочки», как их называли французы, — появлялись тогда почти каждый день на немецких и петеновских афишах в метро. Они состояли из двух-трех слов: «Мы с де Голлем» и т. п. Маршал Петен отменил республиканский лозунг «Свобода, равенство и братство», красовавшийся на всех правительственных зданиях и официальных объявлениях. Он заменил его другим: «Отечество, семья, труд». Крамольные наклейки прибавляли: «Отечество — предано, семья — разлучена, труд — подневольный». На некоторых «бабочках» вместо «семьи» было напечатано: «сто семейств» — намек на финансовую олигархию, управлявшую Францией.

Между тем в парижской и провинциальной печати стали все чаще появляться сведения об актах саботажа. В большинстве случаев это были повреждения телефонных проводов и железнодорожных путей, поджоги складов бензина или продовольствия.

Немецкие власти накладывали миллионные штрафы на местные самоуправления, заставляли мужчин в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет сторожить днем и ночью телеграфные столбы и железнодорожные полотна. В некоторых случаях арестовывали все мужское население, и газеты сообщали о приговорах за оскорбления, нанесенные «немецкой армии». В начале сентября печать оккупированной зоны опубликовала официальное «Предупреждение» начальника немецкой военной администрации, угрожавшее смертной казнью за всякое повреждение средств связи.

Первое покушение на немецких солдат имело место 14 августа 1940 года в Булонском лесу, после чего парижская комендатура закрыла его для французов. На острове Олерон я читал в одной провинциальной газете, что город Руайан должен уплатить штраф в три миллиона франков, так как один из его жителей, оставшийся необнаруженным, застрелил ночью немецкого матроса.

Выяснить политические взгляды этих пионеров Соппротивления было невозможно. Судя по немецким официальным сообщениям о судебных приговорах, в большинстве случаев это были рабочие, крестьяне, железнодорожные служащие. Но встречались среди них студенты, лица либеральных профессий и даже просто домашние хозяйки, которых чаще всего привлекали за «оскорбления немецкой армии». А однажды в одной из газет западного побережья я прочитал об аресте священника, у которого был обнаружен склад оружия.

Двадцать восьмого декабря 1940 года, выйдя утром из дома, я увидел за углом улицы Мезьер на стене мэрии шестого округа небольшое красное объявление. Немецкое командование сообщало: «Инженер Жак Бонсержан за оскорбление действием немецкого военнослужащего был приговорен немецким военным судом к смертной казни. Сегодня утром он был расстрелян».

Люди подходили, читали афишу, снимали шляпы. Это был первый расстрел в Париже.

Все эти люди действовали самостоятельно, на свой страх и риск, не получая указаний ни от каких организаций. Но уже летом стали возникать в Париже первые группы Сопротивления.

Зимой 1940/1941 года я снова и снова пересматривал свое отношение к событиям и размышлял о том, что мне делать, чтобы не быть посторонним зрителем или пассивной жертвой исторического водоворота, ломавшего государство, режимы, классы, человеческие судьбы.

К лету 1940 года путаница, царившая в головах с начала войны, достигла апогея. Известный буржуазный публицист Альфред Фабр-Люс, принадлежавший к старинной банковской династии, писал в своем «Дневнике Франции», что «вечером 10 мая 1940 года после прорыва фронта некоторые французы решительно и сознательно примкнули к гитлеризму». Среди примкнувших были не только «решительные и сознательные» защитники капиталистических монополий, но и вчерашние пацифисты и анархистствующие антимилиитаристы.

– Русская эмиграция тоже раскололась.

Игра Гитлера по отношению к России была совершенно ясна для всякого непредубежденного наблюдателя международных событий. Гитлер нисколько ее не скрывал. Достаточно было прочитать хотя бы следующее место в книге Германа Раушнинга «Гитлер сказал мне» («Hitler m'a dit» par H. Rauschning, 1939, p. 155): «Может быть, я не смогу избежать союза с Россией. Но я оставляю эту возможность в качестве последнего козыря. И если я когда-либо решусь поставить ставку на Россию, то ведь ничто не помешает мне сделать еще один крутой поворот и напасть на нее, когда мои цели на Западе будут достигнуты».

Осенью и зимой 1939 года в квартале Сен Жермен де Прэ можно было ежедневно встретить видных представителей германской и австрийской социал-демократии, итальянской социалистической партии, испанских, польских и чехословацких социалистов, русских, болгарских и югославских эмигрантов. В литературно-художественном кафе «Флор» оживленно обсуждали в ту пору не романы Кафки и не поэмы Тристана Тцара, а такие вопросы, как отношение к Советскому Союзу, политика США, уроки испанской войны, роль авиации и танков, «странная война» и т. д.

В июне 1940 года, перед падением Парижа, все политические эмигранты бежали на юг, в Марсель и Ниццу, откуда постепенно перебирались в Англию и Америку. Правда, не всем это удалось: два лидера германской социал-демократии Гильфердинг (автор «Финансового капитала») и Рудольф Бредшейд были выданы петеновским правительством гитлеровцам и погибли в газовых камерах.

Оказавшись в занятом немцами Париже как бы в безвоздушном пространстве, я пытался представить себе, какой может быть, какой должна быть линия поведения французских левых кругов, в первую очередь социалистов и коммунистов, теперь, когда власть Гитлера и Муссолини распространилась на всю (континентальную) Западную и Центральную Европу и вся тяжесть вооруженной борьбы с фашистской «осью» легла на Англию и Британское содружество наций, при нейтралитете США и Советского Союза. К чему должны призывать рабочих и народы Европы социалисты и коммунисты, все вообще антифашисты? Возможен ли теперь единый антифашистский фронт?

Мне казалось бесспорным, что французский и весь европейский рабочий класс заинтересован в победе Англии над Гитлером и Муссолини, каковы бы ни были в этом мировом конфликте специфические цели британского империализма. Поэтому я приветствовал, вместе с моими ближайшими французскими друзьями, инициативу генерала де

Голля, отвергнувшего перемирие и приступившего к организации новой французской армии на английской территории и в колониях.

Де Голль объяснял в своих речах (по лондонскому радио) поражение Франции тем, что французское командование не было подготовлено к современной войне и не могло ничего противопоставить пяти тысячам немецких самолетов и шести тысячам танков.

«Гитлеровская армия,— говорил он,— будет разгромлена, когда мы выставим против нее двадцать тысяч самолетов и двадцать тысяч танков», что он считал вполне возможным благодаря превосходству английской и американской военной промышленности.

Кроме этих военно-технических соображений, мне казалось несомненным, что оккупация и беззастенчивый грабеж, которому немцы подвергли страну, должны будут неизбежно восстановить против них большинство французов и что борьба с гитлеровской чумой приобретет наконец тот национальный народный характер, которого не доставало «странной войне». Но отсюда следовала необходимость объединения всех антифашистов. Как относятся к этому коммунисты?

Коммунисты находились в подполье. Те листовки и несколько номеров нелегальной «Юманите», которые мне удалось достать летом и осенью 1940 года, весьма энергично критиковали реакционную внутреннюю политику вишийского правительства и его раболепие перед победителем. В декабре я прочитал текст заявления Французской коммунистической партии по поводу аннексии Эльзаса, провозглашенной гитлеровскими властями в конце ноября. Партия выступала весьма решительно против действий германского правительства и против его французских лакеев.

«Французский народ,— писала «Юманите»,— никогда не будет народом рабов». Нелегальный коммунистический орган еще не объяснял, однако, как французский народ сможет освободиться от завоевателя, уже приступившего к осуществлению своей программы — превращения Франции в аграрную страну, приспособленную для отдыха и развлечения «народа господ».

Было ясно во всяком случае, что газета не ожидает этого освобождения от победы англичан: она, по-видимому, отрицательно относилась к призывам генерала де Голля и продолжала, как и во время «странной войны», держаться той точки зрения, что рабочий класс не может поддерживать ни одну из воюющих сторон в конфликте враждующих империалистов, надеясь на возрождение во Франции и во всей Европе внутренних классовых битв, и в первую очередь на отрезвление немецкого пролетариата, ослепленного блеском третьего рейха.

Вышедший в 1962 году обстоятельный труд по истории французского партизанского движения, принадлежавший перу видного коммуниста Шарля Тийона, объясняет противоречия и недомолвки первых номеров нелегального коммунистического органа. Член ЦК партии Шарль Тийон был во время оккупации главнокомандующим всеми отрядами «свободных стрелков и партизан», созданными в 1941 году.

Немецкое наступление, говорит он, и оккупация дезорганизовали подпольный партийный аппарат (партия была запрещена еще осенью 1939 года), порвали связь между руководством и местными организациями и даже между отдельными членами ЦК. Вследствие этого получился разнобой в тактике различных районов и, в частности, были совершены политические ошибки руководителями парижской организации, ошибки, которые отразились на первых нелегальных изданиях, выпущенных в Париже.

Дело в том, что не все члены партийного руководства правильно поняли значение советско-германского «договора о ненападении». Этот

договор, пишет Шарль Тийон, вызвал «панику» у некоторых руководителей и депутатов коммунистической партии. Они не поняли, что московский пакт «был только тактическим и временным соглашением между двумя государствами, антагонистическими по своей природе...».

«Германо-советский пакт,— говорит дальше Шарль Тийон,— не мог иметь последствием для французских коммунистов политику сосуществования с гитлеризмом, вторгшимся в страну, и с его французскими сообщниками».

Автор прибавляет, однако, что если это вполне ясно теперь, то другое положение было в 1940 году: «Партия подвергалась тогда жестокому давлению догматизма, в особенности если речь шла о том, что исходило от Сталина, в ту пору, когда о методах его руководства и о режиме личной власти ничего не было известно».

В июле и августе 1940 года руководители парижской организации воображали, что договор о ненападении распространяется и на партию и что оккупанты разрешат ее легализацию. Шарль Тийон считает, что «после военного разгрома и крушения всех других политических партий были неизбежны ошибки партийных работников (коммунистов) в оценке подлинных намерений оккупантов... Тем более что сложность проблемы, поднятая германо-советским договором, привела к тому, что некоторые товарищи упустили из виду национальную (французскую) проблему».

В апреле 1941 года коммунистическая партия издала нелегальную брошюру Габриэля Пери под заглавием «Нет, нацизм — не социализм!». В ней подвергалась резкой и решительной критике политика третьего рейха. Отвечая сторонникам «нового европейского порядка», Габриэль Пери писал:

«С одной стороны Германия, то есть немецкая капиталистическая олигархия, а с другой — вассалы. Вот что будет представлять собой Европа после победы нацизма. Она будет похожа на громадную каторжную тюрьму, где немецким трудящимся придется исполнять роль надсмотрщиков. Истинные социалисты должны с возмущением отвергнуть такое решение. Французские патриоты не могут согласиться с подобным закабалением своей страны».

Блестящий журналист Габриэль Пери был редактором иностранного отдела «Юманите». Арестованный немцами в мае 41 года, он был расстрелян в конце года.

В начале декабря 1940 года я узнал, что Амедэ Дюнуа, парламентский обозреватель «Попюлер», еще в августе вернулся в Париж. Агенты гестапо уже успели побывать у него, но обыск не обнаружил ничего предосудительного, и его оставили пока что в покое. Я застал Дюнуа в его старой квартире в Латинском квартале, на улице Воклен. Дюнуа рассказал мне о положении в социалистической партии: Леон Блюм, Жюль Мок, Макс Дормуа арестованы. 10 июля 1940 года на заседании Национального собрания (совместное заседание палаты депутатов и сената) они голосовали против постановления, уполномочившего маршала Петена единолично выработать и опубликовать новую конституцию французского государства. Петен намерен предать их суду вместе с бывшими премьер-министрами Даладье и Полем Рейно по обвинению в том, что они якобы вовлекли Францию в войну против Германии по «идеологическим» мотивам. Арестован также Грумбах, один из редакторов еженедельника «Люмьер», в котором я работал. Другой редактор — Жорж Борис — в Лондоне.

Секретарь партии Поль Фор и его помощник по организационным делам Северак — оба ультрапацифисты и «умиротворители» (Гитлера), —

прекратили работу и куда-то исчезли. Партийный аппарат развалился. Редакция «Попюлер» пыталась возобновить издание газеты в Клермон-Ферране, но смогла выпустить только один номер, который был немедленно конфискован петеновскими властями. Вместо запрещенного «Попюлер» стала выходить новая газета «Эффор» под редакцией депутата Спинасса, поддерживающая маршала Петена. «Социалист» Спинасс произнес на июльском заседании палаты депутатов речь, в которой призвал «порвать с демократическими иллюзиями, с миражем личной свободы и прав человека». В его газете сотрудничают только ренегаты, в том числе Росси-Таска, бывший коммунист, которого я заменил в начале войны в редакции «Люмьер».

До своего отъезда из Парижа я виделся с Дюнуа еще два или три раза. О его дальнейшей судьбе я узнал только после войны. Ему удалось довольно быстро восстановить — разумеется, в подполье — партийные группы в оккупированной зоне и издавать нелегальный «Попюлер». Он устроился на службу в государственный Исторический архив и оттуда руководил подпольной работой, войдя в контакт с межпартийной организацией Сопротивления «Либерасьон Норд». В ноябре 1943 года он был арестован, но за отсутствием улик просидел в тюрьме Френ всего лишь месяц. Товарищи предложили переправить его в Лондон, но он отказался, не желая подвергать репрессиям жену и сыновей. Вместо него за границу выехал депутат Ле Трокер.

В январе 1944 года Амедэ Дюнуа был снова арестован и сослан в немецкий лагерь Ораниенбург. В феврале 1945 года, когда к Ораниенбургу приблизились советские войска, заключенные были переведены в лагерь Берген-Бельзен. За несколько дней до освобождения этого лагеря англичанами Дюнуа умер, в марте 1945 года, от сыпного тифа. Ему исполнилось тогда шестьдесят шесть лет.

Все, кто знал его в заключении, вспоминают с громадным уважением об изумительной стойкости, с какой он переносил все гнусности немецкого лагерного режима. Его никогда не покидала спокойная уверенность в победе. Никакие издевательства, никакие пытки не могли заставить старого социалиста изменить убеждениям, от которых с такой легкостью, так трусливо отреклись молодые Спинасс, Росси и Ко в июле 1940 года при одном только приближении гитлеровских войск.

Я знал лично многих французских социалистов — почти всех, за исключением Жореса и Гэда, кто за тридцать с лишним лет моей жизни во Франции принадлежал к руководящим кругам партии и ее парламентской фракции. Среди них были выдающиеся ораторы, искусные политики, талантливые журналисты, более блестящие и более влиятельные, чем Амедэ Дюнуа. Но ни у одного не было такого обаяния, как у этого скромного редакционного работника. И физически и духовно он чем-то напоминал русских революционеров семидесятых годов: тонкие правильные черты лица, темно-русая борода, чуть тронутая седина, серые глаза, мягкая, добрая улыбка. И бескорыстная, чуждая всякого честолюбия преданность народному делу. Я познакомился с Дюнуа в 1918 году в редакции «Юманите». Он был одним из ближайших сотрудников этой газеты уже накануне первой мировой войны. Жорес был убит на его глазах. Он сидел рядом со знаменитым вождем французских социалистов в кафе «Круассан» спиной к окну, когда с улицы подошел убийца и выстрелил Жоресу в затылок. Дюнуа описал сцену убийства на другой день в «Юманите». Его рассказ послужил основой для всех дальнейших описаний. В частности, его почти дословно воспроизвел Роже Мартен дю Гар в своем романе «Семья Тибо» (часть седьмая, «Лето 1914 года»).

Парижская печать при немцах

С первых дней оккупации отдел пропаганды немецкого командования занялся, не теряя времени, «идеологической» обработкой населения. Уже 15 июня, то есть на другой день после вступления в Париж, некий лейтенант Вебер, в прошлом директор официального немецкого агентства «Дейче нахрихтен бюро» (ДНБ), посетил владельца газеты «Матен» Бюно-Варилья, оставшегося в Париже вместе с частью своей редакции и типографских рабочих. Старый газетный пират явно ждал этого визита. Так началась заключительная глава полувековой карьеры знаменитого органа французской желтой прессы.

«Матен» была самой продажной из французских газет, что не мешало ей быть долгое время одной из самых распространенных и влиятельных.

Бюно-Варилья разбогател на панамском скандале. Крах компании Панамского канала (1888—1892) разорил десятки тысяч мелких держателей акций. Ряд политических деятелей, подкупленных компанией, был надолго скомпрометирован. Бюно-Варилья, бывший одним из директоров предприятия, не только вышел сухим из воды, но и положил себе в карман круглую сумму в четыре миллиона франков. В конце девяностых годов он вместе с другим финансовым дельцом приобрел газету «Матен», оснастил ее первоклассной типографской техникой, разослал бойких корреспондентов во все столицы, завел кричащие заголовки и «шапки», снизил продажную цену и расклеил по всему Парижу огромные рекламные афиши, уверявшие, что «Матен» дает самую широкую информацию и печатает самые увлекательные детективные романы.

В качестве директора газеты Бюно-Варилья признавал лишь два «принципа»: сенсацию и шантаж.

Для начала он решил помериться силами с одним из европейских монархов. В 1904 году Бюно-Варилья предпринял кампанию против бельгийского короля Леопольда, обвиняя его в том, что он безжалостно грабит и истребляет туземцев Конго. В ряде номеров печатались сенсационные разоблачения дворцовых скандалов и любовных приключений короля. «Во имя демократии и гуманизма» Бюно-Варилья требовал изгнания Бельгии и угнетенных конголезцев от развратного и жадного монарха. Этот неожиданный взрыв благородного негодования объяснялся очень просто: король Леопольд отказался предоставить концессию в Африке железнодорожной компании, администратором которой был Бюно-Варилья. Как только король уступил, «Матен» замолчала.

Окрыленный этим первым успехом, Бюно-Варилья не раз прибегал в последующие годы к явному и скрытому шантажу, неизменно выступая в качестве поборника высокой морали. Вместе с тем он умел подбирать для своей редакции способных журналистов, специалистов молниеносной информации. В его газете сотрудничали известные писатели и ученые, крупные политические деятели. Одни из них по своей наивности не подозревали махинаций, которые творились за их спиной, другие закрывали на них глаза, пользуясь газетой в интересах своей политики и карьеры. Накануне первой мировой войны тираж «Матен» достиг миллиона экземпляров. Во время войны не было газеты, которая могла бы состязаться с ней в барабанном патриотизме и в искусстве оболванивания читателей. После войны Бюно-Варилья сосредоточил главное внимание на международных проблемах. Специальные корреспонденты «Матен» разъезжали по старым и новым столицам, добывая сенсационные интервью иностранных государственных деятелей. В эти тревожные годы Бюно-Варилья воображал уже, что его газета определяет мировую политику. «Для «Матен», — говорил он, — нет ничего невозможного. Ее могу-

шество беспредельно». И действительно, перед ним заискивали министры, с ним считались диктаторы. Тем не менее накануне второй мировой войны тираж газеты упал до трехсот тысяч. У семидесятилетнего «короля информации» не хватало уже средств, воображения и ума, чтобы обновить устаревшие приемы воздействия на читательские массы, учитывая новые потребности газетного рынка, новые ускоренные темпы городской жизни и мировых событий.

Бюно-Варилья был человек малообразованный и не обладал никакими талантами, кроме финансовых. Он не умел грамотно писать по-французски, был, как говорили сотрудники «Матен», «в натянутых отношениях с правописанием и синтаксисом». Свои статьи он диктовал секретарям, которые придавали им литературную форму. Он был маленького роста, с бегущим взглядом узких глаз, с едва заметным подбородком, со злым выражением лица и отличался чудовищным тщеславием. «Мое директорское кресло, — говорил он, — стоит трех тронов». Он велел водрузить на крыше здания «Матен» высокий флагшток, на котором поднимался флаг, когда хозяин находился в редакции. Один из старейших парижских журналистов Ремон Маневи, историк французской печати, хорошо знающий ее организацию, личный состав и закулисные пружины, считает, что секрет влияния Бюно-Варилья не поддавался никакому рациональному объяснению. «У него не было, — говорит он, — ничего за душой, кроме невероятной дерзости. Как мог он быть на равной ноге с самыми значительными людьми своего времени. диктовать свою волю правительствам, надувать великих и малых мира сего? А главное — как мог он заставить уверовать в свою непогрешимость сотрудников «Матен», среди которых было немало людей талантливых и умных?»

Маневи отказывался разрешить эту «загадку». А бывший сотрудник «Матен» Ф. Мутон, посвятивший Бюно-Варилья книгу под заглавием «От блефа к шантажу», объясняет влияние, которым пользовался в течение ряда лет этот «газетный пират», тем, что он был естественным воплощением всех пороков своей эпохи, чудовищным порождением человеческой глупости».

Отказавшись последовать 9 июня 1940 года за правительством и остальной прессой в Бордо и Виши, Бюно-Варилья был, конечно, уверен, что делает ловкий политический и финансовый ход: если Париж не будет занят и гитлеровское наступление будет задержано, парижане оценят его «патриотический подвиг»; если война закончится полной победой Гитлера, он сумеет стать патриотом гитлеровской «новой Европы». И в том и в другом случае для «Матен» открывалось, думал он, блестящее будущее.

В номере газеты, вышедшем за несколько часов до вступления в город немецких войск, главный редактор «Матен» еще возмущался «раблепием» Италии, объявившей накануне войну Франции, называл ее «вассалом рейха» и призывал «никогда не подавать руки тем, кто в последнюю минуту нанес удар в спину цивилизации».

Пятнадцатого и шестнадцатого июня «Матен» не вышла. Возобновив издание газеты 17 июня, после соглашения с отделом пропаганды немецкой армии, Бюно-Варилья уже на другой день выступил с резкой статьей против правительства Поля Рейно, обвиняя его в затягивании «беспольной бойни». Немного спустя он предпринял яростную кампанию против союзной Англии, а месяцем позже начал печатать антисемитские статьи.

Не все работники редакции согласились, однако, сотрудничать с немцами. Несколько человек подали в отставку. В июле я встретил своего хорошего знакомого Демартра, старого журналиста, который вел судебную хронику в «Матен». Он собирался вместе с женой, сотрудницей «Фигаро», перебраться на юг в «свободную» зону. Ушел из редакции и

принимал участие в Сопротивлении и другой мой знакомый, сотрудник иностранного отдела. Но Бюно-Варилья сумел удержать и привлечь нескольких не лишенных таланта, но беспринципных литераторов. Академик Абель-Эрман писал у него каждую неделю. Известный критик Андрэ Терив колебался несколько месяцев. Я встречал его в доме бельгийской писательницы Жюниа Летти. В январе 1941 года его сомнения кончились, он перестал бывать у Жюниа Летти и стал печататься в «Матен».

В ноябре 1940 года, когда все парижане уже вернулись домой, тираж «Матен» поднялся до пятисот тысяч, но снова упал до двухсот тысяч в 1942 году. Бюно-Варилья умер вовремя — в начале августа 1944 года, за несколько дней до освобождения Парижа. Его газета была запрещена, здание на бульваре Пуассоньер было конфисковано. Теперь там печатаются «Юманите», «Либерасьон» и другие прогрессивные органы.

* * *

В июне 1940 года мне довелось быть свидетелем жалкого конца другой, прямо противоположной, но не менее живописной газетно-политической карьеры, при начале которой я присутствовал в юности. В годы, когда я был студентом в Гренобле, Монпелье и Париже (1908—1912), чья Гюстава Эрве гремело во Франции и за ее пределами. Молодой профессор истории, страстный антимилитарист, отстаивал на страницах своего еженедельника «Ля герр сосиаль» («Социальная война») самые крайние методы борьбы против опасности войны вплоть до всеобщей стачки и восстания. Он был в ту пору членом французской социалистической партии и стоял во главе небольшой, но шумной «революционной» фракции. За свои взгляды он был лишен кафедры и провел в общей сложности двенадцать лет в тюрьме.

Эрве был талантливым журналистом с большим полемическим темпераментом. Простой и ясный «разговорный» стиль, изобиловавший меткими народными словечками, до крайности упрощенная аргументация производили сильное впечатление на горячие головы в студенческой и рабочей среде. Он прославился своим призывом «выбросить в навозную кучу трехцветное знамя». Студенты-«эрвеисты» образовали отряды «молодой гвардии», которые в те годы почти каждую неделю сражались в Латинском квартале с «королевскими разносчиками», продававшими газету роялистов «Аксон франсез».

На международном социалистическом конгрессе в Штутгарте в 1907 году при голосовании резолюции Бебеля с поправками Розы Люксембург и Ленина Эрве пришел в такой восторг, что вскочил на стол, потрясая обеими руками в воздухе, к немалому изумлению благоправных немецких социал-демократов. Резолюция эта вменяла в обязанность всем социалистическим партиям в случае войны использовать экономический и политический кризис, вызванный войной, для того, чтобы привести в движение самые широкие народные массы и свергнуть капиталистическое господство.

Когда же выяснилось в августе 1914 года, что никакой всеобщей стачки и восстания не будет и что социал-демократы, поставленные в необходимость выбрать между Интернационалом и кайзером Вильгельмом, выбрали кайзера, Гюстав Эрве заявил о своем желании пойти добровольцем на фронт. В армию его не приняли, но предложили «служить родине на посту редактора газеты». И Гюстав Эрве с таким же пылом, с каким раньше призывал к революции, занялся в своем органе «Социальная война» пропагандой... социального мира, «священного национального объединения» и войны до победного конца. В 1916 году его газета стала называться «Виктуар» («Победа») и сохранила это

название до поражения 1940 года. Последние годы перед войной она прозябала с трудом, ее тираж упал до тринадцати тысяч экземпляров. Эрве проповедовал «авторитарный социализм» собственного изготовления — некое подобие португальского фашизма, замешанного на розовой водичке.

Девятого июня Эрве остался со своей газетой в Париже, как и Бюно-Варилья, хотя и с другими намерениями. Гюстав Эрве воображал, что оккупанты ему разрешат «помогать населению Парижа пережить страшные часы разгрома и добиваться для него достойных условий существования». Ему удалось выпустить четыре номера «Виктуар», испещренных цензурными белыми пятнами. В моем дневнике я нахожу следующую запись.

22 июня 1940 г.

Я достал несколько последних номеров «Виктуар». Печальный человеческий документ! В бедной голове старика Эрве все окончательно смешалось, как на Орлеанской дороге десять дней тому назад. Я знал, конечно, что с ним давно перестали считаться в газетных и политических кругах, хотя он первый провозгласил несколько лет назад, что «для спасения Франции» нужно передать всю власть маршалу Петену. Потому ли, что в памяти моей сохранилась со студенческих времен мешковатая фигура бородатого близорукого интеллигента, неистово громившего лицемерие буржуазного общества, потому ли, что в этих пяти номерах газеты ярко отразилось смятение и растерянность «среднего француза», но я не могу просто отмахнуться от них, как от старческого бреда. Разумеется, это бред, но сейчас вся Франция живет какой-то бредовой жизнью. Никто не понимает, что случилось с Францией, с Европой, с демократией. Гюстав Эрве нашел объяснение, даже несколько объяснений. Этот бывший революционер пишет в своей статье: «Мы расплачиваемся за ошибки и преступления нашей Великой французской революции 1789—1793 годов. На Марне в 1914 году святая Женевьева (покровительница Парижа), святой Людовик, святая Жанна д'Арк, парижская богоматерь заступились за нас. Провидение даровало нам тогда отсрочку в двадцать пять лет для исправления. Но мы вернулись к нашей блевотине, к свободомыслию, материализму, к моральной и политической анархии Народного фронта. Мы утомили провидение, разгневали господа».

Однако в том же номере Эрве перечисляет стратегические ошибки французского командования и объясняет вместе с тем, что генерал Вейган не мог перейти в контрнаступление, «так как в отличие от 1914 года русские, увы, не с нами и не могли удержать часть немецкой армии. Без помощи русских в 1914 году наша победа на Марне была бы, вероятно, невозможной и Париж был бы оккупирован уже двадцать пять лет тому назад».

Несмотря на покровительство святой Женевьевы.

А немного ниже, после цензурного пропуска, он пишет: «Мы — жертвы ненавистного политического режима, парламентаризма, с его борьбой партий, режима бессилия, раздоров и анархии».

В номере «Виктуар», вышедшем накануне вступления немцев в Париж, Эрве уговаривал парижан не оставлять своего города. «Нам будет, конечно, страшно тяжело, если, на наше несчастье, немцы оккупируют Париж. Но подумайте, какая радость ожидает нас, парижан! Ведь мы будем в первом ряду кресел, когда они будут удирать, так как этот день настанет и им придется улепетывать во все лопатки...»

Эрве приглашал парижан не верить агентам Геббельса, которые «будут нам рассказывать всякий вздор об евреях и англичанах, также,

разумеется, об американцах и о русских, когда русские, которые знают, чем грозит для них победа Гитлера, перейдут на нашу сторону».

А в номере от 17 июня Эрве пишет: «Братья парижане, сестры парижанки! Мы все теперь в плену... (шесть строчек цензуровано). Будьте холодно корректны и вежливы с незваными гостями. Не называйте их «бошами». Называйте их «фрицами», это фамильярное, но не обидное слово...»

Последний номер «Виктуар» вышел третьего дня. Передовая статья в нем целиком вычеркнута цензурой. Вместо нее перепечатана одна из старых статей Эрве на тему об «авторитарной республике».

Несмотря на невообразимую путаницу, царящую в голове бедного Эрве, у него хватило порядочности и мужества, чтобы категорически отказаться печатать антисемитские и англофобские статьи.

* * *

Тогда же, в двадцатых числах июня, немцы начали выпускать свое издание «Пари суар». Эту газету создал в начале тридцатых годов крупный текстильный фабрикант Жан Пруво. Он перенес на французскую почву самые современные американские методы информации и американскую газетную технику, приспособив их к психологии парижского читателя. Вместо шести страниц печатного текста парижане стали получать за те же деньги газету в десять — двадцать страниц с большим количеством иллюстраций. В короткое время тираж «Пари суар» поднялся до миллиона восьмисот тысяч экземпляров. Перед падением Парижа Жан Пруво, вся редакция и весь персонал администрации и типографии выехали на юг и возобновили издание газеты в Лионе. В опустевшем семиэтажном здании «Пари суар» оставался лишь один лифтер, эльзасец Шизле, говоривший по-немецки. Он передал все ключи лейтенанту Веберу, который тут же назначил его администратором. По слухам, он был «заагентурен» немцами задолго до падения Парижа. Редакция была набрана «с бору да с сосенки».

Первый номер поддельного «Пари суар» вышел 25 июня. Внешне он почти не отличался от подлинного, но статьи были написаны плохим французским языком, а некоторые были явно переведены с немецкого. Однако привычка парижан к своей вечерней газете была так сильна, что в ноябре 1940 года тираж немецкой «фальшивки» поднялся до девяти сот тысяч. Несмотря на то, что никто не верил ни одному ее слову (за исключением, разумеется, информации касательно продовольственных карточек, железнодорожного движения и т. д.). Подходя к газетному киоску, люди спрашивали, нисколько не стесняясь, последний номер «Вечернего лгуна». Продажа лионского (подлинного, но по существу не более правдивого) издания была запрещена в Париже.

В конце июня «пресс-группа» немецкого отдела пропаганды начала выпускать с помощью нескольких ренегатов ежедневную газету для рабочих «Ля Франс о травай» («Франция за работой»). С явным намерением одурачить читателей она выдвинула следующие требования: «Освобождение всех товарищей, арестованных за выступления в защиту мира; гласный суд над всеми, кто втянул Францию в войну; конфискация всех военных барышей, экспроприация значительной части крупных состояний, государственный контроль над банками, шахтами, крупными предприятиями, железными дорогами; возобновление деятельности всех предприятий, включая те, собственники которых отсутствуют».

Довольно искусно, особенно в первые дни, газета старалась внушить читателям, что национал-социалисты — подлинные друзья рабочих, что Германия не хочет войны, которую навязала ей международная plutократия, еврейские банкиры. Завербованные отделом пропаганды сотруд-

ники и продавцы этой газеты распространяли слух, что она является не чем иным, как «обновленным» изданием «Юманите», что в редакции работают коммунисты и что Москва якобы одобряет сотрудничество с нацистами. Газета старалась с внешней стороны походить на «Юманите» (формат, верстка, шрифт), но большинство парижских рабочих не поддавалось на эту удочку, хотя тираж газеты доходил все же до девяноста тысяч.

Редакция сама отдавала себе в этом отчет. В номере от 1 июля 1940 года была напечатана следующая заметка о настроении парижан:

«На днях обитатели Монпарнаса, собравшись вокруг одного автомобиля, слушали радио. Я слышал, как один из них заявил: «Они могут рассказывать нам все, что угодно. Но это — пропаганда». На другой день я слышал, как один прохожий, купивший газету, сказал: «Все это — пропаганда!» Парижанин стал недоверчив. Он воображает, что все его хотят обмануть и одурачить»...

В июле появились в коридорах и на станциях метро загадочные объявления багрово-красного цвета. Сначала они были небольшого формата. В течение двух-трех дней они состояли из одного слова с вопросительным знаком: «Feu?» — «Огонь?», затем из трех: «Кто владыка огня?» Через несколько дней объявления сообщили: «Грядет владыка огня!»

Наконец громадные красные афиши объявили, что «Партия огня» поставила себе целью очистить Францию от всяческой скверны и произвести «тотальную революцию». Афиши призывали «всех трудящихся объединиться под знаком огня для борьбы против трестов». Во главе этой партии стоит «владыка огня». Затем появился орган новой партии «Буря». Передовые статьи в ней были подписаны псевдонимом «Прометей». Он объявлял войну распушенности нравов, диктатуре денег, джазу, иезуитам, масонам и капиталистической цивилизации. Сотрудники «Бури» излагали программу «интегральной революции», в которой положения, заимствованные у социалистов и коммунистов, соседствовали с псевдотеоретической галиматьей. А передовые статьи и афиши «владыки огня» не оставляли никакого сомнения в том, что автор — человек ненормальный. Вскоре действительно выяснилось, что под загадочным псевдонимом скрывается полусумасшедший — бывший депутат департамента Кальвадос (Нормандия) Морис Делонэ, одержимый манией величия, своего рода парламентский Фердинанд Лопп. Не знаю, заметил это или нет советник германского посольства Ахенбах, который завербовал его в начале июля и истратил громадные деньги на рекламу его «партии». Возможно, что гитлеровскому дипломату Морис Делонэ показался вполне нормальным. Во всяком случае отдел пропаганды финансировал в течение нескольких месяцев «Партию огня» до тех пор, пока не убедился в том, что она стала всеобщим посмешищем и совершенно не годилась для той задачи, которая была ей поставлена — сбить с толку парижских рабочих и привлечь их симпатии к третьему рейху.

Тогда же, в начале июля, на средства отдела пропаганды начал выходить погромный «еженедельник борьбы с жидомасонством» «О пилори» («К позорному столбу»), подражание пресловутому «Штюрмеру» Юлиуса Штрайхера.

Сотрудников для «О пилори» немцы набрали среди подонков французского журнализма и в фашистских «лигах», распущенных во время Народного фронта или накануне войны. Первые номера имели довольно жалкий вид. Но через месяц-два формат еженедельника был увеличен, он стал печататься на хорошей бумаге, с антисемитскими карикатурами и гравюрами по дереву на манер мюнхенского «Штюрмера». Страницы его запестрели никому не известными именами. С лакейским усердием вся эта братия принялась доносить на евреев, франкмасонов, социали-

стов, коммунистов, на журналистов и политических деятелей, бежавших из Парижа, и в конце концов друг на друга.

В течение лета 1940 года состав редакции и сотрудников «О пилори» менялся несколько раз. Одну из этих перемен новая редакция вполне откровенно объяснила тем, что некоторые ее сотрудники «обвинили, по легкомыслию», лиц, вполне благонадежных с точки зрения оккупантов. Своя своих не познаша. Привлеченные «запахом жареного», авантюристы различных фашистских толков осаждали гитлеровский отдел пропаганды, взапуски предлагая свои услуги. Оккупанты никому не отказывали, им было не жалко французского золота. Получая от петеновского правительства полмиллиарда франков в день на содержание оккупационной армии, они охотно финансировали, кроме уже упомянутой «Партии огня» Мориса Делонэ, ряд других не менее фантастических организаций: «Французскую национальную партию» и «Молодой фронт», созданные сотрудниками «О пилори», «Национал-коллективистское движение» Пьера Клементи, «Французскую лигу» Пьера Константины, «Социально-революционное движение» Эжена Делонкля (одного из «кагуляров», организатора провокационного взрыва в помещении Союза французских промышленников в 1938 году), «Расистское движение» некоего архитектора Буасселя и т. д. и т. д. Все они громили «английский империализм» и «власть золота» и призывали к еврейским погромам. Все похвалялись судебными репрессиями, которым они подвергались до оккупации,— одни «за призыв к убийству Леона Блюма», другие «за пропаганду гитлеризма». Бывший морской офицер Константины, такой же шизофреник, как Делонэ, объявил от своего имени войну Англии. «Национал-коллективист» Клементи явился вместе со своими сотрудниками на кладбище Пер-Лашез и возложил венок у Стены коммунаров. После чего отправился разбивать витрины еврейских лавок.

Кроме откровенно огромного листка «О пилори», отдел пропаганды принимал тогда же, в июле, издание нового «литературного» еженедельника «Ля жерб» («Сноп»). Во главе его был поставлен довольно известный писатель Альфонс де Шатобриан, автор романов из провинциальной жизни, получивший даже за один из них премию Гонкуров. Он всегда был крайним консерватором, одним из тех, кто считал, что германский генеральный штаб, Ватикан и Французская академия (а также отчасти английская палата лордов) необходимы для человечества как самый надежный оплот «европейской цивилизации». Теперь у него было задание: подкрашивать звериную гитлеровскую «идеологию» для испорченных цивилизацией французов, подводить научный и эстетический фундамент под газовые камеры и крематории, которые уже строились в Освенциме. Ему были даны в сотрудники лжеученый «профессор этнологии» Жорж Монтадон, впоследствии выдававший евреям за крупные взятки свидетельства об «арийском» происхождении, и другой французский расист Клеман Серпей де Гобино, потомок графа Жозефа-Артура де Гобино, автора «Опыта о неравенстве человеческих рас» (1855).

* * *

В ноябре 1940 года, когда окончательно выяснился провал воздушного наступления на Англию, Гитлер решил направить главный удар на британские заморские владения и на имперские коммуникационные линии. Для этого ему было необходимо содействие Франции. Вскоре после свидания фюрера с маршалом Петеном и Лавалем в Монтуаре немецкое командование потребовало, чтобы французы предприняли военные операции против английских колоний в Африке. Пьер Лаваль, видевший в перемирии первый шаг к политическому и военному сотрудничеству

ству с Германией в будущей «новой Европе», был готов объявить войну Англии. Петен и некоторые другие члены правительства не могли решиться на такой шаг. Они прекрасно знали, что вся популярность маршала держалась лишь на том, что он вывел Францию из войны. Уже после его речи о «сотрудничестве» люди, приветствовавшие перемирие, стали рвать портреты маршала и прислушиваться к лондонскому радио. Хотя буржуазия была вначале благодарна Гитлеру за то, что он «по крайней мере избавил нас от Народного фронта», но бесцеремонный грабеж, которому оккупанты подвергли Францию, и категорический отказ освободить два миллиона военнопленных довольно скоро отрезвили французские «средние классы», напуганные в 1936 году социальными реформами правительства Народного фронта. Гитлер сделал только одну уступку после свидания в Монтуаре: в середине ноября он отправил на родину тяжелораненых военнопленных и тех, у кого было четверо детей, всего пятьдесят тысяч человек. Но одновременно была провозглашена аннексия Эльзаса и Лотарингии и усилилось экономическое давление на вишийское правительство. А германскому посольству в Париже была дана инструкция: принять все меры для того, чтобы ликвидировать раз навсегда культурный, интеллектуальный и художественный престиж Франции, погасить все источники ее влияния на умственную жизнь Европы.

Для того, чтобы все же привлечь симпатии французов к третьему рейху, Гитлер придумал ход, глупее которого нельзя было ничего себе представить: он решил вернуть Франции прах герцога Рейхштадтского, сына Наполеона I, погребенного в Вене в 1832 году. Фюрер пригласил маршала Петена прибыть в Париж, чтобы лично принять от него драгоценный подарок. Торжественная церемония «всевропейского значения» должна была состояться во Дворце Инвалидов, где находится гробница Наполеона I, «нашего великого предшественника», по выражению германского посла Отто Абеца. Голодным, ограбленным парижанам, дрожащим в нетопленых домах, этот «рыцарский жест» — так называли его газеты — показался наглым издевательством. «Нам нужен уголь, а они шлют нам золу!»¹. Эту фразу можно было слышать в те дни повсюду. Маршал Петен уклонился от участия в церемонии. Гитлер поэтому тоже не приехал. «Всеевропейское» торжество не удалось.

В полночь 15 декабря останки «Орленка» прибыли на Восточный вокзал и были быстро доставлены во Дворец Инвалидов. На другой день газеты пригласили население продефилировать перед гробницей Наполеона. Я пошел посмотреть, как парижане откликнулись на этот призыв. Зрелище было весьма жалкое: несколько десятков растерянных, недоумевающих чинуш, явно командированных начальством, и десяток древних старух мерзли перед входом в усыпальницу.

В конце сентября стала снова выходить в Париже когда-то «левая» газета «Эвр» под редакцией «неосоциалиста» Марселя Деа. В начале октября было возобновлено издание самой распространённой утренней газеты «Пти паризьен» под политическим руководством другого «неосоциалиста», мэра города Бордо Адриена Маркэ. Газета ренегата Дорио «Кри дю пепль» начала выходить 14 октября. Дорио стал фашистом еще в 1936 году. А в начале ноября «бутербродный журналист», как выражались когда-то в России, Жан Люшер, вскормленный секретными фондами Кэ д'Орсей, основал «Нуво ган», который пытался (безуспешно) заменить в оккупированной зоне самый солидный и авторитетный орган французской консервативной буржуазии «Тан», эмигрировавший в южную зону.

¹ По-французски слово «cendres» означает одинаково «прах» и «золу».

Как выяснилось после освобождения Франции из документов германского посольства, Отто Абец платил Марселю Деа и Люшеру с начала оккупации по двести пятьдесят тысяч франков в месяц — не считая расходов на издание газеты.

Отто Абец, бывший учитель рисования, в конце двадцатых годов был антифашистом, принимал участие в съезде франко-германской молодежи, уверял французов, что еще в детстве поклялся посвятить себя делу примирения французского и германского народов. На съезде он подружился с официальным парижским журналистом Жаном Люшером, который был близок к Бриану, познакомился с его секретаршей-француженкой, вскоре женился на ней и поселился в Париже. Люшер ввел его в литературные и политические круги. Отто Абец стал «экспертом» по французским делам, негласным советником германского министерства иностранных дел. Когда, после победы нацистов на выборах, президент Гинденбург назначил Гитлера канцлером, «демократ» Абец поступил на службу к новому правительству и усердно занялся организацией «пятой колонны». В 1939 правительство Даладье выслало его из Франции как гитлеровского секретного агента.

Пятого августа 1940 года Отто Абец был назначен германским послом во Францию. Он не поселился, однако, в Виши, куда переехал весь дипломатический корпус, а остался в Париже.

Возрожденная под покровительством Абеца «Эвр» была до войны любимой газетой антиклерикальных кругов парижской интеллигенции и мелкой буржуазии. У нее было славное прошлое: она была основана талантливым журналистом Гюставом Тери во время первой мировой войны и сразу завоевала популярность благодаря своему критическому духу, остроумным фельетонам Ла Фушардьера, умелой рекламе («Дураки не читают «Эвр», — гласило объявление, расклеенное по всему Парижу) и особенно благодаря роману Барбюса «Огонь», который печатался впервые на ее страницах в виде ежедневного «подвала». Между двумя войнами газета Гюстава Тери была близка по своей общей политической ориентации к радикал-социалистам, но всегда подчеркивала свою полную независимость, отказываясь подчиняться каким бы то ни было партийным или правительственным директивам. Это вполне отвечало ироническому складу ума и вольнолюбивой непочтительности парижан (Роже Вайан говорит, что отличительной чертой французского характера является «непочтительность»).

Когда в связи с агрессивной политикой Гитлера и Муссолини появилась опасность новой войны и французское общественное мнение раскололось на сторонников и противников уступок агрессорам, в «Эвр» сотрудничали одновременно Женевьева Табуи, призывавшая к сопротивлению и защищавшая Чехословакию, и «мюнхенец» Марсель Деа, автор нашумевшей статьи «Умирать за Данциг?». Этот парадокс продолжался во время «странной войны» и вплоть до оккупации Парижа.

После разгрома французской армии Марсель Деа окончательно перешел в лагерь фашистов, и в сентябре 1940 года Отто Абец назначил его политическим директором газеты «Эвр». В одной из первых же своих передовиц Деа призывал французов «не сетовать на историю» и приветствовать — как величайшее историческое событие, как «праздник истории» — объединение Европы под эгидой Германии.

Состав редакции «Эвр» мало изменился, но так гордившаяся своим «ангиконформизмом» газета с изумительной легкостью превратилась в послушный орган гитлеровской пропаганды. Женевьева Табуи, разумеется, в ней уже не участвовала: вскоре после перемирия она пере-

секла океан вместе с другими журналистами, резко выступавшими против Гитлера. Петеновское правительство лишило ее французского гражданства одновременно с Пертинаксом и Эмилем Бюре. Бывший шеф-редактор Андре Герен вернулся из неоккупированной зоны и стал писать в своей газете под псевдонимом. Его помощник Жан Пио был назначен заведующим редакцией. Остался в редакции и ветеран «левого» журнализма, известный театральный критик Жорж Пиок. К моему немалому удивлению, в газете появились подписи трех новых сотрудников — моих бывших товарищей по работе в «Котидьен» в первой половине тридцатых годов — Робера Бобена, Шарля Ребера и Ренэ Жерена. Первые два были членами социалистической партии, а Жерен — ярый антимилиитаристом. Я впервые столкнулся с фактом сотрудничества с фашистами журналистов, которых, как мне казалось, хорошо знал и считал вполне порядочными людьми. Предательство старого бандита Бюно-Варилья было в порядке вещей, так же как подхалимство всей своры продажных перьев.

Но как могли так быстро переокраситься вчерашние антифашисты? Я скоро понял, впрочем, что никакой «психологической» загадки тут не было.

* * *

Между тем во временной столице Франции произошли события, смысл которых был в ту пору не совсем ясен для непосвященных.

Второго декабря появилась в «Эвр» громовая статья Марселя Деа против некоторых министров вишийского правительства. Деа требовал отставки этих «бездарных тупиц, интриганов и узколобых догматиков». Ни для кого не было тайной, что редактор «Эвр» близок к вице-председателю Совета министров Лавалю и подобно ему считает необходимым активное участие Франции в создании «новой», фашистской Европы, а следовательно, и в войне против Англии. Все поняли, что неуютны Марселю Деа министры, не согласные с этой программой.

Десятью днями позже, вечером 13 декабря, Лаваль был арестован в Виши по распоряжению маршала Петена, а на другое утро в Париже французская полиция арестовала Марселя Деа.

Четырнадцатого декабря Петен заявил по радио, что «по соображениям внутренней политики» он расстался с Лавалем и что «конституционный акт № 4», назначавший Лавалья преемником восьмидесятичетырехлетней главы государства на случай его смерти, отменяется. Известный парламентский деятель Пьер Этьен Фланден, бывший несколько раз министром и имевший репутацию умеренного консерватора, был назначен министром иностранных дел. «Это мое решение, — заявил Петен, — не отразится на наших отношениях с Германией. Я остаюсь у руля».

Взбешенный таким самовольством, посол Абец помчался в Виши в сопровождении двух военных машин, вооруженных пулеметами, и потребовал немедленного освобождения его друга Лавалья (Деа он освободил своей властью в Париже), возвращения его в правительство и отставки строптивых министров. Петен освободил Лавалья, но отказался снова назначить его вице-премьером.

Деятнадцатого декабря Петен образовал внутри своего правительства «руководящий комитет». В него вошли три министра: морской министр адмирал Дарлан, П. Э. Фланден, министр иностранных дел, и генерал Этинжер, министр национальной обороны. Председателем комитета был назначен Дарлан.

Делегатом правительства в Париже был назначен, по требованию Абеца, продажный журналист Фердинанд де Бринон, подкупленный немцами еще до войны.

А в феврале 1941 года, под усилившимся давлением немецкого по-

сольства, Фланден был вынужден подать в отставку, после чего Петен снова реорганизовал свое правительство. Председателем Совета министров и своим преемником («дофином») он назначил Дарлана, сумевшего заслужить благоволение Абеца и Риббентропа. Дарлан сосредоточил в своих руках четыре министерства — морское, внутренних дел, иностранных дел и информации. В его кабинет вошел в качестве генерального секретаря по информации Поль Марион, бывший секретарь французского Союза коммунистической молодежи, с которым я работал несколько лет бок о бок в редакции газеты «Котидьен». Кабинет Дарлана продержался до апреля 1942 года, когда вернулся к власти Пьер Лаваль уже в качестве полноправного главы правительства, облеченного доверием Гитлера. Лаваль сделал Мариона министром.

Закулисные подробности реорганизации правительства я узнал в редакции «Эвр», которую посетил по совету Амедэ Дюнуа. Мне хотелось заодно выяснить, что, собственно, случилось с бывшими моими товарищами по совместной работе в «Котидьен» Бобеном, Ребером и Жереном. Что побудило их работать у Марселя Деа?

Робер Бобен никогда не отличался ни умом, ни талантом. Это был средний газетный работник, профессионально развязный, но по существу добродушный малый, по взглядам — правый социалист. Свое участие в фашистской газете он сначала объяснил мне очень просто: жена, четверо детей, как-нибудь же надо их прокормить, работа его чисто техническая и т. д. и т. п. Потом вдруг он спохватился: «Кроме того, ты понимаешь, там, в Виши, собралась самая черная реакция. Маршал окружен монархистами и клерикалами. Недавно он виделся с претендентом на французский трон». В голосе Бобена зазвучали трагические нотки. Лицо его налилось кровью, он изо всех сил стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Что ж, если для того, чтобы разгромить реакцию и спасти республику, нужно пойти с немцами, я готов пойти с немцами!»

Я не успел прийти в себя от столь бурного проявления республиканских чувств, как стали собираться сотрудники, и мне было дано присутствовать при сцене, какой я никак не ожидал в помещении газеты, издаваемой из средства германского посольства. Минутами мне казалось, что я попал в театр и слушаю актеров французской комедии. В тот же вечер я записал этот разговор в своем дневнике.

11 февраля 1941 года.

Сцена — редакционный зал «Эвр». Действующие лица: Лабан, заведующий информацией, Бобен, секретарь редакции, Ребер, заведующий иностранным отделом, Жорж Пиок, музыкальный критик, Ренэ Жерен, литературный обозреватель.

Лабан — сдержанный, вежливый, лет сорока. Во время всего разговора он сидит за центральным столом, просматривает агентские телеграммы и другой материал и раздает его для обработки сотрудникам в соседнем зале. Сотрудники приносят свои произведения и кладут их на стол секретарю редакции, который назначает шрифт и отправляет их в типографию. Начался обычный газетный день, вернее вечер.

Входит Жорж Пиок, чем-то явно расстроенный, и грузно опускается в кресло. Во время первой мировой войны он участвовал в газете «Журналь дю пепль». Редактор этой газеты Анри Фабр сделал из нее свободную трибуну, в которой сотрудничали левые социалисты — «циммервальдцы» и «кинталцы»¹, — анархисты, беспартийные антимилитаристы. В 1919 году в ней писали сторонники вступления в Коминтерн.

¹ Участники международной конференции, состоявшейся в апреле 1916 года в Кинтале.

Жорж Пиок выступал на митингах с наивно пацифистскими речами, и с тех пор красноречие стало его второй натурой. Он сильно постарел с 1917 года, но так же тучен, так же влюблен в искусство, так же наивен. Законченный тип прекраснородушного мелкобуржуазного демократа начала века.

Жорж Пиок. Вы слышали последние новости? Они выгнали из Комеди франсез наших лучших актеров — Александра, Лионеля, госпожу Котрен — под предлогом, что они евреи! Говорят, что они захватили «Пти паризьен»! Что происходит, хотел бы я знать?

Р. Бобен. В прошлое воскресенье немцы потребовали отставки администраторов «Пти паризьен». Редакция с ними солидаризировалась.

Лабан. Решение конфисковать издательство, типографию и все имущество «Пти паризьен» было принято немцами, во-первых, на основании официальной доктрины третьего рейха и, во-вторых, по соображениям политическим. Согласно их доктрине евреи должны быть изгнаны из хозяйственной и культурной жизни страны. Недавно они обнаружили, что капитал предприятия — еврейский. Как вы знаете, «Пти паризьен» — собственность семейства Дююи. Но оказалось, что большинство акций принадлежит мадам Дююи, а она — американка еврейского происхождения и находится в настоящий момент в США. Немцы завладели этими акциями во имя расистской доктрины. Они решили, что если еврейские лавочки не имеют больше права торговать, то нет никаких оснований не применять антиеврейский закон к газете. К этому пужно прибавить политические соображения: немцы считают, что политическая линия «Пти паризьен» слишком неопределенна.

Я. Но ведь политическим руководителем газеты был, кажется, Адриен Маркэ?

Лабан. Да, Маркэ — «атлантист», сторонник выжидательной политики, как вы, Пиок.

Жорж Пиок. Я — «атлантист»? Я — просто человек, с меня этого достаточно. П-п-озвольте все-таки! Я хотел бы знать наконец, что все это означает! Неужели эти господа намерены остаться здесь навсегда? Я нахожу недопустимым положение, при котором неизвестно, остается ли Париж Парижем или нет?! Я всегда предполагал, что перемирие — промежуточное состояние между войной и миром, и что когда будет заключен мир, победитель заберет себе то, что хочет взять: например, Эльзас, Лотарингию, может быть, два северных департамента. На то он и победитель. Но что вся остальная территория будет по-прежнему Францией. Если это так, то на каком основании он захватывает газеты, распоряжается в Париже, как у себя дома? Я хотел бы знать, буду ли я вынужден жить всю свою жизнь при нацистском режиме? Пусть мне это скажут прямо наконец! Черт возьми, в таком случае я, может быть, предпочту покинуть Францию, стану гражданином какой-либо другой страны, например, Бразилии, где к французам, кажется, хорошо относятся. Или апатридом подобно многим другим. Прошу меня понять. У меня нет ничего, никакой собственности, ни клочка земли, и те несколько лет, которые мне осталось жить, я как-нибудь проживу по ту сторону океана. Но я хотел бы в конце концов знать... Я не понимаю, как можно отбирать у бедного еврейского лавочника все его имущество и выбрасывать его на улицу... Никогда меня не заставят примириться с этим...

Лабан. Они конфискуют и крупные предприятия. Такова доктрина...

Жорж Пиок. Я считаю недопустимым вмешательство этих господ в театральную и музыкальную жизнь. Мейербер, Мендельсон, Рубинштейн — под запретом! На фасаде театра, основанного Сарой Бернар, не начертано более ее имя! Чудовищно!

Л а б а н. Правительство маршала Петена тоже приняло меры против еврейского влияния в области культуры...

Ж о р ж П и о к. Нет ничего хуже правительства, состоящего из военных, потерпевших поражение. В 1918 году, упоенные победой, они были безвредны. Но маршалы и генералы разбитой армии — это общественное бедствие! Война обнаружила один печальный факт — отсутствие народа. Где он? Он молча мирится с этой идиотской бойней.

Р е б е р. Народ всегда отсутствует...

Л а б а н. Всегда. И это доказывает, что диктаторы, может быть, правы... Хотя, пожалуй, я преувеличиваю.

Ж о р ж П и о к. Диктаторы? Я не знаю более печальной участи, чем судьба этих напыщенных мегаломанов. Возьмите, например, этого чудовищного клоуна — Муссолини. Мне жаль его. Его ожидает плачевный конец. И другого тоже... Жалкие типы...

Я вышел из редакционного помещения в полном недоумении. В коридоре, у дверей в кабинет главного редактора, сидел бандитского вида телохранитель. Марсель Деа писал, по-видимому, очередную статью во славу гитлеровского «нового порядка» и фашистской «европейской революции». А в соседней комнате ораторствовал растерянный представитель старой буржуазно-демократической Франции. Никто ему не возражал.

В головах у всех этих горе-пацифистов царила невероятная путаница, не меньшая, чем у Гюстава Эрве, который, кстати, куда-то исчез и нигде не печатается.

Ренэ Жерен не произнес во время описанной выше сцены ни одного слова. Он молча работал за своим столом над очередным «подвалом», в сотый раз разрушая «миф о миролюбии демократий».

Ренэ Жерен был человек одной идеи. Во время первой мировой войны он командовал ротой, храбро сражался, был ранен, получил орден Почетного легиона. После войны вернулся к преподавательской деятельности: Жерен был профессором истории литературы. Но война оставила тяжелый след в его душе. Он мучился потому, что никогда не мог забыть молодых парней, которых вел на смерть. Вопрос об ответственности за войну, за гибель миллиона семисот тысяч французов в траншеях первой мировой бойни стал для него основной проблемой, не столько политической, сколько моральной. Исследования Демарсиаля, Гутнуара де Турн, дипломатические документы, опубликованные в Советском Союзе, произвели на него потрясающее впечатление. Он пришел к выводу, что ответственность за войну 1914—1918 годов падает на Францию, Англию и Россию в такой же мере, как на Германию и Австро-Венгрию.

В январе 1929 года капитан Жерен опубликовал за свой счет и разослал по всем редакциям брошюру Жоржа Демарсиаля, в которой тот оспаривал официальную точку зрения на происхождение войны, изложенную в мемуарах бывшего президента республики Р. Пуанкаре. В сопроводительном письме Жерен заявил, что будет и впредь тратить свою пенсию, полагающуюся ему как офицеру Почетного легиона, на издание работ Демарсиаля, который незадолго перед тем был лишен ордена за свои взгляды. Пуанкаре, бывший в то время премьер-министром, пригласил Жерена к себе для объяснений. Между бывшим президентом и бывшим пехотным капитаном началась дискуссия о причинах первой мировой войны. Пуанкаре предложил Жерену задать ему в письменной форме ряд вопросов, на которые он был готов дать исчерпывающий ответ. По взаимному соглашению текст вопросов и ответов был опубликован издательством Пайо, причем обе стороны отказались от авторских прав в пользу «Международной конференции обществ инвалидов войны и ветеранов».

В тот год, когда происходила эта дискуссия, Ренэ Жерен был постоянным сотрудником «Котидьен». Перед этим он бросил преподавание. В газете он зарабатывал мало, жил очень скромно, даже бедно, и свое свободное время посвящал пропаганде своих пацифистских идей. В редакции его считали чудачком, но любили за дружелюбный характер, за талант, за грубовато-грустный юмор, за его бескорыстное чудачество. Когда в 1936 году «Котидьен» закрылась, Жерен стал разъезжать по Франции с публичными лекциями и писать в небольшом листке, основанном сторонниками отказа от военной службы по моральным и религиозным основаниям. В те предвоенные годы я его не встречал и лишь изредка читал в газетах, что он осужден где-нибудь в провинции или в Северной Африке на несколько недель тюрьмы «за призыв военнослужащих к неповиновению».

И вот в середине января 1941 года я неожиданно столкнулся с ним нос к носу, завернув за угол бульвара и улицы Св. Отцов. Жерен выглядел удрученным. Я спросил его: «Ну что вы скажете обо всем этом?» — имея в виду все, что произошло за последние четыре года: войну, поражение, оккупацию... «Слишком много военных! — сказал он со своей обычной грустной усмешкой. — Ни к чему это!» Я немного растерялся и пробормотал что-то насчет того, что действительно, мол, многовато и что вообще можно было бы обойтись без них, тем более что они в немецких мундирах. Оказалось, что мы друг друга не поняли: Жерен намекал на слишком большой процент военных в правительстве маршала Петена! Разговор не состоялся. Жерен напомнил мне, что еще со времен первой мировой войны он не любит англичан (он называл их «ростбифами»), и мы разошлись.

После войны Ренэ Жерен был арестован, как и все сотрудники «Эвр», и отсидел года два-три в тюрьме. Вскоре после освобождения он умер. Он не был, однако, ни фашистом, ни гитлеровцем, ни беспринципным циником, а жертвой все той же своей маниакальной идеи: по его мнению, вторую мировую войну вызвали, как и первую, Франция и Англия. В газету Деа он пошел работать, конечно, главным образом из-за заработка, как и Бобен, но все же продажным журналистом его назвать было нельзя: он продолжал писать то, что писал и раньше. Гитлер, Муссолини, их захватническая политика, расистские законы, отмена демократических свобод, истребление евреев, концлагеря оставались вне его поля зрения. До оккупации Франции он отмахивался от всего этого с помощью софизмов: нет-де никакой разницы между капиталистическими демократиями и Германией; Францией и Англией управляют тресты; англичане и французы грабят и угнетают колониальные народы и т. д. Но после моего посещения редакции «Эвр» у меня все же осталось смутное впечатление, что он далеко не уверен в правильности своей позиции.

Полной противоположностью Жерену был другой сотрудник «Котидьен» — Поль Марион. Балагур и циник, он был колоритной фигурой, а его стремительные превращения — за каких-нибудь десять лет он умудрился побывать в пяти политических партиях — походили на шутовской роман или на политический фарс с переодеваниями, фарс с печальным концом.

В редакции «Котидьен» Марион появился в начале тридцатых годов. Он заявлял себя сторонником «либерального социализма». В газете ему поручали мелкий репортаж, обработку информационного материала, отчеты о митингах. Но «развернуться» ему не давали. Я знал его в ту пору довольно близко. Он часто приходил в наш ресторанчик «У маленького св. Бенедикта» и стал даже там довольно популярным лицом благо-

даря своему веселому нраву и умению общаться с простыми людьми. В нем была своеобразная смесь искренности и цинизма. Он быстро увлекся новыми идеями и так же быстро охладевал. Но было видно уже тогда, что его тяготила роль репортера с небольшим заработком. Он рвался к «красивой жизни». Однажды он признался мне, что ему надоели второразрядные рестораны, дешевые танцульки и романы с горничными. Мариону казалось, что его внешние данные, ораторский талант, демагогический опыт, легкое перо должны открыть ему доступ к большой политической карьере. Он попробовал вступить в социалистическую партию, но там его не оценили. Тогда он организовал свой собственный «социалистический союз», просуществовавший очень недолго.

Когда на европейском горизонте стали сгущаться тучи и во французской политической жизни начались шатания и разброд, приведшие к катастрофе 1940 года, Марион примкнул к сторонникам сближения с Германией. В 1936 году он стал ближайшим сотрудником фашиста Дорио и редактором его газеты. Напуганная Народным фронтом буржуазия приняла Дорио с распростертыми объятиями. Он на короткое время стал баловнем парижских салонов. «Дорио,— писал буржуазный публицист Альфред Фабр-Люс,— был вульгарен и груб, но нам казалось, что люди подобного типа нужны для привлечения народных масс».

Дорио, однако, не оправдал возлагавшихся на него надежд: народные массы за ним не пошли. Когда выяснилось, что Дорио получает для своей партии крупную субсидию от Муссолини и широко тратит эти деньги на свои удовольствия, салонные политики и литературные снобы порвали с ним и принялись искать другого «фюрера» для Франции. Одно время они пробовали выдвинуть кандидатуру Мариона, пленившего их своим остроумием и умением блестяще поддерживать за обеденным столом интересный разговор. Его показали представителям деловых кругов. Но они нашли его слишком легковесным. Хотя Марион был тоньше Жака Дорио, он все же шокировал финансистов неуместными насмешками над такими авторитетами, как католическая церковь, Французская академия или банк Ротшильда.

Когда началась война с гитлеровской Германией, Марион был призван в армию, отправлен на фронт. Весной 1940 года он попал в плен. Его освободил уже во время оккупации Отто Абец, сообщивший гитлеровскому командованию, что «взгляды г-на Мариона близки к национал-социализму».

Из лагеря военнопленных Марион попал прямо в министры. Для него началась наконец «красивая жизнь». В течение пяти лет он командовал в Виши всей тогдашней французской прессой. После победы союзников Поль Марион был арестован и осужден на каторгу. Он просидел в тюрьме года два-три, был освобожден по болезни и умер в больнице от рака.

В те дни, когда Поль Марион устраивался в своем министерском кабинете, а Робер Бобен, Шарль Ребер и Ренэ Жерен скрипели перьями в редакции фашистской газеты, их бывший коллега по работе в «Котидьен» Пьер Броссолет редактировал в задней комнате небольшой писчебумажной лавки подпольный антифашистский орган.

С Пьером Броссолетом я познакомился в редакции «Котидьен», куда он поступил в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. Это был человек блестящих способностей и острого политического ума, талантливый журналист, высокообразованный, убежденный демократ и социалист, не способный пойти на сделки с совестью. Вместе с тем это был человек действия, энергичный, неутомимый работник антифашистского подполья, хладнокровный, мужественный и обладавший чисто париж-

ским чувством юмора, которое не покидало его в самые опасные минуты.

Во время Народного фронта (1936—1938) Пьер Броссолет ежедневно выступал по радио, давая обзоры международной жизни. Из него выработался один из лучших специалистов по внешней политике. Он был глубоко убежден, что итало-германское вмешательство в испанскую гражданскую войну было началом агрессии фашистской «оси» против демократических государств, и говорил это полным голосом, со всей резкостью и страстью. Будущие «мюнхенцы» и капитулянты уже тогда возненавидели молодого комментатора иностранной политики. В 1938 году они добились его увольнения. Леон Блюм поручил ему вести отдел внешней политики в «Попюлер». Я встречал его в те годы, общивался с ним информацией и взглядами на события. Само собой разумеется, Броссолет был против мюнхенской сделки с Гитлером и в отличие от многих «маститых» государственных деятелей (в том числе и Леона Блюма) ясно видел, что она ведет к европейской катастрофе.

Работать в газетах, выходящих при немцах, он отказался. Чтобы содержать свою семью, он приобрел в октябре 1940 года небольшую книжную и писчебумажную лавку на улице Помп, недалеко от лицея Жансон, и стал продавать школьникам учебники, тетради и авторучки. Тогда же он начал сотрудничать в подпольных изданиях. Бывшая директриса еженедельника «Эроп нувель» Мадлен Ле Вернье свела его с «Группой Музея человека», о которой — ниже. После разгрома этой организации, весной 1941 года, Броссолет избежал ареста и вошел в контакт с другими группами Сопротивления. Книжная лавка на улице Помп стала местом, где встречались представители различных подпольных организаций.

Пьер Броссолет, составлявший для лондонского центра политические доклады и обзоры печати, развил особенно кипучую деятельность начиная с 1942 года. Он разъезжал по всей Франции, работая над объединением подпольных групп вокруг Национального совета Сопротивления. Три раза он выезжал нелегально в Лондон (куда он перевез свою семью) и в Алжир. Во время четвертой попытки переправиться через Ла-Манш на моторной лодке он был арестован в феврале 1944 года, был подвергнут пытке и покончил с собой, выбросившись в окно с пятого этажа дома, в котором помещалось гестапо.

Именем Пьера Броссолета названы несколько улиц в Париже и его предместья. Одна из них проходит около Высшей нормальной школы.

Итак, о «Группе Музея человека».

Первый номер нелегальной газеты «Резистанс» («Сопротивление») от 15 декабря 1940 года попал в мои руки в конце декабря. Под заголовком стояло: «Официальный бюллетень Национального комитета общественного спасения». Передовая статья призывала французов создавать подпольные группы сопротивления, вербовать решительных и верных людей и готовиться к возобновлению вооруженной борьбы.

«Соблюдайте строжайшую дисциплину,— говорилось в этом воззвании,— остерегайтесь болтунов и предателей... будьте осторожны... собирайте ежедневно и доставляйте нам полезные сведения... Наш Комитет будет согласовывать ваши усилия с действиями тех, кто работает в неоккупированной зоне, и тех, кто сражается вместе с нашими союзниками».

Это был первый призыв к сопротивлению, раздавшийся внутри страны. Я не знал тогда, что подпольная редакция находилась недалеко от кафе «Флор» и что самыми деятельными членами организации были два молодых русских эмигранта.

Уже в августе 1940 года несколько парижских литераторов, возмущенных капитуляцией правительства и парламента, решили приступить к созданию свободной прессы в подполье и к объединению патриотов для борьбы с гитлеризмом.

Эта первая организация активного сопротивления оккупантам вошла в историю под названием «Groupe du Musée de l'Homme» («Группа Музея человека»). В то время директором Музея человека (парижского этнографического музея) был выдающийся ученый Поль Ривэ, по убеждению социалист. После перемирия он опубликовал открытое письмо маршалу Петену, протестовавшее в сдержанных, но твердых выражениях против капитуляции и свержения республики. Его ближайшими помощниками были два молодых талантливых этнографа Борис Вильде и Анатолий Левицкий, сыновья русских эмигрантов.

Музей человека находится во Дворце Шайо на площади Трокадеро. В другом крыле дворца расположен Музей народного искусства и традиций, а неподалеку, на авеню Вильсон, стоит большое здание Музея современного искусства.

Мысль о необходимости сопротивления появилась одновременно у сотрудников этих трех музеев. В инициативную группу вошли директор Музея современного искусства, известный художественный критик Жан Кассу, руководительница Музея народного искусства Агнеса Эмбер, египтолог Кристина Дерош, научная сотрудница Лувра, писатели Клод Авелин и Луи Мартен Шофье, профессора Марсель Абраам и Жан Дюваль, жена последнего Колет Дюваль, автор книг для юношества, издатель Эмиль Поль. Все они принимали до войны деятельное участие в антифашистском движении и в различных просветительных организациях Народного фронта. Агнеса Эмбер, например, преподавала в рабочем университете, сотрудничала в профсоюзном журнале «Рабочая жизнь», была секретарем общества изучения советской культуры. Во время испанской гражданской войны все они выступали в печати и на митингах против политики «невмешательства» — за поддержку республиканцев.

Осенью и зимой 1940 года члены организации собирались в помещении издательства Эмиля Поля на рю де л'Аббей за церковью Сен Жермен де Прэ. Для маскировки они образовали «Кружок памяти Алена Фурнье», автора романа «Большой Мольн». Первые «бабочки» и листовки, которые появились осенью в нашем квартале, были делом их рук. Агнеса Эмбер рассказывает в своей книге «Наша война», что они печатались на mimeографе Музея человека.

Всей организационной частью заведовал Борис Вильде. Агнеса Эмбер записала 25 сентября 1940 года в своем дневнике:

«Д-р Ривэ свел меня со своим помощником Борисом Вильде, руководящим антинемецкой деятельностью в Музее человека. Я немного знала Бориса Вильде. Он делал в Обществе изучения советской культуры доклад о полярных исследованиях. Я уже тогда высоко ценила его холодный и ясный ум, его исключительные способности... Получив французское гражданство, он участвовал в войне, был взят в плен, но бежал, несмотря на ранение в колено...»

Вильде занялся вместе с Анатолием Левицким организацией подпольного органа. В редакционную коллегия вошли Жан Кассу, Клод Авелин, Марсель Абраам.

Агнеса Эмбер заносит в свой дневник в конце ноября 1940 года:

«Мы обсуждали политическое направление газеты... К де Голлю мы будем относиться с симпатией и уважением, но мы должны быть осто-

рожны и узнать, каковы его политические взгляды. Вначале нам нужно будет соблюдать осмотрительность, так же, как когда мы будем говорить об этом старом дураке — маршале Петене. Мы знаем, чего стоит наш маленький Франко. Но у многих французов глаза еще не раскрылись. Факты помогут им во всем разобраться. Но мы рискуем повредить нашему делу, если будем сразу слишком резки. Мы собираем документы, и, когда наступит момент, мы будем беспощадны...»

Первый номер «Резистанс» вышел 15 декабря 1940 года. В январе за распространение этой газеты был арестован адвокат Нордман. А 12 февраля 1941 года гестапо произвело обыск в Музее человека. Анатолий Левицкий и его невеста Ивонна Оддон были арестованы. Профессору Ривэ удалось скрыться и перебраться в неоккупированную зону, откуда он уехал в Америку. Борис Вильде перешел на нелегальное положение. Жан Кассу и Клод Авелли тоже были вынуждены оставить Париж. Редактором «Резистанс» стал Пьер Броссолет. В марте, по-видимому по доносу какого-то предателя, был арестован и Вильде, а в апреле — Агнеса Эмбер. Вся группа была разгромлена, арестовали восемнадцать человек. Их судил в январе 1942 года немецкий военный суд. А 23 февраля 1942 года в старинном форте на холме Валерьян под Парижем были расстреляны Борис Вильде, Анатолий Левицкий, Пьер Вальтер, Леон Морис Нордман, Жорж Итье, Жюль Андрие и Ренэ Сенешаль.

Агнеса Эмбер была приговорена к каторжным работам и отбывала их в Германии.

Борису Вильде было тридцать три года. Агнеса Эмбер права: это был необычайно одаренный, талантливый этнограф, поэт, страстно любивший жизнь и рисковавший ею с отчаянной смелостью. Сын русских эмигрантов, живших в Прибалтике, он окончил курс в парижском университете, был женат на дочери профессора Сорбонны, писал стихи по-русски под псевдонимом Дикий. В гюрме Вильде изучал санскрит. На суде держался с большим достоинством, старался выгородить и спасти от расстрела самого младшего члена организации — Ренэ Сенешаля.

В вестибюле Музея человека находятся две мемориальные доски со следующими надписями:

«Б о р и с В и л ь д е (1908—1942). Русский, принявший французское гражданство, окончил историко-филологический факультет и Этнографический институт, работал при европейском отделе Музея человека, выполнил две научные командировки в Эстонию и Финляндию. Был мобилизован в 1937—1940 гг. Во время оккупации был судим по делу «Groupe du Musée de l'Homme» и расстрелян на Mont Valérien 23 февраля 1942 г. Генерал де Голль наградил его посмертно медалью Сопrotивления согласно следующему приказу: «Вильде оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопrotивления в 1940 году. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения. Ал-жир, 3 ноября 1943 г.»

«А н а т о л ь Л е в и ц к и й (1901—1942). Русский, принявший французское гражданство, окончил историко-филологический факультет и Этнографический институт, заведующий одним из отделов Музея человека. Был одним из самых деятельных организаторов этого музея. Известен своими трудами о шаманизме. Был мобилизован в 1939—1940 гг. Во время оккупации был судим по делу «Musée de l'Homme» и расстрелян на Mont Valérien 23 февраля 1942 г. Генерал де Голль наградил его посмертно медалью Сопrotивления согласно следующему приказу: «Левицкий, выдающийся молодой ученый, с самого начала оккупации в

1940 г. принял активное участие в подпольном Сопротивлении. Арестованный чинами гестапо, держал себя перед немцами с исключительным достоинством и храбростью, вызывающими восхищение. Алжир, 3 ноября 1943 г.».

* * *

Вильде и Левицкий не были исключением среди русской эмиграции. В декабре 1943 года были арестованы в Париже две молодые женщины — княгиня В. А. Оболенская и дочь бывшего царского сенатора С. В. Носович.

Вера Аполлоновна Оболенская (Вики), урожденная Макарова, родившаяся в Москве в 1911 году, принимала участие во французском Сопротивлении с августа 1940 года. Она была секретарем одной из подпольных организаций, доставлявшей в Лондон военные сведения и вербовавшей добровольцев для де Голля. Арестована она была в декабре 1943 года у С. В. Носович. Гестаповцы и французские милиционеры зверски пытали обеих женщин, но ничего не могли от них добиться. После попыток на улице Соссе в гестапо их отвезли в тюрьму Фрэн, где они попали, как рассказывает Носович, «в интернациональную камеру»: с ними сидели француженка, итальянка и австриячка — все политические. С. В. Носович описала впоследствии допрос, на который их вызвало гестапо в конце февраля 1944 года:

«Допрашивали нас пять гестаповцев с двумя переводчиками. Играли они главным образом на нашем эмигрантском прошлом, уговаривали нас отколоться от столб опасного движения, шедшего рука об руку с коммунистами. На это им пришлось выслушать нашу правду. Вики подробно объяснила им их цели уничтожения России и славянства. «Я — русская, жила всю свою жизнь во Франции, не хочу изменять ни своей родине, ни стране, приютившей меня. Но вам, немцам, этого не понять». На их тупую антисемитскую пропаганду она отвечала: «Я — верующая христианка и поэтому не могу быть антисемиткой».

Из Парижа обеих женщин увезли в Аррас, где находился немецкий военный суд. Там начались главные допросы, продолжавшиеся четырнадцать дней. Несмотря на все угрозы, пишет Носович, Вики исполнила свой долг до конца. Военный следователь прозвал ее «Принцесса Ничего Не Знаю».

Военный суд приговорил Вики и Носович к смертной казни. В июне 1944 года их заковали в ручные кандалы и увезли в Берлин. «В берлинской тюрьме, — рассказывает Носович, — с нами вместе поместили одну молодую советскую девушку, врача по профессии. Более очаровательного внешнего и внутреннего облика трудно было себе представить. Ее приговорили к смерти в Берлине за пропаганду против войны и за связь с немецкими коммунистами. Тихая, скромная, она мало говорила о себе. Рассказывала главным образом о России. Нас она поражала своей спокойной уверенностью в необходимости жертвы своего поколения для благополучия и счастья будущего. Она ничего не скрывала, говорила о тяжелой жизни в России, о всех лишениях, о суровом режиме и всегда прибавляла: «Так нужно, это тяжело, грустно, но необходимо». Встреча с ней еще более укрепила желание Вики ехать на родину. Они сговорились непременно встретиться там, и обе погибли в Берлине. Сперва Вики, потом она».

Вера Аполлоновна Оболенская была казнена 4 августа 1944 года. Она была посмертно награждена орденом Почетного легиона, военным крестом с пальмами и медалью Сопротивления.

С. В. Носович смертная казнь была заменена каторжными работами. Она отбывала их в Германии. После освобождения С. В. Носович была награждена орденом Почетного легиона.

В Тулузе воздвигнут памятник другой русской эмигрантке — дочери знаменитого композитора Скрябина, тоже награжденной посмертно военным крестом и медалью Сопrotивления. Из протеста против антисемитизма она приняла еврейское имя Сарра. В партизанских отрядах она была известна под кличкой Режин. В июле 1944 года Ариадна Скрябина была убита в стычке с петеновскими милиционерами.

В немецком лагере погибла петроградская поэтесса Е. Ю. Кузьмина-Караваева, вышедшая замуж за Скобцова на юге России во время гражданской войны и эмигрировавшая вместе с мужем. Склонная и раньше к мистике, она за границей постриглась в монахини. Во время оккупации руководила благотворительным обществом, оказывавшим помощь русским политическим заключенным и спасавшим от газовых камер еврейских детей.

В феврале 1943 года она была арестована вместе со своим сыном Юрой и сослана в Германию.

Софья Владимировна Носович рассказывает:

«В ноябре 1944 года я случайно узнала, что мать Мария находится в лагере Равенсбрук, где я сама была уже несколько месяцев. Как-то одна французенка-коммунистка, которую я знала задолго до войны, сказала мне: «Пойди познакомься с матерью Марией. Это необыкновенная женщина». То же мне сказала и одна русская советская пленная, ветеринар по профессии: «Пойдите познакомьтесь с матерью Марией, есть у нее чему поучиться».

И вот как-то раз, воспользовавшись свободным днем, я пошла в пятнадцатый барак, где находилась мать Мария. Я была в другом блоке, и частые встречи были, конечно, немислимы. Беседы наши всегда проходили во дворе лагеря. Мать Мария в легком летнем пальто дрожала от холода и физически, как и все, была измучена ужасными условиями жизни в Равенсбруке. Она близко сошлась со многими советскими девушками и женщинами, бывшими в лагере, и всегда говорила о том, что ее заветная мечта — «поехать в Россию».

Мать Мария была «газирована» 31 марта 1945 года. По слухам, она пошла в газовую камеру добровольно, вместо другой заключенной, у которой был ребенок: она откликнулась вместо нее, когда вызывали по списку приговоренных».

Возвращаюсь к своему дневнику.

Февраль 1941 года.

В январе я окончательно решил переехать в неоккупированную зону. Хотя агенты гестапо и сказали хозяину отеля «Павильон», что Сухомлин, по-видимому, уехал в Португалию, — нет никакой гарантии, что они не нападут на мой след. Кроме того, есть ведь еще французская полиция. На днях я обедал в ресторане «У маленького св. Бенедикта» со своим приятелем Габриелем Рей, служащим в книгоиздательстве «Ашет». Кроме нас, на другом конце небольшого зала обедали два других клиента. Хозяйка вызвала меня к телефону, по обыкновению прокричав на весь зал мою фамилию. Когда я вышел, Габриель услышал, как один из обедавших громко сказал: «Вот как! Сухомлин-то, оказывается, вернулся. Я этого не знал». Другой спросил: «А как он держал себя до эвакуации?» Собеседники понизили голос, и Габриель дальнейшего разговора не слышал. Тот, кто называл мою фамилию, был не кто иной, как комиссар полиции Луи, заведовавший в префектуре наблюдением за

иностранцами. Он изредка заходил в наш ресторан во времена Народного фронта и был хорошо знаком с обедавшим там постоянно редактором «Попюлер» О. Розенфельдом, который получал от него материалы для своей кампании против тайных фашистских организаций. Поскольку этот комиссар пользовался в свое время, как мне было известно, доверием правительства Народного фронта, я предполагал, что вряд ли он работает на немцев. Все же разговор в ресторане заставил меня настроиться. (Я не знал тогда, разумеется, что комиссар Луи был членом подпольной антигитлеровской организации. После войны я прочитал в газетах, что он долго сидел в немецком концлагере.)

Я сдал свою мебель на хранение в мебельный склад и отправил сундук с вещами на юг через транспортную контору. Консьержка поселила меня временно в квартире одного из отсутствовавших жильцов (наш пятиэтажный дом все еще пустовал).

Подготовкой нелегального перехода через демаркационную линию занялся Д. Р. Гольдштейн, который к тому времени передал все свои торговые связи моему кузену и собирался в Америку, где уже находились его сыновья. Он познакомился с дамой, которая за пятьсот франков переправляла желающих в южную зону. Она сама приезжала за своими клиентами в Париж. Наш отъезд назначен на 18 февраля. Со мной едет мадам Гольдштейн, которая будет ожидать мужа в Ницце.

Свой предпоследний день в Париже, понедельник 17 февраля, я провел в суде. Судили за распространение нелегальной коммунистической литературы студентку последнего курса медицинского факультета Жанет Салову, дочь друзей моей юности.

Я учился в ялтинской гимназии одновременно с матерью Жанет — Инной Розановой, дочерью ялтинского городского врача и либерального общественного деятеля П. Розанова. Ее дядя, известный писатель Сергей Яковлевич Елпатьевский, тоже врач, лечил вместе с доктором Альтшуллером Чехова и Толстого. Розановы и Елпатьевские были близкими друзьями моей семьи. Я, естественно, был немного влюблен в Инну Розанову, красивую и стройную семнадцатилетнюю девушку. Но она вышла за моего товарища, студента Петербургского университета, молодого волжанина гигантского роста, русокудрого красавца Мишу Салова...

Когда я приехал в Париж в 1907 году после побега из Тобольской губернии, куда был сослан на поселение, я разыскал в Латинском квартале студентку медицинского факультета Инну Салову. Она была в полном расцвете своей красоты. Миша Салов отбывал каторгу в Александровском центральном, около Иркутска, вместе со многими другими нашими друзьями. Он был приговорен на восемь лет. Двумя или тремя годами позже Инна съездила нелегально в Сибирь, устроила ему побег и привезла мужа в Париж, где он поступил в инженерно-строительный институт. У них родились сын и дочь. Во время первой мировой войны Михаил Салов поступил добровольцем во французскую армию, но вскоре был освобожден от военной службы по болезни. Он умер от туберкулеза в 1921 году. Инча вышла впоследствии замуж за французского врача и жила где-то на юге Франции. Я потерял ее из виду.

И вот в феврале 1941 года в четырнадцатой камере парижского исправительного суда я увидел на скамье подсудимых... Инну Розанову такой, какой я ее знал тридцать три года назад: тот же очаровательный профиль, с чуть припухшей верхней губой, те же гладко зачесанные темно-русые волосы, та же гибкая талия. Иллюзия была полная. А рядом со мной сидела кузина подсудимой, дочь Веры Розановой, младшей сестры Инны и другого моего старого товарища, Аркадия Альтовского,

талантливого инженера и стойкого революционера, которого я знал с 1904 года.

Французская поговорка говорит: «Хорошая кровь не может лгать». В детях таких родителей, как Миша Салов, оживают в той или иной форме чувства и дела их молодости.

Моя память сохранила мельчайшие детали этого процесса.

В глубине просторного зала четырнадцатой камеры возвышалась эстрада, на которой за столом сидели судьи. Вправо от них, тоже на небольшом возвышении, — пюпитр прокурора, влево — загородка для подсудимых, перед ней — адвокаты. Судьи, прокурор и защитники — в черных мантиях. Председатель суда — сердитый старик лет шестидесяти. С обвиняемыми по уголовным делам он разговаривает строго, делает им внушения, политические же явно приводят его в недоумение: он никак не может найти с ними подходящий тон.

Вправо от председателя сидит, насупившись, хмурый молодой судья и не спускает удивленных, даже как будто испуганных глаз с необычных «клиентов» исправительного суда.

Судья, сидящий по левую руку от председателя, плотный блондин лет сорока, с розовым, сытым лицом, по-видимому, только что недурно позавтракал и все время улыбается каким-то своим мыслям. Угрюмый худой прокурор в черной шапочке на маленькой голове изредка взмахивает широкими рукавами своей мантии. — он похож на летучую мышь.

Первым слушалось дело какого-то уличного торговца, который продавал немецким солдатам порнографические фотографии. Председатель суда сделал ему строгий выговор за антипатриотическое поведение, пошептался с ассистентами и приговорил его к трем месяцам тюрьмы.

После двух-трех таких же мелких дел скамью подсудимых занял молодой рабочий-токарь, коммунист. На вопросы председателя он отвечал с подчеркнутой вежливостью, от своих взглядов не отрекался, — «Ведь у нас республика, не так ли?» — но отрицал свою принадлежность к какой-либо тайной организации. Его приговорили к тюремному заключению на год.

Затем председатель велел судебному приставу привести подсудимых «по делу Жанны Салóфф». Дверь за загородкой открылась, и на скамью подсудимых сели Жанет Салова и пять ее товарищей — студенты медицинского факультета, работавшие вместе с ней в больнице практикантами. Обвинительный акт утверждал, на основании полицейских сведений, что Жанна Салóфф руководила коммунистической пропагандой среди медицинского персонала парижских больниц. В качестве вещественных доказательств были предъявлены номера подпольной «Юманите». Полиция обнаружила на квартире у Жанет чемодан с нелегальной литературой. Подсудимая заявила, что содержание его не было ей известно, что чемодан оставил у нее на хранение один товарищ, но отказалась его назвать.

Адвокат Вьеннэ, выступавший и до оккупации по коммунистическим делам (он, кажется, был до войны членом партии), произнес краткую речь. Нет никаких доказательств, сказал он, что его подзащитная руководила коммунистической пропагандой. Она не могла вести такой ответственной работы «по самому своему положению скромной, рядовой активистки» (militante). Признаться, меня удивило, что защитник подтвердил таким образом ее принадлежность к запрещенной партии.

Жанет была приговорена к тринадцати месяцам тюрьмы, а ее товарищи на десять, восемь и три месяца.

(Жанет Салова отсидела свой срок в тюрьме, а затем больше года

в концлагере. Теперь она врач и замужем за одним из самых крупных французских хирургов.)

Марманд, 19 февраля.

Сегодня в шесть часов утра по немецкому времени, в четыре часа по солнцу, я нелегально перешел демаркационную линию. Из Парижа мы выехали совершенно открыто, хотя у меня не было обязательного для иностранцев *laissez passer* (разрешения на выезд). Я не знал этого правила, но документов у меня никто не спрашивал. Несколько человек друзей пришли на вокзал провожать меня и г-жу Гольдштейн. Давид Рафаилович указал мне издала даму, которая должна была провести нас мимо немецких застав — жгучую брюнетку ярко выраженного южного типа, с крупными золотыми кольцами в ушах. У нее был очень энергичный и деловой вид. В вагоне она подошла к нам и сказала, что по приезде в Бордо мы должны не терять ее из виду и следовать за ней через вокзальную площадь.

В Бордо мы прибыли глубокой ночью, вышли беспрепятственно из здания вокзала и пересекли площадь по направлению к единственному освещенному кафе. Туда же пришли несколько других пассажиров, которые все оказались клиентами нашей проводницы. Среди них были два бежавших из лагеря военнопленных, коммерсант черного рынка, ехавший за товаром, и два молодых человека, направлявшихся в Африку, в армию де Голля. Молодых людей сопровождал их отец, высокий широкоплечий мужчина лет пятидесяти. Мы просидели в кафе около часу, выпили горячего желудевого кофе. Я уплатил проводнице пятьсот франков согласно условию, и мы пошли на железнодорожную станцию, где сели в пригородный поезд, с которым ехали на завод рабочие. Через полчаса мы оказались в незнакомом городке, погруженном в глубокий сон, и по пустынным улицам гуськом вышли на шоссе, ярко освещенное луной. Немцев нигде не было видно. Мы шли затем довольно долго, держа в тени деревьев, которыми было обсажено шоссе. Дойдя до какого-то перекрестка, проводница остановилась, и, по ее указанию, мы все один за другим юркнули в находившуюся вблизи дороги ригу. Наша южанка пошла на разведку. Перед нами в глубине проселочной дороги, пересекшей шоссе, зажегся огонек. Нам было велено бежать туда что есть сил. Так мы добежали до большой фермы, и перед нами раскрылись ворота хлева, где две женщины доили коров при свете лампы. Здесь отец распрощался со своими сыновьями. Вместе с нами они прошли в примыкавший к ферме виноградник, и мы все снова побежали, пригибаясь к земле, вдоль изгороди, за которой, как нам сказала проводница, где-то не так далеко находился немецкий пост. Пробежав метров триста, мы оказались перед калижкой, которая вывела нас снова на шоссе. Еще сто метров, и мы подошли к заставе, у которой стояли два французских солдата. Они приветливо поздоровались с нами и, не задавая никаких вопросов, пропустили к ожидавшему нас небольшому автобусу. Шофер, друг нашей южанки, владелец гаража в Марманде, доставил нас к девяти часам в этот живописный город, расположенный на левом берегу Гаронны, в восьмидесяти километрах от демаркационной линии.

Сегодня вечером я выезжаю на берег Средиземного моря, в городок Грасс.

* * *

Я прожил в неоккупированной зоне четыре с половиной месяца — с 20 февраля по 7 июля 1941 года. Почти все это время я провел в Грассе, около Канн, изредка насзжая в Марсель и Алес.

Старинный провансальский городок Грасс расположен на склоне горы над Каннами, в семнадцати километрах от моря. Он окружен цветочными плантациями (жасмины, розы, мимозы) и апельсиновыми рощами. Из города открывается великолепный вид на море и прибрежные холмы. Я поселился сначала в небольшом отеле «Пальмы», хозяином которого был неизвестный мне русский эмигрант. Русских эмигрантов можно было встретить во Франции повсюду и на всех ступенях общественной лестницы — от шоферов парижских такси до директоров акционерных компаний. В том же Грассе проживал русский владелец парфюмерной фабрики, а в пяти километрах от города находилась ферма русского казака Федорова. Все это было, так сказать, в порядке вещей. Но вскоре я сделал два неожиданных открытия: хозяином моего отеля оказался известный провокатор, доктор Житомирский, живший в Париже до революции и разоблаченный в 1917 году, а Федоров, обрабатывавший плантацию жасмина, оказался родным братом моего старого товарища по подполью, эмигрировавшего после революции 1905—1907 годов.

Как и в Париже, тени далекого прошлого обступили меня перед самым отъездом из Европы.

Не желая оставаться у бывшего агента департамента полиции, я переехал в другую гостиницу. А на ферме у Федорова стал частым гостем.

В Грассе я застал доктора Завадского с женой, благополучно добравшихся до берега Средиземного моря после бомбежки, которую мы вместе пережили во время «великого исхода».

В начале апреля Леня Завадский познакомил меня с Буниным в автокаре, в котором мы ехали из Грасса в Канны. В Париже я не встречался с Буниным. Война застала его на берегу Средиземного моря, куда он каждый год ездил на зиму. Иван Алексеевич пригласил меня к себе, и в течение весны и лета 1941 года мы часто гуляли вместе и бывали на ферме у «провансальского казака» Федорова — человека яркой судьбы, одного из первых французских летчиков. Я тогда же записал несколько разговоров с ним. Привожу выдержки из своего дневника.

Грасс, 6 апреля 1941 года.

Был у Бунина вместе с д-ром Завадским. И. А. живет на вершине холма в вилле, предоставленной ему до конца войны знакомой англичанкой, уехавшей после падения Парижа на родину. Кроме Буниных, на вилле живут два «молодых» эмигрантских литератора — Бухрах и Зуров, поэтесса Галина Кузнцова и ее мужеподобная приятельница, сестра философа Степуна.

Бунину больше семидесяти лет. Худой, очень подвижный, но быстро устает. Его жена Вера Николаевна — красивая седая дама с бледным, прозрачным лицом.

За чаем говорили, разумеется, о войне. Бунин возмущен капитуляцией Франции. «Если бы Россия объявила войну Гитлеру, я пешком пошел бы в Москву, на колених благодарил бы советскую власть...» Рассказывал, что однажды немцы задержали его на границе (он возвращался в Париж из Югославии через Германию) как опасного «советского агитатора», потому что обнаружили в его чемодане... томик Л. Н. Толстого! Рослый эсэсовец, разорвав книжку на его глазах, стал топтать ее ногами, изрыгая какие-то ругательства. Пока немцы не установили, что имеют дело с лауреатом Нобелевской премии, Бунин просидел несколько часов в помещении пограничной стражи.

Разговор зашел о Мерсжковском и Гиппиус. Бунин рассказывает: «Несколько лет тому назад Мерсжковский ездил в Варшаву, где тогда Философов издавал газету. Был принят Пилсудским. «Ну что,

как?» — спрашиваю. «Когда я вошел в кабинет, говорит, я сразу почувствовал присутствие Христа». Год спустя на мой вопрос о Пилсудском ответил: «Обманул, сукин сын!»

Ездил Мережковский и к Муссолини. И опять: «Как только я вошел в его громадный кабинет в Палаццо Венеция, я почувствовал присутствие Христа. «Дуче, — говорю ему, — я хочу писать книгу «Данте и Муссолини». Он отвечает: «Синьор Мережковский! Piano! Piano!»¹. Однако после этого свидания Мережковский прожил целый год в Италии с женой на счет Муссолини. Через год вернулся в Париж и говорит: «Обманул, сукин сын! Денег-то больше не дает...»

Теперь Мережковский, по слухам, «чувствует присутствие Христа» в передней у Геббельса.

Грасс, 13 апреля 1941 года.

Сегодня был с И. А. Буниным на ферме у Федорова, провели у него целый день. Кроме Бунина и Завадского, там были Зуров и моя знакомая француженка Ренэ, учительница математики. Федоров угощал нас каким-то рагу собственного изготовления, красным вином и водкой, сильно пахнувшей духами.

Разговор о жизни, о смерти, о Горьком. Потом вспоминает:

«Раз сижу я в «Café Weber» с Алдановым. Гарсон приносит записку: «Ваня, я здесь, хочешь со мной увидеться? Алексей Толстой». Показываю Марку Александровичу. «Как быть?» Говорит: «Дело ваше, хотите, мол, повидайте». Я встаю в недоумении и вижу: он уже идет ко мне. Встретились. Спрашивает: «Можно поцеловать?» — «Ну, говорю, целуй». Поцеловались. «Иди, говорит, познакомься с женой». Жена молодая. «Что же, говорит, выпьем по случаю встречи, что ли?» — «Выпьем, говорю, если хочешь». Выпили по бокалу шампанского. Говорит: «Почему ты тут сидишь? Поезжай к нам». Отвечаю: «Я ведь тебя не спрашиваю, почему ты там сидишь? Что бы я там делал?» — «А, говорит, жил бы да писал бы. Печатали бы тебя, получал бы гонорары. Я живу неплохо». Ну что вы скажете? С такими речами ко мне! Чертовщина. Не вышел у нас разговор. Посидели и разошлись...»

Грасс. Конец апреля 1941 года.

Из разговоров с Буниным.

И. А. рассказывает, как его обокрали в Софии в гостинице и как эта кража спасла его от смерти.

«На минуту отлучился из своего номера в номер жены. Все уташили, деньги, драгоценности. Из-за этого опоздал на доклад Рысса, где взорвалась бомба и все сидевшие в первом ряду были убиты. Болгарский сыщик сказал, что подозрения в краже падают на официанта и на неизвестного, которого сыщик определил как «мистерьозную личность».

* * *

В поезде София—Белград болгары дали Бунину отдельный вагон. Он туда пустил сербов, военных. Русский генерал (белый) является в купе с дамой. Нахально: «Вы по какому праву занимаете вагон? Кто вы такой?» — «Академик Бунин». Дама: «А по какому праву? Я требую...» — «А вы кто будете, сударыня?» Генерал: «Так с дамами не разговаривают!» — «А почему же дама так со мной разговаривает?» И т. д. И т. д. В конце концов дама заявила: «Я председательница Женского клуба!» Сербы выставили их из вагона...

¹ Поттише! Поттише! (итал.)

* * *

Разговор зашел как-то о «приемном сыне Горького». В швейцарских газетах промелькнуло известие, что «le général Pechkoff» (генерал Пешкóфф), находившийся где-то на Дальнем Востоке, примкнул к генералу де Голлю. Вспомнили о том, как вся французская пресса писала в начале первой мировой войны, что «сын Горького» Зиновий Пешков поступил волонтером во французскую армию. Потом появилось уточнение: «Зиновий Пешков — не родной, а приемный сын Горького, сирота, которого супруги Пешковы усыновили-де еще в Нижнем Новгороде».

Я знал Зиновия Пешкова в 1912—1914 годах, когда он жил в Италии у Амфитеатровых в местечке Феццано, на берегу Средиземного моря. При мне он женился на секретарше Амфитеатрова и уехал с ней на Цейлон, где его устроили на службу в одной из московских чайных фирм. Я тогда, как и все, считал его «приемным сыном» Горького, но никогда, конечно, не проверял этих слухов. Тем более что в Феццано, где я жил тогда недалеко от Амфитеатрова, Зиновий Пешков приехал с острова Капри вместе с Горьким.

Позднее французские газеты писали, что Зиновий Пешков героически сражался, был тяжело ранен, потерял руку и окончил войну 1914—1918 годов в чине полковника французской армии.

В моем дневнике имеется следующая запись:

Начало июня. Грасс.

И. А. Бунин о Зиновии Пешкове: «Горький и Екатерина Павловна никогда его не усыновляли. На самом деле он — только «крестник» Горького. Настоящая его фамилия Свердлов. Горький познакомился с ним в Нижегородской тюрьме. Потом, когда их освободили, Свердлов бывал у Пешковых. У него обнаружили актерский талант. Решил ехать учиться в Москву. Для того, чтобы получить право жительства, надо было креститься. Он пошел к знакомому попу, крестился и записал А. М. Пешкова в крестные отцы. Потом Зиновий куда-то исчез и снова объявился в 1906 году в Америке, куда Горький приехал вместе с М. Ф. Андреевой. Пришел к ним в отель. Сумел втереться в доверие к Марии Федоровне, Горький его простил. Юноша остроумный, веселый, смешил Горького...»

Весной и летом 1941 года я почти каждый день ездил из Грасса на берег моря купаться, встречался на террасах каннских кафе с парижскими друзьями, бывал в Ницце, в Антибе и в других местах Лазурного берега.

В Каннах я был свидетелем одной сцены, которую тогда же записал в свой дневник.

В одном из лучших каннских ресторанов, куда я изредка заходил, молодая дама показывала девочке лет семи-восьми только что купленную книжку с картинками — «История Франции для детей».

— Смотри, Сюзь, вот это Жанна д'Арк, она спасла Францию, а англичане сожгли ее на костре. Они очень злые, эти англичане, запомни это, Сюзь, они хотят погубить Францию... А это — Наполеон, он был французским императором, а англичане сослали его на остров Святой Елены. Англичане очень-очень плохие. Они всегда делали нам зло. Но у нас теперь есть маршал Петен, он очень добрый и не позволит англичанам погубить Францию. Маршал Петен — это новая Жанна д'Арк, он спас Францию, запомни это, мое сокровище...

— А ей было очень больно, да, мама?

— Кому?

— Жанне д'Арк, ведь ей было больно?

— Конечно, ведь ее жгли на огне.

— А маршала они не сожгут?

— Не говори глупостей, мое сокровище, маршал нам послан боженкой, чтобы спасти Францию.

Дама — красивая, элегантная блондинка — говорила громко, на весь ресторан. В ее голосе звучали истерические нотки.

* * *

Когда я уезжал из Парижа, от популярности маршала Петена в оккупированной зоне почти ничего не оставалось. А на юге Франции мне приходилось еще встречаться с мистическим почитанием маршала. Церковь, школа, печать и радио старались внушить скептическим французам, что Петен — орудие провидения, спаситель Франции. По иронии судьбы наиболее католические и реакционные провинции Франции — Бретань и Эльзас — были оккупированы и подвергались усиленной германизации, вследствие чего культ Петена не мог иметь там успеха даже среди священников. А на свободомыслящем винодельческом юге католическое духовенство никогда не имело большого влияния в массах. Как бы то ни было, весной 1941 года Петен был еще популярен и на юге: «средний француз» был ему благодарен за то, что он прекратил войну, а буржуазия за то, что он избавил ее от призрака Народного фронта и революции.

Вскоре после приезда на Лазурный берег я обедал как-то в Ницце у одного местного врача, к которому у меня было поручение от родственников из Парижа, где его племянница, студентка Сорбонны, была арестована за распространение коммунистических листовок. Перед обедом вся семья благоговейно слушала глупейшую передачу «Четверть часа маршала», каждый вечер обличавшую виновников постигшей Францию катастрофы — франкмасонов, народных учителей, безбожную школу, парламент, либерализм, космополитизм и левое искусство. В тот же вечер я впервые услышал слова о том, что «поражение по крайней мере навсегда гарантирует нас от возвращения к власти Народного фронта и Леона Блюма».

Доктор С. считает, что Франции нужна твердая власть, строгая государственная дисциплина, корпоративный хозяйственный строй и реорганизация системы народного просвещения в духе христианской нравственности (хотя сам он в церковь давно не ходит). Он не поклонник Гитлера, считает его истериком, но думает, что войны можно было избежать, предоставив ему свободу рук в Центральной Европе и на Востоке. Германия-де задышалась в версальских границах, что и породило гитлеризм. Франция не должна была заступаться за Чехословакию и Польшу — искусственные государства, созданные Версальским договором. Францию втянули в войну левые партии — по идеологическим мотивам и в интересах английского империализма.

Жена доктора возмущается почему-то архитектурой Дворца Шайо¹ и Дворца современного искусства, построенных в 1937 году правительством Народного фронта. «Леон Блюм покровительствовал модернизму и декадентству,— сказала она.— Он не только поручил строительство Дворца Шайо модернисту Карлю, но и распорядился выгравировать на фронтоне золотыми буквами глубокомысленные изречения своего друга, «герметического» поэта Поля Валери».

¹ Дворец Шайо построен на месте старого Трокадеро. В нем находятся Национальный народный театр (ТНР), Музей народного искусства и Этнографический музей. Архитектор Карлю.

К обеду пришла сестра хозяйки с мужем, молодым физиком. Муж происходит из буржуазной еврейской семьи. За столом разговор зашел об антиеврейском законодательстве вишійского правительства. Доктор оправдывает его тем, что в гуманитарных профессиях, в частности среди врачей, было якобы слишком много евреев, часто к тому же иностранного происхождения. По его мнению, евреи не должны занимать руководящие посты в культурной жизни, в администрации и в политике. Их область — промышленность, торговля, финансы. «И наука», — прибавил он, дружелюбно улыбаясь своему свояку. Молодой ученый не соглашался с тем, что врачи и адвокаты — евреи угрожают «моральному здоровью» нации. Меня удивил корректный тон их спора. Это были люди одного круга, одного класса. Доктор сказал, между прочим, что маршал Петен отнюдь не антисемит гитлеровского типа, он терпеть не может франкмасонов, но к евреям как к людям относится неплохо и недавно заступился даже за кого-то из Ротшильдов.

Я спросил хозяев, что они думают о фашистской системе. Я записал ответ физика: «Мне приходилось бывать по делам в Италии. Директор одного миланского завода стальных труб, в котором занято четыре тысячи рабочих, сказал мне: «Фашизм — это своего рода страховка от коммунизма. Она обходится нам дорого, администрация чинит нам различные неприятности, придирается к мелочам, государство ограничивает наши прибыли, но зато мы спокойны и обеспечены против революции. Коммунисты забрали бы у нас все».

К генералу де Голлю они относятся со смешанным чувством. С одной стороны, как будто не верят в победу Англии, но с другой — де Голль все же человек их класса, он не имел в прошлом никакого отношения к Народному фронту, он не франкмасон, не космополит, а такой же, по их мнению, «патриот и католик, как Петен», хотя и объявлен «изменником» по соображениям высшей политики. «Я вполне допускаю, — сказал доктор, — что между ними существует тайное соглашение. Ведь генерал де Голль посвятил одну из своих книг маршалу Петену в чрезвычайно лестных выражениях. Правда, книга эта была на чисто военную тему, но думаю, что они не расходятся и во взглядах на внутреннюю политику».

* * *

Беженцы из оккупированных немцами стран Европы были рассеяны по всему побережью от Монте-Карло до Марселя. Основная масса скопилась в Марселе — несколько тысяч человек ожидали отправки через Испанию в Лиссабон, откуда американские пароходы «Экспорт Лайн» перевозили их в США и в Южную Америку. Гитлер разрешил своему другу Франко пропускать евреев и политических эмигрантов через Испанию, что было выгодно для испанских железных дорог и паровозных компаний.

В отелях Лазурного берега поселились евреи побогаче — те, кто успел вовремя вывезти остатки своего состояния из оккупированных стран и проводил на юге Франции свои последние каникулы, распродавая драгоценности.

Парижские художники всех национальностей заселили свои любимые места — Кань сюр Мер, Валорис Антиб, Сен Тропэ, писали этюды, вечерами сидели в кафе и бедствовали, как в Париже. Группа безработных киноартистов основала кооператив для производства пастилы из фиников и инжира: они закупили в марсельском порту большую партию этих фруктов, прибывшую из Алжира, перемалывали их и лепили из фруктовой массы свои «заменители сахара», совершенно исчезнувшего из продажи.

Я приехал в Марсель в конце апреля. В «Кафе де Ноай» на Каннебьер и в тавернах Старого порта я встретил много своих парижских знакомых, русских и иностранцев.

Здесь оказался и Модильяни с женой. С Модильяни я познакомился во время первой мировой войны в Милане, куда он приехал после Циммервальдской конференции, и с тех пор мы были друзьями, часто встречались в Париже, где находился центр итальянской эмиграции, бежавшей от режима Муссолини. Модильяни, итальянский социалистический деятель, бывший депутат города Ливорно, осанистый, с неожиданной для итальянца широкой бородой-«лопатой» и добрыми голубыми глазами,— принадлежал к правому крылу партии и был сторонником мирных парламентских способов борьбы за социализм. Наивное прекраснотушие я относил к числу странностей Модильяни. Другой его странностью, кроме крайнего «легализма», было то, что он никогда не мог понять, что его родной брат Амедео — большой художник, и удивлялся его мировой славе (посмертной).

В марте приехал в Марсель из Тулузы мой старый друг Жан-Морис Эрман. Встреча с ним была одной из самых приятных и неожиданных. Ж.-М. Эрман одно время работал вместе со мной в «Котидьен». Шеф-редактор газеты не сумел оценить его незаурядного публицистического дарования и держал его на второстепенных ролях. Однажды редактор «Попюлер» Орест Розенфельд сказал мне, что ищет талантливого сотрудника для отдела внутренней политики. Я горячо рекомендовал ему молодого Эрмана. Жан-Морис перешел в «Попюлер» и вскоре выдвинулся своими блестящими статьями против фашистских «Огненных крестов» полковника ла Рока. В последние годы мы почти ежедневно встречались в нашем ресторанчике «У маленького св. Бенедикта».

В сентябре 1939 года Эрман был мобилизован и воевал на «линии Мажино» в чине старшего сержанта. За несколько дней перед перемирием ходил в разведку, был ранен взрывом мины в ноги и взят в плен. В ноябре 1940 года после свидания Гитлера с Петеном он был освобожден в числе других тяжелораненых и вернулся к семье в Тулузу. После выздоровления Эрман принял деятельное участие в Сопротивлении, был арестован и сослан в немецкий лагерь. Теперь он — один из самых талантливых французских публицистов, редактор иностранного отдела «Либерасьон» и председатель Международной организации журналистов.

Жан-Морис рассказал мне о своем посещении Леона Блюма в старом, запущенном замке Бурасоль, превращенном в тюрьму для государственных деятелей Третьей республики. Там сидят также бывшие министры: Мандель, Поль Рейно, Даладье, Жюль Мок и другие. Маршал Петен намерен предать их всех суду. Блюм настроен оптимистически, уверен в победе Англии.

Я спросил, понимает ли теперь Блюм, что его политика «невмешательства» в испанскую гражданскую войну укрепила Муссолини и Гитлера в убеждении, что им все позволено. Эрман ответил, что Блюм, по-видимому, понял это, но продолжает думать, что Франция должна была согласовывать свою политику с английской и не могла идти одна на риск конфликта с державами фашистской оси.

* * *

В Марсель приехал еще один бывший сотрудник «Котидьен» — Жан Гинебьер. До падения Парижа он был шеф-редактором парижского радиожурнала и одним из самых популярных радиокомментато-

ров. Правительство Виши уволило его, и теперь он безработный. Живет в провансальской деревне, где, по его словам, «у всех крестьян на приемнике стоит портрет маршала Петена, но слушают они лондонское радио». Гинебьеру сорок три года, он был военным зауряд-врачом во время первой мировой войны, но в 1918 году бросил медицину и занялся исключительно журналистикой.

Мы сидели с ним и с Эрманом в маленьком бистро около Оперы. Гинебьер прожил после разгрома несколько дней в Виши. «Там,— по его словам,— собралась вся «старая Франция» — допотопные герцогини, молодые хлыщи с моноклями, великосветские кокетки... Для них поражение Франции — «нечаянная радость», или, как говорил Шарль Моррас, «божественный сюрприз». Гитлер был послан провидением, чтобы уничтожить ненавистную республику. Англичане — наши единственные враги. Они в руках у евреев и франкмасонов и т. д. и т. п. ...»

Гинебьер рассказал нам, что хотел поступить корректором в одну из типографий. «Отказали. Воображают, что это с моей стороны политическая демонстрация. А мне просто-напросто нужно зарабатывать на кусок хлеба. Предлагают место в газете. Я, конечно, послал их ко всем чертям...»

Не обращая внимания на публику, Гинебьер дал волю своему бурному темпераменту:

«Все эти господа будут расстреляны! Я уже теперь ставлю свою кандидатуру в члены Революционного трибунала!» — кричал он на все кафе.

(После войны Жан Гинебьер был в течение десяти лет шеф-редактором и театральным критиком газеты «Либерасьон». Он скончался от кровоизлияния в мозг в апреле 1958 года.)

* * *

За те четыре с половиной месяца, что я прожил на юге Франции, я ездил раз пять в Марсель и три раза гостил у друзей на ферме Бозон, в департаменте Гар, в ста шестидесяти километрах от Марселя.

После голодного Парижа Бозон показался мне подлинным раем. У Сюзанны и Эмиля Коэн — две коровы, больше сотни кур, виноградник, небольшой луг и заросший кустарником овраг, в котором водятся дикие кролики. Ферма — провансальский «мас» — расположена на вершине холма, откуда открывается чудесный вид на виноградники, персиковые сады и развалины какого-то средневекового замка. Эмиль никогда раньше не занимался сельским хозяйством. Он — горный инженер, лейтенант запаса, воевал на северном фронте. Сюзанна — коренная парижанка, дочь профессора, до оккупации переводила английские романы для издательства Пайо. Оба они работают на ферме не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера. Хотя, как и все крестьяне, они должны сдавать государству молоко и яйца, — продовольствия у них достаточно. Я прожил у них около месяца и пытался помогать им: пас коров и заработал на сенокосе ломоту в поясице, свалившую меня на два дня. На винограднике я присутствовал однажды при следующем диалоге между Эмилем и хозяином соседней фермы:

— Я думаю, мсье Эмиль, что война эта как-никак имеет одну хорошую сторону.

— Какую?

— Она избавила нас от евреев.

— А вы когда-нибудь видели евреев, мсье Гайар?

— Нет, не случилось.

— Так вот, смотрите: перед вами еврей.

— Что вы говорите? Не может быть, мсье Эмиль!

На честном лице фермера отразилось искреннее недоумение. Он объяснил, что судил о евреях лишь на основании петеновских газет.

(Эмиль Коэн был арестован гитлеровцами в 1942 году, после оккупации южной зоны. Вместе с ним арестовали и моего товарища Росселя, скрывавшегося у него на ферме. Оба погибли в лагерях смерти.)

Грасс, 30 марта 1941 года.

Вчера был в Марселе, проездом из Бозона. Обычно «беззаботные» марсельцы сидят часами в кафе за стаканом белого вина (аперитивов больше нет), балагурят, перекидываются в карты, играют в «шары» на улицах, задерживая движение, причем шоферы останавливают машины и принимают горячее участие в ожесточенных спорах между игроками. Но, оказывается, эти идиллические картины обманчивы. В прошлый четверг и пятницу Марсель бурлил, как во времена Народного фронта.

Двадцать седьмого марта лондонское радио сообщило, что в Белграде произошел государственный переворот. Югославский премьер Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Цинцар-Маркович подписали в Вене договор с Гитлером, по которому Югославия присоединилась к пакту трех фашистских держав. Не успели они вернуться в Белград, как в ночь на 26 марта вспыхнуло восстание, поддержанное армией во главе с генералом Симовичем, бывшим начальником генерального штаба. Правительство было свергнуто, регент князь Павел выехал в Грецию, а князь Петр, семнадцатилетний сын короля Александра, убитого в 1934 году в Марселе, провозглашен королем. Генерал Симович известен как противник немецкой ориентации и сторонник союза с Россией.

Едва известие о белградских событиях распространилось по городу, марсельцы высыпали на улицы и, не сговариваясь, направились к памятнику, воздвигнутому у префектуры в честь франко-югославской дружбы, и к Бирже, перед которой агенты Хорти и Муссолини 9 октября 1934 года убили короля Александра и французского министра иностранных дел Барту.

Вот что рассказал мне вчера Жан-Морис Эрман.

— Решив, что нужно как-нибудь отметить этот день, я вышел утром из гостиницы, купил букет цветов и отправился по направлению к префектуре. Шел я, по правде сказать, не очень уверенно — думал, не покажусь ли сам себе смешным, когда буду в полном одиночестве «возлагать» цветы к подножью памятника. Но, приближаясь к префектуре, я увидел, что со всех сторон идут туда же группы марсельцев — тоже с букетами. У памятника успела образоваться очередь. Дюжий полицейский наблюдал за порядком. Какая-то домохозяйка, возвращавшаяся с рынка с полупустой сумкой, спросила у него: «Что тут происходит? Чествуют чью-то память?» Лицо полицейского расплылось в улыбке. «Куда лучше, чем вы думаете, — сказал он с сильным марсельским акцентом. — Сербы теперь с нами, мадам!» Префект распорядился поставить ограждение. В толпе теснилось десять тысяч людей. Полицейские не пропускали их к памятнику, но и не разгоняли. С пением Марсельезы все направились на Канебьер, к Бирже. По дороге встретилась машина немецкой комиссии по наблюдению за перемирием. Ее забросали камнями. Префект потерял голову. Он велел перегородить тротуар около Биржи и никого не подпускать к бронзовой плите, вделанной на том месте, где был убит король Александр. Цветочные магазины по распоряжению префекта закрыли и выставили возле них полицейских. Но люди садились в трамвай, у Биржи вагоновожатый замедлял ход, и

люди бросали из окон зеленые ветки и цветы, которые они где-то продолжали доставать. Марсельеза не умолкала. Полицейские отдавали честь... К вечеру у Биржи вдоль трамвайного пути образовалась гряда цветов — длиной метров в тридцать и высотой метра в полтора...

На другой день в газетах появилось короткое сообщение: «Вчера марсельская колония чествовала память короля Александра». Югославов в Марселе живет, может быть, человек двадцать. Редактор газеты «Радикаль» Леон Банкаль поместил под этим сообщением небольшую статейку строк в двадцать пять о том, как выразителен и красноречив может быть «язык цветов» — ни словом не упомянув, разумеется, о вчерашней демонстрации.

Грасс. 20 апреля 1941 года.

Югославия раздавлена. 6, 7 и 8 апреля люфтваффе (гитлеровская авиация) непрерывно бомбила Белград, превратив столицу Югославии в груды развалин. Немецкие и венгерские танки перешли границу, а остатки югославской армии капитулировали в Сараево. Король Петр II и его министры бежали в Грецию.

Марсель. 1 мая 1941 года.

Петеновское правительство организовало по-своему празднование Первого мая. Здание Биржи разукрашено флагами. Какой-то генерал принимал там сегодня делегации хозяев и рабочих, представивших свои пожелания. На тротуаре выстроилась рота солдат с военным оркестром. Официальный кортеж двинулся от Биржи к театру оперы и балета. Я не заметил ни одного рабочего в демонстрации, состоявшей из лавочников и бойскаутов. По радио передавали речь Петена о «дурных пастырях».

9 мая 1941 года.

Вчера и сегодня в Марселе были массовые полицейские облавы на иностранцев. Полиция останавливала прохожих на некоторых улицах и просматривала их документы. Всех иностранцев до пятидесятипятилетнего возраста сажали в автокары, отвозили в порт и сажали на пароход «Массилия». Облавы были также в гостиницах и кафе. Арестовано около четырех тысяч человек. На борту «Массилии» находится уже две тысячи иностранцев. Префектура сообщает, что аресты были произведены на основании декрета от сентября 1940 года и что все эти иностранцы подвергнутся медицинскому осмотру, после чего будут зачислены в рабочие батальоны. Их семьи будут получать пособия. По слухам, их отправят в Африку. Среди арестованных есть люди, уже получившие американскую визу.

Я каким-то чудом не попал ни в одну из облав. Американская виза у меня уже есть, но у меня на вокзале вытащили из кармана нансеновский паспорт, и я хлопочу о получении других бумаг.

Один русский — музыкант, демобилизованный из французской армии — был задержан утром, когда вышел купить папиросы. Привезли его на «Массилию».

— Ваша национальность?

— Русский.

— Еврей?

— Нет, православный.

— Почему же вы пришли сюда?

— Не знаю. Я не сам пришел, меня привезли.

Посоветовались и освободили.

11 мая 1941 года.

Сегодня праздник Жанны д'Арк. Около Биржи митинг, потом демонстрация на улице Канебьер: тысячи три-четыре петеновских легионеров весьма жалкого вида и «петеновская молодежь», в которой преобладают мальчики лет десяти — пятнадцати. На тротуарах буржуазная публика. Рабочих не видно. Аплодисменты жидкие. Несколько возгласов: «Да здравствует Петен!» Никакого энтузиазма, слышны даже скептические замечания: «Для чего все это нужно?»

15 мая.

Товарищ, приехавший из Гарб (департамент Верхних Пиренеев), рассказал Эрману, что в Пиренеях и в Испании немцы закупают у скотоводов десятки тысяч бараньих шкур для армии. Ясно, что эти овчины нужны им не для похода в Северную Африку...

Двенадцатого мая адмирал Дарлан, «наследник» маршала Петена, был вызван Гитлером в Берхтесгаден и подписал соглашение, по которому Франция уступила фюреру воздушные и военно-морские базы в Сирии, в Северной и Западной Африке. Секретный протокол о военном сотрудничестве подписали в Париже адмирал Дарлан, германский посол Абец и германский генерал Варлимонт. Слухи о том, что вишийское правительство готовится втянуть Францию в войну, распространялись и раньше. У многих французов, последовавших за маршалом только потому, что он, как им казалось, мог обеспечить «достойный мир», стали открываться глаза.

В эти же дни по инициативе коммунистической партии в глубоком подполье начались переговоры о создании Национального фронта для борьбы за освобождение и независимость Франции. Деятельное участие в этих переговорах приняли видные ученые Поль Ланжевен и Фредерик Жолио-Кюри. К этому времени в обеих зонах Франции уже действовали отдельные группы Сопротивления, подобные той, которая летом 1940 года была создана парижскими литераторами и музейными работниками.

Различные не связанные между собой группы издавали подпольные листки «Пантагрюэль», «Вальми», «Крылья Франции». Последний орган превратился потом в газету «Комба», объединившую несколько подпольных групп. На юге — основанная Эмманюэлем д'Астье де ля Вижери группа «Либерасьон» начала издавать подпольную газету под тем же названием (с 1945 года она продолжает выходить легально). В Лионе Ив Фарж организовал печатание «Бюллетеня сражающейся Франции»; там же начала выходить газета «Фран-тирер». Жан-Поль Сартр издавал нелегальный орган «Социализм и Свобода». Под руководством коммунистов были созданы отряды «Вольных стрелков и партизан» — массовая военная организация Сопротивления, начавшая вооруженную борьбу.

Грасс, 17 июня.

Английская пресса сообщает, что Гитлер концентрирует крупные силы вблизи советской границы. О том, что немецкие части перебрасываются из Франции в Румынию и Польшу, я слышал еще в январе от французских железнодорожников.

В швейцарских газетах напечатано изложение официального заявления ТАСС, где утверждается, что передвижения немецких войск в Румынии и Польше не имеют никакого отношения к Советскому Союзу.

Что скрывается за всем этим?

Марсель, июнь.

Откуда-то просачиваются сведения о проекте мирного договора, который Гитлер намерен продиктовать Франции. Париж и «запрещенные зоны» (пять северных департаментов) будут оккупированы в течение двадцати лет. После подписания договора Гитлер освободит пятьсот тысяч военнопленных. Остальные полтора миллиона будут возвращаться домой «по мере перевоспитания». Все государственные монополии Франция должна будет уступить немцам. Немцам будут переданы все военные и торговые суда водоизмещением выше пяти тысяч тонн. Вопрос о колониях будет разрешен на «общеевропейском» конгрессе под руководством Германии. Французский протекторат в Тунисе и Марокко будет ликвидирован.

Эльзас и Лотарингия были фактически аннексированы уже осенью 1940 года. Сразу же началась германизация этих провинций. В Эльзасе даже за ношение берета, который считается французским головным убором, людей сажали в концлагерь. В Лотарингии началось массовое выселение коренных жителей, говорящих по-французски. Их предупреждали за полчаса до отъезда и разрешали брать с собой по две тысячи франков на человека и пятьдесят килограммов багажа. Все остальное имущество конфисковывалось. Высылались целые деревни. Каждый день от пяти до шести поездов уходили из Меца и Нанси в неоккупированную зону. В Париже я имел смутное представление о положении в «запрещенных зонах» и узнал все эти подробности только на юге.

Марсель, 22 июня 1941 года.

В воскресенье 22 июня я вышел из своего отеля часов в десять утра и пошел вниз по улице Канебьер. Навстречу мне со стороны Старого порта, где находятся главные марсельские типографии, бежал газетчик, что-то крича и размахивая пучком газет. Из магазина, кафе и подъездов выскакивали люди, он совал им только что вышедший номер «Пти Провансаль», получал на ходу деньги и, не останавливаясь, бежал дальше. За ним показались другие продавцы газет. Вскоре я разобрал слова, которые выкрикивал маленький шуплый разносчик, известный всему Марселю своими забавными и дерзкими выходками против оккупантов, за которые он уже имел неприятности от полиции. Он напоминал мне своего собрата, который тридцать шесть лет назад, 10 января 1905 года, точно так же бежал по улицам другого южного портового города, размахивая пучком «Одесских новостей», и кричал, возвещая о начале первой русской революции: «Страш-шая, уж-жасная кат-тастрофия в Санкт-Петербурге!»

Марсельский газетчик орал на всю улицу:

— Германия объявила войну России! Прощай, свастика! Гитлер пошел по пути Наполеона! Конец Германии!

Стражи уличного порядка бездействовали. Со всех сторон сбегались марсельцы. Я ускорил шаг. В одно мгновение газеты были распроданы. На первой полосе красовалось немецкое коммюнике: «Сегодня на рассвете германские войска перешли в нескольких местах границу Советского Союза... Самолеты люфтваффе начали бомбить железнодорожные узлы, аэродромы... Советские эскадрильи были уничтожены, не успев подняться в воздух...»

Итак, свершилось то, что я считал неизбежным с первых дней оккупации Парижа. Как теперь развернутся события? Я пошел в бывшее чехословацкое консульство, точнее в помещение «Комиссии по ликвидации чехословацкого консульства», которая с разрешения вишйского

правительства занималась эвакуацией чехов и словаков, не желавших возвращаться в «протекторат».

В бывшем консульстве большинство разделяло мою уверенность в том, что Гитлеру не удастся справиться с Россией. Но секретарь Значковская почти плакала: «Снова будет литься славянская кровь за интересы Англии и Америки!»

Еще один пример путаницы, порожденной в слабых головах сложным переплетением событий.

Из консульства я пошел в Старый порт. На террасе одного из кафе, где ежедневно собирались беженцы, сидел молодой французский писатель Жан Малакэ, тот самый, кого мы из Парижа переправляли в неоккупированную зону в августе 1940 года.

— Ну, что скажете,— спросил он меня,— когда Гитлер будет в Москве? Через неделю?.. Через две?

— По-моему, никогда...

— Ну, что вы? Вы шутите!.. Ведь у русских нет авиации, а их танки — из жести...

Этот вопрос — когда немцы будут в Москве — мне задавали в эти дни на каждом шагу. Я завтракал по обыкновению в маленькой греческой харчевне вместе с Жаном-Морисом Эрманом. С самого начала европейского кризиса мы сходились с ним во взглядах на события, и я без особого труда убедил его, что прав марсельский газетчик: Гитлеру теперь крышка. Я был глубоко в этом убежден.

Мною руководило, пожалуй, прежде всего иррациональное, унаследованное от отца и от матери древнее чувство, воспитанное всей русской литературой: Россия непобедима, русский народ непобедим, величайшее российское государство не может исчезнуть, превратиться в навоз для выращивания «белокурой расы господ».

Кроме того, если я и не имел достоверных сведений о советской армии, я все же совершенно точно знал, во-первых, что современная Россия обладает собственной тяжелой индустрией, во много раз превышающей дореволюционную, своими военными заводами, своей авиацией и не будет зависеть от заграницы в той степени, в какой зависела от нее во время первой мировой войны; во-вторых, что русский народ будет воевать теперь не за интересы династии Романовых или отечественного капитализма и не за интересы «Англии и Америки», как думала наивная чешка, а за свои собственные, кровные интересы, за свое национальное существование, за свою землю, за свои социальные идеалы.

Все это я высказал, как умел, моему другу Ж.-М. Эрману. Он предложил мне пойти вечером в редакцию газеты «Мо д'Ордр» («Лозунг»), где работали в отделе информации два бывших сотрудника «Попюлер» Биду и Нежлен, близкие нам по взглядам, но связанные ежедневными инструкциями, которые газета получала, как и все остальные, от министра информации — тоже нашего бывшего товарища по «Котидьен» Поля Мариона.

Главным редактором газеты «Мо д'Ордр» был видный политический деятель Третьей республики Л. О. Фроссар. Он выслушал меня внимательно и как будто даже сочувственно, поблагодарил за информацию, но дипломатически воздержался от всяких замечаний. Иначе отнеслись ко мне в редакции «Радикаль», помещавшейся в том же здании.

— Будем говорить серьезно,— сказал мне редактор.— Я допускаю, что две недели слишком короткий срок для такой страны, как Россия. Но в том, что немцы будут в Москве, сомнений ведь быть не может. Как вы думаете, когда? Через месяц? Через два?

— Я не знаю, как долго война продлится, но думаю, что Гитлер Москву взять не сможет, а русские рано или поздно будут в Берлине.

Я чувствовал, что все смотрят на меня как на безответственного болтуна. На лицах редактора и сотрудников было написано: «Ври, братец, да знай меру!» Но я закусил удила. Меня бесила эта покорная уверенность в том, что если французская армия не продержалась больше двух недель под натиском немецких блиндированных дивизий, то где уж там этой нищей России, у которой «танки из жести»! По правде сказать, я и сам удивлялся своей дерзости и, пожалуй, не стал бы рассказывать о ней теперь, если бы не были живы свидетели этого разговора, не раз вспоминаящие о нем впоследствии...

* * *

Тридцатого июня вишийское правительство порвало дипломатические отношения с Советским Союзом. На другой день начались массовые аресты русских эмигрантов. У меня были уже все визы и документы, и я был записан в ближайшую партию беженцев, которые отправлялись через Испанию в США. Я несколько дней скрывался за городом от марсельской полиции, а ночью с 7 на 8 июля покинул Францию.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. БИБИК

★

ДУХОМ ОКРЕПНЕМ В БОРЬБЕ...

Алексей Павлович Бибики — один из первых рабочих-прозаиков. Его перу принадлежат десятки рассказов, два романа, несколько повестей. Свой первый рассказ «Дедушка» он напечатал в 1902 году в газете «Пермский край». Его рассказ «Семка-промышленник» был напечатан в «Новом мире» в 1925 году.

Алексею Павловичу сейчас восемьдесят семь лет, живет он в городе Минеральные Воды и работает над своими воспоминаниями. Ниже мы публикуем страницы из этих воспоминаний, посвященные революции 1905 года.

Щарский манифест 17 октября застал меня в Архангельской губернии, где я отбывал вторую ссылку. Числа двадцатого холмогорский исправник вызвал всех ссыльных, проживавших в городке, и не без торжественности объявил: — Согласно монаршей милости вы, господа, освобождаетесь. Можете получить документы и подорожные.

Не сговариваясь, все восемь или десять ссыльных ответили:

— О монарших милостях мы не просили!

Однако, выйдя на улицу, задумались. Что же мы дурака-то валяем? Судя по доходящим слухам, там наши братья рабочие приступили к сооружению баррикад, а мы здесь в позу становимся?!

Без прений вернулись в канцелярию и взяли «расчет». В Архангельске получаем добавочную зарядку: на демонстрацию политических ссыльных и примкнувших к ним горожан напали с ведома полиции черносотенцы, в схватке с ними убит был профессор Гольдштейн.

Под Ярославлем во время остановки поезда шептались о чем-то железнодорожники. Лазил зачем-то на паровоз телеграфист. Мы встревожились. Но дружки подмигнуло нам с крыла паровоза обветренное лицо:

— Доставим, товарищи, не сомневайтесь! Но впереди неспокойно: черносотенцы балуют.

Уже в дороге — расставанья: кто в столицу, кто на Украину, кто еще дальше.

...Харьков. Вот и Лысяя гора. По немощеной улице бредет свинья. Лениво побрехивают собаки. Слышу замечание удивленных «теток»:

— Глянь! Сицилист наш вернулся! А говорили — повесили!

Весело отзываюсь:

— Еще, тетечки, веревку плетут!

Вот с детства знакомая зеленая решетка, ряд пышных, наполовину оголенных акаций, за ними, щурясь на улицу оконцами, тихий домишко. Вспоминаю, что и ставни и решетку сам когда-то раскрашивал. Все как и было, только стало как будто меньше и чуть накренилось. Через решетку смотрит старушка. В больших глазах — изумление, страх... Потом — радость.

— Сынок... вернулся?! Живой?!

А вечером и мать, и жена, и сестры, и повалившийся забор, и протекающая крыша — все было брошено: скорее в город, в мастерские, в гущу людей и событий!

Невдалеке от вокзала — просторный, ярко освещенный зал управления железных дорог. Рабочие и инженеры, машинисты и барышни-контрощицы, кондуктора и помощники присяжных поверенных, наши пропагандисты и глашатаи, представители «союза союзов», Союза железнодорожников. — человек триста. Сидят и стоят на стульях, столах и на окнах — яблоку негде упасть! Духота.

Председательствует инженер-путеец.

Еще поднимаясь по лестнице, слышу трубный голос: «...но эт-та самая гнусная самодержавия...» И сразу же узнаю сердцу родного Серегу. Стоит на стуле и нещадно рубит «это самое гнусное» сильной рукой. Умен, начитан, а с грамматикой все еще не в ладу.

Даю кончить.

— Здоров, крушитель тропов! — Жарко обнялись. — Где пропал?

— В Екатеринославе. Из тюрьмы на руках наши вынесли. Го-го! В Туле уже дрался с черной сволочью, здесь громоздил со студентами баррикаду. Охрип окончательно. А ты откуда?

— Я...

Но в это время получаю восторженный толчок:

— Алеха?!

Под шум одобрения очередному оратору хохочем от радости и готовы затеять борьбу или чехарду, как это бывало в лесу пять-шесть лет назад — до первого выхода на Первомай.

— Собираются наши, — трубит Серега. — Теперь мы такое кадило раздуем — черти зачихают!

Шумной ватагой ссыпаемся вниз по широкой каменной лестнице. А на улице, против пожарного депо, откуда бледным призраком виднелась хорошо знакомая нам тюрьма, ни с того ни с сего заорали в один голос и по слогам:

— До-лой са-мо-дер-жа-вие! — и следом:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

А посреди большой людной улицы города снова кричит кто-то из нашей ватаги:

— Стой, хлопцы, кто куда? К бекам или мекам?

Вопрос большой, но сейчас практически не кажется ультимативным. Тюрьма и ссылка задержали его решение, теперь будет возможность разобраться в принципиальной сущности расхождений и сделать окончательный выбор. «Окончательный» потому, что сердцем-то мы давно уже с Лениным, смело восстающим против неизбежности царства буржуазии.

До «Капитала» Маркса мы тогда еще не доросли, но мысль Маркса и Энгельса о возможности для отсталой России нарушить как бы узаконенный порядок очередности социального переворота прочно внедрилась не только в мозг, а и в душе.

Мы еще не успели проверить друг друга. Как общее, так и политическое развитие каждого из нас шло одиночно, представления об историческом материализме были еще смутными. А мы были, пожалуй, похожи на парней, хвастливо держащих в руках чудные «многорядки», но еще не умеющих на них играть. Но сейчас никто из нас не сомневался, что теперь все образуется. Уж вместе-то по-честному да по-хорошему доберемся до самих вершин диалектики!

Вот дорога, по которой ровно двадцать пять лет ходил к станку мой отец, токарь по металлу. Картина за картиной встает мое детство, и школы, и годы ученичества в мастерских. Щемит, и тревожит, и волнует неведомой радостью. Быстрее шаг. Огибаю последний угол и вижу красные ворота. Те же! — громко отзы-

вается в груди. Обветренно-красные, с широким зевом, с окошечком для сторожа, а поверху во всю ширину вывеска: «Паровозные мастерские Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги».

За шесть лет — две тюремные сидки и две ссылки, знакомство со страной на две тысячи верст в радиусе, а с миром — не подберешь даже меры! — настолько раздвинулись перед нами его горизонты. Другими стали масштабы! И что перед ними наша «токарная»? А все же с каждым шагом к ней нарастало волнение, которому не знаешь имени. Вот дверца в воротах, знакомо чиликает несмазанный блочек. От шепота трансмиссий, запахов железа и масла чуть пьянит.

— А ты помнишь?.. Узнаешь ли свой станок?.. На нем теперь работает Ваня Булыгин. Тоже по твоей дороге пошел. Заколдованный, что ли, станок?

Подхожу, крепко жму руку тому, кто идет по моей же дороге. Кладу затем руку на полированную холодноватую гладь станка. И на одну минуту во всем необъятном мире — только я да станок...

В тот же день я и Серега Каменев вошли в так называемую «согласительную комиссию». И с того же дня комиссия превратилась в «революционный рабочий комитет».

Еще до нашего возвращения общее собрание мастерских постановило: всех рабочих, вернувшихся из тюрем и ссылок, принять на работу в первую очередь.

Свободных мест не было. Тем не менее Серега немедленно получил тиски, а я станок. Мне было предоставлено право занять «свой» прежний, но меня больше устраивал другой станок — хоть и хуже, но зато расположенный в самом центре мастерской. Впрочем, вряд ли этот станок мог пожаловаться на избыток моего усердия: горы другой работы были у председателя комитета.

Нужно было, однако, соблюсти форму, на другой день мы с Сергеем отправились в амбулаторию на медицинский осмотр.

Узнав, кто мы и откуда, врач не стал осматривать нас. Фельдшер нашел наши старые карточки. Однако Серега возбудил некоторое подозрение. И я немало был удивлен, когда врач сказал этому на вид атлету:

— Легкие слабы. Вам нужно беречься.

Серега только что высунул голову из блузы, которую надевал.

— Хе, доктор, не до береженья! На революцию хватит — и ладно.

Доктор посмотрел на него, как на диковину, даже очки поправил.

— Но вы же семейный?

Серега рассмеялся по-своему — откинувшись всем корпусом и взметнув длинными руками.

— Сейчас мы, доктор, солдаты!

Спустя два года этот многообещавший солдат революции умер в Давосе при повторной легочной операции...

* * *

В городе существовал федеративный комитет и выходили (в скромном виде) его «Известия». Но строго продуманной, плановой работы не было, периферия оставалась почти не организованной — не хватало рук! В треугольнике — сахарный завод, две мастерские, новый паровозостроительный — носились на крыльях политической весны ораторы трех партий, десятка течений, громко слышался голос Артема с одной стороны и Рогачевского — с другой. А за известными ораторами носились как-то неприкаянно Сереги, Алехи, Матросовы, Колобки.

Существовали вооруженные «десятки». Две «десятки» были уже и в наших мастерских. Готовила их и вагонная. Ходили слухи о бомбах и даже пушках. Словом, готовились к бою. А рабочие массы топтались еще на месте, слушали, ждали... Их нужно было занять — не словом, а делом. Неустанно «динамизировать». Но подпольные кружки были еще слабы. Нужен был сговор, программа, ибо рост политического сознания рабочих и размах событий стали иными, не только чем пять лет, а даже чем месяц тому назад!

В доме «Общества грамотности» состоялось первое собрание всех организационных групп. Впервые за десять лет движения в Харькове собралось столько —

человек сорок! — действительно сознательных рабочих. И впервые же речи схоластов-оппортунистов были подвергнуты суровой критике

Сидели за партами, как ученики. Кто-то из нас пошутил:

— Рабочая интеллигенция держит экзамен на политическую зрелость.

Общее и политическое развитие большинства из нас происходило обычно в тюрьмах и ссылках, на вынужденном досуге. Все мы, в общем, шли к широкой дороге социализма и коммунизма путаньими лесными тропками. Гадалось: как же мы заговорим между собой, пойдем ли друг друга? Вспомнилась ссылка с ее дрязгами и словно нарочитым взаимным непониманием... Без иллюзий шли мы с Серегей на это собрание. И велика же зато была радость, когда сквозь всю путанность словесности и хаос в кучу набросанных вопросов мы почувствовали единство нашей мысли. Единую мысль рабочего революционного коллектива!

Не хотелось уходить с собрания. Хотелось досыта наговориться со «своими», прочно-напрочно и в ясные формы отлить единую революционную мысль.

Чуть ли не на рассвете расходились мы по домам.

Правда, были в рабочей среде и другие течения: несло душком культуртрегерства и постепенщины (как это ни странно, а корни этого вывиха для многих из нас были в плохо понятой теории эволюции Дарвина), тянулись к синдикализму. Мы этого не боялись, ибо верили в здоровый классовый инстинкт рабочего, в неотразимую силу Марксовой диалектики, в прозорливую мысль Плеханова, Ленина.

Да и чего было бояться, когда и «просветители», и бесшабашные анархисты шли в конце концов за нами, подгоняемые бичом неумолимой логики событий!

Комитетские будни, насыщенные тысячько забот, поглощали всю энергию. А события извне требовали связи с вокзалом, с Люботином, Мерейфой, с Донецким бассейном. Екатеринославом, Ростовом. Особенно тревожила работа в деревне с ее проклятушим аграрным вопросом. Выделили особую группу аграрников. Сочиняю первый листок в деревню. Артем и большевик Авилов его одобряют.

Очередной митинг — все в той же первой сборной.

Речь оратора на этих регулярных митингах — уже не произвольная импровизация, а проработанная лекция из цикла, намеченного комитетом. «Рабочих надо не только возбуждать, но и воспитывать!» — таков наш сегодняшний лозунг. «Вольным» ораторам, любителям патетики и красивого, но праздного слова, это не по сердцу.

В воздухе — предвестие каких-то ловушек и каверз царской реакции, — оно, предвестие это, все время висит над головами! — оттого рабочим так хочется единства своих, пока еще ограниченных сил. Именно поэтому резкие выпады партийных противников вызывают у рабочих горячие протесты.

Да нам и самим — Серегам, Алешкам — кажется, что сейчас работы хватит на всех, работа сама подскажет, что надо.

От железнодорожного переезда на Лысую гору (Ивановский переезд) до Панасовки — длинный забор вагонной, посредине его вход в проходную. Перерыв на обед, и мы насроко передаем вагонникам листовки, брошюры... Уговариваемся, «подвинчиваем гайки».

Вдруг с Панасовской — полусотня казаков. Толпа рабочих — человек двести — дрогнула. Десятка три перебежало через улицу Ивановки: там все-таки дворы. Остальные шарахнулись к проходу в мастерские, дальние прилипли к забору. Подъехав, казаки развернулись полукругом. Впереди — хорунжий, молодой, красивый, на плечах и груди — серебро.

Случайно здесь оказался Виктор. Взобрался на тумбу, рукой оперся о чье-то плечо.

— Спокойствие, товарищи рабочие! Мы переживаем великий момент. Смотрите, сознание проникает уже в забитую голову царского солдата. И даже казака. Близок уже день, когда и казаки поймут, какому чудовищу их заставляют служить! Они уже понимают! Иначе они давно бы уже пустили в дело нагайки.

Рабочие дружно захопалали, отчего заплясали под казаками кони. Серега приблизился с пачкой прокламаций. Казаки не решались принять.

— Гражданин офицер, возьмите!

Хорунжий протянул руку в перчатке и с любопытством, даже улыбаясь, спросил:

— О чем же это?

— Го, тут много чего! — весело загоготал Серега. — Главное — насчет учредительного собрания.

— И долей самодержавие! — выпалил кто-то.

Улыбка офицера мгновенно погасла. Он подтянулся в седле, тихо и сухо скомандовал:

— Кру-гом!

Уехали. Скрылись за углом. А рабочие все еще смотрели им вслед. Загадка.

Всякий раз, когда у нас, передовых рабочих девяностых годов, возникали размышления и гадания о ходе событий пятого года, мысль задерживалась на поведении солдат. Было неоспоримым фактом повышение политической сознательности солдатской массы под влиянием военных поражений. Нам было известно и о партийно-революционной пропаганде, в частности среди солдат местного гарнизона. Занимались этим главным образом большевики. Но об этом много слышали уши, да мало видели глаза. И вот однажды (23 ноября 1905 года) незадолго до вооруженного восстания наш районный комитет получил от городского комитета предложение выйти немедленно с боевой дружиной и с возможно большим количеством рабочих на поддержку солдат Старобельского и Лебединского полков, самовольно покинувших казармы и с оркестром направившихся к центру города.

Известие об этом было воспринято рабочими с такой радостью, что не стоило большого труда, проведя короткую «зарядку», увлечь если не всю двухтысячную массу, то уж половину наверняка.

За воротами паровозных мастерских произошло разделение: группа счастливых, имевших револьверы, двинулась ускоренным ходом. За ними — «пикетосцы» и наконец совсем безоружные.

Для сокращения пути «револьверщики» устремились не через мост и Панасовскую улицу, а через железнодорожные линии, вокзал и Екатеринославскую, приводившую наконец к просторной Павловской площади.

Как ни быстро мы шли, воображение опережало нас. Неотвязно стояла в глазах картина выхода на Сенатскую площадь полков, руководимых декабристами. То и дело наш быстрый шаг переходил в стремительный бег, заставлявший городскую публику оглядываться на нас.

Вот наконец и площадь. Вдоль нее протянулся молодой скверик, слегка опущенный снежком, с трамвайным киоском.

По ту сторону скверика ясно сквозь негустую поросль виднеется длинная шеренга вооруженных солдат, за спинами их — массивное здание гостиницы. По эту сторону — почти такая же шеренга, лицом обращенная к той, но за ее спиной не холодные глыбы кирпича, а живая, горячей кровью налитая масса, в которой легко было распознать студентов и гимназистов, представителей различной интеллигенции. Но в подавляющем большинстве здесь были рабочие. И до чего же трогательно было видеть этих чистосердечных людей, бросивших станки и наковальни, не успевших даже отмыть свои руки, чтобы грудью своей защищать своих сынов и братьев, одетых в солдатские мундиры! Ведь можно было сказать безошибочно, что из восьмисот примерно «защитников» только человек сорок имели охотничьи ружья и револьверы, в большинстве некалорийные.

Стали и мы: Серега, я, Колобок (Иван Бунякин); Колобок — «кандидатом» к моему браунингу или к Серегину нагану.

Нашей группы держался хмуроватый с виду, густобровый матрос-потемкинец, в прошлом токарь, Иван Воронков. Совсем недавно вернулся он из Румынии, ждал приличного паспорта, чтобы смыться из родного города, где за ним по пятам

ходила петля. Не след бы такому «меченому» и нос высовывать на улицу! Так нет же, не терпится!

Гнетуще действовало именно молчание той и другой стороны, ожидание какого-то взрыва.

Бросалось в глаза полное отсутствие офицеров на этой. «нашей» стороне. В роли командира был вольноопределяющийся, взводными — человек десять простых солдат. У всех погоны были прикрыты белым, что и служило знаком отличия. На противоположной стороне, впереди шеренги, четко рисовались подтянутые фигуры офицеров, подпоясанных серебристыми поясами.

В дальнем конце площади, по слухам, стояла артиллерия и пулеметы, а в тылу их, по слухам же, затаилась группа наших гранатчиков.

Соотношение сил пехоты было приблизительно равным, обе стороны стояли с заряженными ружьями. Нашей стороне не было смысла начинать первой. Но почему офицеры не решались дать команду своим «любяльным» частям? Почему молчала артиллерия, которая могла бы в два счета разгромить «бунтовщиков»?

Очевидно, настроение «лояльных» казалось офицерам недостаточно надежным. А возможно, что на усердие престолозащитников влияли в какой-то степени слухи о мощности рабочих боевых дружин.

Молчаливая стойка длилась уже часа два. Ранним утром наши солдаты в составе шести батальонов вышли с музыкой, вооруженные из казарм и направились в город.

А в городе, вот на этой самой площади, их встретили другие солдаты.

На предложение вернуться в казарму было отвечено «нет». И сейчас же на всякий случай были заряжены ружья. Кто мог поручиться, что дело не дойдет до этого?

Покидая казарму, ребята хотели показать рабочим и недругам народа, что их сердца под серой шинелью — на стороне обиженных. Предполагалось, что демонстрация займет час-полтора. Пройдясь по Старо-Московской улице, думали уже возвращаться, и вот — дорога преграждена целым полком и артиллерией.

Передан был строгий приказ: «Сдаться немедленно и безоговорочно». Неравенство сил вызывало смущение... Но как раз в момент колебания подошли оповещенные рабочие двух крупных заводов, и как категорическое «нет» взвилось красное знамя.

Вот тогда-то подкатила батарея и заняла диспозицию — прямо во фланг манифестантов. А кроме того, должны были прибыть казаки.

Начали уже донимать голод и озноб, не столько, впрочем, от холода, сколько от нервного напряжения. А пока стояли, все плотнее становилась стена рабочих за спинами солдат-демонстрантов, и это нашло свое отражение в резком изменении их требований. Если первоначальным поводом послужили будто бы вакса и мыло, то теперь наметилась уже программа:

Улучшить пищу, одежду, жилище.

Сократить сроки службы.

Право читать в казарме все газеты.

Свобода совести.

Упразднение денщиков.

Уничтожение военных судов.

Вот что значила близость родного плеча!

Следующая ступень вела к учредительному собранию.

В цепи стоял рядом со мною токарь лет сорока пяти. Любил Ефим Андреевич стакан пивка с задушевной беседой с приятелем, молодежь и украинские «думки». После первого Первомая, в девятисотом, пробыл он три года в ссылке, вернулся разочарованный и приналег было на пивко — уже не стаканчиком, а «парочкой бутылкой». А ударил вот набат революции — ожил человек, помолодел и запел своим задушевым баритоном. Вижу на глазах его слезы восторга и умиления, но молчу.

Дальний край шеренги некоторое время не был прикрыт рабочими, и это нас беспокоило. Но вот и туда подошли в стройном порядке человек полтора, они очутились прямо на мушке орудий. Командующий — с красной перевязью на руке — чел нужным предупредить их о возможном осложнении. Ему ответили шутками и смехом.

Вот подошли и наши «чугунщики», человек до трехсот. У некоторых под пальто было с десятков охотничьих ружей, штук пять сабель, недавно снятых у городских, десятка два пик. Врезались они из-за угла с Марсельезой и знаменем. Но как-то быстро стушевались, видимо смущенные напряженным молчанием и тревогой ожидания. Молча сделали развод вдоль цепи. Знамя осталось реять, и мне показалось, что его вызывающий вид не очень радует наших солдат.

Ждали. А на той стороне то появлялись, то снова скакали куда-то курьеры. Минутами это движение становилось очень оживленным, тогда все настаивали, пристально следили за положением ружей у солдат той стороны, проверяли готовность своего, с позволения сказать, «оружия».

В дальнем конце произошло короткое смятение: дружинники арестовали какого-то провокатора как раз в тот момент, когда он хотел выстрелить на ту сторону из дальнобойного револьвера.

Возможно, что в истории будет или уже отмечена сущность переговоров и торга между двумя сторонами. Конец их ознаменовался почти одновременной командой здесь и там. Наши солдаты вскинули ружья на плечо и двинулись с площади, окруженные густой цепью своих союзников.

Не эта ли цепь вооруженных пиками рабочих повлияла все-таки на отказ генерал-губернатора от жесткого ультиматума?

На той стороне ружья были взяты на руки. И, правду сказать, жутковато было идти под их зловещими дулами. И совсем жутко — под жерлами орудий.

Проходя мимо, оркестр зарокотал похоронный марш. Печально-торжественные звуки подхватила почти трехтысячная масса, обнажились головы.

Мимо, мимо зловеще чернеющих жерл — и колонна вышла из каменного кольца площади на светлую улицу, верхний конец которой упирался в златоглавый собор, а нижний спускался к реке.

Вдохнулось свободнее, оркестр грянул Марсельезу, и вся толпа, подобно снежному кому возраставшая с каждым шагом, горячо подхватила песню революции.

У самого собора стояло несколько пулеметов. Сейчас они никого, или почти никого, не смущали. Улица спускалась вниз, сверху далеко и ясно видно было мерно колыхавшиеся ряды солдат, а вокруг — черную, военным же строем идущую цепь рабочих с вкраплениями мундиров учащих. В некоторых домах распахивались окна, оттуда салютовали руками, платками, цветамп.

Совсем нетрудно было прослезиться!..

* * *

В Польше, затем в Финляндии было объявлено военное положение, и мы бастовали. Опять и опять!.. Дома кричит нищета, стремительно падает кредит у лавочников и в пивных. На улицах некоторые жены рабочих показывают на нас пальцами:

— Вот они, закоперщики!.. Дома за чужой счет наживают, а наши дурачки за ними идут.

Знаем, хорошо знаем, какая драма в каждой рабочей семье от недостатков, в душе каждого рабочего от нечаянных промахов. Но что можно сделать?

Проводятся сборы. У врачей, адвокатов, инженеров — отовсюду. где можно, — собираем десятки рублей и жалкими грошами раздаем наиболее слабым. Кого-то «накрыли»: на эти гроши купил человек полбутылки. Тут же, на улице, суд.

— Упрекаешь! А знаешь, что у меня? Ни крошки с утра не было!

— Так ты хлеба купил бы!

— Дурак, а еще рабочий называешься. Да, может, эта полбутылка меня от петли спасает!

— Правда. — подтверждает кто-то. — Выходит, что и табак нельзя...

Нужно взвесить, собрать, решить: виновен или нет? А голова занята мучительным вопросом: так где же проходит эта проклятая равнодействующая сил? Что можно, чего нельзя? Куда направить главный удар?

И еще: где предел воздействия субъективного на объективное, обступившее со всех сторон?

Особнячок на Епархиальной. Мансарда. Набегались до отказа. У Артема пошаливает сердце. Давно за полночь, а не спится.

— Артем! Где границы субъективного? Где предел случая? Каков удельный вес революционной воли партии, личности в исторических и прочих условиях?

Артем лежит на кушетке и напряженно думает о чем-то своем.

— А черт его знает! — отвечает наконец. — В политической борьбе нужна активность прежде всего. Сила есть масса, помноженная на скорость движения. — так говорит механика. А удача и риск тоже занимают в борьбе не последнее место.

— А если — проигрыш?

— В борьбе тютелька в тютельку не бывает. И тот не борец, кто падает в обморок перед каплею крови.

Я вспоминаю мысль Ленина о том, что если не удастся вооруженное восстание — останется опыт. И крепко задумываюсь...

* * *

Чем ближе к декабрю, тем тревожнее...

В сборной — митинг. Ворота мастерских уже не запираются, и на митинги собирается публика из города, с Лысой и Холодной горы, с Ивановки и даже с отдаленной Основы! Приходят все больше и больше.

В рабочий комитет тоже дверь открыта, и все чаще председателю (А. Бибику) и секретарю (В. Матросову) приходится выступать в роли судей по семейным делам. Перегружают, отвлекают, утомляют эти дела домашнего быта. Но и уйти от них некуда. Ясно, что «октябрьское» проникло в домашний куток, взбудоражило и там все противоречия и ненормальности.

В Москве и Петербурге происходит что-то серьезное, решающее судьбу революции. Возникают Советы депутатов не только в столицах.

Что-то готовится и у нас в городе. Много слухов, особенно о вооруженном восстании, хотя организация держит это в строгом секрете. Точных директив у нас пока нет. Изо дня в день готовим рабочую массу к неизбежности решительной схватки. За последнюю неделю в мастерских только и делают, что куют пики, льют и точат гранаты, мастерят кинжалы — подчас без надобности щегольские. Делается все уже открыто.

Но это «самовооружение» кажется несерьезным: ведь главное же в солдатах! И вот: «Завтра нужно поднять всех рабочих района».

Куда? Зачем?..

В третьем или пятом от ворот мастерских двухэтажном доме живет слесарь Гетман. На сегодня здесь наша штаб-квартира.

Полночь. Керосиновая, чадающая лампочка слабо освещает небольшую, но опрятную комнату и восемь человек, лежащих на полу и на кровати.

Завтра, быть может, мы все вот так же рядом ляжем где-нибудь на улице, на баррикаде, в заводе — да мало ли где настигнет судьба! Кто может предвидеть?! И в то же время каждому хочется побыть одному, собрать свои мысли, собрать всего себя. «подытожиться».

И не просто подытожить двадцать семь лет жизни, десять лет революционной работы с тюрьмами и ссылками, весь накопленный опыт и наблюдения последних месяцев. Нет! Нужно еще произвести расчет по всем долговым обязательствам.

Мне стыдно, что моя мысль то и дело возвращается к семье. Я никому ни за что не признался бы, что в кармане, самом близком к груди кармане, — карточка любимой женщины и коротенькая, нарочно беззаботная записочка к ней.

Я завидую спокойствию Виктора и тому, что сейчас Ероша набрасывает. очевидно, конспект речи. Мне и в голову не приходит, что Ероша может заниматься какими-то сантиментами. Еще больше, пожалуй, завидую Сереге: экая орясина! Ни рефлексов, ни мучительных подсчетов за и против, никаких таких «кислостей»!.. То-то и оно, что так кажется!

Мысленно подсчитываю пули: полная обойма в браунинге да две неполные в запасе. Не много же!

— Шш... тише!.. — осаживает нас шепотом Гетман.

По-кошачьи бежит он к окну и напряженно прислушивается. Приподнявшись на локти, затаив дыхание, мы превращаемся в слух... И вот сначала чуть-чуть, потом громче и громче о мерзлую землю цокают подковы лошадей.

— Лампа! Гасите лампу! — шепотом напоминает кто-то.

Лампа гаснет. В щелях окон обозначились полоски холодного лунного света.

— Не открывай! — опять заглушая голос, кричат Гетману.

Мгновенная мысль: а что, если мы выданы? Рука лишний раз убеждается — на месте ли оружие? В голове звенит, как мухи в паутине, какой-то там нерв. Слегка знобит: ведь в эту ночь «накануне» сдаваться нельзя!

Топот под самыми окнами.

— Драгуны! — поясняет Гетман. — Человек двадцать.

Цоканье копыт в каком-то другом, неопределенном шуме наполняет комнату, с минуту держится в ней... и, замирая, катится дальше. Кажется, остановились перед воротами мастерских?.. Через минуту звуки растаяли.

— До скорого свидания! — провожает драгун Романович. — Завтра, бог даст, увидимся.

— Перестань ты острить! — резко обрывает его Серега.

Романович в недоуменье смолкает, всем немножко неловко.

Виктор уже спит. А может быть, только лежит с закрытыми глазами. Угомонился и Романович, ровно храпит наш хозяин. В тишине озабоченно ведет счет времени будильник на комодке.

В сумеречном свете вижу красивый профиль «товарища Виктора», подчас блестящего оратора нашей организации. До чего ж красив его бархатный баритон! И завидная выдержка и уверенность. Вот уже два месяца мы работаем бок о бок. а я знаю только, что он недавний гимназист, женат, бежал от ареста из соседнего города. Имя, разумеется, ненастоящее. Такой парень не затеряется — если, конечно, уцелеет. А кто из нас уцелеет хотя бы завтра?

Сон и тишину разорвал жданный, но неожиданно заревевший гудок.

Освежились холодной водой и с последним — третьим — гудком вошли в мастерские. Подойдя к станку, я взял в руки резец и улыбнулся: ну какая же тут работа? Оглянулся по мастерской: мало кто работает! Не слышно характерного звяканья стальных резцов, ключей, шороха стружки. Видно, что все что-то чувт, чего-то ждут. (О предстоящем вооруженном восстании мы открыто пока что не говорили.) Недаром же многие не вышли на работу. Медленно ползет стрелка на часах. Семь... восемь... что теперь делается в городе?..

Утро прояснилось, а тревога поднимается выше и выше. Но при ясном свете дышится легче.

А город молчит. И каждая последующая минута ожидания становится значительнее, строже. Теперь уже все наши на местах. Пора начинать подготовку двух тысяч, чтобы выступить по первому зову.

Бьет звонок. Стала машина. Через токарную мастерскую люди тянутся из других цехов к сборной: авось там узнают, что надо.

От ворот идут жены, сестры, немало горожан. Значит, нам, комитету, надлежит подтянуться и как можно лучше показать нашу трибуну.

Густо вокруг трибуны, еще гуще на главной аллее сборной — люди стоят один к одному, как камни мостовой. На угрюмых паровозах, котлах, верстаках — всюду стоят и сидят люди. С трогательной предупредительностью молодые рабочие приводят к самой трибуне наших близких людей. Вот сестренка украдкой лузгает семечки, рядом жена. Тут же сестра Сереги Раиса, она же Тюлень... Вон, кажется, его мать... Эх, с каким бы удовольствием поболтал бы с ними, полужгал семечки! Ведь, поди, больше месяца не видят меня! Но не до того. Успеваю лишь спросить сестренку:

— А мать как?

— Ни-че-го-о... топает.

Итак, митинг открыт. Над головами стоящих на трибуне реет знамя. «Слово товарищу...» И мы начинаем подготовку. Мы приступаем к «вооружению масс желанием вооружиться», как где-то сказал Плеханов. Ибо пока что под руками у нас только гайки, болты, самодельные пики...

В списке уже десятка два ораторов. На скулах Колобка замечаю игру красного и белого.

— Ты что волнуешься? Записать, что ли?

— Пиши его! — отвечает за него Серега, только что забивший в «гнусную самодержавию» последний жостыль. — А то он, сукин сын, больше слушает.

— Ладно, — с видом жертвы отзывается Колобок.

— Зна-аю, дружок, твои расчеты: думаешь, не дойдет до тебя очередь. А не хочешь ли вот... ну, вот — за Виктором?

Жульничаю с очередью, тут же изучаю список и ловлю себя на крупном промахе, даже на двух: во-первых, все лучшие наши ораторы — в самом начале, а во-вторых, глаз заметил группу зубастых эсеров, и все они в хвосте, в расчете на последнее слово.

Как бы не так! У Ероши и Виктора горла луженые, можно их выпустить еще по языку. Вразбивку, вот так.

Уже с час ораторы лили, сыпали, вколачивали. Внимание рабочих начинало притупляться, а «публика» все прибывает и прибывает. Уже буквально некуда яблоку упасть. Пришла опять группа матросов, возвращающихся с Дальнего Востока. Приветы, сборы грошей на дорогу: это стало обычаем — отдавать последние пятаки, припасенные на махорку.

Пришла с оркестром и знаменем, затмившим наше, вагонная. Добро же им, чертям, когда у них почти все — столяры да обойщики! Да и материал под руками казенный!

Первый раз в первой сборной и впервые так дружно, с таким подъемом грянула Марсельеза под звуки первого оркестра.

И первый же раз следом за вагонной пришла группа рабочих со своим знаменем...

Три или четыре знамени реяло теперь с трибуны, обрамляя ораторов.

Рабочая женщина — наша сестра, мать, спутница — стояла наконец рядом с нами. И кажется мне, что ни одна огненная речь не потрясала так сердца наши, как простая, короткая фраза девушки со знаменем:

— Привет вам, товарищи рабочие!

Высшего энтузиазма не выдывала сборная. Было так необыкновенно, до слез красиво и трогательно, что на время я даже забыл о других тревожных ожиданиях. Вдруг кто-то позвал с тыловой стороны трибуны:

— Товарищи, на телефон зовут!

— Кто?

— Из города. От «Садэ».

— «Садэ»?! — Мгновенный толчок в сердца: вот оно — начинается!..

Передаю председательство. Но меня опережает Серега.

— Держи народ! — говорит мне вполголоса.

Тогда я даю поручение члену комитета Алексею Поддубному. Он спрыгивает с трибуны и спешит к телефону.

Минутная заминка. Мы, стоящие на трибуне, обмениваемся многозначительными взглядами. По сборной тревожным шорохом катится:

— «Садэ»... Что там? Уже? Началось?

Мы делаем вид, что ничего не случилось. Говорит очередной оратор.

Алексей возвращается взволнованный. Сообщает:

— «Садэ» окружен войсками. На заводе заперлась дружина. Просят помощи.

Мы ждали всего. И все же были ошеломлены.

— Кто сообщил?

— Пал Палыч¹. Просят вывести всех рабочих на площадь, чтобы оттянуть войска от завода.

— Сколько солдат?

— Может, полк, может, больше. При пушках!

Прошибает мгновенный пот: пушки! Там уже льется кровь, а мы еще вертим шарманку!

— Товарищи! — громыхает Серега, решительно отстраняя оратора.

— Стой! — останавливаю его. — Что ты хочешь сказать им?

— Иди туда.

— С чем? Как?

Он хватается за голову. Кажется, что под нами качается трибуна.

По сборной шорох растет, превращается в гул. Слышны возгласы:

— Что случилось? Почему молчат? В чем дело, председатель?

Наше мнение раскалывается: вести всю массу или идти только имеющим хоть какое-нибудь оружие?

Да ведь тут сколько ни думай, а возможность только одна: отвлечь от осажденных товарищей хотя бы часть войск, чтобы дружина могла выйти из окружения. Но мне также ясно и другое: узнав, что дружина заперта, безоружная масса не решится идти на обширную голую Конную площадь перед заводом. Сообщать или не сообщать?

Вдруг пронесится звонкий, давно знакомый голос военной трубы.

И мгновенно же на всех лицах я вижу изумление и готовый вырваться наружу страх.

Со двора вбегает взволнованный рабочий и придушенным голосом кричит на трибуну:

— Солдаты! Братцы...

Минута оцепенения. Чей-то возглас:

— Спокойствие, товарищи!

— Спокойствие!! — кричу и я требовательно. И схожу с трибуны. Тут же встречаю жену — она на последних днях беременности. — Уходи отсюда! — говорю ей на ходу и выхожу за ворота сборной.

Меня встретил второй сигнал трубы и шеренга солдат с ружьями наизготове.

Солдаты — человек сорок — стояли почти у забора со стороны линии, шагах в тридцати от ворот сборной. Но даже на таком расстоянии было заметно, что они хмельны. Такое же лицо было у стоявшего с фланга бородатого офицера с обнаженной саблей, в маньчжурской папахе.

Будут стрелять! — определяю сразу; пройдя шагов десять вперед, останавливаюсь: не вернуться ли?

Но впереди, между мной и солдатами, стоит рослый котельщик-молотобоец, широко размахивает руками, испуганно кричит солдатам:

— В кого стрелять пришли, барбосы? В своих братьев?! На, бей меня в грудь! От японцев драпали, так теперь на нас хотите отыграться?

Эта горячность явно подливала масла в огонь, и в то же время жалко было хорошего парня: ведь саданут в него первого!

Хватаю его за руку и строго кричу:

— Уходи отсюда!

¹ Авидов, руководитель восстания.

Но он гораздо сильнее меня, упирается, всех и вся кроет яростным матом. В этот момент раздается треск первого залпа. Пули недружно клонулись позади меня в стоявший против дверей сборной котел и градом простучали по крыше навеса над ним.

Из-за другого котла выглянул токарь Степаненко.

— Ступай сюда! — позвал меня, показывая на свое убежище.

Хорошенькое дело... В чине председателя и члена партии, после стольких ожиданий драки, — спрятаться за какой-то дурацкий котел?! Чтоб эсеры и «анархи» раззвонили об эсдековской трусости?!

Морально беру себя «за шиворот» — против трусости это иногда помогает — и выстаиваю второй залп. И снова — градом по крыше. Так, значит, все-таки стреляют вверх?!

Почти трехтысячный митинг едва ли можно было сдержать от панической россыпи. К первой задаче — привести рабочих к «Садэ» — прибавилась вторая: вывести их отсюда, из-под весьма вероятного расстрела.

Очередной оратор сгорает в огне своего негодования. В группе партийных — совещание. Надо ожидать худшего. Хорошо бы отвлечь внимание солдат! Ведь так близко к забору со стороны линии! Колобку поручается немедленно устроить диверсию.

Только ушли исполнители задания — залп. Дзенькнули стекла в окнах, и злые шмели пролетели над головами через всю сборную.

— Стой, товарищи! Стой! Спокойствие!

Черта с два! Назревшая паника сорвалась с цепи. Люди шарахались туда и сюда. Метнулись в контору — тупик! Ринулись обратно — волна на волну! Кто-то полез в топку котла, застрял задом — и смех и грех! Таились, пачкались в грязных канавах. Вон какой-то псих: стоит на спине котла, высыпает из кармана пули; ему иступленно кричат снизу:

— Балда, что же ты делаешь?!

Пули отскакивают от боков котла, падают на головы. Ничего страшного, а люди закрывают головы руками и с воем бросаются прочь. Злее не придумать бы и настоящему провокатору!

С огромным трудом, надорвав глотки угрозой стрелять в трусов, нам удается погасить панику.

— Ведь вы же видите, черт возьми, что солдаты стреляют вверх?!

И в самом деле: пока здесь ни убитых, ни раненых.

— Ради дьявола, кончайте! — почти кричу оратору.

Но ему кажется, что он исчерпал еще не все доводы, обсосал не все косточки. А я вижу, как с каждой минутой, даже секундой падает боевое настроение, и никакими речами сейчас не спасешь положения. Все стоят, как на каленых углях.

Общее решение уже невозможно.

Где-то там образовалась течь, и митинг тает: люди пробираются за металлическим хламом, листами, котлами — от ворот вправо пробираются во двор материальных складов, дальше — улица.

Стрельба прекратилась. Кто-то говорит, что дано пять минут на уход с митинга. Тогда я резко обрываю оратора и кричу рабочим:

— Довольно слов! Вы понимаете, в чем дело, не маленькие! Наши братья в осаде на заводе «Садэ»! Долг каждого из нас помочь им. Все, у кого крепка пролетарская совесть, должны собраться у моста за воротами. Собрание закрыто!

— Итак — у моста! — уговариваемся с Серегой и покидаем трибуну.

У одной из колонн вижу почти задавленную, в полуобмороке жену. Беру ее под руку, выходим вместе из сборной.

Торопливо, толкаясь, мешая друг другу, люди бегут вправо; налево, мимо солдат, стоящих молча с ружьями неизготове, никто не решается. Смешно! Как будто сюда не достанет пуля! Пусть уже стреляют в лицо, нежели в спину!

И мы с Серегой берем влево и нарочито медленно, болтая какой-то вздор по адресу солдат, проходим мимо них через весь необычный двор... через проходную...

Остается пройти узенький, как труба, дворик. Неожиданно — залп, и через наши головы прямо в вывеску над наружными воротами впиаются пули.

Позади вскрики. топот. Несколько рабочих обгоняют нас, мы слышим:

— Убили! Убили!

— Кого?

— Волкова! Много...

Мы приостанавливаемся. Что делать с женой?

Но уже слышим:

— Только ранили. Одного или двух... Легко.

— Вперед! — резко говорит Серега. — Вперед, а то опоздаем!

Человек пятьсот толкнутся перед воротами, с любопытством, опаской и затаенной яростью прислушиваются к тому, что происходит во дворе. И к тому, что мы — организация — сейчас скажем.

— Обновили! — кивают на вывеску, издырявленную пулями.

— Вот тебе и царский манифест!

— Товарищи, кто с нами? В ком дух солидарности? Помните, как запорожцы выручали своих товарищей из неволи?

Нас окружают десятка два людей, вооруженных пиками, саблями, охотничьими ружьями. У двух злосчастные «бульдоги». Значит, Серегин наган да мой браунинг — только и всего оружия...

— Под бабьи юбки? — бросаю едко в толпу. Люди молча, потупясь провожают нас.

Мне стыдно за сорвавшееся от горечи слово: я же знаю, будь у рабочих в руках оружие, разве стали бы они ждать наших окриков и уговоров?!

Поднимаемся на мост. На ходу вытягиваемся в колонку по два человека и торопливо шагаем по середине прохода, совсем по-солдатски; проходим мост, сворачиваем вправо, на Панасовскую улицу. С пустым любопытством смотрит на нас бредущая сюда и туда публика. Ухо ловит плоские остроты. На мгновение загораются гнев. С каким наслаждением колотил бы палкою по этим обывательским черепам! «Ведь сейчас вот во всех концах города... во всей стране идет отчаянная, кровавая борьба с тираном. А вы, жабы, ухмыляетесь, слушаете урчанье своих желудков!»

Смешно и до слез трогает вид наших «команчей» с пиками. Замечаю, что пики и сабли с приближением к центру города начинают как-то стеснять дружинников. Все резче контраст между нами и публикой. Встречаются сильные патрули солдат и полиции.

Мы переходим на тротуар, колонна рассыпается — не хочется верить, что рассыпаемся насовсем... Почти бежим, а кажется, мучительно медленно подвигаемся к цели. Что там? Быть может, все уже кончено?..

Плетется извозчик. Я вдруг решаю:

— Серега, едем!.. Товарищи, — говорю дружинникам, — идите к заводу, там встретимся.

Садимся с Серегой и мчимся, сколько позволяют ноги одра, на Конную. Понуждаем, просим, прибавляем полтинник. Но улицы кажутся бесконечно длинны, хочется соскочить с экипажа и бежать.

Наконец-то!

Просторная площадь кажется пустой. Ларьки, лавочки, сенные весы закрыты. Потом видишь за каждым ларьком, чуть ли не за каждым ящиком из-под товара притаившиеся фигуры рабочих. В горлах улиц, выходящих на площадь, тоже рабочие, вразбивку и тесными кучками. И все взоры — в дальний треугольник левой стороны: между заводами в Гельферих-Садэ и церковью с белой оградой.

Над фасадом завода — красное знамя. Перед оградой церкви и дальше — войска: пехота, артиллерия, казаки. Предполагают, что казаки таятся во дворах и переулках. Каждую минуту могут обойти, ударить, открыть огонь. И толпа ярится в бессильном гневе. Сотни две пик, десятка полтора — пока под полою — охотни-

чьих ружей, штук тридцать плохих револьверов; их пули не долетают до цели, а самодельные бомбы зарываются в снег невдалеке от ограды.

Кажется, что все во мне и вне меня кричит, сжимая кулаки и скрипя зубами: «Оружия! Оружия!»

Но нет оружия. Нет его!..

Поражает молчание сторон.

Узнаем паровозников, мельгозовцев. Слушаем:

— Минут пять назад стреляли солдаты и артиллерия.

— Видишь вон, разбуравило дыру над главным входом? Дано десять минут перемирия, для сдачи. Пять уже прошло, а флаг еще висит.

Напряженно всматриваюсь и вижу в кирпичной стене заводского корпуса пролом, он кажется раной...

А флаг развевается. Я мысленно склоняю перед ним голову. И думаю, думаю: что там, как решат, как им помочь?

Узнаем, что паровозники вышли — с Артемом — почти всем заводом; пытались, как и мы, безуспешно отвлечь на себя внимание войск. В них дали несколько залпов, есть десятка два раненых.

Вдруг невдалеке слышится глухой треск выстрелов. Это там, где завод прищывает к частным постройкам. Видно, как тревога привела в движение войска. Рабочие отхлынули прочь, за прикрытия.

Из дворов, за два-три дома от завода, выбегают одиночками несколько человек и теряются в толпе. Это дружинники. Одного из них плотно обступают:

— Что? Как?

— Да вот приходится уходить.

— Все?

— Чутьочку раньше — все бы ушли. Да хотелось показать зубы сволочам. Не удалось, черт побери! А не удалось потому, что наших солдат еще ночью куда-то угнали.

Долгая, гнетущая минута ожидания. Можно сосчитать гулкие удары сердца.

— Сдаются! — доносится вдруг до ушей, а потом и до сознания.

Красный флаг спущен.

Меня обжигает вспыхнувшим внутри огнем... а следом обдаёт с ног до головы сыпучий морозный звон. Я безотчетно склоняю голову.

Казалось в ту минуту, что флаг спускал не завод, не кучка вооруженных людей — спускала флаг Первая Русская Революция.

К воротам завода осторожно приближались войска.

Из ворот вынесли на носилках... двух, трех — не помню, сколько. Если не ошибаюсь, на носилках с мниморанеными было вынесено наиболее ценное оружие.

* * *

На Старо-Московской улице я еще застал несколько неубранных тел убитых. Передавали, что вдоль улицы от собора били пулеметы, что жертв около ста человек — исключительно мирных жителей города — всех возрастов. К тому, что уже было во мне — в мозгу и на сердце, — это не прибавило ничего...

— Флаг революции спущен. — отметил я вслух, — а это дороже всего.

— А ведь совсем без пара шла, машина-то романовская! — отозвался рядом стоявший Серега. — Чутьочку подтормозить маховик — и стала бы.

«Да, да, все дело в чутьчке!» — злым сарказмом отдалось в мозгу.

Душа была в трауре. Сжимались кулаки. Что же дальше?

Немыслимо и бесцельно было бы тогда точно предсказывать час новой решительной схватки пролетариата России. Прошло всего лишь двенадцать лет — в истории какой-то миг! — и она произошла!



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

У ПИСАТЕЛЕЙ ШВЕЦИИ

ГУСЕНАВТ И КАРЛСОН НА КРЫШЕ

Нильс-гусенавт

Огромный, откормленный красноклювый лапчатый гусь ростом в косую сажень горделиво смотрит на людную улицу с балкона ресторана. В витринах всех магазинов и лавок игрушечные, а в кондитерских марципановые и шоколадные гуся еще раз напоминают, что завтра день рождения Мартина Лютера, который в лютеранской Швеции отмечается не богослужениями и проповедями, нет, а гуседением. В каждой семье на обеденном столе в этот день — жареный гусь.

Мальме оглушило меня гоготанием гусей на сельскохозяйственной выставке Сконе — южной житницы страны, центре свиноводства и гусеводства. Наглядевшись в витринах баров, как каплет жир с мерно вращающихся на электровертелях аппетитно поджариваемых гусей, в день Мартина гусятины я все же так и не отведал, потому что был приглашен на обед к писателю-вольнодумцу.

Чтобы показать независимость своего образа мыслей, он в этот день, нарушив освященные веками традиции и вызывая настороженное недоумение соседей, распорядился зажарить утку.

Общими усилиями мы, как говорится, отдали честь кулинарным способностям хозяйки, и, обглядывая крылышко, я спросил гостеприимного хозяина:

— Вероятно, Сельма Лагерлеф назвала Мартином того самого гуся-романтика, на котором Нильс Хольгерссон облетел Швецию в память о дне рождения Лютера, столь роковым для гусиного племени?

— Вполне возможно, — отозвался хозяин, подкладывая мне еще порцию утки. — Я об этом никогда не думал.

Так это или не так, но чтобы шведские дети спокойно ели гусиное жаркое, без опаски, что на тарелке ненароком окажется полюбившийся им гусь, сыгравший роль Мартина в новом фильме «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона», — в программах, которые раздают на киносеансах, сказано, что он получил пенсию и остаток своей гусиной жизни завершает в Бервикском заповеднике в Хельсингланде.

...Клином летят дикие гуся по голубому весеннему небу. Пролетают они и над Сконе.

— Га-га-га! Летите с нами! Мы летим на север, в Лапландию! В Лапландию! — кричат они шагающим вперевадку по двору домашним гусям.

— Нам и тут хорошо! Нам и тут хорошо! — отвечает им с земли старая гусыня.

И только один молодой гусь Мартин, вняв зову своих вольных родичей, взмыл в небо и поспешил вдогонку. А на спине у него, обхватив руками шею, прилепился маленький человечек — Нильс, превращенный в наказание за дурное

поведение в мальчика с пальчик. Так началось чудесное путешествие с дикими гусями через всю Швецию, в которое замечательная писательница Сельма Лагерлеф отрядила Нильса, сына бедного крестьянина — арендатора Хольгерссона.

В день восьмидесятилетия Сельмы Лагерлеф каждый школьник Швеции внес на подарок для нее по десять зре. На собранные детьми деньги завод художественного стекла в Орефорсе сделал высокую прозрачную хрустальную вазу с матовым изображением летящего на гусях Нильса, «первого в мире гусенавта», как его тут сейчас называют. И по сей день ваза эта хранится в усадьбе Морбака — в «краю легенд» — Вермланде, где была написана история Нильса.

Многочисленные бюро путешествий всячески рекламируют маршруты «по следам Нильса Хольгерссона»...

Не в вагон курьерского поезда, не в каюту парохода, а на спину гуся посадила своего героя Сельма Лагерлеф, по-моему, неспроста. И не только потому, что быстрота полета диких гусей превышает скорость паровоза и парохода. Назад, от стальных переьв к гусиным, к их поре устремлены были ее симпатии.

Романтика рыцарских времен, помещичьих усадеб ближе Сельме Лагерлеф, чем романтика будущего, которую трудно было разглядеть за дымом фабричных труб.

И вот уже более полувека миллионы детей во всех странах вместе с «путешественником поневоле» Нильсом Хольгерссоном снова и снова повторяют это волшебное путешествие. Мой внук Миша, который играет с ребятами в космонавтов, читал эту книгу с таким же увлечением, как и я полсотни лет назад, когда невозможно было представить себе, что еще в наш век расписание движения рейсовых самолетов станет таким же привычным, как и расписание пассажирских поездов.

— А ты познакомился в Швеции с Нильсом? — с надеждой спросил меня Миша.

— Но ведь Нильс уже не ребенок. С тех пор, как он путешествовал на гусях, прошло много времени. Ему уже стукнуло семьдесят пять лет.

— Вот как... — разочарованно вздохнул малыш.

— Не огорчайся, — утешил я его. — Все-таки мы повидались там с Нильсом Хольгерссоном. В те дни он появился на экранах кинотеатров. И был сначала такой, как все дети, а затем на глазах зрителей превращался в мальчика с пальчик.

Широкий экран. Звуковое кино. Многоцветная пленка. Вертолет, висающий в воздухе, без которого невозможно было снять такой фильм. Специальный жироскопический киноаппарат «летающая камера». Так, усилиями современной техники, развитие которой отнюдь не радовало писательницу, заново воссоздан и отправлен в свое волшебное путешествие рожденный ею герой.

Несколько лет назад я видел мультипликационный фильм о Нильсе Хольгерссоне, созданный художниками московской студии и высоко оцененный шведами. А ныне в самом большом кинотеатре Стокгольма «Сергель» в центре столицы я снова повстречался с Нильсом. И он был совсем такой, каким я и представлял его с детства.

Из десяти тысяч четырехсот мальчиков, желавших сниматься в этой роли и приславших свои фотографии, режиссер Конне Фант отобрал десятилетнего парнишку Свена Лундберга, сына зубного врача из Карлсхамна.

Но как ни старались постановщики этого прекрасного фильма, мальчуган Свен, а вместе с ним и все зрители увидели не совсем ту Швецию, которую видел Нильс. Линии высоковольтных передач! Их в ту пору не было. В порту Карлскроны — не дымящие трубы броненосцев, а низкотрубные дизель-электроходы. На озере за кормой моторок курчавится их белопенный след. А парусов просмоленных шхун не увидишь даже и за горизонтом. Новые дороги широкими лентами перекрестили страну. И по ним не тащатся крестьянские возы, тряские двуколки и господские экипажи на высоких рессорах, а несутся бесчисленные автомобили. Поля стали больше, но людей на них меньше, чем во времена Нильса

Хольгерссона, не видно и впряженных в плуги разномастных лошадей. Словно жуки, отливая ярко-красным или пронзительно-синим лаком, урчат тракторы. А те лесные делянки среди скал, которые с таким трудом выкорчевывали под пашню арендаторы и торпари, ровесники отца Нильса, брошены и снова зарастают спосной и елью. Ведь сюжет Сельмы Лагерлеф снимался на современной «натуре».

В тундры Лапландии, к заснеженной вершине Кебнекайсе вела свою стаю мудрая гусыня Акка. Но теперь вершину эту вобрал в свои границы город Кируна. Невдалеке от нее — Свен должен бы это увидеть — сверкают в ночи зеркальные окна тринадцатипятиэтажного здания главного управления железных рудников.

Но что это? Громкий, протяжный волчий вой разносится по заполярной тундре! Какой огромной должна быть глотка этого волка! Как неутолим его голод! Когда здесь проложили железную дорогу, десятки и десятки северных оленей нашли гибель на ее полотне, под колесами поездов. Ведь олени любят с возвышенных мест оглядывать тундру. Гудки локомотива не разгоняли, а, наоборот, привлекали на полотно дороги, на насыпь, оленей, которым любопытно было, кто это так по-необычному кричит. И тогда-то на электровозы, мчащие поезда по Лапландии, поставили сирену. воющую по-волчьи. Помню, как поразил меня этот оберегающий оленей жизни «гуманный» волчий вой электровозов в тундре! Но при Сельме Лагерлеф не было ни дороги, ни электропоездов...

Вот гуси подлетают к острову Готланду, как уверяют — самому солнечному месту Швеции, этому музею ганзейского средневековья. Как могли, казалось, за это время измениться руины крепостных стен столицы Готланда — старинного купеческого города Висби, куда с новгородским товаром в гости к варягам плавал Садко! Но и под этими древними стенами Висби Свен опять-таки увидел то, чего не мог видеть Нильс: разноцветные до рези в глазах машины, огромный автопарк — стоянку тысячи автомобилей.

Да, времена изменились. Техника стала второй натурой изобретательного шведа. И те мальчуганы в фильме, которые соскакивали у обочин с велосипедов и пальцами показывали на летящего в стае «первого в мире гусенавта» Нильса Хольгерссона, собирают фотографии космонавтов и мечтают о полетах на ракете, об атомных двигателях и в отличие от взрослых всем сказкам о лебедь, оборачивающемся королевичем, принцессам-лягушкам и троллям предпочитают «Мальша и Карлсона, который живет на крыше». Уж он-то для полета не нуждается в помощи дикого гуся. Он и родился-то, наверное, с смонтированным в тело моторчиком, с пропеллером на спине, и стоит только нажать кнопку — может лететь вечно куда глаза глядят, куда душе заблагорассудится.

«Карлсон на крыше»

Этот миниатюрный летучий толстячок, живущий на крыше одного из стокгольмских домов, выпущен в широкий мир писательницей Астрид Линдгрэн и популярен не только среди детворы.

Иначе к чему бы из номера в номер вечерние газеты публиковали объявления о том, что «Карлсон на крыше» предпочитает для своего мотора смазочное масло такой-то фирмы? Или о том, что можно довести до блеска свой автомобиль, если пользоваться пастой «глянцер» по способу «Карлсона на крыше»?

Иначе кто бы понял броский заголовок телеграммы собственного корреспондента «Экспрессен» из Африки: «На крыше — победитель», сообщающей, что Эрик Карлсон лидирует на международных гонках по африканским степям? Для этого надо знать, что после появления книги Астрид Линдгрэн имя ее героя «Карлсон на крыше» стало общепринятой ласковой кличкой чемпиона — гонщика Эрика Карлсона, высокого толстяка, с трудом уместяющего свое грузное тело в гоночный автомобиль.

Один автолюбитель объяснял мне, что это прозвище закрепилось за чемпионом после того, как во время гонок машина его на крутом вираже перевернулась вверх колесами, встала на крышу, но он все же не сошел с круга.

Да, Карлсон, живущий на крыше, может лететь, куда душе его угодно, делать все, что ему заблагорассудится. Но, увы, и желания его, и кругозор крайне ограничены. К тому же он еще обжора, сладкоежка, уверяющий, что от пирогов не толстеют. В любом, даже самом забавном приключении Карлсон думает только о себе, своем комфорте, своих развлечениях. Чувства товарищества — ни на грош. Это ярко выраженная личность, индивидуализм которой не что иное, как черствое себялюбие мещанина, довольного своей жизнью, своим собственным домиком на крыше за трубой.

Если Сельма Лагерлеф наделила диких гусей лучшими человеческими качествами, то герой Астрид Линдгрэн обладает всеми худшими свойствами самодовольного мещанина-обывателя и не случайно носит одну из самых распространенных здесь фамилий.

Как-то на досуге в номере гостиницы, листая телефонную книгу Стокгольма, я подсчитал, что в столице свыше десяти тысяч семей Карлсонов имеют телефон.

Ежегодно четыре тысячи Карлсонов и Юханссонов через занимающиеся этим делом бюро регистрации патентов меняют свою слишком уж распространенную фамилию. При этом не разрешается лишь брать новые фамилии с приставками «фон», «де» или с окончанием «шерна», свидетельствующие о дворянском происхождении их носителя.

Но наш Карлсон — «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» — и не помышляет о перемене фамилии. Ведь это самый лучший в мире Карлсон, как он сам не поленился написать на дверях своего домика на крыше за трубой.

Писательница придала ему вдобавок и те качества, которые «среднему шведу» — Свену Свенсону — противопоказаны и которые он искренне презирает: «Карлсон на крыше» безмерно хвастлив, а всякое хвастовство шведы считают неприличным, к тому же он врет без устали. И при всем том кажется героем влюбленному в него Малышу, мальчику честному, благородному, деликатному, который именно из-за этих своих качеств то и дело попадает впросак, в то время как Карлсон постоянно оказывается в выигрыше.

Порок, оснащенный высокой техникой, все время торжествует, а положительный не по указке автора, а по душевной близости к читателю персонаж попадает в неприятные переделки. Здесь уж прямолинейному моралисту делать нечего — перед нами литератор с тонким юмором и вдохновением, чуждым рецептуре и аптекарским весам.

...Девочка с двумя торчащими в разные стороны косичками цвета морковки шла по улице. Одной ногой она ступала по тротуару, а другой — по мостовой. Вскоре девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед. Шла она так потому, что поленилась повернуться, когда надумала возвратиться домой. Когда мальчик Томми спросил ее, почему она пятится, как рак, девочка ответила:

— Разве мы живем не в свободной стране? Разве не может у нас каждый человек ходить, как ему вздумается?

Это уже похоже на прямую издевку над тем, что здесь так часто словами о свободе прикрываются своеволие, кривляние, принимаемое некоторыми за оригинальность, и даже простое вранье.

— И вообще, — продолжает Пеппи Лонгструмп — так зовут девочку с лицом, усеянным веснушками, — если хочешь знать, в Египте так ходят все люди, и никого это ни капельки не удивляет... Интересно, что бы ты сказал, если бы я прошлась на руках, как ходят все в Индии?

— Будет врать-то, — усомнился Томми.

— Верно, я вру, — согласилась Пеппи, становясь все более грустной. — Но я иногда начинаю забывать, что было и чего не было... И к тому же, — добавила она, и вся ее веснушчатая мордочка засияла, — во всем Бельгийском Конго не найдется ни одного человека, который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с семи утра и до захода солнца. Так что, если я когда-нибудь случайно совру, вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень

долго жила в этом самом Бельгийском Конго. А подружиться мы все-таки можем! Правда?

И в самом деле, миллионы детей во многих странах мира очень скоро подружались с Пеппи Лонгструмп (что по-русски значит Пеппи Длинный Чулок), девочкой такой сильной, что она одной рукой легко подымала рослую лошадь с обезьянкой — господином Нильсоном. Уже одно появление Пеппи Лонгструмп взрывает скучное однообразие прочно устоявшегося шведского быта.

Три книги о приключениях Пеппи в Швеции разошлись более чем в полумиллионе экземпляров.

В соседней Норвегии газета «Дагбладет» писала о повести: «Здесь пышным цветом расцветает фантазия, повествование разворачивается вопреки здравому смыслу. Книга заставляет прыгать от радости всех детей от семи лет и выше».

«Все это веселье пришло к нам из Швеции. Добро пожаловать, Пеппи. Раз встретив, ее не забудешь» — так приветствовал книгу критик в газете «Нью-Йорк геральд трибюн».

И словно переключается с американским немецкий критик в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг»: «Здесь шведы показали, как нужно создавать самые веселые детские книги. С Пеппи Лонгструмп они подарили нам самую истинно привлекательную героиню из всех, каких мы знаем в детской литературе. Наши дети заключают ее в свое сердце и с пылающими щеками будут слушать о приключениях Пеппи».

Но простые на первый взгляд книги Астрид Линдгрен оказываются не так уж просты. Они многогранны. И глаз советского критика различил в книгах Астрид Линдгрен и другие грани.

«Герои книг Линдгрен... растут, все время развивая в себе качества, нужные для борьбы: отвагу, присутствие духа, нетерпимость ко всякому злу, готовность прийти на помощь обиженным. Сквозь сказку и шутку Линдгрен показывает, как важны эти свойства, и заставляет своих читателей и героев глубже понять жизнь», — писала «Литературная Россия».

У волшебницы из Смоланда

На берегу озера, под раскидистым кленом, в траве среди ромашек, колокольчиков и клевера, опершись на локоть, полулежит и смотрит на меня веселыми умными глазами коротко стриженная женщина в клетчатой блузке. Перед ней длинноухая такса устремила взор в ту же сторону, что и хозяйка.

Такой увидел я впервые Астрид Линдгрен на фотографии, полученной вместе с приглашением навестить ее на службе. Служит же «Андерсен наших дней», как называют здесь Астрид Линдгрен, после того как Международный совет детской книги во Флоренции наградил ее золотой медалью Ханса Андерсена, в кооперативном издательстве «Рабен и Шьегрен» главным редактором отдела детской литературы. Около полусотни книг для ребят ежегодно выпускает это издательство.

— Ваши книги «Приключения Калле Блюмквиста», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и «Расмус-бродяга» вышли у нас на русском, эстонском, казахском языках и даже в издательстве для слепых, — сказал я Астрид Линдгрен. — С Пеппи Лонгструмп начали знакомиться наши ребята на страницах журнала «Пионер».

— И в Швеции мой первенец Пеппи тоже не сразу пришел к детям, — сказала Астрид. — Дорогу ей прокладывало второе мое детище — «Бритт-Мари облегчает сердце»...

Это вполне объяснимо. То, что Пеппи не очень аккуратна и без усталости врёт, каждому бросается в глаза. А то, что все ее действия, несмотря на то, что она не хочет учить «таблицу уважения», благородны, что в драки она ввязывается лишь для защиты слабых и обиженных, не сразу приходит в голову. Моторчик с пропеллером за спиной — дескать, техническая фантазия — помогает своеобразно врать Карлсону перелетать через границы. Девочка же, шагающая в раз-

ноцветных длинных чулках — один черный, другой коричневый, — поначалу смущает, хотя и вранье-то ее безобидно и бескорыстно, и эта детская мюнхаузениада в отличие от взрослого Мюнхаузена будит у читателей лишь благородные чувства, а действия героини повести воплощают детскую жажду подвига.

Да что тут говорить, ведь и о первом выпуске сказок Андерсена известный тогда датский критик написал, что «сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ручаться за их полную безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, разъезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее» и т. д.

— Хранители морали, — смеется Астрид, — часто многое из того, что ныне всем ставится в пример, при его первом появлении объявляли безнравственным, непедагогичным. Вот здесь, — она показала на ящик письменного стола, — письма в редакцию телевидения. Протесты против того, что в одной из моих последних передач мальчик мажет ваксой щеки. Какой плохой пример показывает телевидение, протестует мамаша. Она страшится, что сынок теперь запачкает ваксой не только щеки, но и занавески на окнах!

Жаль, подумалось мне, что не до всех еще на свете дошло то, что так прекрасно доказано Корнеем Чуковским: живой алогизм нужен детям для радостного, полнокровного ощущения логики, и нарушение персонажами книги общепринятых норм поведения ставит юного читателя, понимающего это, над героями и закрепляет эти нормы в его сознании лучше, чем тысячекратные повторения правил хорошего тона каким-нибудь бесцветным пай-мальчиком.

Каким же образом такой, казалось бы, отрицательный персонаж заставляет читателей восхищаться собой? Это уже, наверно, тайна таланта.

Астрид взглянула в окно. За стенами уютного кабинета бушевала осенняя непогода. Узкая полоска неба над улицей была задернута тучей. Крупные острые капли дождя, расшибаясь о стекла, сплющивались в струйки, упрямо ползущие вниз.

— А вообще-то, если бы небо было всегда безоблачным, — улыбнулась Астрид, — вы со мной никогда, может, не познакомились бы. Ведь писательницей я стала из-за того, что в сорок четвертом году двадцать восьмого марта безостановочно валил снег. Никогда в Стокгольме я не видела такого снегопада. Утром все уже было бело. А снег продолжал валить. Мостовые и тротуары обледенели, стали скользкими, как зеркало. Я должна была по каким-то делам выйти из дома. А снег все шел и шел. Почти миновав Васа-парк — это недалеко отсюда, — я вдруг поскользнулась и упала. Отчаянная боль. Так повредила ногу, что пришлось слечь на несколько недель. А приближался день рождения дочки. Ей исполнилось десять лет. Что подарить?

И тогда Астрид Линдгрэн решила записать и подарить дочери историю необычайной девочки, которую звали Пеппи Лонгструмп.

Карандаш в руке скрашивал вынужденное безделье, а хорошо владеть им Астрид научилась перед замужеством, когда служила секретарем-стенографисткой. И вот после тринадцати лет замужества, отданных семье, домашнему хозяйству, снова бойко забегал ее карандаш, записывая историю, сочиненную для дочери, когда та болела воспалением легких.

— Мама, расскажи что-нибудь! — попросила Астрид дочурка.

— Что же тебе рассказать? — спросила мать, склонясь над кроватью, в которой лежала больная девочка.

— Ну, что-нибудь про Пеппи Лонгструмп.

— Имя это Карин придумала в ту самую минуту, и я, — вспоминала потом Астрид, — даже не спросив, а кто такая Пеппи Лонгструмп, стала рассказывать.

Друзей дома сразу же очаровала рыжеволосая нескладная девчонка. И хотя у Астрид не было даже и тени мысли о том, что повесть можно издать, один из приятелей отнес рукопись в весьма уважаемое издательство. Там она была решительно отклонена. Но близкие уговаривали Астрид написать еще что-нибудь. К тому же было задето самолюбие... И Линдгрэн быстро настроичила и послала в

жюри конкурса на лучшую книгу для девочек повестушку «Бритт-Мари облегчает сердце». В ней хотя и поблескивали искорки таланта, но ни в какое сравнение с «Пеппи» она не шла.

Повесть эта получила премию имени Нильса Хольгерссона, была издана и хорошо принята прессой.

Тогда в следующем году на новый конкурс Астрид представила рукопись «Пеппи Лонгструмп» и получила первую премию. Книга быстро полюбилась шведской детворе и, как писала критика, «нарушила традиции морализирования, сентиментальности и слащавости, которые десятилетиями господствовали в детской литературе».

...Ранние осенние сумерки быстро заполнили город.

Астрид засветила настольную лампу, и я сразу увидел, что насмешливые ее глаза голубые, а не серые, как мне сначала показалось. На стене за ее спиной отчетливее стали видны нарисованные ребятами тролли, присланные в подарок любимой писательнице.

— А потом словно плотину прорвало! Слово снежный обвал, лавина! — смеется Астрид, показывая на стеллажи у стен, где, поблескивая и переливаясь, играли всеми красками целлофановой радуги пестрые переплеты детских книг.

И в самом деле: за восемнадцать лет литературной работы — двадцать шесть книг. Да еще несколько пьес для детей и взрослых, сценарии телепередач.

— Вот моя последняя книга, — говорит Астрид, делая дарственную надпись на только что вышедшей второй книге приключений «Малыша и Карлсона на крыше».

Большую роль в этой книге играет телевизор, который в тесном мирке шведской семьи, плотно отгороженной четырьмя стенами, приоткрыл «звучащее окно» в большой мир. Разное отношение к нему по-своему раскрывает характеры лиц, действующих в этом веселом повествовании.

И здесь Астрид Линдгрэн верна точному во всех подробностях изображению шведского быта.

В первой книге телевизор не мог занять такого места. Когда она писала, он стоил дорого, был еще роскошью, и на тысячу шведов приходилось лишь около тридцати телевизоров. Когда же она писала вторую книгу (1961), телевизор стал раза в два с половиной дешевле, и на тысячу человек уже имелось свыше ста восьмидесяти голубых экранов. И родители Малыша не отставали от других. Они купили его, разумеется, в рассрочку и вошли в те три семьи из пяти, у которых согласно статистике имеется этот «ящик чудес», как его называют любители, или «жевательная резинка для глаз», по словам скептиков.

— Сейчас я пишу сценарий о Пеппи Лонгструмп для телевидения, — продолжает Астрид Линдгрэн. — Получается тридцать девять получасовых передач. Не очень ли много? Но режиссер Улле Хелбум уверяет, что наоборот... и на меньшее он не согласится. Правда, нелегко найти девочку на роль Пеппи. В постановке должно быть много условного... И опять-таки дорогу на телеэкран моей Пеппи проложили родившиеся значительно позже «Расмус-бродяга» и «Ребята из Бюллербу».

Вступившая на литературное, как говорится, поприще довольно поздно (первая книга вышла, когда автору исполнилось уже тридцать восемь лет), Астрид Линдгрэн сейчас по праву может считаться самым читаемым автором современной Швеции. В 1963 году в общественных библиотеках ее книги брали на дом девятьсот тысяч раз! Но забегу вперед. Через некоторое время мы встретились с ней в Москве, куда она приезжала на декаду шведского кино. У нас показывали ее фильм «Крошка, Мозес и Боцман».

— Мне особенно понравилось здесь то, — сказала Астрид, — что у вас детскую литературу считают серьезным делом! — И, поймав мой недоуменный взгляд, пояснила: — Многие друзья в Стокгольме твердят мне: «Ты сейчас очень популярна, все, что ни напишешь, будет напечатано. Почему бы тебе не заняться серьезным делом — начать писать для взрослых!»

Чудеса и быт

При всей внешней необыкновенности свойств, которыми обладают и «Карлсон на крыше», и Неппи Лонгструмп, при всей фантастичности их поступков, неожиданности положений, в которые они попадают, и самый характер их, и юмор, и конфликты в книгах Астрид Линдгрэн, так же как и тот ровный, размеренный быт, в противоречие с которым вступают романтические мечты героев и их действия, — все это типично шведское.

Сочетание ряда неповторимых условий сделало жизненный уровень шведов едва ли не самым высоким в мире. Полтора века без войн, без невозвратимых потерь, без разрушений, неизбежно приносимых войной, на залечивание ран после которой уходит так много сил, средств и времени. Триста благородных энтузиастов-добровольцев, бойцов интербригад, нашедших смерть в сражениях за республиканскую Испанию, — самая большая ратная потеря шведов за сто пятьдесят лет.

Но мало этого: две мировые войны, бушевавшие у самых границ Швеции, даже обогащали — и немало — нейтральную промышленную Швецию, выгодно сбывавшую свою руду и оружие воюющим странам. И по сей день, не входя ни в один из военных блоков, не участвуя в изнуряющей гонке вооружений, Швеция получает немалый профит, продавая другим странам боевые самолеты и современное оружие.

Природные богатства. Половина шведской земли покрыта лесами. Зеленый шум их вдохновлял не одного шведского писателя.

«Я воспеваю леса, океан лесов, второй океан на земле, океан человеческих странствий, — писал в книге стихов «Говорящее дерево» поэт Артур Лундквист. — Леса — главная фабрика мира, леса работают молчаливо вместе с ветрами, с погодой и солнцем, ничего у них не забирая. Леса очищают воздух, смягчают климат. Леса — это шуба земли, они сохраняют самую важную часть первобытного, звериного тепла».

Но, воспеывая леса, поэт не сказал о том, как шведы сумели «зеленый шум» превратить в «зеленое золото», в валюту. Маленькой Швеции принадлежит первое в Европе место по производству и вывозу целлюлозы, древесины и пиломатериалов. Недра шведской земли таят в себе уникальные по величине и качеству залежи железа. И Швеция ныне занимает одно из первых мест в мире по экспорту железной руды.

Энергия рек. быстро бегущих с гор к морю, с тех недавних пор, когда человек научился превращать ее в дешевое электричество (по выработке электроэнергии на душу Швеция уступает в мире только Норвегии), залежи первоклассной руды, необозримые лесные богатства, помноженные на многолетний мирный труд народа, на передовую технику, стали источником экономического подъема страны. Но решающую роль в достижении высокого уровня жизни трудящихся сыграла борьба рабочего класса, исключительную организованность которого ставил в пример Ленин. Нельзя преуменьшить и значения Октябрьской революции, устрашающий пример которой заставил поумнеть шведскую буржуазию и под натиском рабочего класса стать уступчивее... Ведь не случайно и женщины получили здесь политическое равноправие, и вообще избирательное право введено было, и восьмичасовой рабочий день завоеван — лишь в 1918 году! Так повлияла революция в соседней стране, русская революция.

— Эти победы стали исходными позициями, с которых началось дальнейшее наступление трудящихся, — рассказывал мне ветеран рабочего движения историк Бекстрем.

Однако все эти как экономические, так и политические достижения трудового народа были бы перечеркнуты Гитлером, собиравшимся после падения Сталинграда захватить Швецию. Вторжение в Швецию входило составной частью в план операции «Голубой песец». Почему замысел Гитлера не был осуществлен — всем известно. Сталинград стал могилой не только этого плана.

И каждый раз, заново постигая все эти связи, думаешь о великой интернациональной роли нашей революции, воплощенной не только в деяниях на родной земле, но многократно отраженной за близкими и далекими рубежами ее. Красноармейцы, павшие в боях за бесчисленные безымянные высоты, горячей кровью своей поливавшие перемешанные с землей снега Подмосковья, сражались за свободу и независимость не только своей страны. И многие шведы это отлично понимают...

Потрясавшие Швецию ожесточенные классовые схватки тридцатых годов, демонстрации, локауты и стачки, безработица, лихорадившая тогда страну, нашли свое реалистическое выражение в шведской литературе, вдохновили целую плеяду писателей, называвшихся тогда пролетарскими. Романы Муа Мартинсон «Мать выходит замуж», Юзефа Чельгрена «Люди и мост», роман «Женщины находят путь» Хедвиг Паулине (впрочем, под женским псевдонимом здесь укрылся известный прозаик Хенри Петер Маттис), книга рассказов Яна Фридегора «Фром и Хорд», повесть Харри Мартинсона «Крапива цветет», рассказы Ивара Лу-Юхансона, переведенные на русский и выпущенные у нас огромными тиражами, — это только малая часть большой литературы, реалистически, подчас и натуралистически бытописующей повседневную жизнь и борьбу рабочих и крестьянской бедноты. Этому же посвящена и вышедшая уже после войны автобиографическая повесть Тюрэ Эрикссона «Белый мыс».

Сплачивая людей, борьба за общее дело закаляет характеры, она плодотворна и для литературы, для искусства, цель которого, как сказал Лев Толстой, — объединение людей в одном чувстве. В последовавшие за этой прямой борьбой годы относительного спокойствия, растущего материального довольства произошел некий разброд в литературе, принизивший социальное звучание ее, общественную ее значимость.

«Мы довольно избалованный народ, — иронизирует автор книги «Острова, где дуют муссоны» Сёрлин, — и слишком привыкли к мысли, что комфорт — главная цель нашей жизни».

Это признание не единично. И в самом деле, вместо недовольства несправедливостями, встречающимися на каждом шагу, вместо беспокойного желания изменить общество, сделать его лучше, — у многих шведов сейчас появилось другое, гложущее сердце обывателя беспокойство: а может, у тебя более дешевая марка автомобиля, чем у сослуживца, а вдруг экран телевизора меньше, чем у соседа?! Значит, надо подтянуться. Дополнительно подработать. Войти в новые долги. В свою очередь и сосед не дремлет. И так продолжается «гонка на изнурение», гонка, как об этом с тревогой пишут шведские журналисты, финиш которой вдали не виден...

Но если борьба за хлеб объединяет, то стремление к одному лишь комфорту, который становится целью жизни, разъединяет людей. И не случайно заполнили книжный рынок сейчас романы и стихи, авторы которых обстоятельно и подчас тонко и часто талантливо стремятся доказать, что человеку не дано познать душу своего ближнего. Это, мол, невозможно! Одиночество — неизбежно! Что из того, что одни воспевают его как желанное состояние, а другие мучительно страдают от него; но те и другие равно признают неизбежность одиночества. Чувство отъединенности от ближних у людей, слабых духом, не видящих цели в жизни, порождает самоубийства. И не случайно, что появились романы, прославляющие самоубийц и самоубийства, возглашающие осанну смерти. Можно было бы назвать десятки, сотни произведений, посвященных переживаниям героев, страдающих разного рода извращениями. И даже такой большой мастер кинематографии, как режиссер Ингвар Бергман, отдал дань этому поветрию. Его картина «Молчание» красноречиво говорит о невозможности душевной близости даже у людей, любящих друг друга, и страданиях лесбиянки. Героиня его фильма «В туманном зеркале» — душевнобольная — просит бога явить себя ей. И в это мгновение она впервые видит летящий по небу вертолет. «Я видела бога! — кричит она. — Он похож на паука!»

Чувство одиночества, порожденного себялюбивым эгоизмом, собственным невниманием к окружающим, испытывает профессор, герой замечательной картины «Земляничная поляна», когда в будничной яви, кошмарных сновидениях и лирических воспоминаниях перед ним в течение одного дня проходит вся его долгая жизнь.

Так пышным цветом в шведской литературе и искусстве расцвели те семена, которые прорастали уже в противоречивом творчестве шведского гения Августа Стриндберга, под конец своей жизни ставшего мистиком, последние книги которого порождены психопатологией. Продолжателей же бунтарских традиций Стриндберга, тех самых, которых так высоко ценили и Горький и Блок, в современной шведской литературе меньше. Среди них Вильгельм Муберг, самый читаемый сейчас романист и незаурядный драматург (его пьеса «Судья» издана и у нас), и «сердитый пожилой человек», реалист, новатор, критик и публицист Артур Лундквист.

Но вернемся к детской писательнице Астрид Линдгрен. Если некоторые шведские писатели, как я уже сказал, позабыли о земных заботах и ушли в эмпирию еле уловимых психологических нюансов, то произведения Астрид Линдгрен, напротив, наполнены реалиями этого быта, по канве которого она вышивает свои веселые и трогательные истории. Многое из того, что она пишет, могло бы показаться беспочвенной выдумкой, если не знать подробности некоторых сторон шведского быта.

Так же, как быт мелких немецких княжеств и королевств, их придворных, чиновников и ученых пронизывал фантастику Гофмана, так современный шведский быт, привычки и обычаи проникают во все поры повестей Астрид Линдгрен.

Только там, где быт словно дистиллирован, квартиры — как лакированные шкатулки, все стерилизовано и даже тротуары иногда моются горячей водой с мылом, добropорядочные Томми и Аника могут ужаснуться тому, что комнаты Пеппи выглядят так, словно их «несколько дней» не убирала. Том Сойер на это не обратил бы внимания.

Посмеиваясь над размеренной обыденщиной жизни маленького городка, жизни, типичной для своей страны, Линдгрен заканчивает повесть возгласом Пеппи: «Когда я вырасту большая, я стану морским разбойником! А вы?» — возгласом, как бы символизирующим наивный детский протест против самодовольного мещанства.

Да и течение жизни самой писательницы внешне ничем не отличается от жизни типичной «фру Свенсон».

Как и большинство нынешних горожан Швеции, она родилась в трудовой крестьянской семье. Родина ее — лесной край Смоланд — богата озерами, скалами и камнями и бедна землей. Своими руками предки Астрид, дробя и унося с почвы гранитные валуны и обломки скал, возделывали тощую, подзолистую землю, превращая ее во все более и более плодородную.

— Как они работали! — восклицает Астрид. — До сих пор мне видится длинная каменная стена ограды, которую бабушка сложила своими руками. Дети были предоставлены самим себе. Все мы четверо — брат, две сестренки и я — росли падкими на выдумку фантазерами. Наши игры и переживания нашли место в моей повести «Ребята из Бюллербу».

В Швеции из деревень в города в первую очередь переселяются девушки, а юноши остаются хозяйствовать на земле. Так и девятнадцатилетняя Астрид, окончив школу, поехала в город — в Стокгольм и, как тысячи других фрекен, поступила на работу. Прослужив пять лет секретарем в конторе адвоката, она вышла замуж. Превратившись во фру, как это делают почти все шведские фрекен, оставила службу, целиком предавшись семейным радостям и заботам, материнству, домашнему хозяйству. А затем, так же как большинство здешних фру, снова начала работать, едва младший ребенок вошел в школьный возраст.

Вот я написал, что Астрид, как и большинство вышедших замуж фрекен, перестала работать, предавшись заботам материнства, домашнему хозяйству, и

вспомнил, как меня «поправил» однажды мой молодой приятель, журналист Вернер, когда я спросил его жену, возившуюся с двумя очаровательными девчушками:

— Вы работаете где-нибудь или только занимаетесь домом?

— У нас спрашивают иначе,— сказал Вернер.— Вы ходите на службу или работаете дома? Домашняя работа, особенно когда есть маленькие дети, считается очень важным, общественно полезным и ответственным трудом.

Не случайно домашние хозяйки получают от государства по бюллетеню пять крон за день болезни.

— У шведов не в обычае молодоженам жить вместе с родителями и нет такого, я бы сказал, «института бабушек», как у вас, которые помогают молодым,— смеясь, продолжал Вернер.

В отличие от тысячи других фру, чьи дети подросли, Астрид Линдгрэн не поступила на службу. Шведской конторе или шведской фабрике она предпочла шведскую литературу, хотя и здесь по-прежнему целиком осталась в шведском быту.

Не думаю, чтобы в каком-нибудь другом месте возможна была такая ситуация, о которой как о самом обыденном рассказывается в главе «Карлсон играет в палатку». Старший брат Малыша уходит на футбол, а мать и отец идут в кино, чтобы старшая дочка могла остаться вечером наедине со своим «новым увлечением» — одноклассником. С семилетнего же Малыша берут клятву, что он и носа не покажет в гостиную, чтобы не вспугнуть парочку. Правда, честнейший Малыш вкуче с Карлсоном, не нарушив клятвы, «борясь за справедливость», врывается в гостиную в ту минуту, когда влюбленные целуются, и своим вторжением нарушает идиллию.

Мы знаем Тома Сойера, влюбленного в Бекки, дочь судьи, но кто мне скажет, где еще возможна такая ситуация, как в книге Линдгрэн? Мне больше известны другие края, где, если бы родители и не могли по какой-либо причине остаться в тот вечер дома, они пригласили бы тетушку или бабушку, чтобы девочка не осталась в гостиную наедине со сверстником. А здесь с Малыша еще берут клятву не мешать! Никакого акцента на исключительность положения.

Здесь не будет чрезвычайным происшествием в семейной хронике, если юноша останется, не таясь, и ночевать у девушки. И отец и мать не станут особенно возражать. Особенно если они слынут женихом и невестой.

— Не пожимай плечами,— сказал мне приятель,— мы ведь не католики. А кстати, этот обычай резко уменьшил число неудачных браков, да и разводов среди молодоженов стало меньше. Это подтверждает и статистика.

— Кажется, это ваш шведский ученый сказал, что статистика напоминает ему уличный фонарь: освещает очень мало, но поддерживает, если обопрешься на него? Что касается меня, то, будь моей дочери сейчас семнадцать лет и останься ночевать у нее сверстник, в которого она влюблена, мне было бы не по себе.

...Сказочник Ханс Андерсен не жалел самых высоких слов, чтобы воспеть начинающую тогда входить в жизнь новую технику. Он сочинял сказки о маломощном еще в те времена паровозе. Железная дорога была для него волшебным ожерельем, на которое нанизаны любимые города. Полный восторга перед открывшимся ему чудом — прокладкой по океанскому дну телеграфного кабеля, он написал сказку «Большой морской змей». «О него с разлету стучаются лбами рыбы и гады и все-таки не понимают значения этой штуки. не понимают, что это полный человеческих мыслей, говорящий на всех языках и в то же время немой хранитель тайн, чудо из морских чудес, современный большой морской змей», — так кончается эта сказка.

Астрид Линдгрэн окружена куда большими чудесами. Она живет в эпоху, о которой Маяковский сказал: «День раскрылся такой, что сказки Андерсена щенками ползали у него в ногах». Не подводный кабель, а беспроводная радиосвязь, телевизоры, телестары. Паровозы — уже старина. Воюющие волками электровагоны мчат поезда по дорогам страны.

С тех пор, как были написаны сказки Андерсена, соотечественники Астрид избрели динамит и спички, примус и турбину, шарикоподшипники, без которых нет современной машины, сепаратор, преобразовавший животноводство, безопасную бритву и холодильник, пылесос и тысячу других облегчивших жизнь вещей, приборов, машин, приспособлений.

Высокая, непрерывно совершенствующаяся техника стала бытом, средой, образом мыслей и образом жизни шведов даже тогда, когда они бегут от нее на моторках и автомобилях в леса и на озера, чтобы в три недели завоеванного борьбой и записанного в колдоговорах отпуска приобщиться «святым тайнам» матери-природы.

Вместе с тем все это не принесло шведу ощущения счастья. И не только потому, что, как сказал мне мой друг Ивар Лу-Юханссон, шведы обладают удивительной способностью не быть счастливыми. В «машинном раю» молодые «Адам» и «Ева» — так называются здесь первые атомные электростанции — напоминают людям, что человечеству угрожает судьба ветхозаветных Содомы и Гоморры.

В свете этой тревоги за грядущие судьбы человечества понятно появление таких произведений, как мрачные романы Свена Фагерберга, изображающего человека в тисках «роботного» мышления, и глубоко пессимистической, произведшей сенсацию при своем появлении поэмы Харри Мартинсона «Аниара». «Аниара» — так называется огромный космический корабль, на котором несколько тысяч человек покидают зараженную губительной радиацией Землю, чтобы улететь на планету Дорис в другой солнечной системе. В пути «Аниара» теряет управление и обречена со всеми находящимися на ней беженцами с Земли бесконечно носиться в мировом пространстве. Поэтический талант и мастерство Харри Мартинсона, далеко отступившего от занимаемых им в тридцатых годах передовых позиций, сделали эту трагическую поэму как бы символом веры людей, полных ощущением близкого конца мира, неотвратимой гибели человечества. История и судьба человечества для них уподобляется судьбе пассажиров и команды «Аниары».

Новая техника распахнула ворота и новых правонарушений, небывалых ранее преступлений вроде нашумевшего дела «радиопирата» или местного «зла» — «раггеров». Без дотошного знания автотехники не появиться бы на свет божий этой здешней разновидности «стиляг».

Из деталей, снятых с выброшенных на свалку старых машин, эти юнцы допризывного возраста собирают автомобиль или сообщу, сложившись, группой за дешевку приобретают подержанную машину и, посадив в нее девчонку (ведь само их прозвище «раггер», как мне говорили, по-русски означает «лихой ухажер»), по вечерам раскатывают вереницами по главным улицам города.

На антеннах их машин развеваются собачьи или кошачьи хвосты. Лошадиные силы, заключенные в моторах, уносят их часто за город, подальше от глаза родных. И хоть спиртного, дорожа своими водительскими правами, «раггеры» употребляют меньше, чем другие, но, собираясь стаями на берегу моря или в лесу, они вспоминают о правилах приличия часто только для того, чтобы нарушать их.

Здесь порой расстояние от ухарства до преступления бывает короче воробьиного носа. В этом можно убедиться, прочитав рассказ Артура Лундквиста «Автомобильная коррида».

При всем том эти юнцы с таким упоением предаются автоделу, что конструкторы автозаводов «Вольво» и «СААБ» перед выпуском новой модели, рассказывали мне, собирают «раггеров» и внимательно выслушивают их советы и предложения.

Можно привести не один пример того, как новейшая техника, магнитофонные ленты, вертолеты здесь ставятся на службу незаконной наживе.

Говорят, что по-своему воспользовалась техникой одна здешняя заядлая склочница. Старуха предъявила суду магнитофонную пленку, где была записана брань, которой ее осыпали соседки. Правда, на суде выяснилось, что истица сама всегда была зачинщицей ссор, а магнитофон включала только тогда, когда выведенные из терпения соседки начинали отругиваться.

Может быть, из-за этих злоупотреблений техникой Астрид Линдгрэн своему герою «Карлсону на крыше» — носителю фантастической повой техники — подарила характер, наделенный свойствами, увы, отрицательными. Этого никогда бы не сделал сто лет назад Ханс Андерсен, видевший в новой технике одни лишь светлые стороны.

— Знаете, я не согласен с нашими критиками, которые считают, что Астрид Линдгрэн равна Андерсену, — сказал мне как-то Артур Лундквист.

-- Об этом надо спросить у следующего поколения, — ответил я. — Потомство судит о поэте по его лучшим произведениям, тогда как глаз современника в первую очередь колют его провалы.

Ведь и у Андерсена легко найти произведения слабые, слащавые, сентиментальные, случайные. Но все они спрятались от сегодняшних читателей «за широкой спиной» его лучших сказок. Все эти недостатки можно найти и в книжной «лавине» Астрид Линдгрэн.

«Да, Линдгрэн — не Андерсен», — думал я, расставшись с Лундквистом.

Восхищенный чудесами современной ему техники, взор великого сказочника был обращен к будущему. В Смоланде, в селе, где прошла юность Линдгрэн, за талантливые сочинения в школе Астрид называли «Сельмой Лагерлеф из Виммербю». Но она и не Лагерлеф. Симпатии той были обращены в милое ее душе прошлое, и всем чудесам она предпочитала чудеса, сотворенные в отрочестве Иисусом Христом и антихристом. Да и само чудесное путешествие на гусях началось с того, что Нильса оставили одного в наказание за то, что он не прочитал заданную главу из библии.

Не Андерсен она и не Лагерлеф. Я полагаю, что Артур Лундквист согласится со мной, что Линдгрэн — это Линдгрэн. Она вся в сегодняшнем, как и ее читатель — ребенок. Она поглощена заботами, тревогами и радостями дня. И такой равнодушной к религии, словно нарочито игнорирующей ее существование, такой арелигиозной детской писательницы в западной литературе — ни бога в ее книгах нет, ни дьявола, ни церкви, ни пастора — я попросту не знаю. Всё у нее чудо! Но без намека на тень мистики. И все это — и погружение в быт, насыщенный новинками техники, и замыкание в нем, и равнодушие к религии как таковой — тоже правдивое отражение современного бытия Свена Свенсона. И в этом прозрачная точная проза Астрид Линдгрэн также характерна для современной Швеции.

Все граждане тут автоматически считаются членами государственной лютеранской церкви. Религиозное же безразличие видно и в том, что по последнему закону достаточно письменного заявления, чтобы покинуть лоно государственной церкви, и в том, как мало людей воспользовались этим правом. Здесь сказалась и сила — нет, не веры, а привычки: рождественские елки, гусеение в день Мартина Лютера, торжественный обряд венчания и так далее. Тем более что все записи, которые у нас проделывает загс, возложены тут на государственного чиновника-священника, ведущего приходские книги. Он на жаловании у казны и ни за одну требу платы с прихожан не взымает.

— Знаете, Геннадий, — сказал мне как-то знакомый, служащий стокгольмской Южной городской больницы Петер Кошке, — в прошлом году я одним росчерком пера заработал триста крон! Самый легкий заработок за мою жизнь. Когда епископ Упсальский напечатал в газете письмо о том, что женщины не могут и не должны быть священниками, пасторами, моя жена Эльна очень обиделась за слабую половину человечества... «Ах так, — сказала она мне, — не выйти ли нам из государственной церкви?!» — «Пожалуйста», — ответил я. Каждый из нас сразу же написал заявление в приход. И вдруг в конце года мы получаем денежные переводы от налогового управления по сто пятьдесят крон каждый. Оказывается, нам вернули церковный налог за год. Триста крон! Мы на них отлично отпраздновали Новый год.

Недавно закон разрешил женщинам быть пасторами. Но ни Эльна, ни согласный с ней Петер «не сыграли обратно» и по-прежнему остались вне церкви.

Раздача премий

Весной в зале Национального музея на берегу протока Строммен, соединяющего море с озером Меларен, вручали литературные премии.

Редакция самого распространенного в стране журнала, еженедельника «Ви», принадлежащего Союзу потребительской кооперации, каждый год устраивает большую книжную лотерею, весь доход от которой идет на денежные премии писателям и художникам — оформителям книги. В том году двумя первыми премиями (по 10 000 крон каждая) жюри наградило писательницу Сару Лидман и Астрид Линдгрэн. Я пришел сюда, чтобы встретиться с ними. Особенно хотелось мне увидеть Сару Лидман, с которой я познакомился здесь же, в Стокгольме, полтора года назад, за день до ее отлета в Черную Африку.

По всем расчетам, на этих днях она должна была уже вернуться в Швецию.

Известная певица Кристина Эквист исполнила положенные на музыку стихов старейшего писателя Бу Бергмана. С вручения ему премии имени трубадура Эверта Тоба, учрежденной журналом «Ви» и кооперативным издательством «Рабен и Шьегрен», собственно, и началось это торжество среди цветов, которых в зале было очень много.

Сам Эверт Тоб находился в публике.

Один за другим лауреаты подошли к главному директору Союза кооперации Акселю Гьерсу и принимали из его рук чек.

Астрид Линдгрэн, которую, как сказал, вручая ей премию, главный директор, любят все дети — пятилетние и пенсионного возраста, — прочитала главу из новой повести «Эмиль в Лененберге», которая, по словам того же директора, столь же чарующий продукт Смоланда, как и она сама.

После вручения премий Аксель Гьерс произнес речь, посвященную плодотворному содружеству литературы и искусств в кооперативной прессе.

В зале было восемь лауреатов, от знаменитого Бу Бергмана, которому недавно исполнилось девяносто пять лет (он вошел в литературу еще в прошлом веке), до молоденькой Кристин Видман, первый сборник новелл которой издан совсем недавно.

Пришли сюда и многочисленные друзья лауреатов...

Но как я ни разглядывал находящихся в зале, отыскать Сару Лидман, которая также получила первую премию, я не мог найти ее по-мальчишески остриженную голову. Она так и не приезжала еще из Африки. А эта премия поможет ей и дальше жить там, как она жила все это время, в самой гуще борьбы негров за свои права, за независимость — той борьбы, о которой она пишет сейчас новую книгу. Впрочем, и там, на южных широтах, Сара Лидман могла бы встретиться с озорной рыжей девчонкой Пеппи. Ведь в следующей книге Линдгрэн Пеппи со своими друзьями тоже отправилась из Швеции — таков дух времени — в южные моря. Там, подружившись со своими чернокожими ровесниками, она помогает им избавиться от белых разбойников, которые грабят туземцев-островитян так же, как в ЮАР, забирая их богатство — алмазы.

Так возмущение шведского народа апартеидом, расовой дискриминацией, своеобразно проявляется в детской литературе.

Из третьей книги приключений Пеппи Сара Лидман вместе со своими читателями узнает также, что Аника, Томми и Пеппи втроем решили, что не стоит им становиться взрослыми. Вечно те заняты слишком уж скучными делами, мучаются от мозолей, женщины все время болтают о платьях, а мужчины озабочены и возмущены тем, что непрерывно растут коммунальные налоги. Этим ребятам не повезло встретиться с такими женщинами, как Сара Лидман, с такими мужчинами, как Эверт Тоб. Тогда бы они иначе думали о взрослых. А пока Пеппи с приятелями стали принимать особые волшебные пилюли, чтобы никогда не превратиться во взрослых.

Нет, не суждено Пеппи стать морским разбойником! Никогда!

ВОСКРЕСЕНЬЕ С ИВАРОМ ЛУ-ЮХАНССОНОМ

Усадьба Фредерики Бремер

Почетный доктор философии Упсальского университета, писатель Ивар Лу-Юханссон, седой, неутомимый, краснолицый, идет в гору так легко, словно и нет за его плечами шести с лишним десятков лет. Он показывает путь. Оставив автомобиль внизу на обочине уходящей вдаль дороги, мы медленно поднимаемся на холм по аллее, обсаженной вековыми липами. Мы — это тоненькая, смуглая, не по-шведски экспансивная, молодая талантливая поэтесса Анн Смит, мой старый друг Ирья Странд — секретарь общества «Швеция — СССР», наш культуратташе Валентин Куренцов и я.

Я привез Лу-Юханссону книжку его рассказов «Мадонна скотного двора», вышедшую недавно в Москве.

— Скажите, этот шведский Дон-Жуан выдуман вами или так было на самом деле? — уподобившись тысячам наивных читателей, спрашиваю я Ивара, вспомнив рассказ-анекдот из его книги.

— Почти все, о чем я пишу, имеет фактическую подоплеку, — отвечает он. — Правда, я не был сам на суде. Об этом случае мне рассказал адвокат...

«Шведский Дон-Жуан» — батрак Рудольф Седер без сопротивления овладел на сеновале дочерью арендатора Хильдой, двадцатипятилетней девушкой, коренастой, широкой в кости, не уступающей по силе мужчине. Родив ребенка, Хильда предъявила упорно отрицавшему содеянное Седеру, человеку женатому, иск об алиментах. Так как нельзя было скрыть, что в день грехопадения истица и ответчик пребывали вдвоем на сеновале, то перед слушанием дела адвокат подошел к Седеру и прошептал:

— Говори: «Правда, я ласкал ее, но я не обладал ею», — это может тебя спасти.

«Было ясно, что эти слова противоречили и правде, и всему принятому у шведов, — как пишет Лу-Юханссон, — бесцеремонному обращению с женщинами», — Седер утвердительно кивнул и пообещал запомнить.

Дело было изложено суду со всеми подробностями.

— Значит, вы признаете себя отцом ребенка?

— Нет...

Мозг ответчика работал напряженно. Стараясь поточнее припомнить совет адвоката, он мысленно, так, как подсказывал ему его «несложный шведский ум», произнес:

— Правда, я обладал ею, но я не ласкал ее...

— Да, это так и произошло! Как в моем рассказе, — подтвердил Ивар и добавил: — Я знаю, многие мужчины ругают шведов за то, что они изобрели алименты. Но ничего не попишешь — правда есть правда.

Возвышенная и пылкая фантазия испанцев породила Дон-Жуана, а заземленный, холодный шведский разум противопоставил ему алименты!

...Мы уже взобрались на плато — вершину холма, где стоял трехэтажный каменный дом старинной усадебной архитектуры.

Дом был белый, с крутой крышей и высокими окнами, изрезанными квадратами переплетов. На просторной укатанной площадке перед домом поскрипывала галька, блестящая, влажная от прогоняемого солнцем инея.

К левому крылу усадьбы подходил длинный низкий павильон.

— Здесь раньше были господские конюшни, — сказал Ивар, — а все имение принадлежало Фредерике Бремер.

— Девице Бремер? — переспросил я.

— Да, девице. Ты слышал о ней?

Я читал переписку Якова Грота с редактором «Современника» Плетневым, печатавшим на страницах своего журнала роман «Семейство» Фредерики Бремер — «девицы», как тогда ее именовали критики.

«Не забудь ради бога навестить Фредерику Бремер», — писал Плетнев своему другу Якову Гроту в 1847 году, когда узнал, что тот едет на месяц в Швецию.

Впрочем, Яков Грот, который взял с собой изданный в России в переводе его сестры нашумевший роман Фредерики Бремер «Семейство», и без напоминания не забыл бы съездить в Орсту. Так называется местечко в полусотне километров от Стокгольма, куда сейчас привез нас Валентин Куренцов.

В двенадцать лет, переодевшись мальчиком, Фредерика хотела принять участие в войне с Наполеоном, и будь она лет на пять старше, возможно, из нее вышла бы вторая Надежда Дурова — девица-кавалерист.

При конфирмации своими вопросами девочка привела в замешательство пастора. А войдя в возраст, решительно отклонила все предложения вступить в брак (была она богата и миловидна) потому, мол, что хотела «любить и содействовать счастью в с е х люд е й».

Я отдавал должное и храбрости и человеколюбию «девицы Бремер», умершей сто лет назад, но в мои планы не входила поездка в ее имение. Мне вполне хватило и того утреннего часа, когда на осеннем солнышке в старом парке Хумлегорден в Стокгольме я сидел на скамейке возле нового, без пьедестала — всего одна ступенька, — словно из травы вырастающего памятника Фредерике Бремер. В длинном, до пят, платье, в бронзовом чепчике, накинув на плечи бронзовую кофточку, она стояла, приподняв руку, словно благословляя ребятишек, резвившихся вокруг нее на лужайке.

Мы же очутились здесь потому, что Ивар обещал показать нам место, где он родился, где свыше полувека назад проходило его трудное детство, где он был статаром у помещика. А то, что при этом мы побываем еще в поместье Фредерики Бремер, — приятный сюрприз.

К тому времени, когда Яков Грот приехал сюда, Фредерику Бремер, это «невысокое робкое существо с кротким взглядом, и тихим голосом, и ласковой улыбкой на лице», как он изобразил хозяйку Орсты в письме к Плетневу, — выдающуюся писательницу, уже знали в Европе.

Виднейшие художники, и среди них Ханс Христиан Андерсен, считали честью состоять в переписке с ней и быть ее гостями.

В России между «Отечественными записками», «Современником» и «Москвитянином» шла ожесточенная перепалка из-за романа «Семейство». В «Отечественных записках» «неистовый Виссарий» напал на опубликованный «Современником» роман за то, что основная мысль в нем та, «что счастье заключается только в семейной жизни и человек назначен природою преимущественно для семейной жизни». Яков Грот, верноподанный и заядлый консерватор, возражая Белинскому, славил в «Москвитянине» роман за то, что идея его «заключается в том, что первое условие счастья человеческого есть любовь». Вместе с Плетневым они видели в произведениях Бремер заслон, орудие борьбы с «завиральными» сенсимонистскими идеями романов Жорж Занд, проповедующей эмансипацию женщин.

Не ведал Яков Карлович, что в тот день, когда это робкое существо с кротким взглядом играло ему здесь на фортепиано мелодии народных шведских песен, была уже подложена мина под его взгляды — роман «Жизнь сестер» написан, а Бремер выступала в нем как единомышленница Жорж Занд, сторонница женского равноправия. Через полгода, получив от нее этот роман, Грот перестал быть апологетом смелой, добравшейся до самого римского папы писательницы. Но и Белинскому уже не суждено было узнать, что Фредерика Бремер стала в этом споре на его сторону. В Швеции имя ее вскоре стало знаменем движения за права женщин.

Через двадцать лет после ее смерти шведские феминистки основали «Общество женского равноправия имени Фредерики Бремер».

Хотя требования писательницы давно уже перестали быть спорными и многие воплотились в жизнь, общество это существует по сей день.

— Чем же оно занимается?

— Главным образом благотворительностью, которой столько энергии отдавала и сама Фредерика, — отвечает Анн Смит и, припоминая, добавляет: — «Общество Бремер» требует, чтобы там, где муж и жена работают вне дома (это новое, такого при жизни Фредерики не было), тяготы домашнего хозяйства не ложились на одну женщину. Чтобы муж и жена делили их поровну. А так бывает сейчас только в трех семействах из десяти. Этот подсчет произвело само «Общество Бремер». Так что работы им, я думаю, хватит еще на много-много лет! — смеется Анн. — Наверно, и у вас в Союзе в этом отношении не благополучнее?!

Обойдя вокруг дома, некогда принадлежавшего Бремер, мы спустились прямо по крутому склону — от скалы к скале, от ствола одной сосны к другому — вниз, туда, где у обочины шоссе оставили автомобиль...

За развилкой Ивар попросил Куренцова остановить машину.

— Кажется, здесь стоял когда-то барак, где жили мои родители-статары, где я родился в первом году этого века. Впрочем, нет! Поехали дальше.

«Молочный колокол» и «белая плетка»

Статары! Давно ли я думал, что самыми обездоленными земледельцами (после крепостных) были торпары, бытовавшие в Финляндии до рабочей революции восемнадцатого года. Но здесь я узнал, что для шведа статара стать торпарем было мечтой трудно осуществимой.

Еще бы! Торпарь за отведенный ему клочок земли обязан был работать на помещика три-четыре дня в неделю. Остальные же принадлежали ему самому. У статара все дни — и свои и женины — отданы хозяину. В статары помещик брал только семейную пару — мужа и жену.

Муж работал на поле и в лесу, жена ухаживала за скотом, доила коров. На долю женщины приходилось в хозяйском коровнике шестнадцать коров, которым надо было задавать корм, убирать за ними и донть каждую три раза в сутки.

«Белая плетка» — так называли статары молоко, дойку.

И хотя помещик мог по своему произволу в любое время согнать торпаря с земли, выставить из его избенки, но до тех пор торпарь жил все же отдельно, своим хозяйством, мог иметь лошадь, корову, живность, а значит, иногда и кое-какие деньжата. Статар же занимал комнатку в общем бараке, где, кроме его семьи, часто размещалось еще шесть — восемь других статарских семейств. Корову иметь ему запрещалось. Своего хозяйства он не вел — лишь несколько грядок огорода. На работу утром всех подымал «молочный колокол», утверженный на стене коровника или на особой звоннице у барака. Обед тоже объявлял «молочный колокол» — неременный атрибут статарской жизни. И денег, жалования, статары почти не получали: хозяин за все расплачивался натурой, продуктами, — полуголодный паек.

— Когда я был маленький, — рассказывал Ивар, — отец получал от хозяина за работу всей семьи семьдесят пять крон в год деньгами и ржи, пшеницы, бобов, мяса, шерсти, соли примерно на такую же сумму. По одной бочке селетки в год и четыре литра молока в день.

Каждый год с двадцать четвертого октября до первого ноября, казалось, наступала лучшая жизнь. По всем дорогам от Сконе до Упланда двигались повозки, нагруженные нехитрым домашним скарбом и детишками статаров. Одни шли на север, другие — навстречу. В эти дни закон разрешал сменить хозяев. (Договоры составлялись на год.) Но на новом месте струя «белой плетки» так же звонко била в подойники, так же в урочные часы раздавался удар «молочного колокола», продолжалась та же подневольная жизнь. И нередко случалось, что семья продавалась этот путь семь, а то и десять раз, и все же в конце концов престарелая чета возвращалась умирать под заброшенный «отчпй» кров или обращалась за помощью к муниципальной благотворительности.

«Врожденный кочевой инстинкт» — причина этой непоседливости, утверждал один исследователь.

— Неправда! — горячится Ивар. — Большинство статаров переселялось на новое жилье, даже не заглянув туда заранее. Просто хотелось показать прежнему хозяину, что они свободные люди, а не рабы. Жена надеялась из окошка новой кухни увидеть новые просторы, муж искал новых товарищей, новые поля. А все было точно так же, как на старом месте. Хуже быть не могло! Вы, может, мне не поверите, но статары никогда не пели. Нет статарских песен.

— Вот здесь стоял дом, где я родился, где прошло мое детство.

Куренцов затормозил.

Серая пашня-зябь простиралась по обе стороны шоссе. Справа она упиралась в каменный холм, поросший ельником, который казался еще темнее оттого, что тяжелые кучевые облака совсем закрыли солнце. И серая пашня с низкими гребешками борозд, словно осеннее озеро, подернутое рябью от внезапно налетевшего ветра. Но рябь эта застыла в неподвижности, и только шагах в пятидесяти от шоссе поблескивал какой-то предмет, словно небольшой гранитный валун, крапленый слюдой.

Никакого дома не было.

— Его разобрал в сорок восьмом году новый арендатор.

На полях Фредерики Бремер в свое время работали статары — деды и прадеды Ивара.

— А вот там было пастбище. На таком же пастбище однажды еще мальчонкой я прочитал книгу, которая определила мою судьбу. В тот день коровы, наверно, были очень довольны мною, — засмеялся Ивар. — Я должен был следить, чтобы они не зашли в овсы. А тут под рукой у меня, на мое и коровье счастье, оказалась книжонка. Я читал ее и думал, что все это наша жизнь. Читал и не мог оторваться. Как будто время остановилось. Называлась эта книжка «Снежный буран». Мела метель. Хозяин и работник сбились с дороги. Замерзли. А когда я дошел до последней страницы и поднял глаза, то увидел, что коров на лугу нет. Ушли на посевы. Потрава. Я вскочил на ноги и долго мучился, пока снова не собрал их.

— Чья же это книга?

— Льва Толстого! — с недоумением взглянул на меня Ивар.

Речь шла о рассказе «Хозяин и работник», названном в переводе «Снежный буран». Потрясенный им пастушонок, сын статара, вознамерился и сам рассказать другим о горькой жизни статаров — стать писателем.

Куренцов включил мотор. И тут я спросил Ивара, что это за тюки видны на пашне?

Оказалось, что пластиковые мешки с минеральными удобрениями. Фирма по заказу привозит их и сбрасывает с грузовиков прямо на поле. В хлорвиниловых непромокаемых мешках удобрения сохраняются до весенней поры.

— Но мы едем сейчас к человеку, который арендует большую часть имения Бремер и объяснит нынешнюю агротехнику лучше, чем я!

Теперь, когда мы проезжали мимо полей и я видел мешки с минеральными удобрениями, мне вспоминался швед скотопромышленник Улав Густавсон, который, прибыв в Парагвай бедняком, стал там мультимиллионером. При встрече с этим Улавом Густавсоном шведский король, отец нынешнего, между прочим, спросил, как это ему удалось стать таким могущественным «мясным магнатом». И Густавсон ответил:

— Для этого, ваше величество, нужны только три вещи: телка, бык и гамак. Об остальном позаботится природа.

О разговоре короля со скотопромышленником рассказал мне Артур Лундквист.

На нехватку гамаков, чтобы, покачиваясь в них, не мешать природе делать свое дело, Швеция пожаловаться не может. Но рецепт парагвайского животно-

вода, очевидно, приложим только к южноамериканской пампе. В Швеции и земля и животноводство требуют неустанной заботы человека.

Впереди виднелась усадьба-мыза, окруженная рощей. Среди черностволых, облетевших лип поблескивала вырезанная из меди листва старого дуба.

— Символ помещичьего хозяйства! — обернулся к нам Ивар. — Граница распространения дуба была и границей расселения статаров. Упланд. Даларна. Севернее их дуб не рос, севернее их и статары не жили. Да там и не было настоящих поместий...

Только в тысяча девятьсот двадцать первом году закон запретил телесные наказания для статаров. А вся унижительная статарская система начисто была отменена в том самом году, когда рухнул Гитлер... Сорок пятом! Случайное совпадение во времени! А может, и не случайное?

Мы съехали с шоссе на дорогу, ведущую к огромному вишнево-красному, как и большинство сельских строений, дощатому сараю.

Умный плуг

Ворота сарая были открыты, и перед нами стоял трактор, на сиденье которого взгромоздился белобрысый паренек в полосатом синем свитере. Финским ножом он вырезал на палке узоры.

— Когда я приехал сюда в прошлый раз, этот участок в триста га (часть бреммерского имения) арендовала вдова, у нее был маленький сынишка, — вспоминал Лу-Юханссон. — Трудились тогда на ферме сорок батраков — или, по-современному, сорок сельскохозяйственных рабочих — и тридцать лошадей. Но с тех пор прошло уже больше десяти лет.

— Ни фермерши, ни ее сына дома нет. Уехали в город. Воскресенье ведь! Да и рабочих вряд ли застанете. Осенние работы закончены, — отложив свое занятие, охотно отвечал паренек. И, пряча в ножны финку, добавил: — «Акционерное общество Шведское королевство» по субботам и воскресеньям закрыто.

Эту шутку я слышал здесь уже не в первый раз.

Паренек оказался студентом-практикантом сельскохозяйственной школы, по нашему — техникума, сверстником и соучеником сына фермерши, знавшим все ее хозяйство.

— Теперь на ферме семь наемных рабочих, — отвечал он на наши расспросы, — и восемь тракторов.

Куда же девались тридцать три человека? Вряд ли стоило спрашивать об этом паренька.

— Сейчас, — сказал Ивар, — и по внешнему виду нынешних сельских рабочих не отличишь от городских, и плечи у них ровные. А статара я легко мог узнать — у него левое плечо было ниже правого. Потому что мешки с зерном всегда таскали на левом плече. А мера мешку была — сто килограммов! Мешки с пшеницей из России весили и того больше — сто сорок два килограмма.

Среди машин под крышей сарая я с особым вниманием разглядывал одну. Казалось, это был самый обыкновенный навесной двухкорпусный плуг. Но плуг этот для меня, знакомого с каменистыми полями Карелии, Ленинградской, Новгородской и других областей Северо-Запада, которые усеяны валунами, этими буквально камнями преткновения, о которые то и дело тупятся и ломаются лемехи, — был откровением. Он работает без искры, высекаемой при ударе железа о камень, без скрежета, болью отдающегося в сердце пахаря. Человек научил этот плуг обходить камень. Корпус его закреплен на шарнире и заперт на защелку, которую удерживает пружина. Когда плуг наезжает на камень, пружина сжимается, защелка освобождается и корпус приподымается. Препятствие пройдено, и пружины возвращают плуг в рабочее положение... Просто? Да! Трудно мне, неспециалисту, описать действие этого плуга. Но он существует! И насколько же смягчится характер наших механизаторов в Карелии, насколько менее цветистой станет их речь, когда такой плуг появится на пашнях Северо-Запада! Я уверен, что наши

конструкторы могут изобрести, а заводы изготовить плуги не хуже, чем эти. Но на всякий случай записываю его фирменную марку: «Арвика веркен».

— Да, камни! Булыжник! Я тебя понимаю, — говорит Ивар. — Об этих мучениях шведского земледельца я писал и в первых своих книгах о старарах, и в последнем романе — «Счастье».

Мы идем по узкой дороге к вишнево-темным домикам, где живут рабочие. Порывы ветра толкают в грудь, замедляя шаг. И вдруг с неба начинает энергично сыпаться крупный град. У порога одного из домиков — старый автомобиль. Градины, ударяясь об его крышу, высоко подскакивают. Куренцов, поглядывая на часы, говорит:

— В Стокгольм нужно вернуться засветло.

И, отложив встречу с работниками фермы на другой раз, торопясь, мы занимаем места в машине. Пока градины разбиваются об окна, выстукивают дробь по крыше, едем молча. Но вскоре град сменяется мелким, лениво падающим снежком. Первым в этом году!

«Требуется молодой гений»

Нет, старары не всегда были покорны судьбе и хозяевам. Как много изменилось за последние десять — пятнадцать лет!

Наш век насчитывает пять крупнейших стачек батраков. Самые большие — в тысяча девятьсот седьмом, восьмом, девятом годах. Бастовали во время уборки урожая. Из Галиции привезли батраков-поляков. Им, конечно, не сказали, что здесь бастуют. И на пристанях, и в имениях разгорались драки. Большинство вновь прибывших тут же отбывало обратно, восвоися, с физиономиями, расписанными, как здесь говорят, всеми цветами шведского флага.

В 1929 году в Смоланде, в местечке Сэдра Мэрэ, полиция выбросила бастующих стараров из баракон. Хозяева не дали даже лошадей. Сами старары впрягались в оглобли по шесть человек, а один сидел на облучке, держа вожжи. Открытки с этой фотографией продавались по всей стране.

В дни забастовки стараров в Смоланде Ивар вернулся на родину из своих скитаний по Европе. Работал каменотесом и судомойкой во Франции, был докером во всех портах средиземноморского побережья от Барселоны до Генуи, служил коридорным в гостинице, вместе с цыганским табором прошел Венгрию и о том, что видел и пережил, писал в шведские газеты.

— У меня, наверное, счастливая рука, — рассказывал он. — Через двадцать с лишним лет, уже после войны, я снова приехал в Руан, где в тысяча девятьсот двадцать шестом году из камня вытесывал для собора купель и крест... Все вокруг здорово пострадало от бомбежки, но моя купель и крест остались невредимыми... В Париже я зашел в ресторан роскошного отеля, где работал когда-то на кухне, в подвале, судомойкой. Тогда я и мечтать не мог о том, чтобы пообедать в этом ресторане... И вот после обеда я спустился в подвал. Там было все, как прежде: ни годы, ни война, казалось, не коснулись этого заведения... Только на том месте, где когда-то работал я, жирные тарелки, блюда усердно перемывал молодой араб. Может, и он когда-нибудь станет писателем!

Вернувшись на родину, молодой пролетарский писатель со всем жаром молодости начал борьбу против института стараров, унижительную тяжесть которого испытал на своей шкуре.

Одна за другой появлялись его будоражившие общественное мнение статьи, талантливые, принесшие ему широкую популярность романы «Доброй ночи, земля», «Только мать», «Трактор» и сборники рассказов «Батраки», «Пролетарии земли» — о старарах, их семьях, их труде. Часть этих новелл вошла в сборник «Мадонна скотного двора», вышедший на русском языке. Переведенный на двенадцать языков роман «Только мать» вскоре также появится и на русском.

Ивар ездил с уполномоченными профсоюзом сельскохозяйственных рабочих от имени к имени, от фермы к ферме, выступал на собраниях батраков и стараров.

на митингах в городах, писал статьи, участвовал в организации отделений профсоюза сельскохозяйственных рабочих.

— Сейчас уполномоченные ездят на автомобиле. А тогда мы передвигались от мызы к мызе на велосипедах и всегда попевали туда, где назревал конфликт между старарами и хозяевами. Те, разумеется, злились, бойкотировали нас. Часто даже собак спускали с цепи. Мой приятель, старый понаторелый уполномоченный, из-за этого возил с собой потрепанную фетровую шляпу. Когда на него бросалась собака, он швырял ей шляпу. И пока пес занимался ею, проходил в дом к батракам.

Тринадцать лет, отданных борьбе статаров, завершились победой. Через четверть века после того, как закон запретил телесные наказания статаров, сам институт статаров был уничтожен.

Обошлось без вмешательства государства.

Профсоюз сельскохозяйственных рабочих и Союз землевладельцев подписали договор об этом.

И если трудно установить точную дату, когда возник институт статаров, то дата его конца еще свежа у всех в памяти: 31 октября 1945 года.

Я видел фотографию: грузовик с мебелью, сундучками, тюфяками и прочей утварью, прикрытой брезентом, с велосипедом, прикрученным веревками к заднему борту машины. А перед ней в новой фетровой шляпе, заложив руки в карманы пальто, плотно сжав губы, торжествующий Ивар.

Это «последний переезд последнего статара» в октябре 1945 года.

Цикл книг, посвященных жизни и борьбе статаров, завершился в 1961 году большим романом «Неграмотные», прообразом героев которого послужили деды и родители писателя. И одновременно это первый из серии его автобиографических романов, книг полемических, посвященных жизнеописанию современной Швеции: «Разносчик», «Стокгольмец», «Журналист», «Писатель», «Социалист», «Солдат». Во время войны Ивар был мобилизован в войска, расквартированные на границе с Норвегией.

В дни нашего первого знакомства с ним газеты оживленно спорили о последнем его произведении — «Счастье». И если одни критики осуждали эту книгу о любви старого человека и молодой женщины за излишний, по их мнению, натурализм, то другие, наоборот, хвалили роман, противопоставляя его ранней книге Ивара Лу-Юханссона, посвященной «сексуальным переживаниям юноши».

Так много книг (я не все их и перечислил) — казалось, ни на что другое времени не остается! Но трудно представить себе этого человека без прямого вмешательства в жизнь. И таким вмешательством была его борьба (развезды, статьи, выступления на митингах) за улучшение жизни стариков. В Швеции — «стране стариков» — во второй половине сороковых и начале пятидесятых годов эта проблема была животрепещущей.

— Когда я пришел из деревни в Стокгольм, — рассказывал Ивар, — то, подыскивая работу, стал первым делом просматривать объявления в газетах. Одно из них как будто зывало прямо ко мне: «Требуется молодой гений, любящий чтение». Я был молод. Считал себя гением и был без ума от книг. Объявление это дал чудесный старик Ларс Роммель, владелец «Бюро патентов». Тогда еще водились такие частные конторы. Старик был известен как один из лучших в мире знатоков грибов, но прожить этим не мог. Ученый-миколог, он верил в существование духов. В конце концов Упсала присвоила ему степень почетного доктора естественных наук, но лаврового венка старик получить так и не успел. Венок этот возложили на его гроб.

В конторе Ларса Роммеля была обширная, разносторонне собранная библиотека. Несколько тысяч книг. Стеллажи высотой в четыре метра...

Ивару велели в три недели овладеть латынью — гений должен это суметь! Хозяин поручал ему читать книги и отыскивать в справочниках сведения, были ли уже такие машины, заявки на которые приносили ему сумасшедшие изобретатели,

творцы перпетуум-мобиле. Перед обилием книг, которые он должен был прочитать, юноша растерялся, хотя и поглощал в день по несколько сот страниц. К тому же в конторе, где он жил, нужно было мыть полы, выбивать ковры. Целую зиму он все же продержался у Ларса Роммеля и лишь весной нанялся в «Экспресс-бюро перевозок», где продавал с тачки дрова и уголь, переносил проданный товар на квартиры покупателей.

— Так закончился мой «гениальный период», — смеется Ивар, — о нем ты мог бы прочитать в романе «Стокгольмец». — И, немного помолчав, добавил: — А парень, который передо мной служил в конторе патентов, был гениальнее меня. Он сумел, работая там, подготовиться и сдать студенческие экзамены.

Телеграмма Максиму Горькому

По пути мы останавливаемся у старой кирпичной, сложенной из дикого камня. За ее оградой между оголенными деревьями разбрелись редкие холмики могил.

Ивар хочет показать интересную старинную роспись на стенах храма. Но в церкви идет заупокойная служба. Родственники и друзья умершего все в черном. Минув только что открытую песчаную могилу, мы проходим в дальний угол, где у каменной церковной ограды едва заметен низенький холмик, и читаем на шершавой гранитной плите полустертую уже надпись: здесь покоится рожденная в 1801 году и усопшая в 1865 году девица Фредерика Бремер.

Снег прерстал, снежинки, едва успев прикоснуться к еще не охлажденной земле, сразу тают, будто их и не было. И только перед церковной оградой, на гребешках поднятой зяби, как пена на мелких волнах, белеет снежок. И поле от этого еще больше похоже на свинцовое осеннее озеро.

— Не так уж далеко отсюда на берегу моря стоит уцелевший крестьянский дом, где несколько дней жил генерал Кульнев, — говорит Ивар. — Этот дом показывают всем отдыхающим из окрестных пансионатов. Я там бывал. Старики в Грипельсхамне до сих пор вспоминают, как в детстве деды рассказывали им, какой хороший был этот «страшный» на вид русский генерал. За удовольствие, взятое войсками у населения, он расплачивался звонкой монетой, а не квитанциями. Когда же его отряд был отозван обратно, он во что бы то ни стало хотел заплатить за постой хозяину!..

Известно, что война со Швецией в 1808—1809 годах была затяжной, изнурительной, военные действия шли с переменным успехом. В начале 1809 года военные операции происходили более чем в тысяче километрах на север от Стокгольма, вблизи нынешней шведско-финляндской границы. Там сосредоточились и шведские и русские армии. И вдруг в марте, пройдя по торосистым льдам Балтийского моря, грозящим каждый день вскрыться и отрезать смельчаков от своих, неожиданно на самых подступах к Стокгольму появился Кульнев с тремя эскадронами Гродненского гусарского полка и несколькими сотнями казаков, захватив попутно кавалерийской атакой шведскую военную флотилию, зимовавшую во льдах.

Это был авангард оставшихся на Аландских островах войск, которыми командовал Багратион.

Появление отряда Кульнева в виду незащищенной столицы вызвало невообразимую панику, ускорило политический переворот в Стокгольме — старый король был отрешен от власти, шведы запросили мира. В шутке, что это Кульнев возвел на шведский престол наполеоновского маршала Бернадота, есть доля истины.

— У нас имя Кульнева, — сказал я Ивару, — известно меньше, чем у шведов. Подвиг народа в отечественной войне 1812 года затенил предыдущую не столь уж славную кампанию. Ни один наш поэт не посвятил Кульневу таких прекрасных стихов, как ваш Рунеберг. Даже стихи Дениса Давыдова о нем уступают рунеберговским. А ведь Давыдов был в отряде Кульнева и участвовал во всех схватках этого поистине легендарного рейда.

Правда, записи Дениса Давыдова сохранили приказ по отряду, отданный Кульневым на Аландских островах перед рейдом на Стокгольм по льдам Балтики: «С нами бог! Я пред вами. Князь Багратион за нами! В два часа полуночи соберемся у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды ваши. Честь и слава бессмертная! Иметь с собой по две чарки водки на человека, кусок мяса и хлеба и по два гарнца овса. Отдыхайте, товарищи!..»

На шведской земле Денис Давыдов, несомненно, бывал в барских усадьбах, находившихся в расположении русских войск. Возможно, он побывал и в Орсте у отца Бремер. Так тогда было положено. Так поступал и сам Кульнев. Незадолго до перехода по льду через Балтику он со своими гусарами в Якобстадте запросто посещал родителей будущего поэта Рунеберга. Бывало, придет этот великан, кудлатый, заросший до глаз черной как смоль курчавой бородой, отстегнет огромную саблю, поставит в угол, сам отворит шкаф, вынет оттуда графин с водкой, потчует хозяев, не забывая и себя. Ласкает детей, играет с ними, вспоминал в старости поэт.

Если такое неотразимое впечатление произвел не очень-то многословный Кульнев на пятилетнего тогда мальчугана, который через полвека воспел его в книге «Рассказы прапорщика Стооля», известной каждому шведскому школьнику, то можно представить себе, как подействовали на живое воображение восьмилетней девочки Фредерики рассказы блестящего гусара Дениса Давыдова, только что совершившего со своим отрядом поистине легендарный рейд. Может быть, под влиянием его рассказов она через несколько лет и собралась на войну, чтобы рядовым сражаться против Наполеона.

— Так что же, поедем посмотрим избу Кульнева? — спрашивает Ивар.

— В другой раз, — отозвался Куренцов. — Я хочу засветло привести машину в Стокгольм.

Впервые я узнал, что существует на свете такой писатель Ивар Лу-Юханссон, прочитав телеграмму, поздравлявшую Максима Горького с шестидесятилетием, которую подписал Ивар по поручению двадцати одного шведского писателя.

Сельма Лагерлеф прислала поздравление отдельно.

Обе эти телеграммы теперь напечатаны в сборнике переписки Горького с зарубежными писателями.

Ивар хорошо помнит и другую телеграмму, которую он тоже подписывал от имени группы писателей, обзвонив их предварительно по телефону, — телеграмму Горькому, но в 1932 году. И телеграмма была далеко не поздравительная.

В том году шведские писатели предложили присудить Нобелевскую премию Максиму Горькому, и об этом их предложении было широко известно. Но премию получил Голсуорси.

И тогда одиннадцатого ноября из Стокгольма в Москву полетела телеграмма: «Мы, шведские писатели, которые тщетно взывали к Шведской академии признать Вас достойным чести получить Нобелевскую премию, шлем сегодня великому писателю России и рабочего класса свой горячий и почтительный привет».

От имени двадцати одного писателя депешу подписал тот, кто сегодня показывал мне свои родные места и имя Фредерики Бремер.

Среди этих двадцати были имена таких ныне прославленных прозаиков, поэтов, драматургов, как Артур Лундквист, Харри Мартинсон, Муа Мартинсон, Нильс Ферлин, Вильгельм Муберг, Юзеф Чельгрэн, Гуннар Экелеф, Альберт Викстен.

Агнес фон Крусеншерна, подписавшая письмо в Шведскую академию, вскоре сняла свою подпись и предложила присудить премию Габриелю Д'Аннунцио. Между нею и Иваром возникла и разгорелась по этому поводу острая дискуссия, занявшая не один столбец в нескольких номерах газеты «Дагэнс Нюхетер».

Книги Максима Горького и его пьесы, с успехом шедшие на сценах Скандинавии, в свое время определили и призвание и жизненный путь не одного швед-

ского писателя. По собственному признанию Юзефа Чельгрена и Муа Мартинсон, Яна Фридегора и Ивара Лу-Юханссона, Харри Мартинсона, Сары Лидман, воздействие Максима Горького на их творчество было огромно.

Может быть, это простое совпадение, но мне хочется отметить его: и телеграмма шведских писателей Горькому, и полемика, разгоревшаяся вокруг нее, были опубликованы на страницах той самой газеты, которая ровно за двадцать лет до этого напечатала взволнованную, написанную специально для нее статью Максима Горького.

«Август Стриндберг был для меня самым близким человеком в европейской литературе, писателем, наиболее сильно волновавшим мое сердце и ум,— так начал свою статью Горький.— Каждая книга его возбуждала желание спорить с ним, противоречить ему, и после каждой книги чувство любви, чувство уважения к Стриндбергу становилось все глубже и крепче. Он казался мне кипящим источником, живые воды которого возбуждали творческие силы сердца и ума каждого, кто пил их хотя немного».

Так через десятилетия этим дружеским рукопожатием на страницах самой распространенной в стране газеты еще раз как бы подтверждалась сердечная связь и творческое взаимодействие наших литератур.

Ивар мог бы и не огорчаться так решением академиков. Ведь известно, что Шведская академия — учреждение своевольное и «строптивое». Что значит для них рекомендация шведских писателей, когда они не вняли даже словам учредителя Академии короля Густава III? На заседании, где обсуждались произведения, представленные к награде, король выступил против посредственной безымянной рукописи, присланной в Академию по почте, без подписи: «Похвальное слово полководцу Леннарту Торстенсону». И все же академики присудили первую награду именно этому «Слову», автором которого «оказался» сам король.

— Горький на нашу телеграмму, помнится, не ответил, — продолжал Ивар. — Жаль, что мне не пришлось познакомиться с ним. Но все-таки однажды мы оказались рядом, вплотную. Когда нацисты захватили Осло, они нашли на книжном складе рабочего издательства книги Максима Горького и тираж только что выпущенных на норвежском языке «Статаров». Наши книги попали на один костер. И я горжусь этим.

Было уже совсем темно, когда мы подъезжали к дому на Бастугатан, где живет Лу-Юханссон, и только на углу ярко светились витрины большого рыбного магазина «Консум», построенного там, где некогда стоял домик искусного инженера-изобретателя, физика, философа-мистика Сведенборга, оставившего потомству много о своих встречах и разговорах с обитателями иных планет.

...В просветы между забором видна на другом берегу озера высокая башня ратуши, увенчанная тремя коронами, подсвечиваемыми прожекторами.

Ивар не хотел переезжать из старого дома в более удобную современную квартиру потому, что из окна его рабочей комнаты видна и ширь озера Меларен, и ратуша на другом его берегу, и прозрачные мосты... Поэтому-то он так странно при знакомстве и назначил мне первое свидание.

— Пожалуйста, приходи... — назвал он дату и час и тут же добавил: — Если не будет тумана.

Потом-то я понял, что прежде всего Ивар хотел угостить меня зрелищем — прекрасной картиной шведской столицы, открывавшейся из окна его кабинета.

Отсюда же виден и повисший над озером Меларен знаменитый своей красотой и инженерной смелостью мост Вестрербру, под которым свободно может пройти многопалубный океанский лайнер. О строителях этого моста шведский писатель Юзеф Чельгрэн написал роман «Люди и мост» (изданный и у нас невиданным для Швеции тиражом — 300 000 экземпляров). В романе впервые в шведской прозе с нескрываемой авторской симпатией создан образ рабочего-коммуниста. Перу этого умершего от туберкулеза в сорок лет певца многотрудной жизни моряков принадлежит и популярная здесь пьеса «Неизвестный шведский

солдат» — о шведах, сражавшихся против Франко и погибших в гражданской войне в Испании.

Чельгрэн рассказывал, что однажды, когда он был учеником кочегара на корабле, ему в грязном кубрике попала в руки книга без начала и без конца. Эта книга поразила воображение юноши, взволновала его.

«Неизвестный писатель сорвал завесу с мира, в котором я жил, но которого не видел... Я впервые ощутил свою силу, почувствовал радость от того, что живу и вижу...» — писал он потом об этом свойственном литературе чуде преобразования. Тогда-то у него, третируемого всеми, последнего человека на корабле, впервые возникло острое желание написать о матросской доле, о красоте океана и его беспощадности.

Только через несколько лет Чельгрэн узнал, что автором найденной им в кубрике книги был Максим Горький.

НА ФЕРМЕ У АСТРИД ПЕТЕРСОН

Последняя лошадь

Вынырнув из глубокого омута сна, я не сразу даже и понял, где нахожусь. Пронизывая полупрозрачную занавеску, солнце заливало ровным утренним светом скошенный потолок мансарды, пятном ложилось на пестрый домотканый половилок у кровати-дивана, перескакивало на тонкую, покрывавшую меня перинку. За занавеской просвечивали медные стволы. Ветви сосен, подошедших к самому окну, медленно покачиваясь, словно им жалко было расстаться со снегом, заглядывали в комнату. Вершин я не видел, они были срезаны оконной рамой.

Снизу слышались женские голоса. Я окончательно проснулся. Разговор шел по-шведски. Ну да, я в Швеции, на западном берегу, в Халланде, в гостях на ферме у Астрид Петерсон — писательницы, которая в зимние месяцы пишет книги, а весной и осенью, облачившись в комбинезон, на своем сверкающем красным лаком тракторе пашет, убирает поля.

Устроенная ею вчера вечером встреча ошеломила и смутила меня.

Обед в Гетеборге в ресторане «Союза садовников» с главным инженером «Гета Веркен» Нильсоном Свенсоном, спроектировавшим новую Арендальскую верфь, начавшись в шесть пополудни, затянулся. И когда, преодолев по ночному трансъевропейскому шоссе номер шесть, идущему вдоль берега моря (время от времени слышны были его влажные вздохи), сто сорок километров, мы приближались к ферме Петерсон, стрелки на часах вместо восьми (время, к которому мы были приглашены) показывали уже больше одиннадцати.

— Не поздно ли? Не потревожим ли мы Петерсонов? Может, лучше заночевать в отеле в Фалькемберге?

— Они знают, что мы опаздываем, и ждут нас, — ответила, прибавляя газ, Лена Буберг. Журналист и художник-«прикладник», она охотно предложила отвезти нас на своей машине, меня и переводчицу, преподавателя русского языка Гетеборгского университета Ирину Юханссон, к их общей знакомой Астрид Петерсон и заодно уж «сделать» репортаж об этой встрече.

Но оказалось, что нас ждали не только Петерсоны. Десятка полтора празднично одетых, тщательно выбритых мужчин, большей частью пожилых, сгрудились в той половине горницы, где стоял покрытый вязаной скатеркой овальный стол. В другой половине ее большой прямоугольный стол уставлен блюдами и мисками с нетронутыми яствами.

Яркую лампочку на потолке затенял «абажур» — обыкновенное решето.

Из уважения к Астрид несколько ее соседей — участники мужского приходского церковного хора — задержались до позднего часа, чтобы спеть русскому гостю народные шведские песни. Едва мы вошли, как старик пенсионер, управлявший хором пожилых фермеров, деловито взмахнул руками, и громко зазвучала величальная песня. Потом другая. Веселый напев сменил грустный. Четкий

ритм марша — протяжную песню. Но все они, и даже протяжная, в отличие от наших северных расчленились на четко очерченные строфы-куплеты.

Эта встреча и растрогала меня, и смутила. Спев с короткими паузами четыре песни, соседи так же деловито распрощались с нами, и через несколько минут мы остались одни с хозяевами.

Утомленный днем, перенасыщенным впечатлениями и завершившимся сорокакилометровой поездкой в темноте, я через полчаса отправился на мансарду спать. Не разглядывая внимательно дома, я все же успел удивиться обилию разномастных коней и гривастых лошадиных морд, печально глядящих на меня с многочисленных акварелей и рисунков, сделанных карандашом и тушью, развешанных на стенах среди других картин.

Пейзажи и натюрморты написаны мастерами. Лошадиные морды — неумелыми дилетантами.

Неужели это работа Астрид? Не хотелось верить, но и неловко было спрашивать.

Когда я спустился вниз, Лена, Ирина и Астрид уже пили кофе со свежими утренними сливками. Приглашая к столу, Астрид перехватила мой взгляд, брошенный на картину с «красивенькой», словно перерисованной с поздравительной открытки лошадкой и засмеялась.

Оказывается, в прошлом году она написала рассказ «Последняя лошадь» — о прощании со старой, служившей ей верную службу лошадью.

Напечатанный в крестьянском журнале, рассказ этот «ударил по сердцам» многих пожилых фермеров. Ведь большинству из них, чтобы продолжать хозяйствовать на земле, пришлось скрепя сердце расстаться со своими верными друзьями и помощниками, без которых в молодости они и представить не могли себе сельской жизни.

Там, где четверть века назад шестьсот сорок тысяч лошадей топтали шведскую землю, ныне осталось лишь сто шестьдесят тысяч. И близок день, когда их постигнет судьба парусов. Как энергия пара сделала этих бывших властителей моря лишь игрушкой яхтсменов, так и трактор оставляет лошадей лишь на ипподромах для скачек, бегов и конного спорта.

Вероятно, об этом не без грусти думали те, кто, прочитав рассказ Астрид, чтобы утешить автора, стал присылать ей из разных концов страны свои неумелые рисунки, наброски с натуры, иллюстрации к рассказу. Выбрав из большой стопы лучшие, Астрид, обрадованная читательскими откликами, повесила их на стене.

Фермерша-писатель

Ширококостая пожилая женщина с зарубелыми от физического труда руками, с голубыми глазами, лучащимися добротой, — такой предстала передо мной в то мартовское утро Астрид Петерсон. В седоватой, коротко остриженной женщине, даже когда она сидела за столом, угадывалась несссякаемая энергия. Как эта шведская крестьянка всем своим обликом схожа с нашей, вологодской!

У родителей Астрид — малоземельных крестьян — было три сына и одна дочь.

— Братья не очень-то хотели учиться, но отец и мать, отказывая себе во многом, учили их. Я же мечтала о школе и была способная к учению, но родители решили — хватит девочке и четырех обязательных классов. Тогда это было обычным, — словно о каком-то давно ушедшем прошлом рассказывает Астрид. — Да и откуда им было взять средства на мое обучение? Так что сызмальства я работала на ферме.

Стихи она складывала с малолетства — для себя.

Обида на неравную долю мальчиков и девочек стала первым толчком ее общественной деятельности, которая впоследствии и сделала из нее активиста аграрной партии — партии центра.

А вторым толчком было семейное несчастье. У них с Даном родилась дочка глухая, а потому и немая. Как мучила Астрид тревога за девочку, как заранее она переживала обиды, которые неотвратимо будут наносить ребенку ее сверстники!

После долгих трудов она сама обучила дочку говорить. Соседские ребята оказались внимательны к девочке. Впрочем, это было так давно. Дочка уже успела выйти замуж и сама стала матерью.

В прошлый приезд в гости к Астрид внучка сказала ей:

— Как хорошо, бабушка, что с тобой можно разговаривать и в темноте!

Борьба за общественное воспитание физически неполноценных детей, выступления на собраниях и в печати создали Астрид известность среди земляков, избравших ее в комиссию культуры и образования сельской общины.

Дочка давно живет своим домом, но все равно Астрид собирает на два-три зимних месяца глухонемых детей из своей и соседних сельских общин и учит их говорить.

В зимние месяцы, как только дочка немного подросла, Астрид начала писать. Первая из ее повестей была о том, как искренне верующая сельская девушка мучительно расстается с религией и главное с церковью, постепенно убеждаясь во вредности религиозного учения, ограниченности и реакционности церковников.

Одних читателей книга подкупала искренностью, непосредственностью и точным знанием изнутри мельчайших подробностей сельской жизни, других пораживал открытый воинствующий атеизм писательницы.

За первой повестью последовали вторая и несколько книг стихотворений, тепло принятых критикой. Потом вышли два тома трилогии — «Башмаки» и «Га-лоши», посвященные истории трех поколений одной крестьянской семьи.

Следующей зимой Астрид думает закончить и третью, заключительную, книгу, подводющую читателя и героев к сегодняшнему дню «переворужения» сельского хозяйства, как называют одни, или «разорения», как говорят другие, мелкого шведского крестьянства.

И по сей день Астрид — воинствующая антицерковница.

Несколько лет назад она узнала, что пастор в школе (подумать только! — возмущается она) предлагал ученикам сообщать ему о неблагоприятных поступках одноклассников и даже взрослых! Уж тут она не дала ему спуска. Написала статью о безнравственности обучения детей доносам, подняла общественное мнение.

Но и пастор не остался в долгу.

Когда младшему сыну Астрид наступил срок идти к конфирмации, парнишка отказался. За это его оставили на второй год. Мол, недостаточно знает священные писание! Чтобы утешить сына, Астрид отпустила его на пасхальные каникулы (давняя мечта) в Англию с другими ребятами, чтобы принять участие в противо-атомном олдермастонском марше.

— Мама! В будущем году я обязательно возьму тебя туда с собой! — не уставал он твердить, вернувшись домой.

И она послушалась сына.

Как тесен мир! Значит, там, в Лондоне, я видел ее — Астрид Петерсон.

Помню, с каким волнением, вобравшись на каменную балюстраду на Трафальгар-сквере, среди многотысячной толпы я глядел на площадь, куда одна за другой непрерывным потоком вливались колонны, прошедшие трехдневный путь от базы атомных подводных лодок в Олдермастоне, и на присоединившихся к ним лондонцев.

Студенты Кембриджа. Оксфордцы. Лейбористская молодежь. Комсомольцы. Квакеры. Юноши со шкиперскими бородами, с трубками во рту и тщательно выбритые старики, стриженные девчонки в узких брючках, в развалившихся от трехдневного пути туфельках. Дни стояли пасмурные, дождливые. Над головами — лозунги на белых, зеленых, красных полотнищах: «За атомное разоружение», «Против консерваторов», «Против войны».

Вот кембриджцы несут высоко на палках чучело бронтозавра с надписью:

«У него было много силы и мало мозга — и его не стало!» — предупреждение человечеству.

Забрызганный грязью дорог отец катит перед собой детскую колясочку, в которой младенец позвякивает погремушкой совсем не в такт выкликаемым демонстрантами лозунгам. Молодая мать в ярком плаще шагает рядом. Она взглядывает то на ребенка, то на стоящих у подножья высокой, увенчанной статуей Нельсона Трафальгарской колонны руководителей марша. И таких семей, кативших перед собой колясочки с детьми, было немало.

Среди множества англичан, постепенно заполнявших огромную площадь, шли представители и других наций. Каждая под своим флагом. Итальянцы. Абиссинцы. Голландцы. Индонезийцы. Западные немцы. Французы. Многие в национальных костюмах. Молодые испанцы, девушки и юноши, приехавшие сюда из Мадрида и Барселоны, чтобы «наилучшим способом» провести пасхальные каникулы. И, конечно, скандинавы. Юноши со скиперскими бородами — с виду совсем «стиляги» — несут транспарант. На нем — желтым по голубому: «Шведы». И впереди седобородый старец, его ведет за руку пожилая женщина. А затем молодежь в модных спортивных костюмах и в национальной крестьянской одежде.

Они тоже прошли с двумя ночевками десятки километров, отделяющих Олдермастон от столицы.

— Да, я вела его за руку всю дорогу. Ведь он слепой, — объясняет Астрид. — Ему восемьдесят четыре года. Старый рабочий. Умнейший человек. Печатник. Мой сосед. Он тоже во что бы то ни стало хотел принять участие в марше и поговорить с Бертраном Расселом. После речи Рассела — вы ее слышали? — я подвела своего старика к нему. Рассел по-шведски ни гугу. Печатник по-английски — тоже. Но все же они нашли общий язык — латынь. Наш старик, оказывается, ее неплохо знал, он в юности готовился стать фармацевтом. Но обстоятельства не позволили. Не хватило средств.

В тот день лондонские полицейские арестовали свыше полусотни участников марша, которые демонстративно ложились плашмя на тротуар у входа в американское посольство и у канцелярии премьер-министра. Рослые бобби хватили за руки и за ноги непокорных, не желавших встать с тротуара юношей и девушек, запикивали в полицейские крытые фургоны и тут же отправляли в судебные камеры. Судьи наскоро вершили юридическую расправу, не давая подсудимым времени объяснить причины, которые заставили их улечься на отсыревшие каменные плиты. Среди лиц, перенесенных за руки и за ноги в фургон, находилась бойкая девятнадцатилетняя шведка.

— Вы думаете, для молоденькой леди это подходящее занятие — валяться на тротуаре перед посольством? — спросил судья.

— Чтобы обратить внимание человечества на опасность гибели от атомной бомбы, все способы хороши!

— Где вы постоянно живете? — строго перебил девушку судья.

— В Стокгольме.

— Гмм... Что же, вы и дома так ведете себя?

— Безусловно!

— Штраф. Десять фунтов стерлингов. За нарушение общественного порядка. Следующий!..

Об этой сценке я прочитал на следующий день в лондонской газете в репортерском отчете о судах над участниками демонстрации.

— Вам известен стокгольмский адрес этой девушки? Вы знаете ее? — спросил я Астрид.

— Конечно. У нее, у бедняжки, не было денег, чтобы заплатить. И я собрала среди других шведов недостающие сто крон.

Беседа постепенно возвращается из Лондона в Швецию, в Халланд, к ферме Петерсонов.

— А куда ушел Дан?

— Он задает корм скотине.

И мы с Астрид переходим через двор в коровник. Да, он вовсе не такой чистый, как на больших фермах. На тачке по дощатой дорожке, проложенной посреди коровника, между двух рядов кормушек, Дан развозит силос. Коровы, до которых еще не дошла очередь, нетерпеливо мычат.

— Так вот и крутимся, — говорит Астрид.

Сын Петерсонов в городе закончит высшее образование и назад на ферму не вернется. Да, стареет сельское население! Уже в 1950 году из ста фермеров шестьдесят один был старше пятидесяти лет. А теперь им бог еще возраста подкинул.

Продать свою землю первому встречному, пожелавшему приобрести их участок, ни Петерсоны и никто другой не имеют права. Можно продать землю только фермеру, общине или государству. Таков здешний закон, запрещающий разбазаривать годную для возделывания землю и пускать ее на другие, не столь насущные нужды.

Обо всем этом говорилось уже в машине. Снова Лена была за рулем. Астрид показывала дорогу. Она хотела, чтобы я побывал еще в одном хозяйстве поблизости — на ферме мужа ее племянницы, сельской акушерки.

— Она вышла замуж за учителя начальной школы, однако Руссен («русский») получил в наследство ферму и предпочел заняться землей. Земля меньше треплет нервы, чем ребятишки.

— Наследство? Русский?

— Нет, он швед. Фамилия Нильсон. Лет сто сорок назад прибил к шведскому берегу обтрепанный, молодой русский, военный. Бежал от царя. Мятажник, что ли? Остался жить здесь. Принял шведское подданство. Женился. И пошел от него род, который у нас называют «Руссен» — русский!

Мне кажется, что я слышу продолжение «Северной повести» Константина Паустовского. Неужели и эта повесть, как и ранняя его книга «Кара-Бугаз», основана на документальном материале?

Дом праправнука героя повести Паустовского, хотя и выглядел снаружи добротно старомодным, внутри был вполне, даже, может быть, утрированно современным. Просторные, не заставленные мебелью комнаты. Лампы, торшеры, низкие диванчики и прочая мебель — шведский модерн. Книжная стенка. Цветочная стенка. Все чисто, прибрано, вылизано, как для киносъемки. Полы сверкали лаком так, что боязно сойти с дорожки, чтобы не наследить, хотя сам хозяин, цветущий, краснощекий господин лет тридцати, просил не стесняться и быть как дома. Он, не скрывая, гордился своим домом, ничем не отличавшимся от уютных, удобных городских квартир. В ванной и на кухне краны с холодной и горячей водой. И еще господин Нильсон просил нас извинить, что он в рабочем костюме — только что из коровника, не успел переодеться, Астрид ведь не предупредила о нашем визите.

— Тот русский, мой предок, о котором вы спрашиваете, построил этот дом в 1840 году. Я же, когда женился, перестроил его заново, только фундамент прежний. Этот русский был не просто военный, а морской офицер, — сказал фермер, когда я исподволь завел речь о том, почему у них такое фамильное прозвище. — Звали его Николаем, Нильсом. Оттуда и Нильсоны.

Настоящей фамилии своего пращура Нильсон не знал, но обещал как-нибудь покопаться в церковных книгах и сообщить результат. Браки, рождения и смерти записаны в этих книгах за несколько сот лет существования прихода...

К обеду мы вернулись на ферму Петерсонов.

Дан был в праздничном костюме. Когда Астрид вышла зачем-то из горницы, я спросил его, как он относится к тому, что жена пишет книги.

О, он гордится ею, хотя, конечно, бывает одиноко на ферме, когда она уезжает по литературным делам или партийным. Вот и сегодня должна уехать в Стокгольм на несколько дней! Еще он очень жалел, что у него нет средств на то, чтобы полностью освободить ее от работы на ферме, чтобы она целиком могла заниматься литературой.

— Без поля, без трактора, мне кажется, я ничего не могла бы написать, — рассмеялась Астрид, когда Ирина передала ей слова мужа.

Уже темнело, когда мы отправились в обратный путь. Но в машине теперь нас не трое, а четверо. До Гетеборга Астрид Петерсон ехала вместе с нами.

Дорога вела на север, и море слева то показывалось из-за дюн, открывая широкие песчаные пляжи, то снова исчезало за ними. Далеко-далеко в море опускалось солнце, обогая своей светозарной кровью высокие перистые облака. А справа голубизна небес постепенно переходила в синеву, в сизость, нависавшую на иззубренные вершины сосновых лесов, от которых холмы на границе узкой приморской долины казались еще выше.

Леса эти снова напомнили мне, откуда, по мнению некоторых ученых, пошло название страны — Швеция.

«Огневище», «пал», «подсека» — так и у нас на севере называли место в лесу, где сначала подсекали деревья, а затем поджигали их, чтобы поднять сохой и засеять удобренную золой землю.

Огнем хозяйствовали в лесах и шведские земледельцы в древности.

Сжигание леса под пашню и по сей день означает словом «сведья» — «Швеция».

В ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ

Три судьбы

Как-то утром сельский почтальон доставил на велосипеде писательнице Астрид Линдгрэн — так же, как он делал это каждый день, — пачку писем и газет. В этой пачке была бандероль с рукописями.

Немало таких напечатанных на машинке, написанных пером и даже карандашом манускриптов приносили почтальоны писательнице в ее домик на берегу озера. Полученная в тот день рукопись была «толстая». В этом, правда, нет ничего необычного — десятки начинающих литераторов присылали ей и стихотворение, написанное на тоненьком листке бумаги, и многотомные эпопеи. Детвора присылает пестрые рисунки, изображающие Малыша, Карлсона на крыше, Пеппи с ее обезьянкой — господином Нильсоном и лошадью, Расмуса-бродягу.

— Однажды я получила картинку, а под ней цветным карандашом детскими каракулями было выведено: «Я нарисовал траву, которая растет в твоих книгах», — смеясь, рассказывала мне Астрид.

«Толстую» рукопись, о которой идет речь, Линдгрэн прочитала сразу же, не откладывая. Ведь не каждый день даже автор фантастических повестей получает роман, написанный ребенком.

Несообразность и наивность многих страниц изобличали возраст автора — двенадцать лет, но добрый взгляд проницательной писательницы увидел, что Пер — так звали приславшего рукопись мальчугана — многообещающе талантлив.

Астрид Линдгрэн позвала его к себе в гости. Обрадованный приглашением мальчик сразу приехал. Здесь ему пришлось услышать много горьких истин о недостатках его романа, о том, почему нельзя и не надо его печатать.

И тут же Линдгрэн предложила Перу, чтобы каждую неделю он присылал ей небольшие рукописи — размышления, рассказы строк на сто — сто двадцать каждая.

Это показалось мальчику менее интересным, чем писать романы, но советом любимого автора невозможно было пренебречь.

В свою очередь Линдгрэн условилась с одной столичной газетой, и еженедельно в течение года под рубрикой «Глазами мальчика» на страницах этой газеты публиковались заметки Пера — его наблюдения, эпизоды из школьной жизни.

По прошествии года эти заметки были собраны в один томик. Так вышла в свет и сразу обратила на себя внимание первая книга Пера Вестберга.

Ему исполнилось тогда четырнадцать лет. Затем вышла вторая — «Малыш пускает мыльные пузыри».

С тех пор на прилавках книжных магазинов Швеции одна за другой появляются новые книги сначала юного, а затем молодого автора.

Казалось, Вестбергу уготован легкий, «укатанный» путь. Но в декабре 1958 года ему присудили Большую стипендию солидного, вполне respectable клуба «Ротари», существующего почти во всех городах стран западного мира. Стипендия предназначалась для завершения образования в университете в Солсбери (Южная Родезия). Не достигший еще и тридцати лет писатель охотно отправился со своей еще более молодой женой в Южную Родезию для изучения «африканских мотивов в литературе». Вестберг рад был, что едет в страну, о которой так мало знают и так мало написано.

Он отправился туда без предубеждения против тамошних правителей, но и без закоренелых предрассудков о людях высшей и низшей расы.

Однако в Южной Родезии молодой писатель сразу же стал свидетелем того, что, как он сам писал, «приводит меня в бешенство; мне, как и очень многим, кажется, что только гром орудий может с достаточной силой выразить это чувство. Сдержаться так же трудно, как пройти с переполненным стаканом, не пролив ни капли».

И капли были пролиты.

Перу Вестбергу пришлось прервать свое турне по Южной Родезии с докладами о Швеции. Так и не завершив «образования», он был выдворен из страны.

Путь его теперь вел в ЮАР, куда он проник «по недосмотру полицейских и иммиграционных властей».

Нелегально прорвавшись в «локации» и «резервации», где томятся миллионы коренных жителей тех районов, о которых молодежь еще моего поколения узнавала по романам Райдера Хаггарда, Пер Вестберг увидел не только «мертвые души» колонизаторов-расистов, но и «живые души» — тех, кто принесет стране освобождение.

Он побывал в негритянских домах, где профессора из Витватерсранда и подпольные агитаторы встречаются с распространителями гектографических листов, сталкивался со «старомодными людьми, которые подготавливают себя к мученичеству и, кажется, уже возносятся на небо», разговаривал с «идеалистами, которые судорожно комкают в кармане сотый черновик письма в ООН». Ему кажется, что в воздухе постоянно витает одно слово: «Запрещено, запрещено, запрещено!»

«Я подумал, — пишет Вестберг, — вряд ли есть другая страна, где можно так радоваться каждому нарушению закона. Люди, так жестоко лишенные свободы, дали мне возможность ощутить ее так, как никто другой».

О том, что было увидено им в Южной Родезии, Пер Вестберг написал вышедшую в 1960 году книгу «Запретная зона», за ней последовала в 1961 году вторая — о пережитом в ЮАР — «В черном списке».

И если до тех пор Вестберг был, если можно так сказать, литератором «внутришведским», то эти книги, получив широкий международный отклик, переведенные на много языков, ввели его в круг современной мировой литературы.

В справочнике «Швеция сегодня», выпущенном в 1964 году «Шведским институтом», сказано: «Интересно отметить, что несколько выдающихся писателей, как, например, Сара Лидман и Пер Вестберг, в своих последних книгах отошли от шведских мотивов и обратились к проблемам африканских народов».

Это правда — но не вся.

Интерес сегодняшней шведской литературы не ограничивается африканскими проблемами, а захватывает весь колониальный и полуколониальный мир, ведущий борьбу за освобождение, и число захваченных этой темой писателей так же не ограничивается именами этих двух выдающихся писателей.

А блестящие умные книги Артура Лундквиста «Вулканический континент» и

«Анаконда» Рольфа Бломберга о странах Южной Америки? А произведение Яна Мюрдала об Афганистане, о Бирме? И того же Артура Лундквиста об Индии?

Что мы знали бы о народах Новой Гвинеи, Борнео, о Западном Ириане, если бы не книги другого шведа, другого Лундквиста — Эрика — «Каннибалы, мои товарищи», «Дикари живут на Западе» и «Люди в джунглях»?

И если сейчас мы уже что-то знаем о том, как живут народы Океании, то разве можно забыть при этом Бенгта Даниельссона — лысого энтузиаста с окладистой рыжей бородой, который, по уверениям Тура Хейердала, оказался настолько храбр, что, будучи шведом, отважился плыть «один среди пяти норвежцев» на знаменитом плоту «Кон-Тики»?

Как и Гоген, влюбленный в природу и людей южных морей, Даниельссон сейчас закончил книгу об этом замечательном живописце, материалы для которой он скрупулезно собирал на Таити у родичей и соседей художника. Из серии увлекательных книг Даниельссона, многие из которых — продолжение подвига, совершенного «Кон-Тики», на русский переведены три: «Большой риск (Путешествие на «Таити-Нуи)», «Счастливый остров» и «Бумеранг».

Перечень книг об Африке, Азии, Латинской Америке можно намного увеличить. Это и романы Бенгта Сёдерберга «Стремя», и Кристин Лилиеншерн «Семи лет достаточно», страстно и правдиво, едва ли не с документальной точностью повествовавших о борьбе алжирского народа за независимость в те годы, когда она еще не увенчалась победой. Но я рассказываю лишь о тех произведениях шведских писателей, которые изданы у нас в немислимых для Скандинавии тиражах разошлись с быстротой тоже немислимой.

Почти каждая из этих книг — подвиг и судьба писателя.

Совсем не схожа с судьбой Вестберга судьба Сары Лидман и Эрика Лундквиста.

Молодой ученый-лесовод, влюбленный в свое дело, увлекаемый романтической жадью познать неизведанные страны, Лундквист поступает на службу в голландскую фирму-монополию.

Она поставила перед ним задачу организовать в дотоле не тронутых джунглях Борнео лесозаготовки и вывозить в невероятно тяжелых условиях, без всякой техники, пользуясь одной только мускульной силой, ежемесячно по пяти тысяч кубометров ценнейшего копалового дерева.

Этой мускульной силой должны были стать местные жители — люди разноплеменные, вольные, во многом еще близкие к родовому обществу, не привыкшие день ото дня работать и не вынуждаемые к этому благодатной, богатой природой, обеспечивающей в достатке и без особого труда элементарные потребности этих «детей природы».

«Пять тысяч кубометров! — размышляет молодой лесовод, познавший уже, что такое и джунгли, и люди в джунглях. — На это потребуется самое малое тысяча человек. Даже если я прочешу все побережье и долины на площади, равной двум Даниям, мне не удастся набрать тысячи работоспособных мужчин. Не говоря о таких, которые были бы еще и трудолюбивыми. И даже если бы мне удалось набрать такое количество, как заставить этих свободных людей работать на меня? Ибо это по-настоящему свободные люди. Не такие, как мы с нашим хвастовством по поводу нашей вековой свободы, хотя мы не имеем даже представления о том, что такое подлинная свобода».

После двадцати лет работы на голландскую фирму, во время которой Эрик Лундквист исследовал тропические заросли, выполнял программу лесозаготовок, встретился с молодой прелестной индонезийкой Сари, полюбил ее и женился на ней, возвратившись на родину, он пишет одну за другой удивительные книги — добрые, человечные, сверкающие бешеными красками тропиков, наполненные непривычными уху звуками, напоенные густым ароматом неизвестных цветов, — «Люди в джунглях», «Дикари живут на Западе», «Каннибалы, мои товарищи».

«Меня они заполучили на эту работу потому, что я искал случая заработать и мечтал о приключениях. И так жажда наживы, обуревающая голландских каппи-

талистов, заставила меня и тысячи рабочих под моим началом выбиваться из сил единственно ради того, чтобы набивать бревнами ненасытные утробы пароходов. Или, — с иронией замечает Эрик Лундквист, — как говорят сами капиталисты: предприимчивость дальновидных голландцев заставила меня вместе с горсткой туземцев проделать блестящую работу по освоению новых земель... Отвлекаясь от повседневной сутолоки, я видел, как создаются узы, призванные превратить всех нас в рабов компании. Как предательски расставляются ловушки. И я видел в миниатюре, как возникло рабовладельческое общество Запада»...

Общественным обвинителем, нелицеприятным свидетелем тех жестокостей, которые совершаются над человеком в джунглях, предстает перед читателем Эрик Лундквист. И то, что раскрытие всей этой механики колониальной мерзости происходит не извне, а изнутри, делает его книгу поразительно достоверной. В ней сочетается страстный протест памфлетов Мультатули с мудрой человечностью дневников жившего в этих же краях Миклухо-Маклая.

Неповторимые судьбы, целая галерея людей джунглей — даяков, малайцев, яванцев, китайцев. Причем характеры их, раскрывающиеся в борении страстей, в сложных жизненных ситуациях, написаны рукой литератора, глядящего с любовью, испытывающего глубокое уважение к тем людям, которых так несправедливо называют «дикарями» и которые, по многократным заверениям Эрика Лундквиста, «умнее и обладают большей сообразительностью, чем средний европеец».

И когда Индонезия обрела независимость, было совершенно естественно, что Эрик Лундквист принял приглашение стать профессором первого, только что созданного в Багоре индонезийского университета и на несколько лет снова приехал туда, чтобы читать курс лесоводства... Этим годам и посвящено его последнее произведение «Острова и завтрашний день»...

Необыкновенна и жизнь Сары Лидман — этой молодой женщины из «края морошки» (как здесь называют Лапландию), родившейся в маленьком местечке севернее Полярного круга, где не было школы. Приехав с севера в Стокгольм, она нанялась в одно добропорядочное семейство прислугой, где и проработала некоторое время.

Хозяевам было известно, что в свободное от домашней работы время их слуга занимается «самообразованием», но кто мог догадаться, что она станет писательницей? Затем Сара Лидман служила подавальщицей в столовой и училась в университете, закончив который стала учительницей истории и языков — родного и французского — в средней школе.

Написанные молодой учительницей романы из жизни Норланда — «Смолокурния», «Край морошки», «Ростки под дождем», «Под омелой» — были очень хорошо встречены читателями и высоко оценены литературной критикой.

Решительная сторонница расового равноправия, Сара Лидман отважилась приехать в ЮАР, страну, где апартеид, расовая дискриминация белым меньшинством негритянского большинства, определяет все отношения — экономические, политические, социально-бытовые, — где по самому аморальному из аморальных законов, именуемому законом об «аморальных действиях», запрещены не только браки, но вообще общение между белыми и черными.

В этой стране она, ярко выраженная представительница белой расы, осмелилась подружиться с негром.

Оба они были по доносу арестованы.

Так возникло сенсационное «иоганнесбургское дело», вызвавшее возмущение во многих странах мира.

Будь Сара Лидман гражданкой ЮАР, ей угрожало бы тюремное заключение. Но она шведка, и поэтому в результате энергичных мер, принятых шведским посольством, местные власти ограничились тем, что ее выслали из страны.

Общественность Швеции возмущена тем, что Сару Лидман и ее друга привлекли к суду. Но многие друзья Лидман и даже незнакомые ей люди удивлялись тому, что она избежала громкого судебного процесса.

Почему не произнести эффектную речь, которая бы вызвала отзвук во всем мире и вынудила правительство ЮАР отменить «имморалити акт»? Разве не стоило пойти на то, чтобы провести несколько месяцев в тюрьме, говорили они, если этим можно добиться многого?

«Но в том-то и дело, что расплачиваться за это пришлось бы не мне, — отвечала Сара Лидман и друзьям своим и недругам в открытом письме в газете «Дагенс Нюхетер» по возвращении на родину. — К тому же законодательным властям ЮАР совершенно безразлично, что о них думают за рубежом. Если бы дело дошло до процесса, мне бы все равно не дали бы сказать ни слова. В таких случаях полиция зачитывает свой протокол, обвиняемый должен коротко отвечать «да» или «нет» на кучу нелепых вопросов и выслушать приговор суда. В зале суда не обсуждают, справедлив ли закон. Если вы осудите «имморалити акт» или как-нибудь выразите свое презрение к нему, это может привести к тому, что вам увеличат срок тюремного наказания до пяти лет да еще прибавят телесное наказание для обвиняемого мужского пола. Надзирательница, весьма напоминавшая садистку Ирму из бельзенского концлагеря, пришла ко мне в камеру в четыре часа утра специально для того, чтобы сообщить, что «моего черномазого дружка вздуют», и заодно спросить, знаю ли я, как это делается. Если нет, она охотно расскажет мне (!). Зато, если вести себя смиренно и покаянно, суд может ограничиться мягким приговором — девять, а то и шесть месяцев тюремного заключения плюс телесное наказание для мужчины, если он цветной».

Больше того, в тюрьме тоже существует дискриминация.

«Как иностранка, — писала Сара Лидман, — я могла получить полгода, но в действительности отсидела бы один месяц с последующей высылкой, причем в тюрьме со мной обращались бы лучше — я могла бы получать книги и переписываться. Зато моего друга посадили бы в одиночку, лишив книг, права писать письма... А питание в тюрьме такое, какое южноафриканский фермер не даст своей скотине. К тому же южноафриканцы знают, что в тюрьме их ждут побои и издевательства. Полиция и печать лишают людей того, чего не могут возместить никакие протесты и что у нас в Швеции называется «неприкосновенностью личной жизни».

Журналисты с утра до вечера осаждали комнату Сары Лидман.

Одна женщина-репортер кричала из-за двери:

— Что, боитесь ответить за то, что патворили? Видно, здорово стыдно, что не пускаете нас!

— Уходите! — ответила Лидман.

На следующий день в газете появился огромный заголовок: «Я не стыжусь!» — заявляет шведка».

Впрочем, и на родине репортеры не отличались тактом. Их желание выведать и разгласить подробности всей истории чуть не довело писательницу до нервного шока.

Открытое письмо в «Дагенс Нюхетер», перечислявшее жестокие порядки, установленные в Южной Африке, опровергающее клевету, возводимую на нее, Сара Лидман кончала так: «Не знаю, что из всего этого просочилось в Швецию, но прошу шведского читателя верить лишь одной сотой слухов, а все остальное забыть. А вот что действительно следует помнить, чего нельзя забывать — так это террора, которому подвержено цветное население Южной Африки».

И так же, как и в книге Пера Вестберга «В черном списке», действие вышедшего вскоре романа Сары Лидман «Я и мой сын» разворачивается в Южно-Африканской Республике. Главный герой ее книги швед — жалкий человек, игрок, пьяница, вор. Земляк Сары Лидман, тоже уроженец Лапландии, в гражданской войне в Испании он был добровольцем на стороне Франко. Всеобщее презрение на родине вынудило его покинуть Швецию. Совершаемые им подлости он пытается оправдать горячей, почти патологической любовью к сыну, желанием создать ему обеспеченную жизнь. Словесно прославляя расистскую политику, проводимую

правительством Фервурда, он в глубине души понимает мерзость апартенда и порой как будто даже испытывает какую-то долю симпатии к неграм. Но это чувство он тут же старается вытравить, так как оно мешает преуспеть в Южной Африке.

Это, казалось бы, камерное произведение, где действуют всего три-четыре персонажа, получило огромный общественный отклик. Написанный от первого лица как некое психологическое самораскрытие «героя», остросюжетный роман с каждой страницей срывает с рассказчика — «любящего отца» — маску за маской, и перед читателем встает во весь рост подлец, душевный мир которого и образ мыслей типичен для колонизаторов-расистов, представителей расы господ в Африке, да и не только там.

Объясняет «герой» свои проступки и преступления мечтой вернуться в Швецию обеспеченным человеком.

Потерпев, однако, крушение во всех своих замыслах, он решает — будь что будет! Обманом забирает заболевшего сына из больницы и везет в порт, чтобы вернуться в Швецию.

А сын рвется к своей любимой няне — негритянке Гладнес... Украденный героем автомобиль мчится к побережью, а в душе отца горечь поражения. Снова победила Африка, Гладнес, которую он кормил мясом для собак, потому что мясо для слуг-негров казалось ему слишком уж отвратительным...

Новое открытие Швеции

Сличая то, что они увидели в бывших колониях — обездоленных и ограбленных, в метрополиях, которые не стали счастливыми оттого, что «участвовали в грабеже, с той либеральной терпимостью и достатком, которые характерны для их родины, странствующие и путешествующие шведы легко впадают в грех «рудбекианства». Так, по фамилии ученого, ректора университета в Упсале Рудбека, именуют тут преувеличенные представления о прошлом Швеции, о ее роли в судьбах человечества и культуры.

Историк и архитектор, музыкант и естествоиспытатель, основатель ботанического сада при университете, пастор Улаф Рудбек больше, чем всеми своими трудами, прославился четырехтомным сочинением об Атлантике, в котором доказывал, что платоновская Атлантида, так же как и Острова Блаженных из скандинавских саг, идентичны Швеции. Он же утверждал, что описанный в Библии рай был расположен на шведской земле.

Если такое сочинение могло быть написано в семнадцатом веке, когда даже на похороны короля Густава Адольфа правительство решило не приглашать иностранцев, так как «если они приедут к нам, то увидят нашу нищету», то нынешний домашний уют и сытость тем более стали благодатной почвой, на которой пышно распускаются цветы восторженной самоуспокоенности, мещанской ограниченности рудбекианства.

В одном из своих последних выступлений председатель Коммунистической партии Швеции Карл Херманссон призывал к борьбе против большой опасности для шведской культуры, для шведского народа — национального самодовольства.

Сотни тысяч шведов туристов, в разных направлениях пересекающих земной шар, делают прививки против опасных тропических болезней. Однако, возвращаясь домой, они сами часто становятся бациллоносителями рудбекианства.

Но в то же время, открывая миру нанесенные на карту, но не открытые досель литературой новые острова, экзотические материки, населенные вольнолюбивыми народами, шведские писатели «прописывают» своим читателям горькое сильнодействующее лекарство против распространенной заразной болезни — национального самодовольства.

Чувство родины — Швеции — не покидает их даже тогда, когда, поглощенные борьбой народов вулканического континента, они, казалось бы, о ней и не вспоминают.

Артур Лундквист в Швеции многими воспринимается как «потрясатель основ». Да он и сам себя называет «сердитым пожилым человеком». Как-то, когда речь зашла о шведском нейтралитете, он сказал мне:

— Когда бранишь Соединенные Штаты, надо обязательно обругать и Советский Союз. Но когда бранишь Советский Союз, совсем не обязательно ругать Соединенные Штаты. Вот что такое шведский нейтралитет!

И этот сдержанный в выражении своей любви к отчизне человек писал: «Всякий раз, когда я находился за границей, вдали от родины, я чувствовал как никогда, что я швед».

Его однофамилец Эрик Лундквист, прощаясь с Новой Гвинеей, предчувствует, что будет «тосковать по этой стране с ее серыми колючими джунглями и маленькими людьми-дикарями, которые стоят на столь низком уровне развития и настолько нецивилизованны, — с грустной усмешкой пишет он, — что считают недопустимым убивать женщин и детей». Но пока что, живя в Индонезии, он заносит в дневник: «Просыпаюсь среди ночи, слышу шум соснового бора, вижу за гонимыми ветром тучами мерцание Большой Медведицы, и требуется немало времени, чтобы убедить себя, что я лежу не на берегу норландской реки».

А когда Эрик Лундквист хочет похвалить какой-нибудь местный давний обычай, он восклицает:

— Совсем как у нас в Швеции во времена викингов!

«Точно так же в бронзовом веке танцевали девушки Скандинавии, празднуя окончание зимы и начало полевых работ», — думает уже не Эрик Лундквист, а Пер Вестберг, перед которым маленькие девочки в одном из краалей резервации в Южной Африке, обняв друг друга за плечи, танцуют в ритме джаза, напевая что-то, напоминающее колыбельную...

Пер Вестберг создал незабываемый образ негритянки Лилиан Нгойи, лидера борьбы женщин Южной Африки против паспортного режима, организатора женских шествий, которых больше всего боится правительство (спокойные, веселые женщины, покачивая бедрами, идут с поднятыми вверх большими пальцами рук и язвительно смеются). Об ее нелегальной поездке за границу он говорит: «Европа научила Лилиан больше, чем Африка. Она стала могильщиком мифов!»

И подобно тому как Европа научила Лилиан, так и угнетенная Южная Африка, разрывающая свои оковы, подымающиеся к новой жизни колонии Азии помогали шведским писателям глубже понять жизнь своей благополучной родины.

Наблюдая южноафриканскую действительность, Вестберг все время сравнивает ее со шведской: «У нас, шведов, возможность участвовать в тех или иных выборах не связана с какими-либо высокими чувствами. Риксдаг подвергается нашим шуткам и насмешкам. В Африке право голоса — самое святое, ибо только это право дает равенство, свободу, человеческое достоинство».

И если на страницах книг Эрика Лундквиста восхищение благородством людей, воспитанных родовым обществом, без солдат, жандармов, без тюрем и судей, строем, где все равны и свободны, приправлено горькой иронией по адресу капиталистического общества, то Вестбергом, который видит, как южноафриканские расисты хотят загнать назад, в первобытноплеменное общество негров, закрепить их, лишив всех достижений цивилизации, владеет справедливым гневом.

Пребывание в стране расового угнетения — тяжелое бремя для чувств. Невозможно довольствоваться лишь собственным благополучием и личной жизнью.

«У нас было странное состояние — нечто среднее между бессилием и отчаянием. Я не могу описать его, так как никогда не испытывал ничего подобного, — пишет Вестберг в первой книге. — Раньше я мог закрывать глаза на многое, наблюдать в течение дня все недостатки этого мира и смеяться по вечерам».

Но если единственное, что он мог сделать в ЮАР, — это советовать молодым африканцам, как лучше использовать для обучения за границей те средства, которые собрали для них студенты Швеции и Норвегии, то по возвращении на родину его гневное слово, его благородные книги стали настоящим, большим делом.

Читая их, начинаешь понимать «крик души» шефа службы информации ЮАР: «Скандинавская пресса для нас сущий ад!»

Но молодого писателя поражают безучастность и равнодушное отношение многих шведов к тому, что, по его мнению, должно было бы нарушить спокойный сон шведского обывателя.

Шведский промышленник в Солсбери, которому Вестберг рассказывал о том, как дети белых издеваются над стариками неграми, никак не реагировал на слова собеседника. «Да и не для того он приехал в Родезию, чтобы глазеть по сторонам, — с горечью замечает писатель. — А может быть, он специально закалил свою душу, чтобы ничем не возмущаться — это могло помешать его делам».

В брошюрке, рекламирующей полеты в ЮАР, скандинавская авиакомпания «SAS» спокойно советует шведам давать белым на чай в два раза больше, чем черным.

«Есть еще много людей, в том числе и в нашей стране, которые готовы защищать апартеид... Но ничто нельзя оправдать из деяний доктора Фервурда и его правительства, ибо они доводят людей до могилы из-за их предков и разлучают детей с любящими родителями. Тот, кто не живет в Южно-Африканском Союзе, должен знать о том, что там происходит, и должен что-то сделать для этой страны» — об этом взывает каждая страница последних книг Вестберга.

А Эрик Лундквист, совершивший большое турне по Швеции с чтением докладов о старом и новом колониализме, с некоторым недоумением пишет своему московскому другу, переводчику Льву Жданову, о том, как была воспринята здесь его последняя книга об Индонезии:

«Осенью выпустил новую книгу. Оценивают по-разному. Коммунистическая газета «Нью Даг» хвалит, говорит, что это лучшая моя книга. Совсем другое в правой печати. Там можно прочитать, что они просто не верят мне, когда я пишу о проклятии колониализма. Иногда критикуют мой шведский язык. Мне ясно дают понять, что нужно забыть о политике, ограничиваться красивыми описаниями природы и так далее. Ездил по стране с докладами. Разумеется, ругал колониализм и истерическое восхваление Швецией Дага Хаммершельда... Надо сказать, слушатели принимают меня хорошо и одобрительно. Но даже социал-демократические газеты отказываются помещать рефераты моих выступлений. Такова наша свобода печати. Радио и телевидение диктуют мысли и слова. Когда я указываю на это в своих выступлениях, мне аплодируют».

Если за этим неверием в «проклятие колониализма» у многих кроется просто желание не нарушать душевного уюта и размеренной, сытой жизни, то у других не в малой степени оно продиктовано весьма серьезными интересами крупнейших шведских фирм, международных монополий, таких, как «АСЕА», «Электролюкс», «Л. М. Эриксон», «Будненс Груб» и других, которые, вкладывая миллионные капиталы в промышленность ЮАР, наживаются на полурабском труде, способствуя процветанию белого меньшинства за счет цветного большинства.

Вывоза капиталы и в другие слаборазвитые страны Африки, Латинской Америки и Азии, владельцы шведских финансовых империй заинтересованы, конечно, и в стабильности тамошних правительств, какими бы реакционными и антинародными они подчас ни были.

И пресса, им прямо принадлежащая, и та, на которую они влияют, разумеется, готова ославить как тенденциозные и «антихудожественные» книги и таких писателей, которые, как Ян Мюрдаль, пришли к сознанию того, что его родина, «страна отдаленная, маленькая, нейтральная, никогда не принимавшая непосредственного участия в несправедливых делах, строила свой покой и свое благополучие на основе той же несправедливости» и повинна не только в равнодушии, но и в какой-то мере в соучастии в преступлениях, которые творятся на обгаренной кровью земле колоний.

Ян Мюрдаль, сын известного ученого — экономиста-международника, левого социал-демократа Гуннара Мюрдаля, несколько лет прожил в Индии, где его мать, видный шведский дипломат, была тогда послом.

После первых своих книг, посвященных шведской действительности, он решил, что жизнь Швеции, казавшуюся ему провинциальной, можно постичь глубже лишь во взаимной связи ее с жизнью общеевропейской.

За путешествиями по Европе последовала поездка в Азию, после которой появились книги об Афганистане, Бирме, Цейлоне, Китае.

Там, как говорит Ян Мюрдаль, он понял, что для него «путь к Швеции лежит через Азию».

«Я прибыл из страны, которую судьба почти избавила от невзгод, выпавших на долю других стран и народов. Поэтому я никогда не понимал до конца того, что знал, хотя мне думалось, что я понимаю все, — с предельной искренностью исповедовался молодой писатель. — Мои впечатления этих лет доказывают, что колонналисты делали со странами Азии то же самое, что фашизм пытался сделать и делал с народами Европы... Когда пройдешь по следам колониализма и увидишь миллионы людей, умирающих от голода, увидишь сожженные и разграбленные города, уничтоженные культуры, ты непременно ощутишь жгучий стыд. Ибо и мы жирели на чужом горе. И на нас лежит большая доля вины за совершенное и за то, что еще может быть совершено. За великий голод в то время, когда страны, подобные нашей, не знают, куда сбывать продукты сельского хозяйства, за устаревшие машины, которые мы продаем по высоким ценам, и за сырье, которое мы покупаем по низким, за массовые заболевания, которые нетрудно предупредить и можно лечить, за гнет и насилие, драпирующиеся в мантию гуманизма. И эту долю вины не снять с себя ни пожертвованиями, ни красивыми словами».

Достоевский, этот самый читаемый и почитаемый в Швеции зарубежный писатель, сказал, что не может быть человек счастливым, что не примет его душа никакой «мировой гармонии», пока проливается где-то хоть одна слеза невинно замученного младенца. Здесь речь уже шла не об единой слезе одного младенца, а об унижении и оскорблении миллионов, о безысходной муке целых народов.

Нет, видно, справочники «Шведского института», утверждая, что «несколько выдающихся писателей... в своих последних книгах отошли от шведских мотивов и обратились к проблемам африканских народов», не так уж точны.

Для многих из них обращение к африканским проблемам стало и новым открытием Швеции. «Африканские мотивы» зазвучали на весь мир в шведской аранжировке. Чуждые предрассудкам литераторов, славивших ранее «бремя белых», эти шведские писатели открывают «вулканические континенты» и «запретные зоны» и советскому читателю.

Но вот что интересно. Открывая для шведской и мировой литературы заново поднимающиеся к сознательной исторической жизни народы и страны, шведские писатели прокладывают пути не только к более углубленному познанию своей родины, но и к нам. Они начинают лучше понимать, как ранее далекие, но ставшие теперь им такими близкими проблемы разрешает Советский Союз.

В первую очередь это история судьбы тех племен и народов, которые в Российской империи назывались «инородцами»: узбеков, армян, татар, казахов, населявших окраины — колонии царской России.

Значит, есть страна, где народы бывшей метрополии и бывших колоний — не только разноплеменные, но и разнорасовые — равноправны. И народы, не то что малограмотные, но недавно лишь обретшие письменность, уже создали свою литературу, университеты со своими выдающимися учеными.

Разве можно найти лучшее опровержение теории сегрегации, чем эта живая практика?

Книги Артура Лундквиста («Маки Ташкента»), писателя и живописца Ларса Нормана «На реактивном самолете на крышу мира», его чудесные зарисовки Самарканда и других городов Средней Азии открывали шведам эту «новую землю».

Лесли Рубин — депутат южноафриканского парламента, впоследствии вынужденный бежать из ЮАР в Швецию, — рассказывал в Африке Перу Вестбергу о том, как правительство расистов в 1956 году закрыло в Капштадте советское генеральное консульство:

— Русские устраивали приемы, на которые приглашали и африканцев и белых! Вот это-то «нарушение закона» и послужило поводом для изгнания. Но лучше уйти, чем сдаться перед апартеидом. Консульства западных держав не решались на такие приемы.

Вот почему на обычный вопрос, что ей больше всего понравилось в Москве, Сара Лидман с наивной восторженностью рассказала мне, как ее взволновала овация, которой публика встретила появившуюся во время спектакля в ложе Большого театра делегацию правительства Республики Мали,— явление для нас такое обычное.

— Россию я полюбила через Африку еще до моего приезда к вам.— говорила она, тут же с жаром вспоминая о своем пребывании в Ташкенте.— Все там ново, увлекательно, об этом не скажешь старыми словами. С людьми хорошо и просто! Я чувствовала себя как в родном доме. Тут же возникает беседа, словно мы давние знакомые. Чтобы рассказать об этом, нужны новые слова... Пока что я могу сказать: главное ощущение — серьезная радость... Кроме той пары глаз, которые у меня были от рождения, ныне есть еще две новые пары. Одну дала Африка, другую — Советский Союз.

И в самом деле, все свои впечатления она как бы выносит на «суд Африки»:

— Вчера была в Московском университете и все время думала о них, о черных. Такой талантливый народ, прекрасная молодежь! Если бы им такие же аудитории, корпуса, лаборатории, права и равенство! Как много в них таланта, ума, достоинства!.. Думаю о них неотступно...

Из писателей-современников Саре Лидман ближе всех Халлдор Лакснесс.

— Он мой учитель. Жалко только, что я поздно прочитала «Самостоятельных людей». Я ведь не очень образованная! — искренне восклицает она.

Родилась Лидман еще севернее, чем Лакснесс, — в Лапландии.

— Люди там во многом похожи на исландцев. Им легче умереть, чем извиниться. Могут во враждебном молчании прожить рядом всю жизнь.

Тоненькая, невысокая, по-мальчишески коротко стриженная, порывистая и впечатлительная — она вся словно клубок обнаженных нервов. Как такая хрупкая не сломится под напором стремительного потока нахлынувших на нее впечатлений, не потонет в нем! Но нет, она выплывает, каждый раз властно выхватывая из него самое главное — лица, повадки людей, их характеры, судьбы. Поражаешься меткости, точности ее определений. На выставке Кукрыниксов в Доме литераторов, остановившись перед шаржированным портретом Михаила Светлова, она воскликнула:

— Какой талантливый и добрый человек!

Предельно искренняя, она не идет ни на какие уступки ни этикету, ни обстановке, ни обстоятельствам. Вот и написала, как сказал шведский критик, «книгу, опасную для нее самой».

«Одержимая». В средние века она была бы сожжена на костре как ведьма или канонизирована как святая.

Увидев однажды Сару Лидман, никогда ее не забудешь. Последний раз я встретил ее в Стокгольме. Она только что приехала из Лапландии. Переписывала, додояла там уже прозвучавший на весь мир роман «Я и мой сын».

— В Советском Союзе я еще раз убедилась, что книгу нужно доработать,— сказала она.— Удивительно, что никто у вас не пожалел самого рассказчика. Все лишь презирали его. Но ведь он и виноват — и не виноват. Он тоже порождение среды, условий, которые делают из человека не только палача, но и мученика. Так я думала, когда писала роман.

Переделки шли не только в этом плане. Сара Лидман шире показала и ту среду, в которой живет героиня романа — негритянка Гладнес.

В день нашей встречи в Стокгольме Лидман сдала издательству роман в новой редакции. Все помыслы ее были уже в Африке, куда она уезжала на следующее утро.

— Буду жить там не менее года в доме одной кенийки, которая сейчас в Дании. Хочу писать роман об Африке, о переходе негров к новой, городской жизни... Вы знаете, только в день отъезда из России я вспомнила, что не успела побывать в вашем суде и в церкви на богослужении...

Снова речь заходит о том, как она, когда-то активно выступавшая против нас, открыла для себя Советский Союз.

Об этом же мы говорили и с Яном Мюрдалем.

Я был весной у него в гостях в небольшом домике на берегу озера под Стокгольмом.

Мюрдаль приезжал к нам после того, как написал книги о Бирме, об Афганистане и впечатления от Советской Средней Азии мог сопоставить с тем, что видел раньше.

— Именно так каждый народ, который сейчас беден и угнетен, должен строить свою жизнь! — воскликнул он, рассказывая о поездке по Советской Средней Азии. — Скоро я закончу книгу о Швеции шестидесятых годов и тогда приеду в Советский Союз.

— Жаль, что вы не остаетесь обедать. Все уже готово, — уговаривала меня жена Мюрдаля, художница Гунн.

Мне и самому было жалко откладывать на другой день захватившую меня беседу, но в кармане лежал билет на оперу «Аниара», а до Стокгольма от местечка, где поселился Мюрдаль, около двух часов на электричке.

Покидая этот милый, от пола до потолка набитый книгами дом, я остановился в садике у калитки.

— Красиво? — довольный тем, что я залюбовался видом, открывшимся с холма, спросил хозяин.

На ветвях сосен еще лежали снежные шапки, но лед на озере внизу уже посерел, посинел.

Этот дом ему нравился. Он совсем недавно приобрел его в кредит.

— Знаешь, купив дом в рассрочку, я зарабатываю на этом большие деньги, — смеясь, объяснил Мюрдаль. — Во-первых, в погашение ежегодно уходит почти столько же денег, сколько я бы платил, снимая квартиру. Во-вторых, то, что идет на погашение ссуды, не облагается налогом. На этом я тоже зарабатываю. В-третьих, цены на все у нас неизменно повышаются, а выплачивать нужно столько, сколько дом стоил, когда я его покупал. В общем, на этой сделке я здорово разбогател, а денег по-прежнему нет и нет! — И он недоумевающе развел руками.

На площади Густава II Адольфа

Уже темнело, когда я оказался на площади Густава II Адольфа, собираясь послушать оперу «Аниара», либретто которой написано по поэме Харри Мартинсона — одного из «пяти молодых», ставшего ныне одним из ведущих шведских писателей. Мне памятна встреча с ним и тогдашней его женой, известной у нас по книге «Мать выходит замуж» романисткой Муа Мартинсон, на Первом Всесоюзном съезде писателей тридцать лет назад. Нравится его повесть «Крапива цветет», выпущенная Гослитиздатом примерно в те же годы. Интересным казался и замысел оперы композитора Блюмдаля, действие которой происходит на огромном космическом корабле «Аниара», увозящем несколько тысяч людей с Земли, зараженной радиацией, на планету Дорис в другой солнечной системе.

Эта пессимистическая поэма и музыка оперы были написаны еще до запуска спутников.

Уже с моста виден был красный круглый фонарик на портале здания оперы: это означало, что все билеты проданы. Взглянув на черневшего на пьедестале бронзового всадника — короля-завоевателя Густава II Адольфа, я вспомнил шуточный рассказ Пера Вестберга:

— Когда я был маленьким, отец однажды сказал мне: «Не женись на иностранке! Вы будете по-разному справлять рождество, твоя жена не будет знать, кто такой Густав Второй Адольф, у вас будет мало общего!»

Огромные витрины Центрального туристского союза в доме на площади Густава Адольфа сверкали яркими плакатами, предлагали поездку в Париж и Москву, Рим и Вену, на пляжи Флориды и Черного моря, в Бразилию и на Цейлон.

Кто-то сказал, что ныне, в век радиовещания, интервидения и реактивных самолетов, земной шар стал меньше, уже. Эта мысль, бесчисленно теперь повторяемая, — неверна. Мир для человека стал обширнее, больше. Те, кто раньше был ограничен клочком земли, на которой ему довелось родиться и жить, сейчас могут слушать голоса с других материков, видеть события, происходящие на дальних меридианах.

Если человек за несколько часов может очутиться в другой, отдаленной стране, о поездке куда он не мог и мечтать и которая отняла бы у него месяцы и годы, значит доступный ему разноликий мир стал шире! То, что происходит во всех краях земного шара, теперь касается непосредственно миллионов и миллионов людей в разных странах, и они повсеместно ощущают эту взаимную связанность судеб, единство человечества так ясно, как никогда раньше.

Накануне провинциальные газеты обнародовали имена и фамилии солдат — своих земляков, вызвавшихся пойти добровольцами в войска ООН на Кипре.

«Теперь шведы сражаются только за мир», — писали они.

Об этом много писали в Швеции, но о том, что здесь же силы мира обретают более надежную, действенную, поистине вдохновенную и самоотверженную поддержку, чем спорадически вводимые в действие один, другой батальон, мне в Швеции читать не пришлось.

Процесс противоречивый, двусторонний. Шведские предприниматели и банкиры заставляют других потесниться при дележе огромного пирога — неокOLONиализма. Но одновременно же шведская интеллигенция, шведская литература вкладывают в руки борцов за независимость, за свободу все более и более отточенное «духотподъемное» оружие, делают их более зоркими. Сколько вложено глубокого таланта и подлинной человечности в книги шведских писателей об «отсталых» странах!

Путешествия выдающегося шведского писателя Артура Лундквиста по Индии, Африке и Южной Америке придали ему новые силы в большой, напряженной литературной и общественной деятельности, сделавшей его председателем Шведского комитета борьбы за мир, лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

«Духовный климат стал другим» — так назвал Ян Мюрдаль свою статью о переменах, которые он увидел после возвращения на родину из долгих странствий.

Да, мир стал шире, и талантливые шведские писатели деятельно участвуют в расширении мира — в изменении духовного климата у себя на родине.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН,
профессор

★

МЫСЛИ ПОСЛЕ ПЛЕНУМА

Если не считать революционных преобразований, в результате которых были обобществлены средства производства, то хозяйственную реформу, провозглашенную сентябрьским (1965 года) Пленумом ЦК КПСС и Шестой сессией Верховного Совета СССР, на мой взгляд, можно считать третьей по своему значению за все сорок восемь лет существования Советского государства. Первой реформой был переход к новой экономической политике в 1921 году. Второй — изменение условий хозяйственной деятельности в результате ряда важных правительственных актов на протяжении 1929—1932 годов: предприятие (а не трест, как было до этого) стало основным хозяйственным звеном; коммерческий кредит с использованием векселей был заменен прямым банковским кредитованием; восемьдесят шесть видов платежей предприятий сведены в основном к налогу с оборота и отчислениям от прибылей; безвозвратное финансирование капитальных вложений стало преобладающим и др.

Правомерно ли ставить в один ряд эти три реформы?

Каждая из них формулировала и определяла условия хозяйственной деятельности предприятий и содержание экономической политики Советского государства на длительный период времени. Каждая была комплексной, охватывавшей не только чисто хозяйственные вопросы, а всю совокупность производственных отношений и, более того, — общественных отношений. В настоящее время закладывается основа для хозяйственного развития опять-таки на длительный период — по меньшей мере до конца текущего двадцатилетия, до построения материально-технической базы коммунизма в СССР.

Многообразие экономических и политических актов, образующих в совокупности реформу, требует известного времени для их разработки и практического внедрения. Новая экономическая политика внедрялась на протяжении примерно двух лет после ее провозглашения на X съезде Коммунистической партии. Вторая реформа — это видно из дат, которыми она характеризуется, — также заняла более двух лет, наполненных сложными процессами в экономической и политической жизни страны. Правомерно и естественно, что и для нынешней реформы устанавливается примерно двухлетний срок.

* * *

Самое основное, на мой взгляд, что характеризует решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, — это то, что современное понимание сущности и закономерностей социалистического производства превращено в систему хозяйственного управления и руководства. В результате длительной и напряженной дискуссии, в которой участвовало много хозяйственников и научных работников самых различных отраслей познания — от инженеров и агрономов до экономистов и философов, — нам стали гораздо понятнее особенности первой фазы коммунистического способа производства, а именно

социалистической фазы. Творческая атмосфера, сложившаяся в стране после критики культа личности, позволила в сравнительно короткий срок исследовать огромное количество проблем и по многим из них прийти к выводам, которые можно считать общепризнанными или же во всяком случае одобренными широким кругом хозяйственных, партийных работников и ученых. Тот факт, что экономическая дискуссия и соответствующие ей народнохозяйственные преобразования происходили не только в нашей стране, но и в других социалистических странах, с одной стороны, подтвердил общность и однородность общественных отношений во всех странах социализма при наличии некоторых особенностей и разновидностей в каждой из этих стран; с другой стороны, это позволило обмениваться опытом экономических экспериментов. Все вместе взятое ускорило принятие необходимых практических решений.

Поэтому, мне кажется, анализ решений Пленума следует начать именно с характеристики нашего понимания сущности и закономерностей социализма и раскрыть, как оно складывалось.

В работах Маркса и Энгельса характеристика особенностей производства при социализме, естественно, была весьма общей, хотя и содержала в себе все необходимые элементы для научного понимания первой фазы коммунизма. В них говорилось о том, что средства производства будут обобществлены, что хозяйство будет планомерным, что взаимоотношения между людьми будут отношениями товарищеского сотрудничества трудящихся и трудового соревнования. Большого ожидать от основоположников марксизма было нельзя. Как подлинные ученые, они могли строить свои научные выводы, лишь обобщая материал практики. Между тем практики социалистического хозяйствования не было и потому не могло быть разработанной в деталях и теории этой фазы развития человечества.

Если внимательно проштудировать предоктябрьские работы Ленина и работы, написанные им до середины 1918 года, то становится очевидным, что В. И. Ленин предполагал последовательность и постепенность в переходе от капиталистического к социалистическому способу производства. Первыми мерами намечалась национализация банков, передача земель крестьянам, установление рабочего контроля над предприятиями. Имелось в виду широко использовать в качестве командных высот пролетарского государства монополию внешней торговли, финансовую и кредитную политику и ряд других экономических рычагов. При этом не исключалась возможность использовать в определенной форме и пределах не только, так сказать, отечественные капиталистические элементы, но и привлекать иностранных концессионеров.

Отчаянное сопротивление помещиков и капиталистов, переход их к гражданской войне против молодого Советского государства и военная интервенция вынудили партию и государство круто повернуть и направление своей экономической политики. Как известно, в период военного коммунизма были резко сокращены товарно-денежные отношения, широко распространилось натуральное распределение того относительно малого количества материальных ценностей, которое можно было мобилизовать и распределить. И вот тут-то и появился соблазн перейти сразу к прямому продуктообмену между различными отраслями народного хозяйства, между промышленностью и сельским хозяйством прежде всего. Одновременно было проведено обязательное всеобщее кооперирование населения с тем, чтобы перейти к распределению предметов потребления среди трудящихся. Как указывал впоследствии В. И. Ленин, это была попытка «красногвардейской» атакой на капитал преодолеть путь от многоукладности экономики к социализму.

Однако эта попытка не увенчалась успехом.

В действительности в стране продолжали существовать — легально и полулегально — товарно-денежные отношения, шла торговля из-под полы, процветала разнузданная спекуляция самыми различными товарами и продуктами. Более того, административный запрет товарообмена привел к тому, что известная часть среднего крестьянства стала выступать против экономической политики Советского государства. Партия вовремя и глубоко проанализировала реальные экономические отношения и сделала единственно правильный, поражающий своей научной проникновенностью вывод о необходимости открытого перехода к товарно-денежным отношениям при условии

концентрации в руках государства командных высот экономики и настойчивом и целенаправленном ее развитии в сторону социализма.

Представляет огромный интерес и большую актуальность детальная разработка ленинского наследия последних лет его жизни и деятельности. Если в первые годы советской власти вопрос о товарно-денежных отношениях еще не совсем ясен и Ленин размышляет о том, являются ли продукты государственных предприятий в СССР товарами, в какой степени они являются товарами, а в какой — уже нетоварами, то в работах 1921—1923 годов внимание Ильича сосредоточивается на другом. Самым тщательным образом он анализирует каждую деталь, каждую сторону и особенность хозяйственных взаимоотношений и находит в них необходимость использования товарооборота, денег, кредита, финансов, цен и других экономических рычагов, занимающих, по его мнению, решающее место в механизме перехода к социалистическому способу производства.

В первом параграфе Устава о трестах говорилось, что трест есть государственное предприятие, основанное на коммерческих началах с целью извлечения прибыли. Вполне возможно предположить, что за такого рода определение студент еще совсем недавно получил бы двойку на экзамене по политической экономии...

Между тем такое определение абсолютно правильно, и прошедшие с тех пор сорок четыре года показали, что нет необходимости поправить в нем ни единого слова. В самом деле, предприятие — государственное; в условиях советской власти это значит — предприятие, принадлежащее народу, работающее в интересах народа, производящее продукцию хорошего качества, не могущее заниматься взвинчиванием цен и другими спекулятивными махинациями. Основанное на коммерческих началах — это значит работающее оперативно, без косности, бюрократизма, применяясь к потребностям народа, и стремящееся полностью, быстро удовлетворить эти потребности. С целью извлечения прибыли — это значит работать эффективно, не только покрывать затраты по производству, но и создавать накопления, которые (о чем еще говорилось в решениях XII съезда партии) определяли судьбу диктатуры пролетариата в нашей стране.

В сущности сформулированная в Программе КПСС, принятой XXII съездом партии как важнейший закон хозяйствования, необходимость добиваться максимального экономического эффекта при минимуме затрат есть повторение ленинского «Положения о трестах», но, разумеется, применительно ко всему народному хозяйству, в масштабах и условиях середины шестидесятых годов двадцатого века.

Необходимо напомнить, что полностью ленинские идеи хозяйственного расчета и в целом управления и организации народного хозяйства не были реализованы на практике. С начала тридцатых годов чем дальше, тем в большей мере экономические принципы руководства отодвигались на второй план, все шире распространялись методы организационного воздействия на темпы и пропорции расширенного воспроизводства.

К тому же вся обстановка мало благоприятствовала развитию политической экономии социализма как науки. Сочетание двух этих обстоятельств и привело к тому, что мы до недавнего времени очень плохо представляли себе сущность и закономерности социалистического общества, в котором мы живем. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Несколько десятилетий — ничтожно короткий исторический срок. И не удивительно, что мы — современники и участники бурных и непрерывных исторических событий — не были в состоянии всесторонне и объективно разобраться в общественных отношениях, творцами которых и одновременно продуктом которых являемся.

В первые год-два после Великой Октябрьской революции имели хождение всякого рода теории относительно возможностей отказа от денег, замены их всякого рода трудовыми, энергетическими или другими марками или знаками. Однако эти взгляды довольно быстро были изжиты. Практически необходимость прочной и устойчивой советской валюты, сбалансированного бюджета, развитой кредитной системы была общепризнанной. Правда, к концу первой пятилетки «головокружение от успехов» вызвало рецидив левацких точек зрения на возможность отмены денег и торговли. Однако эти точки зрения довольно быстро испарились. Таким образом, практически

расхождений насчет того, нужно или не нужно укреплять финансово-кредитную систему и совершенствовать торговлю, не существовало. Гораздо сложнее обстояло дело в теории. До 1940 года считалось общепризнанным, что закон стоимости не действует при социализме. Объяснить при таких условиях, что представляют собой цена, деньги, кредит, финансы, было невозможно. Если не действует закон стоимости, если стоимость как экономическая категория отсутствует, то, разумеется, не могут быть объяснены и формы стоимости — деньги и цена прежде всего. Теоретическая «пустота» была заполнена прикладными рассуждениями о том, что все перечисленные только что экономические категории есть пережиток, доставшийся социалистическому обществу от капитализма, эдакий аппендикс, мало полезный и грозящий возможным воспалением. Правда, почти никто не договаривался до необходимости его хирургического удаления. Предполагалось, что формы стоимости постепенно отомрут сами по себе по мере усиления социалистических начал в народном хозяйстве, полной ликвидации частнокапиталистического сектора, приближения к коммунистическим условиям производства и распределения.

В 1940 году было сформулировано, что при социализме закон стоимости действует, но «в преобразованном виде». В чем суть этой «преобразованности», подробно сказано не было. Но можно было полагать, что речь идет о том, что закон стоимости, воспринимаемый по-прежнему как наследие прошлого, подчиняется действию таких формирующих социалистический способ производства отношений, как общность владения средствами производства и планомерность развития.

Дискуссия вокруг проекта учебника политэкономии в начале пятидесятых годов хотя и дала немало для анализа сущности социалистического способа производства и его закономерностей, но в то же время послужила источником ряда неверных выводов. В работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» указывалось, что основная причина действия закона стоимости и использования форм стоимости состоит в наличии двух форм социалистической собственности. Устанавливалось, что товарами могут быть лишь продукты кооперативных предприятий и предметы потребления, изготовленные на государственных предприятиях, так как они переходят в использование в сферах кооперативной и личной собственности. Подавляющая же часть народного хозяйства, все предприятия, основанные на государственной форме социалистической собственности, считались находящимися вне товарного производства, не рассматривались как товаропроизводители. Необходимость денег и всего «денежного хозяйства» объяснялась тем, что надо калькулировать, вести учет и знать, как идет работа предприятия. При таком понимании сущности дела нетрудно было видеть перспективу ближайшего развития не в развитии товарно-денежных отношений, а, напротив, в их свертывании. Не удивительно, что в ряде выступлений на XIX съезде КПСС говорилось о необходимости всемерно форсировать натуральный обмен между промышленностью и сельским хозяйством. Широко распространились натуральные отношения и между государственными предприятиями и колхозами. Достаточно сказать, что преобладающая часть оплаты за работы, выполняемые МТС, производилась, как известно, натурой. Да и в колхозах учет работ и распределение продукции носили натуральный характер. Денежные выдачи по трудодням были крайне малы.

Между тем вся практика развития народного хозяйства СССР восставала против подобного понимания экономических отношений. Повседневный опыт убеждал каждого объективного исследователя, каждого практического работника, что применение материального стимулирования (притом в денежной форме), экономически обоснованной цены, дифференцированного режима кредитования и финансирования не только не сдерживало развитие экономики, но, напротив, всемерно ему благоприятствовало. И это относилось не только к кооперативным предприятиям, но прежде всего и больше всего к предприятиям государственным. И, напротив, каждое сокращение сферы товарно-денежных отношений, любое ослабление экономических рычагов и замена их административными сдерживали рост народного хозяйства. Стоило в 1950 году перевести проектные организации с хозрасчетного на бюджетный режим финансирования, как сразу же ухудшилась их работа, возникли многочисленные трения между ними и заказчиками.

Настоятельная необходимость ускорить темпы развития социалистической экономики потребовала внедрять подлинный хозяйственный расчет сперва в совхозах, а затем и в колхозах. Тем самым в сельском хозяйстве — в этой отрасли, где дольше и больше всего господствовали натуральные отношения и административные методы руководства, — оказалось необходимым в первую очередь внедрять широкую систему экономических методов управления. Это заставило задуматься многих экономистов и практических работников, еще и еще раз проанализировать: что же такое представляет собой социалистический способ производства, какими должны быть экономические отношения между работниками и предприятиями, между предприятиями внутри отрасли, между отраслями производства, между государственным и кооперативным секторами? И конец пятидесятих годов знаменуется началом активной и плодотворной экономической дискуссии, которая, иногда чуть затихая, но никогда не прерываясь, тянулась до этого года, когда решениями сентябрьского Пленума значительная часть спорных проблем была решена. И решена по-новому, то есть на основе современного понимания сущности социалистического способа производства.

Каково же это понимание?

подавляющее большинство советских экономистов, да и экономистов других социалистических стран стоит на том, что социалистическому способу производства органически присущи товарно-денежные отношения, ибо они являются формой связи между различными сферами разделения труда. Оказалось, что товарно-денежные отношения — нечто более общее, чем просто условие существования простого товарного производства или капиталистического способа производства. Видимо, товарно-денежные отношения могут быть не только при этих формациях человеческого общества. Но конкретное содержание этих отношений, вполне естественно, меняется: при капитализме они не те, что в простом товарном хозяйстве, а при социализме далеко не те, что в капиталистическом способе производства.

Оказалось, что закон стоимости точно так же может действовать в различных общественных формациях и что он вовсе не всегда и отнюдь не обязательно имеет стихийный характер. Опыт развития советской экономики, да и экономики других социалистических стран показывает, что закон стоимости не только не противоречит другим экономическим законам, например, основному экономическому закону и закону планомерного развития, но, напротив, его использование — очень важный рычаг усиления действия других экономических законов точно так же, как правильное использование закона планомерного развития усиливает воздействие закона стоимости на социалистическое производство.

Оказалось, что государственные социалистические предприятия (а тем более кооперативные) отнюдь не простые исполнители заданий государства. Они не кирпичики в здании и не винтики в машине. Предприятие в системе народного хозяйства при социализме — это живая клетка живого организма. Это целый мир со своими особенностями, интересами, законами. Имеются убедительнейшие доказательства того, что недоучет этих особенностей, интересов и законов наносит ущерб не только самой клеточке, но всему организму в целом. Иначе говоря, государственные социалистические предприятия (и кооперативные тем более) на стадии социализма выступают в качестве товаропроизводителей. Конечно, это не кимрские сапожники, вывозящие свой товар на ярмарку. Это товаропроизводители, действующие в условиях общественной собственности на средства производства, в условиях планомерного развития экономики, когда цель хозяйствования — максимально возможное удовлетворение потребностей народа путем непрерывного развития производительных сил и производственных отношений.

И тем не менее это товаропроизводители. Это значит, что отношения между ними — между двумя государственными предприятиями — есть отношения товарного обмена, где с недолимой непреклонностью господствуют требования эквивалентности в отношениях. К сожалению, имеется слишком много примеров и доказательств того, что любое нарушение эквивалентности в обмене, в частности в результате действия экономически не обоснованных цен, приносит прямой ущерб развитию производства. Наличие дотации, планово и фактически убыточных предприятий и многие другие обще-

известные факты доказывают, как жизненно необходимо соблюдение требования эквивалентности в отношениях между предприятиями.

В чем причина того, что в период социализма государственные предприятия выступают как товаропроизводители? Почему с каждым десятилетием развития социалистического способа производства товарно-денежные отношения в нашей стране не только не ослабевают, а усиливаются, а сфера их использования не только не сужается, а непрерывно расширяется? Не означает ли это задержки в развитии социалистических производственных отношений, замедления перехода, перерастания социализма в коммунизм? Положительный ответ на последний вопрос естествен, если товарно-денежные отношения рассматривать, как раньше, в виде наследства, перешедшего к нам от капитализма, в виде инородных тел, не приходящих нашему общественному строю. Но совершенно другой ответ получается в том случае, когда мы считаем их органически присущими социалистическому способу производства.

Одно из принципиальных отличий первой фазы коммунизма — социалистической — от второй его фазы состоит как раз, по моему мнению, в том, что социалистическая экономика есть экономика, развивающаяся в условиях товарно-денежных отношений, в отличие от коммунистической фазы, когда таковых отношений не будет. В самом деле, многие другие условия производства — общность средств производства, планомерность — остаются одинаковыми для обеих фаз, что, конечно, не исключает неизмеримо более высокого развития этих отношений и понятий в условиях коммунизма.

Итак, чем же объясняется тот факт, что государственные социалистические предприятия почти через полвека после установления советской власти выступают как товаропроизводители? Видимо, особенностями характера труда в период социализма.

Обобществление средств производства и ведение народного хозяйства на плановой основе коренным образом изменили содержание труда, придав ему общественный характер. Если в досоциалистических формациях лишь на рынке, после реализации, устанавливалось, нужен ли товар обществу, то в нашей стране еще задолго до начала производства указаны поставщики и потребители. Однако, говоря об общественном характере труда, советские экономисты добавляют обычно, что он еще не до конца общественный. Полностью общественным труд будет лишь при коммунизме.

Но что значит не до конца? Какой экономический смысл вкладывается в эти слова и какие из них вытекают практические выводы?

Видимо, дело в том, что труд имеет общественный характер преимущественно со стороны его организации. Действительно, предприятия работают по плану, тем самым труд каждого рабочего заранее предусмотрен и целенаправлен. Тем не менее известны многочисленные факты, когда произведенная продукция — и средства производства, и предметы потребления — не находит покупателя. Не тот фасон, не тот срок, не то качество, отпала надобность у потребителя — таковы лишь некоторые из причин, порождающих трудности в сбыте определенных видов продукции, хотя они и были произведены по плану. Следовательно, на стадии социализма общество еще не имеет возможности абсолютно точно и безусловно определить свою потребность и организовать идеальное ее удовлетворение. Конечно, в общем товарообороте доля изделий, не находящихся сбыта, ничтожна. Но тревожит то, что она повышается из года в год. По мере того как исчезает дефицит, затруднения в сбыте отдельных видов товаров увеличиваются. Причем эти затруднения имеют не абсолютный, а, так сказать, относительный характер. Когда речь идет о каждом конкретном товаре, они вызваны теми или иными, в большинстве случаев организационными, неполадками. Однако наличие самих этих неполадок вряд ли можно считать случайным. Скорее всего они объективно присущи данному уровню планирования и организации управления производством. Следовательно, неполнота общественного характера труда (с чем согласны все экономисты) состоит, видимо, во-первых, в том, что какая-то часть продукции не соответствует действительным потребностям общества, хотя она произведена в точном соответствии с планом.

Но не это главное.

Главное в том, что сам производитель еще не рассматривает свой труд как органическую потребность. Не для всех еще труд перестал быть вынужденной необходимостью. Чтобы труд стал органической потребностью, он должен быть интересным, приятным, дающим полное моральное и материальное удовлетворение. Развитие производительных сил и производственных отношений при социализме идет в этом направлении, но до полного достижения цели еще далеко.

Пока же труд для многих остается вынужденной необходимостью, должны быть найдены способы обеспечения трудовой дисциплины и непрерывного повышения его производительности. Причем речь идет не только об эффективности живого труда, то есть непосредственной работы каждого отдельного человека, но и об эффективности использования овеществленного труда, то есть труда, зафиксированного, олицетворенного в зданиях, оборудовании, материалах, топливе, инструментах и т. д. Чем выше техническая вооруженность производства, тем больше важность эффективности использования именно овеществленного труда. Достаточно сказать, что в издержках производства в промышленности заработная плата в среднем не составляет двадцати процентов, тогда как средства производства занимают более восьмидесяти процентов. Но как свести воедино эффективность использования живого и овеществленного труда? Как измерить, с какой степенью успешности токарь т. Иванов затрачивает свое рабочее время, использует токарный станок, резцы, металл и другие элементы производства? Это возможно лишь при сведении всех конкретных затрат ко всеобщей абстрактной форме. Такой абстрактной формой исторически стала стоимость, находящая свое внешнее выражение в денежном измерении. Сказав, что на производство одного стула предприятие вправе затратить, скажем, не более четырех рублей, мы тем самым запрограммировали необходимую степень эффективности использования живого труда, орудий и предметов труда. Но люди трудятся не индивидуально, они работают в коллективах, образуя социалистические предприятия. Следовательно, задача усложняется. Необходимо определить эффективность работы каждого из сотен или тысяч рабочих и служащих каждого из предприятий и их руководителей. Это опять-таки возможно, лишь сводя все виды затрат к общественно необходимым и выразив их в денежной форме.

Следовательно, общий вывод, к которому мы приходим на основе анализа десятилетия практики социалистического хозяйствования в СССР, может быть сформулирован так: при данном уровне обобществления труда и возможной в период социализма степени его общественного характера необходимо стоимостное измерение затрат живого и овеществленного труда и необходима проверка действительной потребности каждого изделия путем его реализации, то есть превращения товара в деньги.

Именно этими обстоятельствами и определяется необходимость товарно-денежных отношений на первой стадии коммунистического общества. Наличие двух форм социалистической собственности, а также единоличных крестьян и некооперированных ремесленников вносит лишь некоторые дополнительные усложняющие обстоятельства, но не является основной причиной необходимости существования товарно-денежных отношений и действия закона стоимости.

При таком понимании сущности производственных отношений при социализме мы приходим к выводу, что основное в организации управления — это создание оптимальных условий для работы предприятия, потому что именно оно — клеточка социалистического экономического организма. Суть решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС и Шестой сессии Верховного Совета СССР, как нам представляется, в том и состоит, что в центре планирования и управления поставлено предприятие. Все остальные органы, все формы и методы планирования и управления построены таким образом, чтобы дать предприятию возможность хозяйствовать оптимальным образом. Именно эти проблемы были в центре трехдневной экономической дискуссии, происходившей в нашей стране. И решения Пленума, как об этом говорится в докладе Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, подвели итог этой дискуссии, превратив в законодательные положения те из возможных решений стоящих перед нами проблем, в отношении которых подавляющее большинство хозяйственников и ученых пришло к общему убеждению. Тем

самым нынешняя реформа принципиально отличается от ряда организационных мероприятий, которые в течение последнего десятилетия проводились без предварительного изучения и научного обоснования.

* * *

Чем была вызвана эта экономическая дискуссия? Почему она разгорелась именно теперь? Чем объясняется ее острота?

И на эти вопросы мы находим ответ в материалах последнего Пленума ЦК КПСС и последней сессии Верховного Совета СССР. Успешное выполнение семилетнего плана показало, как исключительно велики производственные мощности, созданные в нашей стране, как много может дать их умелое и эффективное использование. В самом деле, лишь высокоразвитая и процветающая страна в состоянии одновременно обеспечить столь высокий темп производства, достигнуть таких выдающихся успехов в области науки и техники, осуществить гигантскую программу жилищного строительства, повышать уровень жизни народа. Выполнение семилетнего плана убедительно раскрыло глаза хозяйственникам и экономистам на гигантские возможности, заложенные в социалистической экономике. Немалое значение имел при этом переход от отраслевого к территориальному принципу управления промышленностью. Хотя в целом этот переход себя не оправдал, тем не менее нельзя отрицать того, что он вызвал значительное повышение хозяйственной активности во многих промышленных центрах и экономических районах страны. Производственные мощности и хозяйственные связи, которые десятилетиями создавались на территории всей страны, но были как-то разгорожены рамками министерств и ведомств, сразу превратились в многообразные совокупности, показав, как велики и значительны производственные центры, находящиеся в самых различных частях Советского Союза.

В то же время в ходе выполнения семилетнего плана обнаружились и явления, которые не могли не насторожить. Об этом также подробно говорилось на Пленуме. Несколько замедлился темп роста общественного продукта и промышленной продукции. Конечно, этот темп значительно выше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки, но он обнаружил некоторую тенденцию к замедлению. Нет необходимости утешаться тем, что, скажем, один процент прироста в 1965 году значительно больше, чем два процента в 1957 году. Нам нужны не утешения, а анализ тенденции и, что еще более важно, меры для ее преодоления. Чтобы догнать и перегнать по уровню производства на душу населения ведущие капиталистические страны, мы должны наращивать производство не только абсолютно, но и относительно, то есть в процентах, в темпах.

Несколько уменьшилось то, что на языке экономистов называется фондоотдачей. Иначе говоря, на каждую тысячу рублей основных фондов (зданий, сооружений, машин, механизмов) мы стали получать ежегодно продукции меньше, чем три — пять лет назад. И здесь есть объяснения. В какой-то мере снижение фондоотдачи вызвано изменением структуры промышленной продукции, освоением труднодоступных районов, понижением цен на выпускаемую продукцию. И опять-таки важнее не коллекционировать эти успокаивающие объяснения, а сосредоточить внимание на этой тенденции, чтобы ее преодолеть.

В ряде отраслей медленно растет производительность труда, иной раз даже отставая от роста фонда заработной платы. Между тем производительность труда, ее рост всегда были и будут основным фактором, обеспечивающим победу социализма над капитализмом в их мирном экономическом соревновании.

Не все благополучно с качеством продукции. Те высокие требования к качеству продукции, которые вызываются современной технологией производства и возросшими потребностями народа, далеко не всегда удовлетворяются нашей промышленностью.

Усложнилась проблема материально-технического снабжения и оптовой торговли. С одной стороны, все еще существует неудовлетворенный спрос на некоторые средства производства и предметы потребления. С другой стороны, непрерывно растут запасы и средств производства, и предметов потребления. Что обиднее всего, сплошь и рядом лежащая на складе продукция изготовлена из того же сырья и теми же людьми, которые могут сделать изделия, на которые спрос не удовлетворен. Вот один из многих

⁴примеров. Продолжают производить хлопчатобумажный штапель, вышедший из моды, и не делают хлопчатобумажного трикотажа, на который есть спрос.

Чем вызваны эти настораживающие нас явления, тенденции? Не симптомы ли это, органически присущие социалистическому способу производства?

Ни в коем случае! На этот счет все советские экономисты и практики-хозяйственники единодушны. Однако в объяснении причины мнения разошлись решительным образом.

Одни участники дискуссии полагали, что причина нежелательных явлений, о которых шла речь выше, состоит в том, что планирование и управление количеством отстают от масштабов хозяйства. Народное хозяйство разрослось до таких пределов, что его нельзя планировать при помощи арифмометров и счетно-клавишных машин. Нужна другая оргтехника. По мнению этих экономистов, если оснастить планирующие органы достаточным количеством электронно-вычислительных машин и разработать необходимые математические алгоритмы, то все будет в порядке. Можно будет по любому количеству изделий — хоть по каждой гайке в отдельности — составить детальный адресный план, указавши, кто, кому, когда и сколько должен поставить изделий, — и вся проблема решена.

По мнению других экономистов и хозяйственников, дело обстоит совершенно не так и причины этих явлений иные. По их мнению, концепция административного регулирования хозяйств противоречит экономической сущности социалистического способа производства, а именно — необходимости создавать материально-техническую базу коммунизма в условиях действия товарно-денежных отношений. При таком подходе к делу централизованное планирование должно касаться лишь самых общих — и в то же время решающих, определяющих, жизненно важных — направлений и показателей: структура общественного производства, пропорции между отдельными отраслями, темпы роста, основные направления размещения производительных сил, соотношение между первым и вторым подразделением общественного производства, соотношение между потреблением и накоплением. Что же касается механизма хозяйственных отношений в реализации плана, то они должны осуществляться на основе хозяйственных договоров и прямых экономических взаимосвязей между производителями и потребителями, подрядчиками и заказчиками, клиентурой и транспортом, торговлей и населением.

Мы читали недавно в газетах такого рода сообщения: такая-то стройка ведется медленно, потому что такие-то главки и Совнархоз РСФСР, к примеру, забыли ее укомплектовать такими-то машинами, приборами. Но можно ли вообще ставить перед центральными планирующими и управляющими органами задачу укомплектовать каждую стройку тысячами и тысячами видов инструмента, оборудования и приборов, если учесть, что в нашей стране одновременно функционирует не менее ста тысяч строек? По мнению второй группы экономистов, сама постановка задачи, сама попытка административными методами осуществлять производство и распределение общественного продукта нереальны, невозможны. И чем более многообразным становится хозяйство, тем, полагают эти экономисты, больше будет неувязок и недостатков в планировании, если оно останется таким, как было до недавнего времени, и никакие электронно-вычислительные машины и математические алгоритмы не смогут этому помочь.

Пленум Центрального Комитета партии и сессия Верховного Совета СССР согласились с этой позицией, признав, что существовавшая до недавнего времени система планирования и управления народным хозяйством не соответствовала возросшим масштабам народного хозяйства. Тем самым решение проблемы из организационно-технической и административной сферы было перенесено в сферу экономическую и социальную. В этом огромное принципиальное и историческое значение нынешней хозяйственной реформы.

* * *

В чем был основной порок системы планирования, управления и стимулирования, действовавшей до последнего времени? В том, что попытки утверждать из центра каждому предприятию все детальные условия его деятельности неизбежно, объективно

приводили к механическому, уравнительному подходу. Поскольку невозможно точно знать обстановку на каждом предприятии, то исходили из каких-то средних, в действительности не существующих на каждом данном предприятии условий и прибавляли к ним примерно одинаковый темп прироста — легкий для одних и непосильный для других. Это принуждало предприятия скрывать имеющиеся у них внутренние резервы, чтобы избежать «наступления на пятки», чрезмерных и непосильных плановых заданий.

В. И. Ленин уделял огромное внимание проблеме стимулов непрерывного роста социалистического производства. Отвечая тем, кто предрекал неизбежность краха советской власти на том основании, что при ней отсутствует частнопредпринимательский стимул к непрерывному расширению производства, Ленин указывал, что на смену этому частнопредпринимательскому стимулу приходит новый, неизмеримо более мощный и эффективный стимул — стремление миллионов людей сделать как можно больше, быстрее и лучше. В самом деле, социалистический способ производства несовместим с частнопредпринимательским стимулом, который — этого никак нельзя отрицать — служит весьма действенной пружиной экономического развития капиталистических стран. Однако нам нечего бояться этой утраты. Ведь обобщение средств производства, превращение трудящихся в хозяев фабрик, заводов, земли, транспорта и других средств производства вызывает у них такой прилив творческой инициативы и создает такие возможности его практической реализации, по сравнению с которыми эффективность частнопредпринимательского стимула ничтожна. Бедя последних десятилетий, однако, состояла в том, что система планирования, стимулирования и управления принуждала предприятия скрывать свои резервы, сдерживать инициативу, чтобы иметь возможность выполнять план и получать соответствующее материальное вознаграждение.

В самом деле, ведь известно, что сплошь и рядом план каждого последующего года содержал для предприятий примерно равную надбавку, допустим, в шесть — восемь и более процентов к «базе», то есть к уровню истекшего года. При таком положении предприятия, которое в истекшем году полностью мобилизовало все свои резервы, окажется в наступающем году в невероятно тяжелом положении, тогда как коллектив, сумевший в истекшем году работать в полсилы, получит соответственно меньшее задание и будет ходить в победителях.

Потери, которые несло народное хозяйство от необходимости предприятий в какой-то мере противопоставлять свои интересы интересам общества в целом, буквально не поддаются исчислению. И это общепризнано.

...Недавно вышла книга известного авиаконструктора Олега Константиновича Антонова «Для всех и для себя». Автор выступает в ней не как создатель самолетов, а как экономист. Книга его интересна во многих отношениях и заслуживает специального разбора. В данной же статье мы хотим сказать лишь то, что в ней приводятся десятки разнообразнейших примеров и фактов, показывающих, на какие ухищрения приходилось идти коллективам предприятий, чтобы ликвидировать или хотя бы уменьшить отрицательные для общества потери, возникшие в результате неправильного планирования, непродуманных форм стимулирования и учета работы предприятий. Но совершенно очевидно, что методы планирования и руководства, которые наносят ущерб основному и решающему преимуществу социализма перед капитализмом — возможности неограниченного проявления хозяйственной инициативы миллионами трудящихся, — дольше терпеть было невозможно. Они должны были быть заменены. И они действительно заменены решениями сентябрьского Пленума ЦК и Шестой сессии Верховного Совета СССР.

Что главное в этих решениях?

Выдвижение на первый план экономических методов управления. Но это вовсе не значит, что государство отказывается от использования административных форм воздействия. Известно, что иные васьки способны в течение длительного времени слушать и есть, то есть признавать на словах необходимость изменения и продолжать прежнюю, привычную, окостеневшую «линию». К такого рода деятелям государство применяло и впредь будет применять жесткие административные методы воздействия. Административные методы управления нужны и в десятках других

случаев. Однако экономические методы планирования, руководства и стимулирования выдвигаются теперь на первый план.

Что это означает практически? А то, что воздействие на коллективы предприятий и на каждого отдельного трудящегося государство будет оказывать посредством воздействия на их интересы.

В. И. Ленин указывал, что классы и отдельные люди в своих действиях руководствуются прежде всего своими интересами. Это применимо и к социалистическому обществу с тем только преимуществом, что при социализме, так как средства производства обобществлены и нет враждебных классов, интересы каждого отдельного трудящегося при правильной организации хозяйствования полностью совпадают с интересами предприятия, а интересы предприятия — с потребностями общества в целом.

Имеются ли какие-то особые интересы у каждого отдельного трудящегося? Конечно, имеются. Они состоят в том, чтобы иметь возможность работать по способности, то есть выполнять ту работу, к которой действительно имеет необходимые навыки и знания каждый трудящийся; чтобы иметь возможность производительно трудиться в течение всего рабочего дня; чтобы получать за свою работу эффективное материальное поощрение: чтобы активно участвовать в управлении производством, быть не только исполнителем, но и участником составления планов, мероприятий по их выполнению, иначе говоря — чтобы работа доставляла непрерывное и высокое моральное удовлетворение, которое является органическим элементом процесса труда в социалистическом обществе.

Имеются ли свои особые интересы у предприятия как у коллектива трудящихся?

Разумеется, имеются. Они состоят в том, чтобы выполнить план, а по возможности и перевыполнить его и чувствовать себя по праву активным участником коммунистического труда; чтобы марка предприятия пользовалась заслуженной славой; чтобы продукцию предприятия искали; чтобы технический уровень производства непрерывно совершенствовался, оборудование, производственные площади отвечали требованиям сегодняшнего дня; чтобы успехи в работе эффективно материально поощрялись.

Совершенно очевидно, что интересы предприятий и трудящихся при социализме не только не противоречат хотя бы в малейшей мере потребностям общества, но, напротив, служат побудительной силой и источником высоких темпов развития социалистического производства. Здесь как бы замкнутый круг: чем лучше удовлетворяются интересы каждого работника, каждого предприятия, тем больше материальных благ получает общество и тем больше у него возможностей дополнительно удовлетворять потребности каждого трудящегося, каждого предприятия. Напротив, при недостатках в планировании, стимулировании, управлении чем более «зажато» предприятие, тем энергичнее оно скрывает свои внутренние резервы, тем ниже качество продукции, тем труднее внедрить там технические новшества, тем меньше отдача, получаемая обществом в целом.

Нет ли противоречия между стремлением воздействовать посредством интересов предприятий и трудящихся и централизованной системой планового руководства?

Если понимать план по-ленински — как программу борьбы народа за построение коммунизма, — то никакого противоречия нет. Потому что при таком понимании план воплощает в себе творческую инициативу народа, но придает ей при этом необходимую целеустремленность и последовательность.

Осуществление хозяйственной реформы, несомненно, принесет социалистической промышленности и всем другим отраслям народного хозяйства большие плоды. Мы сейчас просто не в состоянии представить себе их подлинный масштаб именно потому, что нынешняя хозяйственная реформа (может быть, впервые за все годы существования Советского государства) дает возможность полностью, на глубоко научной основе привести в соответствие и сомкнуть интересы десятков миллионов трудящихся и сотен тысяч предприятий с потребностями общества в целом, которое (общество), собственно говоря, и состоит из этих десятков миллионов трудящихся, работающих на самих себя, на свои семьи, на народ в целом.

* * *

Нет необходимости излагать решения Пленума ЦК КПСС и Верховного Совета СССР — они читаются и изучаются всеми. Следует лишь обратить внимание на некоторые главные, как нам кажется, направления в экономической политике, намеченные в них.

Уже говорилось о том, что в центре всей системы планирования, управления и стимулирования становится предприятие. Чтобы расширить возможности его маневрирования, сокращено количество показателей, утверждаемых для предприятия «сверху». Теперь их установлено всего лишь пять: реализация продукции, ассортимент основных изделий, фонд заработной платы, прибыль и рентабельность, взаимоотношения с государственным бюджетом. Дело, однако, не только в том, что показателей стало меньше. Главное в другом — в характере оставленных показателей.

Основной показатель — это реализация продукции. Но что такое реализация? Это не упаковка, и не отгрузка, и не перевозка изделий. Реализация — процесс экономический, а именно превращение товара в деньги. Лишь после того, как потребитель оплатил поставленную ему продукцию, и состоялась реализация. Это не значит, что процесс производства отходит на второй план. Производство всегда было и всегда будет основным видом хозяйственной деятельности. Именно в процессе производства создаются материальные ценности, общественный продукт и национальный доход. Однако производство существует не для производства, а для потребления. Показатель реализации продукции свидетельствует о том, что, пройдя через многочисленную разветвленную систему хозяйственных взаимоотношений, продукт принят тем, кому он предназначался, то есть подтверждена на самой конечной и решающей стадии его необходимость и целесообразность затрат труда на его изготовление. В то же время, получив деньги от покупателя, поставщик в состоянии начать новый цикл производства. Пока товар не превращен в деньги, нет средств для нового хозяйственного цикла. Разумеется, практически нет нужды приостанавливать производство после отгрузки каждой отдельной партии продукции. Имеется в виду не такое примитивное понимание связи реализации с производством. Речь идет о том, что если продукция не оплачивается, то через какой-то небольшой промежуток времени производство приостанавливается.

Введение в качестве основного показателя реализации придает огромную действенность борьбе за качество продукции. Сейчас для каждого становится ясным, что изготавливать нужно то, что будет принято и оплачено. Из сферы убеждения и агитации качество продукции перешло в сферу практической дееспособности: непринятая продукция не зачисляется в исполнение плана со всеми вытекающими отсюда последствиями для каждого работника предприятия-поставщика. Но дело не только в этом. Бывает так, что сама по себе продукция хорошего качества не находит спроса либо потому, что она попросту не нужна, либо потому, что те, кому она требуется, не располагают средствами для ее приобретения. Наконец в сфере торговли встречаются хорошие изделия, вышедшие из моды. Выдвижение на первый план показателя реализации продукции поднимает на должный уровень коммерческую сторону хозяйственной деятельности, которая была загублена в течение предыдущих десятилетий. На абсолютно подавляющем большинстве наших предприятий нет также самостоятельных и работоспособных финансовых служб, то есть тех органов, тех частиц хозяйственного механизма, прямой служебной обязанностью которых является обслуживание денежного оборота. То, что называется финансовой работой на подавляющем большинстве предприятий, есть в самом деле элементарное финансовое делопроизводство — составление документов для сдачи в банк, получение и распределение денег. Теперь, когда благополучие каждого предприятия зависит от его потребителей, постановка коммерческой и финансовой работы приобретает для предприятия жизненно важное значение. Один неплательщик, задерживающий реализацию у десятка поставщиков, тем самым превращает их в фабрики и заводы, не выполнившие план со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В докладе тов. А. Н. Косыгина указано, что, разумеется, механизм кредита будет использован для того, чтобы прийти на помощь «без вины виноватым». Однако такая помощь, и это всем ясно, не может быть непрерывной и беспредельной. Каждое хозяй-

расчетное предприятие должно само заботиться о том, чтобы строго соблюдать платежную дисциплину. А это совсем не так просто, если иметь в виду, что ежегодно в нашей стране составляются и исполняются триллионы платежных документов и за каждым из них скрывается какая-то хозяйственная операция. На среднем машиностроительном заводе ежедневно оплачивается триста—четыреста счетов поставщиков и поступает сто пятьдесят—двести платежей от покупателей...

Не требует особых пояснений необходимость оставления среди показателей основного ассортимента продукции. Требование соблюдения пропорций в развитии народного хозяйства обязывает планирующий орган знать, сколько, когда и где изготовляется таких изделий, каждое из которых занимает особое место в развитии народного хозяйства. Тем не менее очевидно, что по мере совершенствования планирования и ликвидации искусственно созданных диспропорций круг таких прямо планируемых изделий будет энергично сокращаться. И сегодня уже существуют миллионы видов средств производства, которых вполне достаточно в стране; по ним безо всякого риска можно переходить к обычной оптовой торговле, отказаться от фондов и разрядок. С каждым месяцем и с каждым годом этот круг будет все более расширяться, но какое-то количество изделий, разумеется, всегда будет поименно указываться в плане. Никогда оптовые базы не будут торговать блумингами, турбинами, генераторами и ледоколами...

Особенно важное значение имеет выдвижение на первый план показателя прибыли и рентабельности.

До чего живучи предрассудки! Опросите любых пять человек, и трое из них, безусловно, скажут вам, что прибыль — понятие, чуждое социализму, взятое нами «напрокат» до поры до времени. Между тем ни классики марксизма-ленинизма, ни полувековая практика социалистического хозяйствования ни разу не выдвигали сомнений в полезности прибыли и полном ее соответствии социалистическим принципам хозяйствования. Однако предрассудки, о которых идет речь, распространены не только среди неспециалистов (что было бы полбеды). В любом учебнике политэкономии можно встретить фразу о том, что цель производства при социализме — не получение прибыли, а удовлетворение потребностей народа. Значит, прибыль — это что-то противоположное интересам народа. Между тем достаточно очень немного подумать, чтобы убедиться в полной бессмысленности этой фразы.

В самом деле, что такое прибыль? Вот две текстильные фабрики. Допустим, что они совершенно во всем одинаковы и различаются только тем, что первая закончила 1964 год с прибылью, а вторая — с убытком. В чем выразилось это различие? В том — и только в том, — что первая фабрика дала больше тканей или (что то же самое) на равное количество тканей затратила меньше хлопка, топлива, заработной платы и других издержек. Из сэкономленного хлопка и других издержек будет произведено дополнительно ткани то ли на этой фабрике, то ли на другой. Точно так же прибыль машиностроителей выражена в станках, кондитерской фабрики — в конфетах и т. д. Иначе и быть не может. Ведь прибыль — и этого никто не отрицает — есть денежное выражение стоимости прибавочного продукта, созданного прибавочным трудом, то есть трудом, отданным на пользу обществу. Сперва этот прибавочный продукт, как и любая другая часть общественного продукта, производится в натуральной форме и лишь затем, после реализации, оседает в виде дополнительной суммы денег на счете производителя. Но ведь в деньги превращается не только прибавочный, а весь продукт. Следовательно, фраза: «Цель производства — не прибыль» — может означать только одно: нам нужно не больше, а меньше хороших изделий...

Откуда же взялась эта сакраментальная фраза? Видимо, она возникла довольно простым способом. Классики марксизма-ленинизма неоднократно и справедливо говорили о том, что цель производства при капитализме — не удовлетворение потребности народа, а получение прибыли. Это действительно так! Капиталисту безразлично, что производить, и так как изготовление атомных бомб рентабельнее, чем печатание учебников или строительство жилых домов, то капиталы переливаются в той мере, в какой только возможно, из мирных в военные отрасли. Нет такого преступления, мошенничества и

фальсификации, на которые не пошла бы капиталистическая монополия, если это сулит дополнительную прибыль.

Так вот из этого правильного марксистского положения по нехитрому принципу «у нас все наоборот», видимо, родилось противопоставление прибыли другим частям общественного продукта. Но разве прибыль в СССР — результат эксплуатации, нечеловеческой интенсификации производства, фальсификации продукции, спекулятивных махинаций с ценами? Нет, нет и нет! Только поверхностное представление о сущности социалистического способа производства могло породить и действительно породило предрасудок о несоответствии прибыли социалистическому способу производства. Между тем нетрудно понять, что в действительности нашему обществу прибыль нужна в гораздо большей степени и в гораздо больших размерах, чем капитализму. Там речь идет о том, чтобы удовлетворить потребности господствующего класса и обслуживающих его кругов, которые в конце концов вряд ли составляют более десяти — пятнадцати процентов всего населения. Мы же ставим и решаем задачу полного удовлетворения потребностей всего народа. Значит, и прибыли нам надо гораздо больше. Это и сказано в Программе КПСС, где в качестве основного закона хозяйствования выдвинуто требование получать максимум эффекта при минимуме затрат. А это и значит работать как можно рентабельнее.

Выдвижение прибыли в качестве одного из важнейших показателей работы предприятия важно по крайней мере по двум причинам.

Во-первых, в показателе прибыли отражается не только производственная деятельность, но все стороны хозяйствования: коммерческая сторона, подсобные предприятия, использование жилого фонда и т. д. Любое достижение увеличивает прибыль, любой промах уменьшает ее.

Во-вторых, прибыль не только показатель, она в то же время источник материального стимулирования предприятия в целом и каждого работника в частности. Здесь имеются в виду не только премии, но и создание возможности расширения предприятия.

Как известно, решениями Пленума предусмотрено образование на каждом предприятии фонда его технического развития и совершенствования, причем основную часть этого фонда образуют отчисления от прибыли. Точно так же отчисления от прибыли становятся основным источником фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий, также создаваемых на предприятиях. Когда основными показателями была валовая продукция или выполнение заданий по себестоимости, то из них непосредственно не вытекало никаких плюсов или минусов для предприятий. Нужно было административным путем прикрепить к этим показателям фонд заработной платы, премии и другие рычаги воздействия на производство. Иное дело — прибыль. Она содержит в себе и показатель и средства, тем самым органически сплотив в одно целое программу работы предприятия и источники стимулирования выполнения и перевыполнения этой программы.

Это не значит, что показатель прибыли не может быть использован в ущерб интересам общества. Можно, например, в погоне за прибылью выпускать лишь дорогие изделия и пойти на извращения ассортимента и показателей плана. Но возможность отрицательного использования показателя вряд ли может считаться его недостатком. Необходимо лишь обеспечить должный контроль и общественное воздействие на производство. К тому же предприятие, чрезмерно нарушавшее ассортимент, несомненно, столкнется с трудностью реализации продукции, и тем самым закон товарного обращения будет вынуждать его работать так, как этого требуют действительные потребности общества.

Фонд заработной платы, установленный как один из показателей для предприятий, определяет те пределы, в которых предприятие вправе использовать свои ресурсы для оплаты труда. Много было споров относительно того, нужно или не следует утверждать сверху для предприятий фонд заработной платы. Имеются доводы и за и против. Пленум решил временно, до тех пор пока не будут созданы необходимые резервы предметов потребления, установить предприятиям фонд заработной платы сверху. Можно не сомневаться в том, что успешное проведение хозяйственной реформы сделает

в течение короткого времени ненужным утверждать и этот показатель, так же как задания по численности трудящихся и росту производительности труда. Вельнику же не придет в голову считать, что показатели численности и производительности стали менее важными оттого, что их не утверждают сверху. Правила уличного движения необходимы не потому, что существуют милиционеры, а потому, что без них невозможно жить в городе...

Наконец обязательному утверждению подлежат взаимоотношения предприятия с государственным бюджетом. Тут имеется в виду установление предприятиям длительных нормативов для взносов, отчисляемых ими в бюджет. Не будет преувеличением сказать, что введение таких нормативов равносильно замене «продразверстки» продовольственным налогом в области финансов. Тогда предприятия будут знать на пять лет вперед, сколько они должны внести в государственный бюджет; это будет иметь огромное значение для стабилизации всех экономических отношений на предприятиях. Одновременно принято решение существенно сузить сферу безвозвратного финансирования из бюджета, особенно на действующих предприятиях. Такие предприятия, если им не хватает собственной прибыли и амортизационных отчислений, будут обращаться за долгосрочными ссудами в Государственный банк и Стройбанк, будут платить за них проценты и погашать из полученной прибыли. «Даровым» деньгам приходит конец. За все надо платить. Это и есть выкорчевывание формального хозрасчета и замена его хозрасчетом настоящим, подлинным, ленинским!

Следует отметить, что длительные нормативы утверждаются не только для взаимоотношения с бюджетом. Имеется в виду решительно повысить роль перспективных планов, которые станут основными; в их пределах будут разрабатываться и утверждаться годовые планы.

Чтобы усилить экономическое стимулирование предприятий, кроме создания фондов, о которых уже говорилось, и расширения сферы кредита, установлена плата за фонды, предоставленные предприятиям. Эти фонды не с неба свалились. Они — продукт народного труда, и за их пользование, как уже говорилось, надо платить. Плата за фонды будет решительным стимулом к тому, чтобы высвободить ненужные предприятиям машины и материалы, экономить на лимитах капиталовложений, эффективнее использовать действующие здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности. Предусмотрено возмещение всей суммы убытка, возникшего у потребителя по вине поставщика, что превращает хозяйственный договор в документ первейшего значения.

Вопрос об усилении материальной заинтересованности работников предприятий и предприятий в целом в непрерывном совершенствовании хозяйственной деятельности был одним из центральных на Пленуме и сессии Верховного Совета СССР. Там указывалось, что материальное поощрение используется совершенно недостаточно, что возможности предприятий в этой области крайне ограничены. В самом деле, за последние несколько лет непрерывно и значительно сокращается доля премий, получаемых инженерно-техническими работниками и рабочими. Половина промышленных предприятий систематически по тем или иным причинам не образует фонды предприятия.

В чем тут дело?

Видимо, в совершенно неправильном понимании сущности материального поощрения при социализме. Министерство финансов СССР и Комитет по труду и заработной плате Совета Министров СССР все еще продолжают рассматривать премии как расход и при каждой необходимости балансировать бюджет обращаются к премиям в целях их сокращения. Между тем из всей сущности экономических отношений социалистического способа производства с непреложной очевидностью следует, что премии совершенно не являются расходом, а, напротив, образуют собой источник повышения доходов общества и тем самым государственного бюджета. Премии по их роли правильно уподобить семенам в земледелии или кормам в животноводстве. Конечно, и семена можно считать расходом, но только крайне неразумный хозяин будет сокращать нормы высева и ждать после этого обильных урожаев. Вся практика хозяйствования убедительно свидетельствует о том, что каждый рубль, использованный на материальное поощрение, возвращается народному хозяйству в пяти-, а то

и в десятикратном размере, если, конечно, одновременно с этим обеспечить необходимые условия для нормальной деятельности предприятия.

* * *

В области управления хозяйственная реформа выражается в том, что на смену советам народного хозяйства экономических районов, республик и СССР приходят отраслевые министерства. На Пленуме и Шестой сессии Верховного Совета СССР достаточно подробно и убедительно мотивировалась необходимость введения отраслевого принципа управления в промышленности. Поэтому не стоит здесь подробно останавливаться на этом совершенно ясном вопросе. Однако следует обратить внимание на то, что в такой гигантской стране, как наша, не может быть применен только отраслевой принцип управления, как не мог быть использован только принцип территориальный. Необходимо глубоко продуманное и тщательное сочетание и совмещение отраслевого и территориальных принципов при ведущей роли отраслевого принципа, когда речь идет о промышленности, так как в этой отрасли, где очень стремителен технический прогресс, непрерывно происходит отпочкование новых видов производства и требуется исключительно глубокое специализированное и квалифицированное техническое и экономическое руководство.

Крупный недостаток прежних министерств состоял в том, что они разгородили страну на узкие, ведомственные «коридоры». Каждое из предприятий пыталось иметь свои ремонтные и инструментальные цехи, автобазы, строительные организации и карьеры, школы по подготовке кадров, клубы и поликлиники, жилой фонд и стадионы и т. д. и т. п. Таким образом, промышленные центры были искусственно разгорожены. Нередко были случаи, когда один и тот же материал одно министерство завозило по воде из Москвы в Горький, а другое тем же паромом посылало из Горького в Москву...

За годы существования совнархозов в этой области было сделано немало полезного — были ликвидированы многие мелкие предприятия и созданы межотраслевые ремонтные, инструментальные, тарные, транспортные, строительные и другие предприятия. Были созданы предприятия, снабжающие в пределах данного города или области всех потребителей литем, поковками, метизами и т. д. Было бы непоправимой ошибкой разрушить все эти связи, ликвидировать эти межотраслевые тылы и вернуться вновь к отраслевой раздробленности прежних лет. В выступлениях на Пленуме ЦК КПСС и на сессии Верховного Совета СССР, на собраниях партийного актива различных городов много говорилось о том, что нужно сохранить эти межотраслевые тылы, развивать и укреплять их. Это — задача большой важности, ее решение требует постоянного внимания со стороны Госплана СССР и других руководящих хозяйственных организаций.

* * *

У многих возникает вопрос: не ослабевает ли роль централизованного государственного плана в связи с усилением самостоятельности предприятий и выдвижением на первый план экономических методов руководства и стимулирования?

С полной убежденностью можно ответить, что это не только не приведет к ослаблению планового начала, но, напротив, поднимет централизованное плановое руководство на высшую ступень, соответствующую нынешнему масштабу хозяйствования и современной квалификации кадров. Что касается уровня централизованного планового руководства, существовавшего до последнего времени, то он отвечал в основном масштабам хозяйства начала тридцатых годов, когда он, этот уровень, сложился. Не может быть и речи о том, что Советский Союз, вступая во второе пятидесятилетие своего существования, намерен в какой бы то ни было степени сузить сферу или уменьшить эффективность централизованного государственного планового руководства экономикой. Речь идет совсем о другом: как понимать самый процесс дальнейшего совершенствования и углубления планового начала?

До недавнего времени Госплан СССР распределял в централизованном порядке восемнадцать тысяч видов средств производства. Кроме того, в централизованном по-

рядке главснабсбытами и другими органами распределялись еще десятки тысяч различных видов материалов, инструментов, приборов и т. д. Из центра сверху вниз «спускались» утвержденные показатели численности работников предприятий и (в ряде случаев) размер средней заработной платы, полностью весь ассортимент продукции, по элементам нормативы оборотных средств и десятки других показателей. Но было ли это действительно экономически обоснованное научное планирование? Или же это были совокупные, насланивавшиеся в течение нескольких десятилетий попытки с помощью мелких административных рычагов наблюдать за работой каждого предприятия и регулировать его деятельность? Вот на этот вопрос и нужно дать ответ. Мы все согласны с тем, что необходимо усиление централизованного планирования, но как понимать, как представлять себе результаты этого процесса? Означает ли это — процесс непрерывного совершенствования планирования, — что, скажем, в 2000 году в централизованном порядке будут распределяться не 18 тысяч наименований средств производства, а, скажем, 40 тысяч или 400 тысяч? Или, может быть, напротив, успех научного централизованного планирования будет состоять в том, что, допустим, в 2000 году ни один вид средств производства не будет непосредственно распределяться центральными плановыми органами? Вот в чем суть вопроса. Повторяем, все согласны с тем, что мы идем к усилению централизованного планирования, но многие по-разному представляют себе содержание и результаты этого процесса.

Десятилетия преобладания административных методов руководства с согласованием и увязыванием в десятках инстанций любого шага предприятия убедило многих плановиков в том, что именно в этом «конкретном» руководстве и состоит суть централизованного планирования. Однако убеждение этих товарищей, как бы оно ни было глубоко искренним, не имеет ничего общего с объективной действительностью. Подобно тому, как ракетой в космосе нельзя управлять с земли при помощи рычагов, а нужно использовать автоматически действующие дистанционные системы, — подобно этому народным хозяйством СССР нынешнего масштаба и современных темпов развития попросту невозможно управлять из центра и планировать его сотнями и тысячами мелких и мельчайших административных и организационных предписаний и заданий. Но точно так же, как летящая в космос ракета не менее управляема, чем моторная лодка или грузовой автомобиль, точно так же народное хозяйство, руководимое и направляемое экономическими методами планирования и управления, будет развиваться целенаправленно и эффективно в неизмеримо большей степени, чем это делалось при господстве административных методов руководства.

* * *

В докладе А. Н. Косыгина на Пленуме ЦК КПСС говорилось, что «наши ученые-экономисты мало занимаются анализом эффективности общественного производства и разработкой предложений по ее повышению».

Приходится признать справедливость и обоснованность этого упрека.

Однако представляет интерес разобраться в некоторых причинах отставания экономической науки, тем более что упрек в ее адрес делается не впервые, что справедливость этих упреков многократно признавалась, между тем как положение дел изменяется в лучшую сторону не так быстро, как хотелось бы. В чем тут дело? Неужели экономические науки собрали вокруг себя одних только тупиц или бездельников, мечтающих лишь о том, чтобы получить побольше денег, пить коньяк и играть в преферанс? Может, существуют какие-то причины, которые сдерживают развитие экономической науки и не позволяют ей дать нашему народному хозяйству все то, на что она способна, — ведь она располагает в наше время высококвалифицированными кадрами научных и практических экономических работников и у нее накоплен гигантский опыт социалистического хозяйствования? Безусловно. И причин этих немало. Вот некоторые из них.

На первое место следует поставить отсутствие статистических данных. Конечно, за последние годы увеличился выход статистических справочников и публикация материалов. Однако справочники эти пригодны для общего ознакомления, для

занятий в вузах, но совершенно недостаточны и непригодны для работы с ними экономистам. А ведь статистика для экономической науки — то же самое, что инструменты и приборы для других отраслей знания. И можно сказать совершенно определенно, что пока в распоряжении ученых-экономистов не будет десятков общих и специализированных статистических справочников, содержащих необходимые абсолютные и относительные данные, до тех пор экономическая наука будет давать практике лишь малую толку того, на что она потенциально способна. За последние десятилетия статистическая служба нашей страны потеряла вкус к публикациям. Возможно, что нет необходимых штатов, бумаги и других условий. Такие условия должны быть созданы, иначе не преодолеть затянувшегося отставания экономической науки.

Недостаток экономических кадров, о котором так много и остро говорится в последнее время, также приводил и приводит к слабому участию экономической науки в практике социалистического хозяйствования. Какого обобщения практики можно ожидать, если один экономист с высшим образованием приходится в среднем на шесть-семь промышленных предприятий? Если в Москве нет и десяти начальников финансовых отделов предприятий с высшим специальным образованием? За последние десять лет сокращалась сеть экономических вузов и факультетов, уменьшались контингенты приема на дневные отделения и в аспирантуру. И еще одно. В связи с энергичным и плодотворным проникновением математики в экономику студенты в последние годы получают дополнительно к прежним учебным планам сотни часов математики и техники электронно-вычислительных работ. Это дополнительная огромная нагрузка к их прежнему учебному плану. Реагировало ли Министерство высшего образования на это изменение объема нагрузки студентов экономических вузов? Да, реагировало, и совершенно недвусмысленным образом: продолжительность учебы в экономических вузах была сокращена с пяти лет до четырех...

Ученым-экономистам не так просто обсуждать волнующие их проблемы. В силу самого своего характера экономическая наука требует широких обсуждений различных мнений, проектов, так как здесь невозможны лабораторные исследования, а применяемые эксперименты опять-таки в силу особенностей экономической науки, при всем их значении, не могут играть той роли, как в технических науках. Между тем подавляющее большинство экономических журналов является органами соответствующих ведомств, и на их страницах не так-то просто выступать с критикой деятельности этих ведомств. Перелистайте комплекты журналов «Финансы СССР», или «Деньги и кредит», или «Плановое хозяйство», «Вестник статистики», «Социалистический труд» за последние десять лет и попробуйте отыскать там хоть один абзац, содержащий критику в адрес соответствующих ведомств!..

И все же, несмотря на отставание, экономическая наука разработала десятки ценнейших предложений, большинство из которых на практике не применяется или внедряется с недопустимой медлительностью. Приведу хотя бы один факт. С 1949 года большая группа научных работников исследует проблему совершенствования организации оборотных средств в СССР. При правильной их организации оборотные средства служат весьма эффективным экономическим рычагом совершенствования материально-технического снабжения, сбыта и производства.

В результате длительных исследований и практических проектировок была разработана и в 1958 году на конференции в Ленинграде одобрена методика нормирования оборотных средств. Конференция обратилась к Госплану СССР и Министерству финансов СССР с просьбой рассмотреть ее рекомендации и приступить к научно обоснованному нормированию оборотных средств. Ответом было ледяное молчание Госплана СССР и поток критики (чаще необоснованной) и насмешек со стороны Министерства финансов СССР. Тем не менее 30 января 1962 года Совет Министров СССР постановлением № 85 утвердил «Основные положения о нормировании оборотных средств» и «Типовую инструкцию по нормированию оборотных средств в промышленности». Госплан СССР и Министерство финансов СССР, Госбанк и Госстрой этим постановлением были обязаны в короткий срок разработать отраслевые инструкции и внедрить их с тем, чтобы с 1962 года перейти в народном хозяйстве СССР на научную методику определения

потребности в оборотных средствах. С тех пор прошло около четырех лет, но решение это не выполнено, хотя были все необходимые условия для его выполнения. Причина? Упорное нежелание Министерства финансов СССР расстаться с «волевыми» методами финансового планирования и руководства и заменить их методами объективными, научно обоснованными хотя бы в одной части финансов предприятий, их оборотных средств. Что могли сделать в подобных условиях ученые-экономисты? Сигнализировать? Не исключено, что эти сигналы попадали в Министерство финансов СССР, где их читали и посмеивались над наивностью профессоров...

Приходится с огорчением отметить, что до самого последнего времени у экономической науки не было такого «хозяина», какой есть у физики, геологии, медицины и многих других отраслей познания. А им должен был бы быть прежде всего Госплан СССР. Резкая критика, которой в течение многих лет подвергается работа Госплана СССР, далеко не в последнюю очередь объясняется тем, что этот важный орган потерял контакт с экономической наукой и не пользуется ее помощью. Мы полны уверенности в том, что нынешняя перестройка Госплана СССР прежде всего и больше всего будет состоять как раз в глубоком проникновении экономической науки в содержание, формы и методы работы этого важного государственного органа.

На протяжении ближайших двух лет нам предстоит разработать и внедрить экономически обоснованную систему цен, премий, показателей планирования и десятки других нормативов, «Положений» и экономических документов. Необходимо, чтобы эти документы и нормативы создавались в тесном контакте работников экономических органов, практиков-хозяйственников и ученых-экономистов, чтобы эта работа проходила под глубоким и непрерывным партийным контролем. Только при этом условии возможно полное и квалифицированное решение большого числа чисто практических задач, которые и составляют содержание нынешней хозяйственной реформы. На собраниях нам часто доводилось слышать о том, что, к сожалению, нередко бывало и так, когда инструкции, издававшиеся Министерством финансов СССР, Комитетом по труду и заработной плате, Госпланом и Госбанком, а также некоторыми другими органами в целях развития тех или иных постановлений партии и правительства, сужали эти постановления, а иной раз и извращали их. Так, например, в известной инструкции о поощрении за снижение себестоимости продукции дело было сформулировано таким образом, что премия выдавалась лишь при наличии экономии фонда заработной платы. Между тем в некоторых отраслях группы «Б» доля заработной платы в издержках производства не превышает десяти процентов. Стоило только не иметь экономии по заработной плате, как работники предприятий лишались премии, хотя бы они сэкономили сотни тонн хлопка или других материальных ценностей. Так инструкция извратила и выхолостила важное постановление о борьбе за снижение себестоимости продукции.

Обоснованность требования практических работников привлекать их к разработке инструкций и других нормативных документов очевидна еще и потому, что во время экономической дискуссии, предшествовавшей Пленуму, получилось как-то так, что многие работники плановых, финансовых и других экономических органов высказывались против введения платности фондов, расширения сферы кредитования и сужения безвозвратного бюджетного финансирования, ограничения круга показателей, утверждаемых в централизованном порядке, и ряда других важнейших основ хозяйственной реформы. Мы не хотим упрекать этих товарищей: дискуссия для того и дискуссия, чтобы все могли свободно высказываться и сталкивать между собой различные точки зрения. Но теперь партия и правительство приняли определенного содержания и направления программу хозяйственного развития. Разработка вытекающих из нее нормативных документов передается в руки работников различных государственных органов, и дело теперь за тем, чтобы к а ж д ы из этих работников сумел полностью преодолеть точки зрения, отклоненные проводимой ныне реформой, и сумел способствовать наиболее быстрому и полному претворению ее в жизнь. Сказанное отнюдь не означает недоверия к тем или иным работникам экономических органов. Речь идет о правильном, соответствующем духу социалистической демократии сочетании различной категории работников при подготовке важнейших экономических документов.

* * *

Вряд ли мы найдем такое предприятие или учреждение, и притом не только в сфере хозяйства, где самым подробным образом, с большим интересом не обсуждались бы материалы Пленума и сессии Верховного Совета СССР. Из печати известно, что столь же широкие отклики Пленум и сессия вызвали и за рубежами нашей страны. Нет нужды останавливаться на домыслах наших недругов, желающих в каждом этапе развития социалистической экономики видеть «проявления кризиса», приметы «развала» и другие страсти-мордасти. Можно только удивляться, что на подобный товар все еще имеется какой-то спрос на зарубежных рынках. Для нас важно другое. Проводимая реформа означает, что на службу потребностям народного хозяйства становятся многие эффективные рычаги воздействия на производственную деятельность, основанные на глубоком проникновении в самую суть производственных отношений социализма. Весь опыт развития нашего государства убеждает нас в том, что каждый раз, когда применялись меры, не соответствующие природе общественных отношений в нашей стране, такие меры отвергались жизнью и от них приходилось отказываться. И напротив — каждое решение, каждая реформа, вытекавшая из самой сущности социалистического способа производства, давала новый огромный стимул для развития производительных сил и производственных отношений нашего общества. Нынешняя хозяйственная реформа раскрывает широкий простор действию экономических законов социализма посредством правильно отобранного и четко сформулированного механизма хозяйствования. Именно в этом источник нашей глубокой уверенности в том, что народное хозяйство СССР стоит на пороге крутого подъема, новых, еще больших успехов в создании материально-технической базы коммунизма.



В МИРЕ НАУКИ

НОРБЕРТ ВИНЕР

★

ТВОРЕЦ И РОБОТ

Из книги "God and Golem, Inc."¹

Мне приходилось уже говорить о том, что осуждение, которому в прошлые века подвергалось колдовство, теперь в умах многих людей переносится на современную кибернетику. Я не ошибусь, сказав, что еще лет двести назад ученый, пытавшийся создать машину, способную обучаться играм или размножаться, был бы облачен в «санбенито» — балахон для жертв инквизиции — и предан огню, ибо «пролития крови быть не должно». Избежать костра ему удалось бы разве лишь в том случае, если кто-нибудь из его высоких покровителей поверил, будто он владеет магическим искусством превращать простые металлы в золото, подобно тому как император Рудольф поверил пражскому раввину Леви, что своими заклинаниями тот способен вдохнуть жизнь в глиняного человека — «голема».

Но даже если бы в наше время явился изобретатель, который сумел бы доказать какой-либо компании по производству вычислительных машин, что его магия может ей пригодиться, — он мог бы, ничем не рискуя, заниматься своей черной магией до второго пришествия.

Что же такое колдовство и почему оно осуждается как грех? Почему глупый маскарад «черной мессы» вызывал такой гнев? Отношение к колдовству легче понять, если мы станем на точку зрения ортодоксального верующего. Для остальных — это бессмысленная или даже непристойная церемония. Однако те, кто принимает в ней участие, гораздо ближе к ортодоксальной вере, чем большинство из нас думает. Главный элемент черной мессы не противоречит обычной христианской догме, по которой священник творит чудо, превращая дух в плоть и кровь Христову.

Верующий христианин и колдун сходятся на том, что, как только чудо превращения свершилось, божественная стихия способна творить новые чудеса. Они согласны, кроме того, и в том, что чудо перевоплощения может совершить только священнослужитель определенного сана. И наконец они согласны в том, что такой пастырь никогда не утрачивает свою чудотворную силу, если же он чудотворствует, будучи отрешенным от сана, то ему грозит вечное проклятье.

Но тогда можно считать совершенно естественным и такой случай, когда некоему человеку — по натуре злому, но хитроумному и недоброжелательному — придет мысль получить власть над магическим духом и употребить его силы ради собственной выгоды. Именно в этом, а не в кощунственных оргиях и заключается главный грех черной мессы. Ведь магия духа по природе своей добра. Стремление направить ее к противоположным целям — смертный грех. Таким и был тот грех,

¹ «God and Golem, Inc.» — последняя книга основоположника кибернетики Норберта Винера, увидевшая свет в 1964 году — в год его смерти. Она будет выпущена в русском переводе издательством «Прогресс» в 1966 году под заглавием «Творец и робот». В нашей публикации даны с некоторыми сокращениями последние три главы книги.

который библейская легенда приписывает Симону-волхву, пытавшемуся купить у апостола Павла чудотворные силы христианства. Я хорошо представляю себе замешательство и огорчение бедняги, когда он узнал, что эти чудотворные силы не продаются и что апостол Павел отказался от сделки, по мнению Симона, — честной, приемлемой и совершенно естественной.

Такое поведение апостола Павла поймет всякий, кому случалось отказываться от продажи своего изобретения, несмотря на весьма выгодные условия, предложенные ему каким-нибудь магнатом современной индустрии.

Христианство, что бы там ни говорили, всегда считало грехом симонию, то есть куплю и продажу церковных должностей и чудотворных сил, которые им приписывались. Данте считал этот грех одним из тяжчайших: бесстыдно погрязших в нем современников он низвергнул на самое дно своего «Ада». Однако этот порок, бывший главным искушением в чрезвычайно суеверную эпоху Данте, безусловно отмирает в современном рационалистическом и рациональном мире.

Итак, он отмирает! Он отмирает... Отмирает ли?..

Пусть силы машинного века на самом деле нельзя считать сверхъестественными, но все же они не укладываются в представления простого смертного о естественном порядке вещей. И хотя мы больше не считаем своим долгом приводить эти колоссальные силы в движение лишь ради вящей славы божьей, тем не менее нам представляется неприемлемым пускать их в ход ради суетных или корыстных целей. Грехопадение нашего времени в том, что магические силы современной автоматизации служат для получения еще больших прибылей или используются в целях развязывания ядерной войны с ее апокалиптическими ужасами. Если этому пороку следует дать имя, мы вправе назвать его симонией или колдовством.

Ибо независимо от того, верят или не верят люди в бога, — не все им дозволено. В отличие от покойного Адольфа Гитлера мы не достигли еще в своем надменном моральном безразличии того кульминационного пункта, который ставит нас по ту сторону добра и зла. И до тех пор, пока мы, хотя бы в малейшей степени, сохраним наше нравственное чутье, которое позволяет различать добро и зло, применение великих сил нашего века в низменных целях будет в морально-этическом отношении совершенно равнозначно колдовству и симонии.

Коль скоро существует возможность создания автоматов в металле, либо только в чертежах и расчетах, изучение их производства и теории является естественной фазой человеческой любознательности. Мощь человеческого разума сводится на нет, если сам человек ставит какие-то жесткие границы своей пылливости. И все же существуют аспекты автоматизации, которые выходят за рамки узаконенной любознательности и становятся греховными по своей сути. Это можно пояснить на примере технического руководителя особого типа, которого я назвал бы машинопоклонником...

Помимо того, что машинопоклонник преклоняется перед машиной за то, что она свободна от человеческих ограничений в отношении скорости и точности, существует еще один мотив в его поведении, который труднее выявить в каждом конкретном случае, но который тем не менее должен играть весьма важную роль. Мотив этот выражается в стремлении уйти от личной ответственности за опасное или гибельное решение. Побуждения такого рода проявляются в попытках переложить ответственность за подобные решения на что и на кого угодно: на случай, на начальство, на его политику, которую-де не положено обсуждать, или на механическое устройство, которое якобы невозможно полностью постичь, но которое обладает бесспорной объективностью. Вероятно, мотивы такого же рода движут потерпевшими кораблекрушение, когда они тянут жребий, чтобы определить, кто должен быть съеден первым. Подобными аргументами искусно оперировала защита Эйхмана. Из таких же мотивов исходят и те, кто раздает одним солдатам, исполняющим приговор о расстреле, боевые патроны, а другим — холостые, с тем чтобы каждый из них так никогда и не узнал, участвовал ли он в убийстве. Несомненно, что подобными же уловками будет пытаться успокаивать свою совесть то высоко-

поставленное должностное лицо, которое осмелится нажать кнопку первой (и последней) атомной войны. Это старый колдовской трюк, чреватый, правда, трагическими последствиями: после удачного исхода рискованного предприятия приносит-ся в жертву первое встречное живое существо. Как только такой господин начина-ет сознавать, что некоторые человеческие функции его рабов могут быть пере-даны машинам, — он приходит в восторг. Наконец-то он нашел нового подчиненно-го — энергичного, услужливого, надежного, никогда не возражающего, действую-щего быстро и без малейших размышлений!

Подчиненный такого типа выведен Чапеком в его пьесе «R.U.R.». Так же как и раб из «Лампы Алладина», он ничего не требует. Он не просит каждую неделю выходного дня и не нуждается в телевизоре для своего жилища. Он даже не нуж-дается в жилище. Но стоит только потерять лампу, как он появляется из ниотку-да. И если ради ваших целей вы решитесь пуститься в плавание против ветра общепринятой морали, ваш раб никогда не осудит вас, даже не бросит на вас воп-рошающего взгляда. Теперь вы свободны плыть, куда вас влечет судьба!

Такая психология свойственна колдуну в полном смысле этого слова. Такого типа колдунов предостерегают не только церковные доктрины, но и здравый смысл, органически присущий человечеству, выраженный в легендах, мифах и творениях здравомыслящих писателей. Все они сходятся на том, что колдовство не только грех, ведущий в ад, — оно таит в себе опасность для самой жизни на земле. Это обоюдоострый меч, который рано или поздно пронзит.

Здесь уместно вспомнить историю о рыбаке и Джине из «Тысячи и одной ночи».

Рыбак, забросив сеть вблизи берегов Палестины, выловил закупоренный гли-няный кувшин с печатью царя Соломона. Он взламывает печать, и из кувшина вырывается столб дыма, принимающий форму гигантского Джина. Джин говорит рыбаку, что некогда он, Джин, был одним из мятежников, которого великий царь Соломон замкнул в кувшин. Вначале Джин намеревался вознаградить своего освободителя властью и богатством. Но проходили века, и тогда он решил умерт-вить первого же смертного, которого он встретит, и прежде всего своего освобод-ителя.

На свое счастье, рыбак оказался находчивым малым, искусно владевшим оружием лести. Играя на тщеславии Джина, он убеждает его показать, как такое огромное Существо может втиснуться в столь маленький сосуд. Джин, доказывая это, снова влезает в кувшин. Рыбак тут же запечатывает его, бросает злосчаст-ный кувшин в море и поздравляет себя со спасением. С тех пор он живет, не зная горя.

В других легендах герой, сталкиваясь с магией уже не столь случайно, либо оказывается на грани катастрофы, либо терпит полный крах. В стихотворении Гёте «Ученик чародея» изображен юный слуга, который чистит одежду своего хозяи-на-волшебника, подметает пол и носит воду. Однажды, получив приказ наполнить бочку водой, слуга остался один. Подверженный той лени, что является истинной матерью изобретения (от такой же лени другой мальчик, работавший у машины Ньюкомена, прицепил как-то веревку от крана, впускающего пар, к балансиру, со-здав тем самым первый автоматический клапан¹⁾, гётевский ученик чародея, за-помнивший отрывки подслушанных им заклинаний хозяина, произнес их и заста-вил метлу качать воду в бочку. Эту часть задачи метла исполняет быстро и энер-гично. Когда же вода начинает переливаться через край бочки, мальчик вдруг обнаруживает, что он забыл заклинания, которыми чародей останавливал метлу. Мальчик захлебывается и почти тонет в воде, но тут чародей, к счастью, возвра-щается, произносит несколько властных слов, умиротворяющих бунт вещей, а затем задает своему ученику изрядную взбучку.

Даже в этом случае катастрофу удается отворотить лишь с помощью *deus ex*

¹⁾ По преданию, это изобретение было сделано английским мальчишкой Гемфри Пот-тером. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

machina¹. Джекбс, английский писатель начала двадцатого века, довел этот принцип до своего логического конца в повести «Обезьянья лапа», которая представляет собой один из классических образцов литературы ужасов.

В повести описывается английская рабочая семья, собравшаяся к обеду на кухне. Сын вскоре уходит на фабрику, а старики родители слушают рассказы своего гостя, старшего сержанта, возвратившегося из Индии. Гость рассказывает об индийской магии и показывает талисман — высушенную обезьянью лапу. По его словам, индийский святой наделил этот талисман магическим свойством исполнять по три желания любого из трех своих последовательных владельцев. Гость говорит, что это подходящий случай испытать судьбу. Он не знает первых двух желаний предыдущего владельца талисмана, но ему известно, что последним желанием его предшественника была смерть. Сам он был вторым владельцем, но то, что он испытал, слишком страшно пересказывать. Гость уже намерен бросить волшебную лапу в камин, но хозяин выхватывает ее и невзирая на предостережения просит у нее двести фунтов стерлингов.

Через некоторое время раздается стук в дверь. Входит очень важный господин, служащий той фирмы, в которой работает сын хозяина. Со всей мягкостью, на которую он способен, господин сообщает, что в результате несчастного случая на фабрике погиб сын хозяина. Не считая себя ни в коей мере ответственной за случившееся, фирма выражает семье погибшего свое соболезнование и просит принять пособие в размере двухсот фунтов стерлингов.

Обезумевшие от горя родители умоляют — и это их второе желание, — чтобы талисман вернул им сына... Внезапно все погружается в зловещую тьму, поднимается буря. Снова стук в дверь. Родители каким-то образом узнают, что это их сын, но, увы, он бесплотен, как призрак. История кончается тем, что родители выражают свое третье и последнее желание: они просят, чтобы призрак сына удался.

Лейтмотив всех этих историй — опасность, связанная с природой магического. По-видимому, корни этой опасности кроются в том, что магическое исполнение заданного осуществляется в высшей степени буквально и что если магия вообще способна даровать что-либо, то она дарует именно то, что вы попросили, а не то, что вы подразумевали, но не сумели точно сформулировать. Если вы просите двести фунтов стерлингов и не оговариваете при этом, что вы не желаете их получить ценою жизни вашего сына, — вы получите свои двести фунтов независимо от того, останется ли ваш сын жив или умрет.

Не исключено, что магия автоматизации и, в частности, логические свойства самообучающихся автоматов будут проявляться столь же буквально.

Если вы ведете игру, соблюдая все правила, и настраиваете машину так, чтобы она играла на выигрыш, вы его получите — если получите что-либо вообще, — но при этом машина не обратит ни малейшего внимания на любые соображения, за исключением тех, которые согласно установленным правилам приводят ее к выигрышу. Если вы ведете военную игру с некоторой условной интерпретацией победы, то победа будет достигнута любой ценой, даже ценой уничтожения вашей собственной стороны, если только сохранение ее жизнеспособности не будет совершенно четко запрограммировано в числе условий победы.

Это нечто большее, чем невинный парадокс...

Поскольку наше действительное желание всегда может быть выражено неточно, а процесс исполнения совершается не прямым путем, остается самая серьезная возможность того, что цена, какую нам придется платить за это исполнение, будет неясной до самого конца. Обычно мы осуществляем наши желания, если вообще мы способны в самом деле осуществить их с помощью процесса обратной связи, которая позволяет сравнивать степень достижения промежуточных целей с нашим восприятием. При таком процессе обратная связь проходит через нас

¹ Deum ex machina (лат.) — дословно «бог из машины». В переносном смысле — чудо, маловероятная счастливая развязка драматической ситуации.

и мы можем — пока еще не слишком поздно — повернуть назад. Если же механизм обратной связи встроено в машину, действие которой не может быть проконтролировано до тех пор, пока не достигнута конечная цель, вероятность катастрофы чрезвычайно возрастает. Мне, например, было бы в высшей степени неприятно участвовать в первом испытании автомобиля, управляемого при помощи фотоэлектрических устройств обратной связи, если бы в нем не было рукоятки, которая позволяет взять управление на себя в тот момент, когда замечаешь, что автомобиль несется на дерево.

Люди с психологией машинопоклонников часто питают иллюзию, будто в высокоавтоматизированном мире потребуется меньше изобретательности, чем в наше время; они надеются, что мир автоматов возьмет на себя наиболее трудную часть нашей умственной деятельности — как тот римский раб, который, будучи к тому же греческим философом, был принужден думать за своего господина. Это явное заблуждение.

Целенаправленный механизм вовсе не обязательно будет искать путей достижения и а ш и х целей, если только мы не рассчитаем его специально для решения этой задачи. Причем в ходе проектирования такого механизма мы должны предвидеть все ступени процесса, для управления которым он создается, а не применять приближенные методы прогнозирования, эффективные лишь до определенного пункта, дальше которого расчеты ведутся при возникновении новых затруднений. Расплата за ошибки в прогнозировании и в наше время достаточно велика, но она еще больше возрастет, когда автоматизация достигнет полного размаха.

В наше время стала очень модной идея предотвращения некоторых опасностей и в особенности угроз, связанных с атомной войной, при помощи автоматических устройств типа «fail-safe»¹. Идея эта основана на предположении, что действие устройства, вышедшего из заданного режима работы, можно обезвредить. Например, если обнаружено, что режим насоса ведет к аварии, то зачастую гораздо лучше, чтобы она произошла при полной откачке воды, нежели под давлением. Если мы имеем дело с хорошо понятой опасностью, техника автоматической защиты типа «fail-safe» правомерна и полезна. Однако она немногого стоит перед лицом еще не понятой опасности. Например, когда отдаленная, но неизбежная опасность угрожает человечеству уничтожением, то лишь тщательное изучение общественных явлений позволит своевременно выявить эту роковую угрозу. Однако потенциальные угрозы такого рода лишены опознавательных ярлыков. Поэтому, хотя методы «fail-safe», предназначенные для блокировки опасных режимов работы автоматизированных систем, и могут стать необходимыми для предотвращения мировой катастрофы, их ни в коем случае нельзя считать достаточными.

Поскольку техника все в большей мере приобретает способность осуществлять человеческие намерения, их математическая формулировка должна стать все более и более обычным делом. В прошлом неполная и ошибочная оценка человеческих намерений была относительно безвредной только потому, что ей сопутствовали технические ограничения, затруднявшие точную количественную оценку этих намерений. Это только один из многих примеров того, как бессилие человека ограждало нас до сих пор от разрушительного натиска человеческого безрассудства.

Иными словами, хотя человечество в прошлом и сталкивалось со многими опасностями, с ними было значительно легче справляться благодаря тому, что во многих случаях угроза проявлялась односторонне. В век, когда голод становится большой угрозой, можно искать спасения в увеличении производства пищи, — и оказывается, что угроза уже не столь велика. При высокой смертности (в особенности детской) и при очень слабом развитии медицины жизнь каждого человека была большой ценностью, и поэтому людям справедливо предписывалось плодить

¹ Под устройством типа «fail-safe» понимаются устройства дистанционного контроля и управления системами, позволяющие предотвратить неправильный ход контролируемого процесса в случае неисправности аппаратуры.

ся и размножаться. Угроза голода оказывала на нас давление, подобное давлению силы тяжести, к которой всегда приспособлены наши мышцы, кости и сухожилия.

Перемены в напряженности современной жизни, вызванные появлением новых устремлений и исчезновением старых, можно сравнить с новыми проблемами космических полетов. Состояние невесомости в космическом корабле освобождает нас от постоянной, направленной в одну сторону силы тяжести, к которой мы привыкли в нашей повседневной жизни. Путешественнику в космическом корабле нужны рукоятки, чтобы держаться, нужны тубы, чтобы выжимать из них пищу и питье, нужны различные приборы, чтобы определить свое положение, и, хотя все эти приспособления помогают тому, чтобы физиологическое состояние путешественника не слишком нарушалось, — все же он не может чувствовать себя так удобно, как ему хотелось бы.

Для нас сила земного притяжения столь же дружелюбна, сколь и враждебна...

Относительно легко отстаивать добро и сокрушать зло, когда они четко отделены друг от друга разграничительными линиями и когда те, кто находится по ту сторону, — наши явные враги, а те, кто по эту сторону, — наши верные союзники. Но как быть, если в каждом случае мы должны спрашивать, где друг и где враг? Как же нам быть, если, помимо этого, мы еще передали решение важнейших вопросов в руки неумолимого чародея или, если угодно, неумолимой кибернетической машины, которой мы должны задавать вопросы правильно и, так сказать, наперед, еще не разобравшись полностью в существе того процесса, который выработывает ответы? Можно ли в этих условиях доверять обезьяньей лапе, у которой мы попросили двести фунтов стерлингов?

Нет, будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожидает, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. Помочь они нам могут, но при условии, что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали.

Мир будущего потребует еще более суровой борьбы против ограниченности нашего разума, он не позволит нам возлечь на ложе, ожидая появления наших роботов-рабов.

* * *

Одна из великих проблем, с которой мы неизбежно столкнемся в будущем, — это проблема взаимоотношения человека и машины, проблема правильного распределения функций между ними. На первый взгляд может показаться, что машина обладает рядом очевидных преимуществ. В самом деле, она работает быстрее и с большим разнообразием или по крайней мере может обладать этими свойствами, если ее правильно построить. Цифровая вычислительная машина за один день может выполнить такой объем работы, с которым целой команде вычислителей не справиться и за год, притом работа будет выполнена с наименьшим количеством помарок и ошибок.

С другой стороны, человек обладает несомненными преимуществами. Не говоря уж о том, что любой разумный человек во взаимоотношениях с машиной считает первостепенными свои, человеческие цели, машина в сравнении с человеком далеко не так сложна, а сфера ее действий, взятых в их многообразии, гораздо меньше. Если объем нейрона серого вещества мозга мы примем равным 1/1 000 000 кубического миллиметра, а объем наименьшего из современных транзисторов порядка одного кубического миллиметра, то такая оценка не будет слишком неблагоприятной с точки зрения преимуществ нейрона. Если белое вещество мозга считать эквивалентным схеме соединений вычислительной машины, а каждый нейрон рассматривать как функциональный аналог транзистора, то гипотетическая вычислительная машина, эквивалентная мозгу, разместилась бы в шаре около девяти метров диаметром. В действительности было бы невозможно построить вычислительную машину с плотностью монтажа, в какой-то мере сходной с относительной плотностью мозгового вещества, а любая вычислительная машина, по

своим возможностям сравнимая с мозгом, имела бы размеры довольно большого административного здания, если не небоскреба¹. Вряд ли можно считать, что мозг в сравнении с современными вычислительными машинами не имеет определенных преимуществ, связанных с его огромным функциональным диапазоном, несоизмеримо большим, чем можно было бы ожидать, учитывая его физические размеры.

Главное из этих преимуществ, по-видимому, — способность мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями. В таких случаях вычислительные машины, по крайней мере в настоящее время, почти не способны к самопрограммированию. Между тем наш мозг свободно воспринимает стихи, романы, картины, содержание которых любая вычислительная машина должна была бы отбросить как не имеющие формального смысла.

Предоставьте же человеку и машине присущие им сферы действий: человеку — человеческое, вычислительной машине — машинное. В этом и должна, по-видимому, заключаться разумная линия поведения при организации совместных действий людей и машин. Эта линия в равной мере далека и от устремлений машинопочклонников, и от воззрений тех, кто во всяком использовании механических помощников в умственной деятельности усматривает кощунство и принижение человека. В наше время мы остро нуждаемся в объективном изучении систем, включающих и биологические и механические элементы. К подобной системе нельзя подходить предвзято: ни переоценивая механику, ни противясь ей. Я думаю, что такие исследования уже начались и что они позволят лучше понять проблемы автоматизации.

Одна из областей, в которых мы можем использовать и используем такие смешанные системы, это создание протезов — устройств, которые заменяют конечности или поврежденные органы чувств. Деревянная нога — это просто механическая замена утраченной ноги из плоти и крови, а человек с деревянной ногой представляет собой систему, состоящую из механических и биологических элементов.

Пожалуй, классическая деревяшка вместо ноги не столь интересна, поскольку она заменяет утраченную конечность самым примитивным способом; не намного больший интерес представляет и деревянный протез, имеющий форму ноги. Впрочем, немалая работа над созданием искусственных конечностей ведется в России, в США и в других странах группой ученых, к которой принадлежу и я. Эта работа по своим принципам намного интересней, так как она действительно использует кибернетические идеи.

Представим себе, что человек лишился руки до кисти. Он лишился некоторых мышц, которые позволяли ему в основном сжимать и разжимать пальцы, однако большая часть мышц, обычно двигающих рукой и пальцами, сохранилась в культе локтевой части руки. При соответствующем воздействии эти мышцы хотя и не могут привести в движение кисть или пальцы, которых нет, но они вызывают определенные электрические эффекты, называемые потенциалами действия. Эти потенциалы могут восприниматься соответствующими электродами, а затем усиливаться и комбинироваться транзисторными схемами. Такие потенциалы можно использовать для управления движениями искусственной руки при помощи миниатюрных электродвигателей, которые питаются от батарей или аккумуляторов, а сигналы управления получают от транзисторных усилителей. Источником управляющих сигналов служит обычно центральная часть неповрежденной нервной системы, которая и должна быть использована в таких случаях.

Подобные искусственные руки уже были изготовлены в России, и они даже позволили некоторым инвалидам вернуться к продуктивному труду. Это стало

¹ Следует иметь в виду, что бурный прогресс в области микроминиатюризации (создание так называемых интегральных и пленочных схем) может привести в ближайшие годы к дальнейшему радикальному уменьшению габаритов вычислительных машин.

возможно благодаря тому, что некоторые нервные сигналы, которые вызывали эффективную мышечную реакцию до ампутации, остаются эффективными и при управлении искусственной рукой при помощи миниатюрного электромотора. Поэтому изучение возможностей использования таких искусственных рук стало гораздо более легким и естественным делом.

Однако искусственная рука в подобном виде не может осязать предметы, тогда как естественная рука служит в такой же мере органом осязания, как и движения. Но позвольте, почему же искусственная рука не может осязать? Не представляет труда вмонтировать датчик давления в пальцы искусственной руки так, чтобы электрические импульсы передавались от них в соответствующую цепь. Последняя в свою очередь заставляет работать устройство, воздействующее на живую ткань, например, на кожу культи. Такими устройствами могут быть, например, вибраторы. Этим методом мы можем вызвать искусственное осязательное ощущение и научиться заменять им аналогичные естественные восприятия. Более того, в поврежденных мышцах имеются чувствительные (сенсорные) кинестатические элементы, которые могут быть также использованы для подобных целей.

Таким образом, становится возможной новая техника протезирования, основанная на создании смешанных систем, состоящих из биологических и механических частей. Однако новую технику не следует ограничивать только задачами замены утраченных частей тела. Существуют протезы и для таких органов, которых человек не имеет и никогда не имел. Дельфин прокладывает себе путь в воде при помощи плавников и обходит препятствия, вслушиваясь в отраженные от них звуки, которые он сам порождает. Что такое винт корабля, как не пара искусственных плавников? А не является ли эхолот, измеряющий глубину моря под кораблем, заменителем биологических механизмов, излучающих и обнаруживающих звук, подобных тем, которые есть у дельфина? Крылья и реактивные двигатели самолета заменяют крылья орла, а радиолокатор заменяет его глаза, в то время как «нервная система», которая объединяет и координирует эти органы, — это автопилот и другие навигационные устройства.

Следовательно, механо-биологические системы находят широкое применение, а в некоторых случаях просто незаменимы. Мы уже видели, что обучающиеся машины должны действовать в соответствии с некоторыми нормами «хорошего» поведения. Определение этих норм не вызывает затруднений в случае играющих автоматов, когда допустимые ходы произвольно устанавливаются заранее, а цель игры — выигрыш, достигаемый по правилам, которые определяются, исходя из строгих условий выигрыша или проигрыша. Однако существует много видов деятельности, которые мы хотели бы усовершенствовать с помощью процесса обучения; их успешность может быть оценена на основе ряда критериев, включающих суждения человека. Преобразование таких критериев в формальные правила — нелегкая задача.

Одна из сфер человеческой деятельности, которая остро нуждается в автоматизации и где ощущается потенциальная необходимость в самообучающихся автоматах, это машинный перевод. В свете нынешнего неустойчивого состояния международной обстановки США и Россия испытывают взаимную потребность в информации о том, что говорит и думает другая сторона. Поскольку в обеих странах число высококвалифицированных переводчиков ограничено, каждая страна исследует возможности машинного перевода. Такой перевод, выполняемый по определенному образцу, осуществим, но ни его литературные, ни смысловые достоинства не вызвали большого энтузиазма в обеих странах. Ни одна из систем машинного перевода не доказала, что она заслуживает доверия в тех случаях, когда от точности перевода зависит принятие важных решений.

Вероятно, наиболее обещающий путь автоматизации перевода состоит в применении обучающихся машин. Для обеспечения успешной работы таких машин должен быть найден твердый критерий хорошего перевода. Такой критерий можно получить двумя путями: либо мы должны иметь полный набор объективно приме-

няемых правил, позволяющих оценить качество перевода, либо мы должны располагать средством, которое само способно выработать и применить критерий хорошего перевода независимо от таких правил.

Обычный критерий хорошего перевода — его понятность. Люди, читающие текст перевода, должны получить то же впечатление, что и люди, читающие этот текст на языке оригинала. Если использовать такой критерий затруднительно, то можно дать другой — необходимый, хотя и не достаточный. Представим себе, что у нас есть две независимые переводные машины: одна, например, переводит с английского языка на датский, другая — с датского на английский. После того, как первая машина переведет с английского на датский, пусть вторая выполнит обратный перевод с датского на английский. В этом случае окончательный перевод должен быть эквивалентен (с допустимыми расхождениями) оригиналу, что устанавливается лицом, знающим английский язык.

Можно представить себе набор формальных правил такого перевода, настолько четко определенных, что их можно доверить машине, и притом столь совершенных, что они позволят получить перевод, удовлетворяющий данному выше критерию. Я не думаю, однако, что наука о языке продвинулась настолько, что она способна уже сегодня дать нам такой набор правил или что вообще существуют какие-либо перспективы для такого прогресса в ближайшем будущем. Говоря кратко, положение вещей таково, что в машинном переводе всегда есть вероятность ошибки. Если на основании данных машинного перевода принимается какое-либо ответственное решение, связанное с конкретными действиями или политикой, то небольшая ошибка или даже малая ее вероятность могут привести к чрезвычайно серьезным последствиям.

На мой взгляд, наиболее обнадеживающий путь осуществления машинного перевода состоит в замене чисто машинной системы — по крайней мере на начальных этапах — системой механо-биологической, включающей в качестве критика и эксперта — человека, опытного переводчика, который обучает машинную часть системы с помощью упражнений подобно тому, как школьный учитель обучает своих учеников. Вероятно, на более поздних этапах в памяти машины накопится достаточное количество указаний, запрограммированных человеком, что позволит впоследствии машине распрощаться с соучастием человека, за исключением, возможно, случаев, когда время от времени понадобится освежать курс. Таким образом машина сможет приобрести лингвистический опыт.

Подобная схема перевода не исключает необходимости в опытном лингвисте, способности и суждения которого пользуются полным доверием. При такой системе он обработал бы (или смог бы обработать в будущем) значительно больший объем переводного текста, нежели при отсутствии машинного помощника. Большого, по-моему, мы и не можем ждать от машинного перевода.

До этого момента мы говорили о том, что нам необходим критик, способный к оценкам чисто человеческого свойства, например, в системе машинного перевода, где все элементы, кроме самого критика, — машинные. Однако если человеческий элемент необходимо вводить в качестве критического начала, то вполне разумно вводить его также и на других этапах. При машинном переводе вовсе не обязательно, чтобы машинные элементы системы давали единственный и законченный вариант перевода. Напротив, машина может нам дать многовариантный перевод отдельных фраз, которые лежат в русле соответствующих грамматических и лексических норм, предоставляя нашему критику-эксперту весьма ответственную задачу оценки и выбора из этих машинных вариантов того, который наилучшим образом передает смысл. Нет, однако, никакой необходимости предоставлять машине формирование полностью законченных кусков переводного текста даже в том случае, если он будет в целом критически оцениваться и улучшаться человеком. Поправки, вносимые человеком, могут быть введены и на гораздо более ранних стадиях перевода.

Все высказанное о машинах-переводчиках в равной мере относится к машинам, составляющим медицинские диагнозы. Такие машины стали очень модными

во всех планах медицины на ближайшее будущее. Эти машины могут помочь врачу установить данные, которые ему понадобятся для диагноза, но нет никакой необходимости в том, чтобы они устанавливали диагноз сами. без участия врача. Весьма вероятно, что такая тенденция применения медицинских машин может рано или поздно привести к ухудшению здоровья людей и даже ко многим смертельным исходам.

Родственная проблема, требующая совместного рассмотрения возможностей машины и человека, — это проблема эффективности использования изобретения. Этот вопрос обсуждал со мной д-р Гордон Рейсбек, сотрудник фирмы «А. Д. Литтл». В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что всякое изобретение должно оцениваться не только с точки зрения принципиальных возможностей его осуществления, но также с точки зрения того, как это изобретение может и должно служить человеку. Вторая часть задачи куда сложнее, чем первая, и ее методология разработана в гораздо меньшей степени. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой усовершенствования, которая по существу не что иное, как проблема обучения, — не для механической системы в чистом виде, но для механической системы, взаимодействующей с обществом. Это именно тот случай, который нуждается в рассмотрении проблемы оптимального совместного использования человека и машины в одной системе.

Подобную задачу весьма настоятельно выдвигает необходимость применения и разработки систем вооружения в соответствии с эволюцией тактики и стратегии. И здесь проблема эффективности использования военной техники не может быть отделена от проблем автоматизации...

Кроме машин-переводчиков и машин, играющих в шашки, существуют и другие обучающиеся машины. Некоторые из них могут быть запрограммированы так, что они приобретают способность функционировать без человека. Другие же, подобно машине-переводчику, нуждаются во вмешательстве человека-эксперта, привлекаемого в качестве арбитра. Мне кажется, что системы последнего типа должны применяться гораздо шире машинных систем первого типа. Более того, необходимо напомнить, что в такого рода «игре», как атомная война, экспертов вообще не существует.

* * *

Итак, мы выполнили нашу задачу, сопоставив ряд религиозных догм с явлениями, которые изучаются кибернетикой. В ходе этих обоснованных сопоставлений мы довольно убедительно показали приложимость кибернетического подхода к моральным проблемам личности. Остается кратко рассмотреть другую область приложения кибернетических идей — к проблемам, соприкасающимся с вопросами этики. Это кибернетика общества и рода человеческого.

С самого начала своих исследований в области кибернетики я отчетливо понимал, что принципы управления и связи, применимые, как мне удалось установить, в технике и физиологии, приложимы также к социологии и экономике.

Однако я умышленно воздержался от подчеркивания возможностей кибернетического подхода к этим сферам науки, и вот по каким причинам. Кибернетика — ничто, если математика не служит ей опорой если не *in esse*, то *in posse*¹. И математическая социология², и математическая экономика, или эконометрика, страдают от неправильного понимания того, как следует применять математический аппарат в общественных науках и чего вообще можно ожидать от применения математических методов. По этой причине я сознательно воздерживался от каких-либо рекомендаций в этой области, так как был убежден, что за ними хлынул бы поток незрелых и превратно понимаемых работ.

Успехи математической физики стали одним из величайших триумфов наше-

¹ *In esse (лат.)* — в настоящем, *in posse (лат.)* — потенциально.

² Математическая социология иногда называется социометрикой.

го времени. Однако только в двадцатом веке задачи физика-теоретика были наконец правильно поняты, в особенности в их взаимосвязи с задачами, которые решает физик-экспериментатор.

До кризиса физики 1900—1905 годов было общепризнано, что основные понятия математической физики получили свое завершение в трудах Ньютона. Пространство и время, масса и количество движения, сила и энергия были понятиями, установленными, казалось бы, раз и навсегда. Задача физики будущего сводилась лишь к построению моделей, которые объясняли бы все еще не изученные явления с помощью этих основополагающих категорий.

После открытия Планка и Эйнштейна стало ясно, что задача физика не столь проста. Категории физики начала восемнадцатого века нельзя было считать абсолютной истиной. Задача физиков нашего времени в определенном смысле противоположна той, которую ставила перед ними ньютоновская наука: теперь мы должны привести количественные наблюдения окружающего нас мира в стройную систему, исходным пунктом которой служит эксперимент, а конечным — предсказание новых явлений и их технического применения. Наблюдатель перестал быть невинным регистратором своих объективных наблюдений; оказалось, что, помимо своей воли, он активно влияет на результаты эксперимента. Согласно теории относительности и квантовой теории эффект присутствия наблюдателя при постановке эксперимента и его модификациях столь существен, что пренебречь им уже невозможно. Это положение вещей, кстати, привело к зарождению современного неопозитивизма.

Успехи математической физики вызвали у социологов чувство ревности к силе ее методов, чувство, которое едва ли сопровождалось отчетливым пониманием интеллектуальных истоков этой силы. Развитию естественных наук сопутствовало широкое применение математического аппарата, ставшее модным и в общественных науках. Подобно тому, как некоторые отсталые народы заимствовали у Запада его обезличенные, лишённые национальных примет одежды и парламентские формы, смутно веря, будто эти магические облачения и обряды смогут их сразу приблизить к современной культуре и технике, — так и экономисты принялись облачать свои весьма неточные идеи в строгие формулы интегрального и дифференциального исчисления. Поступая таким образом, они явно обнаруживают свою недалёковидность.

Математика, которой пользуются социологи, и математическая физика, которую они берут за образец, — это математика и математическая физика середины прошлого века. Специалист по эконометрике может тщательно разработать искусную теорию спроса и предложения, товарных запасов и безработицы и т. д. с относительным или полным безразличием к методам, с помощью которых эти чрезвычайно изменчивые величины наблюдаются или измеряются. К количественным теориям подобного рода сейчас относятся почти с таким же безоговорочным доверием, с каким физики прошлого века относились к положениям ньютоновской физики. Очень немногие экономисты отдают себе отчет в том, что если они всерьез намерены заимствовать существо методов современной физики, а не только их внешние аксессуары, то математическая экономика должна начать с критического пересмотра своих количественных характеристик и методов их сбора и измерений.

Как ни труден отбор надежных данных в физике, гораздо сложнее собрать обширную информацию экономического или социологического характера, состоящую из многочисленных серий однородных данных. Например, данные о выплавке стали изменяют свою значимость не только при каждом изобретении, которое меняет технику сталеварения, но и при каждом социальном или экономическом сдвиге, воздействующем на коммерческую сферу и промышленность в целом. В частности, это относится к любому техническому новшеству, изменяющему спрос и предложение или свойства конкурирующих материалов. Так, например, даже первый небоскреб, выстроенный из алюминия вместо стали, может повлиять на весь будущий спрос строительной стали, подобно тому как первое дизельное судно положило конец неоспоримому господству парохода.

Таким образом, экономическая игра — это такая игра, правила которой должны периодически подвергаться существенному пересмотру, скажем, каждые десять лет, при этом она еще имеет неудобное сходство с игрой королевы в крокет из «Алисы в стране чудес», о которой я уже упоминал. В этих обстоятельствах безнадежно добиваться слишком точных определений величин, вступающих в игру. Приписывать таким неопределенным по самой своей сути величинам какую-то особую точность бесполезно и нечестно, и, каков бы ни был предлог, применение точных формул к этим слишком вольно определяемым величинам есть не что иное, как обман и пустая трата времени.

Здесь уместно напомнить недавние работы Мандельброта. Он, в частности, показал, что специфические формы случайных колебаний товарного рынка, выведенные из предположения о присущей ему неравномерности конъюнктуры, как показывают теория и практика, гораздо хаотичней и глубже, чем предполагалось, и что обычные приближения, используемые для оценки динамики рынка, должны применяться с гораздо большей осторожностью или не применяться вовсе.

Резюмируя, мы должны сделать вывод, что общественные науки представляют собой испытательную среду, мало пригодную для проверки идей кибернетики, — гораздо худшую, чем биологические науки, где данные могут быть получены при более однородных условиях и в присутствии им масштабе времени. Это объясняется тем, что человек как физиологическая система в отличие от общества в целом очень мало изменился со времен каменного века. И жизнь индивидуума в течение многих лет протекает в физиологических условиях, подвергающихся крайне медленным изменениям, которые к тому же можно предвидеть заранее. Это отнюдь не означает, что идеи кибернетики неприменимы к социологии и экономике. Это скорее означает, что, прежде чем применять эти идеи в столь аморфной сфере, они должны быть испытаны в технике и биологии.

Принимая во внимание указанные оговорки, можно считать, что широко используемая аналогия между государственной системой и человеческим организмом оправдана и полезна. С этой точки зрения государственная система должна быть подвергнута всестороннему рассмотрению с позиций этики, с которых надлежит анализировать и ту область религиозного мировоззрения, которая по существу не что иное, как парафраза этических норм.

* * *

И вот я перечитал этот ряд эссе, объединенных одной внутренней темой творческой активности — от творца до машины, — написанных под одним углом зрения. Машина, как я уже сказал, это современный двойник голема, некогда созданного пражским раввином. Поскольку я настаивал на том, что вопросы творческой активности следует рассматривать в их единстве — под одним общим заглавием, не разделяя их на отдельные части, относящиеся к творцу, человеку и машине, я не думаю, что я превысил пределы общепринятой авторской свободы, назвав эту книгу «God and Golem, Inc».

Перевели с английского М. Аронэ и Р. Фесенко.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

★

О МУЖЕСТВЕ И СОСТРАДАНИИ

В книге «Мысли и сердце» повествование ведется от лица врача; написал ее известный хирург Н. М. Амосов. В подзаголовке книга названа «повестью», а могла бы назваться исповедью. Дело не в степени совпадения биографий героя и автора — судить об этом у читателей и критиков нет ни возможности, ни нужды, ибо это художественное произведение, а не автобиографические записки. Дело в тревожной и тревожащей открытости ее страниц. Старый профессор Михаил Иванович — так зовут главного героя книги — одним из первых начал делать операции на сердце. Он хорошо помнит, он не может и не хочет забыть цены, которой оплачены успехи, достигнутые на этом пути.

В медицинской литературе встречаются термины: «внутренняя картина болезни», «внутренний мир больного». Они подразумевают те особенности душевного состояния человека, которые складываются под влиянием болезни, особенно если она длительна и опасна. Внутреннего мира больного Н. Амосов касается в нескольких эпизодах повести. Они, на мой взгляд, в ней не главные и не самые удачные. Наиболее сильные страницы повести вводят нас во внутренний мир врача. Он сложен и драматичен. Тридцать лет изо дня в день герой повести имеет дело с человеческим горем, болью, страхами и надеждами. Удивляться ли тому, что его душа обожжена?

Больные и их близкие возлагают на хирурга тяжкий груз своих упований. Он нередко слышит мольбы, а порою упрёки. На него смотрят как на всемогущего целителя. А сам врач знает, что хотя он и его наука

могут многое, но ни он, ни его наука не могут всего.

Монолог о нравственных переживаниях врача — а рецензируемая повесть и есть такой монолог — начинается как бы с нулевой точки. Сразу за заголовком повести и названием первой главы — ледяная фраза. В ней всего два слова: «Это морг». Исповедь героя открывается рассказом о трагическом исходе сделанной им операции и приводит читателя к анатомическому столу.

«Это морг. Такой безобидный маленький домик стоит в углу институтского сада. Светло. Яркая зелень. Цветы. Кажется, по этой тропинке ходит Красная Шапочка. Нет. Здесь носят трупы.

Я — доктор. Я иду на вскрытие. Вчера после операции умерла девочка. У нее был сложный врожденный порок сердца, и мы ее оперировали с выключением сердца и искусственным кровообращением. Это новый метод. Газетчики расписывают: поступает умирающий ребенок, приключается машина, сердце останавливается, 10—20—30 минут героической борьбы, пот со лба хирурга. Все в порядке. Врач, усталый и счастливый, сообщает встревоженным родителям, что жизнь ребенка спасена. Через две недели здоровый мальчик играет в футбол.

Черт бы их побрал... Я вот иду на вскрытие. Никакой врач не любит этой процедуры — провожать свою работу в покойницкую...»

Яростная полемичность начала очевидна. Читатели периодики — особенно газет и тонких журналов, — вероятно, заметили, что вокруг хирургов вообще, а в особенности вокруг тех, кто делает операции, подобные описанным в повести, несмотря на молодость этой области медицины, уже сложи-

лись расхожие штампы, нагромождены дежурные красоты. Раздражение героя и автора против подобного суетловия понятно. Развенчать тех, кто скрывает за утешительными словами подлинную сложность жизненных и научных проблем, кто умалчивает о неудачах — неизбежном спутнике исканий, кто выдает желаемое за действительное, — задача всегда важная. И мне кажется, что она была одной из тех, которые Н. Амосов сознательно поставил перед собой в этой книге. Но его повесть вторгается в особую область человеческой деятельности. Можно представить себе, какие сильные и противоречивые чувства вызовет она у читателей, особенно тех, кто профессионально причастен к медицине.

Действие повести начинается в годы, когда, как говорит осведомленный рассказчик, из ста операций на сердце благополучным исходом кончалось примерно семьдесят. Уже семьдесят — можно было бы сказать, помня, что десятилетием раньше таких операций не делали вообще. Но Михаил Иванович не может выбросить из своего сознания память о том, что скрывается за этой цифрой, — тридцать процентов. Тридцать из ста погибли на операционном столе. Он думает о них не как о медицинских случаях, а как о живых людях. Особенно остро помнит он детей. Не забыты ни их имена, ни глаза матерей, не забыты даже бантики, которые мама заплела одной из его юных пациентов перед операцией, — он увидел их вначале на операционном столе, потом на столе морга. Можно поручиться, что читатель тоже не забудет этих бантиков.

Описания безжалостно точны, детали пронзительны. Вырванные из контекста напряженных размышлений врача, критически оценивающего свой путь, они могут показаться чрезмерно жестокими. Но, если автор намерен правдиво рассказать о том, что происходит в душе хирурга, решившегося спасти тех, кого еще недавно спасти было невозможно, без жестокой правды не обойтись.

А зачем она нужна?

Чтобы развенчать легкомысленные очерки? Чтобы опровергнуть литературные красоты, опошляющие трудные поиски?

Не слишком ли дорогая цена, если полемикой с облегченным изображением того, что на самом деле невероятно сложно, будет подорвана вера в возможности врача и силы медицины?

Медики древней Ассирии на глиняных табличках своих медицинских руководств клинописью писали заклинание: «Непосвященный да не прочтет». Конечно, они были жрецами больше, чем врачами, но традиция врачевателей — не раскрывать перед непосвященными секретов и границ своей силы — насчитывает много веков. Ее можно понять. Все, что подрывает веру больного во врача, все, что ослабляет надежду на исцеление, должно быть устранено. Недаром в научной литературе не отдельные страницы, но целые главы и книги посвящены тому, что может и должен и чего не может и не должен говорить врач, чтобы не причинить вреда неосторожным словом.

Однако из этого справедливого прикла д н о г о правила практической этики делались в прошлом, а порою делаются и теперь широкие выводы, основанные на подмене понятий. Из необходимости щадить больного делают вывод о необходимости щадить читателей, которым-де — видимо, как потенциальным пациентам — вредно знать правду о возможностях медицины и о границах этих возможностей.

Примерно с таких полувысказанных-полуподразумеваемых позиций «Медицинская газета» критиковала недавно повесть другого начинающего литератора — хирурга Ю. Крелина, опубликованную в «Новом мире». Сходные суждения от медиков мне приходилось слышать и о книге Н. Амосова. Журнал «Наука и жизнь», опубликовавший его повесть, сообщил, что она вызвала большие споры среди врачей. Я, к сожалению, не нашел изложения этих споров в печати, но знаю, что в них был затронут старый вопрос: имеет ли право врач раскрывать перед непосвященным свой профессиональный внутренний мир, имеет ли он право откровенно говорить о своих сомнениях и терзаниях, о своих поисках и даже ошибках.

Можно догадываться, что, кроме тех этических проблем, которые встанут перед героем повести «Мысли и сердце», перед ее автором во всей сложности вставала и эта проблема. Написав и опубликовав свою книгу, Н. Амосов показал, что решает ее так, как решил ее некогда другой русский врач.

«Записки врача» Вересаева знают многие читатели. Но, вероятно, далеко не все помнят его статью «По поводу «Записок врача». Первоначально она была опубликована

вслед за «Записками», а потом стала печататься как предисловие к ним.

Эпиграфом к этим полемическим страницам Вересаев взял строки из «Привидений» Ибсена:

«Пастор. Неужели в вашем материнском сердце нет голоса, который бы запрещал вам разрушать идеалы вашего сына?»

Г-жа Альвинг. Что же тогда будет с правдой?

Пастор. Что же тогда будет с идеалами?

Г-жа Альвинг. Ах, идеалы, идеалы!»

Самим выбором эпиграфа из драмы, в которой женщина, убежденная в абсолютном праве правды быть провозглашенной вслух, оспаривает пастора, проповедующего спасительность утешительной лжи во имя сохранения идеала, Вересаев утверждал: вопрос о том, говорить ли обществу правду о медицине, при всех особенностях взаимоотношений врача и больного, должен решаться так же, как вопрос об общественном значении правды во всех иных областях жизни.

Приведу выписки из его статьи. На мой взгляд, они принадлежат к самым сильным страницам старой русской публицистики:

«Записки» вызвали против меня среди некоторой части читателей бурю негодования: как мог я решиться в общей печати, перед профанами, с полной откровенностью рассказывать все, что переживает врач...

Негодование это представляется мне очень знаменательным. Мы так боимся во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький ее уголок, — и люди начинают чувствовать себя неловко: для чего? какая от этого польза? что скажут люди непосвященные, как поймут они преподносимую правду?.. Какой это старый-старый, негодный и все-таки всеми признаваемый способ — предписывать молчание из боязни, чтобы правда не поколебала авторитета! Как будто есть такой крепкий ящик, в котором можно наглухо запереть правду...»

С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло шестьдесят с лишком лет. Лечение многих болезней, перед которыми молодой доктор Вересаев ощущал трагическое бессилие медицины, превратилось в давно решенную задачу. Иным стало место врача в нашем обществе, в прошлом отошло многое из того, что Вересаев называл «темными сторонами врачебного дела». Не процитированные строки не устарели, ибо еще до сих

пор не отброшен как окончательно решенный вопрос: что лучше — правда или умолчание? Как поймут непосвященные правду? И зачем она — правда?

До сих пор есть люди, в глазах которых правда нуждается в оправдании целесообразностью. А она не средство, которое можно применять или не применять, она основа, и если в какой-нибудь области жизни она поколеблена, самые хитроумные конструкции, возведенные для того, чтобы исказить или скрыть ее, непрочны. Не устарел и ответ Вересаева: отношение общества к правде о медицине лишь часть отношения общества к проблеме правды вообще. «Для пользы данного момента, — писал он, — иногда по необходимости приходится обманывать тяжелого больного; но общество в целом — не тяжелый больной, и минутную ложь нельзя возводить в постоянное правило».

Думается, что поэзия, с которой написана повесть «Мысли и сердце», близка к взглядам Вересаева.

Ее автор устами своего героя не боится рассказать, как в замечательной клинике больной может погибнуть из-за того, что дежурит врач нерадивый и неумелый, случайно затесавшийся на эту стезю, хотя эти его качества ни для кого не секрет; не может он умолчать и о том, как труден послеоперационный уход, потому что в больницах не хватает подсобного персонала, и о том, что хирургу в ходе ответственной операции мешает несовершенство инструмента, хотя инструмент этот уже давно усовершенствован, но, как принято говорить, «не освоено производство». Каждая такая реплика, страстная и горькая (ибо произносит их человек, для которого все это помехи в борьбе со смертельной опасностью), не просто реплика. Она — гражданский поступок врача, ставшего литератором.

Но смелость автора не только в правдивом изображении будней и трудностей профессии, которую в общей печати и особенно в кино принято изображать облегченно и розово, как изображались бои в некоторых довоенных фильмах. Смелость его в том — и это главное, — как он подходит к другим проблемам, более сложным и тонким, чем практические неполадки. В центре повести — проблемы этические по преимуществу.

В интереснейшей, на мой взгляд, статье Е. Фейнберга «Обыкновенное и необычное»

(«Новый мир», № 8, 1965), к которой литераторы, вероятно, будут не раз обращаться в своих спорах, есть такое место:

«Как легко заметить. в перечислении того, что дает человеку наука, по существу не было одного — того, что учено называется этикой, а попросту — совестью. Если «интеграл бездушен», то именно в том отношении, что наука внутри себя не содержит этического критерия. Более того, очарование науки влечет за собой, особенно при первом увлечении, фетишизацию логического мышления, а это может привести (и часто приводит) к пренебрежению этическим элементом, которому нег необходимо, естественного места в научной системе. Он вне ее. Важно, однако, что он не противоречит этой системе и может быть с нею совместен».

Не потому ли образ врача вообще, а ученого-медика в особенности так давно притягивал к себе воображение писателей, что медицинская наука — тот род научной деятельности, о котором никак не скажешь, что он не содержит внутри себя этического критерия?

Вспомним хотя бы, какой драматической силы достигают те главы «Эрроусмита» Синклера Льюиса, где в душе героя сталкиваются два требования: как врач он должен и хочет помочь во время эпидемии в сем больным, а значит, дать им всем тот новый препарат, в разработке которого участвовал и в спасительности которого убежден: как ученый-бактериолог он, следуя методике, предписанной ему учителями, обязан оставить контрольную группу больных, которая будет получать только традиционные средства. Мы помним, как поступил Эрроусмит — он спас больных, но погубил открытие. Нам легко сказать: а как же иначе! Но история медицины знает и иные решения — и не потому, что те, кто их принимал, были заведомо плохими людьми.

А ведь это только самая острая, но далеко не единственная этическая коллизия из тех, что возникают перед ученым-медиком.

Профессия хирурга, вступающего в ранее не изведанные области, необходимо ставит и его перед острейшими этическими коллизиями. И то, что Николай Амосов не боится обнажать их остроту, — главное в книге.

Герою повести предстоит делать сложнейшую операцию девочке. А еще не забыта

неудача, рассказом о которой начинается повесть. Хирург полон тяжелых раздумий:

«А может, совсем не оперировать? Ну, умрет. От болезни умрет, не от меня (разрядка моя.— С. Л.). Стоит только выразить маленькое сомнение, как родители сразу же откажутся. Все будет в порядке. Сами отказались!

Но им будет потом плохо. Им все равно будет плохо. Отказались — умерла — «ах, зачем?». Согласились — умерла — «не нужно было соглашаться... может быть», прошло бы...»

Я-то знаю, что не пройдет. Спасить может только операция. Какой риск? Думаю, процентов пятьдесят. Опять проценты. Как в бухгалтерии. Некуда деться. Нужно сказать, чтобы брали девочку в операционную».

Читателю, способному представить себе и этих родителей, и эту девочку, читать эти строки невыносимо тяжело. Поддавшись этому чувству, можно посоветовать, что автор не смягчил в книге остроту коллизии. Но разве от этого стала бы она менее острой в жизни хирурга? Впрочем, только ли хирурга!

Задав себе этот вопрос, мы, пожалуй, подходим к одной из самых важных сторон повести «Мысли и сердце». Да, конечно, книги о медиках и медицине, особенно если они написаны человеком, который профессионально знает материал и среду, неизменно вызывают внимание читателей, порою тревожное, всегда повышенное. Причины очевидны, их можно не объяснять.

Но чем больше мы углубляемся в чтение повести Н. Амосова, тем сильнее чувствуем, что этические проблемы, которые возникают перед ее героем, имеют значение, далеко выходящее за рамки профессии. Работа врача ставит перед ним эти проблемы в наигрознейшей форме — речь идет о жизни и смерти. (О чужой жизни и смерти, заметим. Но, как сказал в частном разговоре один внимательный читатель книги, которому приходилось и самому на работе подвергаться опасности, и других людей посылать на опасные испытания, «освободившись от риска собственной жизнью, платишь за это неизмеримо большим чувством моральной ответственности».)

Право на риск или право отказаться от него, обязанность вмешаться, когда знаешь, что статус-кво неблагоприятен, а вмешательство, которое может изменить его в луч-

шую сторону, но может и ухудшить, небезопасно — разве не встречаются с этими коллизиями люди совсем иных, более спокойных профессий, скажем, учителя или журналисты?

И это не единственное психологическое испытание, перед которым оказывается рассказчик и которое, пусть не в столь отчетливой и обнаженной форме, возникает в иных областях жизни.

Вот другая коллизия: делать сложную операцию самому или поручить ее ученику? В повести возникает и такой вопрос. Со стороны кажется, что ответить на него легче легкого. Но легкость эта видимая. Есть долг перед сегодняшним больным, он очевиден. Но есть долг, пусть не столь явный, но оттого не менее повелительный, перед будущими больными, которые придут к твоим ученикам и помощникам и будут вправе ждать, что ты научил их всему, что умел сам. Снова коллизия, столь острая в этой повести, но выступающая и в совсем иных сферах человеческой деятельности. С этой точки зрения некоторые страницы книги Н. Амосова знаменательно перекликаются с рассказом покойного летчика-испытателя Игоря Эйниса «Второй и первый».

Там действовали два летчика: первый — командир корабля, и второй. И каждый из них — и второй, который считал, что командир слишком долго не доверяет ему вести машину самостоятельно, и первый, понимавший, что когда-нибудь это должно случиться, но не желавший выпускать штурвала, — был по-человечески прав, по-своему прав. Повесть Н. Амосова и рассказ И. Эйниса объединяет не только то, что в них изображен очень родственный конфликт, не сконструированный, а подсказанный жизнью, но и то, что для обоих авторов ясно — решить его умозрительно раз и навсегда невозможно. Жизнь будет снова и снова выдвигать его в новых и новых обличьях и каждый раз требовать нового и по-новому трудного решения.

Приведу большую выписку из повести. Хотя речь идет снова, казалось бы, о профессиональной психологии, размышления эти затрагивают гораздо более широкие области духовной жизни.

«Милосердие, — размышляет герой повести. — Это слово совсем вышло из употребления. Наверное — зря. Не нужен «бог милосердный», но «сестра милосердия» было

совсем не плохо. Когда-то это проповедовалось, а теперь — нет. Никто не говорит о жалости к ближнему как душевной доблести человека (разрядка моя. — С. Л.)... Больше всего это касается медиков, постоянно имеющих дело со страдающими людьми. Кажется, что сострадание должно у них возрастать с каждым годом работы... Однако этого в большинстве случаев не происходит. А жаль... В один прекрасный день врач или сестра обнаруживают уменьшение жалости. Конечно, большинство этого не замечает, но кто захочет покопаться в собственных чувствах и вспомнить старое, тот найдет это в себе в какой-то степени. Ничего не делаешь — защитная реакция. Немногие люди ей не поддаются. У них, этих немногих, гипертрофия «центров жалости». Она обгоняет механизм привычки к боли. Эти люди несчастные, если они работают в таком месте, как наше. Правда, им доступно и величайшее удовлетворение при победе над смертью».

Старинная арабская пословица гласила: «Плох тот врач, который сам не был больным». Видимо, в старину люди полагали, что врачу, чтобы понять, что испытывает больной, нужно уметь «сострадать» ему в первоначальном значении слова. Но, как мы читаем в повести Н. Амосова, постоянно сострадать так трудно, что возникает защитная реакция — привыкание. А если привыкания нет, врач несчастен. Вспоминается письмо Чехова, где шла речь о такой степени отзывчивости на чужую беду и боль, которая мешает медику в работе.

Это написано летом 1888 года, Чехов еще молод, позади у него лишь первые годы медицинской практики. Он пишет Суворину:

«Женщина-врач, старая дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе, любящее всех и некрасивое создание. Больные для нее сущая пытка, и с ними она мнительна до психоза. На консилиумах мы всегда не соглашаемся: я являюсь благовестником там, где она видит смерть, и удваиваю те дозы, которые она дает. Где же смерть очевидна и необходима, там моя докторша чувствует себя совсем не по-докторски. Раз я принимал с нею больных на фельдшерском пункте: пришла молодая хохлушка со злокачественной опухолью желез на шее и на затылке. Поражение захватило так много места, что немисливо никакое лечение. ...Докторша глядела на нее так глупо».

боко-виновато, как будто извинялась за свое здоровье и совестилась, что медицина беспомощна».

Не правда ли, чувство симпатии к бесконечно доброй «докторше» соединяется здесь с ощущением некоторого своего превосходства?

Прошло три года. Прибавилось опыта — жизненного и врачебного. А как с привыканием?

В другом письме тому же Суворину у Чехова вырывается признание, чего ему стоит день, когда он не может помочь больному. «...Что тут поделаешь, даже если захочешь жизнь свою отдать больному?.. У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, а за сие, говоря по совести, многое простить должно».

Надо ли растолковывать, что стоит за этими сдержанными строками!

Мотив, который, столь знаменательно видоизменяясь, звучит в двух письмах Чехова, подхвачен в повести Н. Амосова. Может даже показаться, что эскизно намеченный в его книге образ Марии Васильевны, женщины-врача, упрекающей младших коллег, что им недостает чувства жалости к больным, как бы продолжает тот образ «докторши», который возник в первом из процитированных писем Чехова. Впрочем, совпадение, очевидно, случайное. Но любопытно, что в своих оценках Марии Васильевны рассказчик проходит через те же самые стадии, через которые, обсуждая проблему сострадания к больным, прошел в двух своих письмах Чехов.

Правда, здесь это вмещено в рамки всего лишь одного абзаца. «Так осуждать ли мне моих докторов, как это делает Маша?» — спрашивает рассказчик. И отвечает: «У нее самой уже давно «гипертрофия милосердия».

Вроде бы здесь звучит то же чувство некоторого превосходства, которое мы заметили в первом письме Чехова. Но сразу вслед за этим идут вот какие слова: «Наверное, она этим и живет — кроме клиники у нее ничего нет. Непримируемая. Без таких нельзя — они напоминают».

Можно пожалеть, что образ Марии Васильевны, которая всем своим поведением

напоминает о нравственной основе профессии врача, не развит в повести. Но и эти скупые строки многого стоят!

Конечно, не медику спокойнее считать, что все написанное в этой повести о привыкании к чужой беде, к чужой боли касается только врачей. И все-таки мне, например, вспомнились симптомы привыкания у журналистов, особенно если они работают в отделах писем. С годами письмо о несправедливости не вызывает уже такого душевного ожога и немедленного желания спешить на помощь, как это было, когда впервые сел за редакционный стол. Думаю, что тут есть над чем поразмыслить и читателям других профессий, связанных с людьми. А что в конечном счете не связано с человеком?

Разве «гипертрофия милосердия», которая делает такой трудной жизнь врача, не была искони свойством настоящего литератора? Не о ней ли весь очерк Короленко о Глебе Успенском? Там есть такие строки: «...настроение непереносности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно... теперь усиливалось быстро из года в год... Вся эта прозаическая изнанка жизни непронзительно раскрывалась перед Успенским со всем, что было в ней нехорошего и тяжелого,— и мучила его чужой усталостью и чужой болью...»

А сам Короленко, хоть он и называет себя сравнительно с Успенским человеком «с более грубыми нервами»? Разве он не ощущал чужую боль и беду так, словно кончики его «более грубых нервов» не были защищены ни привычкой, ни кожей?

Здесь, казалось бы, возникает некое противоречие: как совместить жалость к человеку с безжалостной правдой? Противоречие это кажущееся. Разве не поучительно, что именно те писатели, которые ощущали чужую боль так, как ощущали ее Г. Успенский и Короленко, никогда не боялись жестокой правды и никогда не прибегали к утешительной лжи?

И, напротив, писатели, склонные к возвышающему обману и романтическому утешительству, нередко оказывались не только глухими к окружающей их человеческой боли, но были даже склонны теоретически оправдывать эту свою глухоту.

Многие годы в нашей литературной публицистике не было недостатка в статьях,

которые, ссылаясь на известные цитаты из «На дне» Горького, трактовали чувство жалости к человеку — точнее, третировали его — как нечто недостойное, унижительное, обезоруживающее. Да мало ли что еще было наговорено, порою очень бездумно, вокруг Горького!

Я никогда не мог понять, почему именно Сатина, которому принадлежит ставший хрестоматийным монолог на сию тему, надо рассмагривать как рупор идей автора, а даже если это так, почему нужно абсолютизировать содержащееся в этом монологе противопоставление гордости за человека жалости к человеку? Впрочем, разве само творчество Горького такими рассказами, как «Страсти-мордасти» или «Выход», не опровергает абсолютности этого противопоставления?

И разве не Горькому принадлежат слова, опровергающие то, что часто абсолютизируется в его высказываниях о жалости. Он, например, писал о Есенине, что тот создан самой природой «для выражения... любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».

Герою повести «Мысли и сердце» принадлежит не только та заслуга, что он нашел замечательно своевременные слова: «Жалость к ближнему, как душевная доблесть человека», но и показал, что это чувство — доблесть, потому что в нем действенное, активное, творческое начало.

Вот портрет Марии Васильевны, у которой, как помним, «гипертрофия милосердия», во время операции: «Движения у Марии Васильевны четки и точны. Она — само спокойствие и деловитость».

Впрочем, Мария Васильевна, как уже было сказано, едва намечена в книге. А сам герой? Пусть ему, как Короленко, кажется, что у него «более грубые нервы», но разве все его мучительные раздумья не продикутованы тем, что он не может выработать в себе того, что сам деловито называет «механизмом привычки к боли»?

Даже изнемогая под грузом ответственности, он не освобождает себя от обязанности принимать самое грудное решение. Сострадание не расслабляет его, а пробуждает к действию! Оно заставляет его не сдаваться до последнего мига, пока возможна борьба, и не искать легких, но обманных путей. (В одной из сцен повести про-

фессионально точно показано, что уже в ходе начатой операции такое полуступление было возможно.) Оно и в том, что, под защитой внешней сухости, врач, когда уже сделано все, что можно было сделать для больного, помнит о его близких, переносит свою заботу на них. И наконец в том, что, если спасти больного не удалось, он, хотя это порой невероятно трудно, заставляет себя найти причину поражения, чтобы превратить его в будущую победу. «Мне нужно знать: все ли сделано как надо? И как нужно делать лучше, чтобы другие не умирали? Или хотя бы реже умирали?»

Поразительно перекликается это место из повести Н. Амосова с записками М. Галлая «Испытано в небе». Испытатель рассказывает, как после гибели опытного самолета товарищи того, кто погиб, подробнее изучают всю картину катастрофы. Со стороны они могут показаться очерствевшими людьми, не способными к состраданию. Нет, в этом умении из самой смерти извлечь то, что спасет другие жизни, — подлинный гуманизм. Здесь этическое и профессиональное сливаются воедино.

Есть люди, наделенные удивительным свойством. Человек ведет сложнейшую работу, которая требует от него невероятного напряжения нервов, воли, ума, физических сил. И вдруг спустя годы оказывается, что, несмотря на это, а может быть, благодаря этому, он запомнил все, что думал и чувствовал в самые ответственные моменты жизни. И ему мало того, что он запомнил это: пережитое не дает ему покоя, пока он снова не переживет все — на бумаге. Часто такой человек берется за перо не потому, что хочет прибавить к своей уже завоеванной профессиональной репутации репутацию литературную, а потому, что им движет повелительное моральное требование.

Люди хорошо помнят победы, но не их цену. Рассказать о том, как это далось, каких сил и каких жертв стоило, стать как бы памятью своей профессии, понимаемой как призвание, — вот это высокое побуждение. Оно не всегда рождает профессиональных литераторов, но часто рождает замечательную литературу.

Значит ли это, что о повести Н. Амосова нельзя судить с точки зрения профессионально-литературной?

Думаю, что можно Почти все страницы, где звучит внутренний монолог героя — его

лирико-публицистическая исповедь, которая порою переходит в проповедь (я говорю это без проники — таковы, например, сильные куски, напоминающие, что есть не только долг медика перед обществом, но и долг общества перед медиками), написаны так, что их читаешь с захватывающим вниманием. Здесь речевой ритм задан ритмом тревожной мысли, а словесный образ служит не украшению, а выражению сути.

Однако немалую часть повести составляет не монолог, а диалог. Ее герой говорит и спорит — то вслух, то мысленно — со своим более молодым другом и пациентом — математиком Александром Поповским. Как говорится в повести, Саша — один из тех, что «грозятся смоделировать на машинах человеческие чувства, сознание, волю».

Развитие этих взглядов занимает большое место в книге. Пока они выражены в отрывочных репликах, которые то задевают, то даже обижают Михаила Ивановича, не можешь отделаться от чувства, что примерно вот так же, не слишком раскрывая сокровенную суть своих взглядов, задирает Базаров своих старших собеседников. Он говорил, правда, не про машину, а про лягушку, но Кирсановы так же обижались за чувства, которым вроде бы не оставалось места в его естественно-научной картине мира.

Впрочем, читатель догадывался, что за краткими эпатазирующими фразами Базарова стоит мировоззрение более сложное, чем можно было бы предположить на основании этих вызывающих реплик. Но хотя роман Тургенева был насквозь пронизан идейными спорами времени, чутье большого художника подсказало ему, что нельзя включать в книгу статью, которую Базаров вполне мог бы написать для «Современника». К тому же читатель того времени хорошо знал, где и за чьими подписями искать статьи, сформировавшие взгляды Базарова.

Автор повести «Мысли и сердце» отказался поступить иначе. Он ввел в повесть тетрадь Александра Поповского. По замыслу автора в этой тетради сплавлены мысли молодого ученого, который тяжело болен и ждет почти безнадежной операции, мысли по поводу собственной жизни, любви и угрозы смерти, и попытка перевести этот поток размышлений на язык современных научных терминов, почерпнутых из некоторых новейших разделов науки. Более того, он рассуждает в своей тетради не только о возможностях математически точного описания ду-

шевых процессов, но и о возможности моделирования этих процессов.

Критик Вс. Ревич, который в газете «Литературная Россия» высоко оценил повесть Н. Амосова, замечает, однако: «...при знакомстве с дневником математика начинаешь испытывать некоторое разочарование. В нем толково излагаются довольно известные, хотя и очень любопытные вещи на уровне юношеского научно-популярного журнала. Забавно читать, как герой (имеется в виду Михаил Иванович.— С. И.) восторгается вполне прописными открытиями. Образ если не гениального, то очень талантливого математика начинает разрушаться. Мне кажется, что не следовало так широко вводить эту «кибернетику» в повесть. Записи Саши выглядят совершенно самостоятельным и даже чуть-чуть чужеродным организмом в книге. Там, где это необходимо для углубления образа главного героя, можно было дать мысли математика в его пересмыслении. Тогда бы упрощение было понятно и оправданно: ведь Михаил Иванович вовсе не специалист кибернетики».

Мне тоже кажется, что «Тетрадь» не удалась. Но почему? Думается, что причину неудачи критик видит не в том, в чем она заключается в действительности, и рекомендацию дает вряд ли выполнимую.

А если бы эта «Тетрадь» была написана не на уровне популяризаторов кибернетики, а на уровне ее отцов? Перестала бы она от этого быть инородным телом в повести? Или если бы отрывки из «Тетради» были переданы через восприятие главного героя, — не показались бы нам столь же наивными его старательные попытки усвоить терминологическую азбуку своего оппонента?

Причина неудачи «Тетради» не в степени посвященности героя в глубины теории информации. Она, на мой взгляд, в художественном просчете автора. Как всякий мыслящий человек старшего поколения — гуманистический ли он, медик ли, он не может не заметить появления в разных областях науки молодых ученых, чьи взгляды и, главное, сам подход к явлениям разрушает многие привычные и порою дорогие ему представления.

Чтобы создать художественный образ такого человека, недостаточно изучить азбуку или даже основы его науки, надо вжиться в его мышление и чувства, в высказанное и затаенное такого человека, как вжился Тургенев в Базарова, хотя он и

не разделял его убеждений и не пересказывал подробно его философских воззрений. Словом, дело не в степени сложности или доступности изложения научных взглядов, а в глубине художественного постижения человека, выражающего эти взгляды. Эта художественная задача Н. Амосовым, на мой взгляд, не разрешена. Оппонент его героя не человек, а сумма тезисов — то умных, то скорее остроумных, то очевидных, то парадоксальных, но не сливающихся в живой характер.

Впрочем, это такая трудная задача, что наша литература, вероятно, еще долго будет ее решать.

На русском языке до сих пор еще не появился интересный роман швейцарского писателя Макса Фриша «Номо Фабер». Он только объявлен в «Иностранной литературе» на будущий год. Жаль, что наш читатель узнает его с опозданием на семь лет.

Для спора «физиков» и «лириков», многократно упоминавшегося иронически и тем не менее подспудно или явно идущего до сих пор (он присутствует и в повести Н. Амосова, и в статьях об этой повести), роман М. Фриша дал бы огромный материал.

Герой этого романа — инженер Фабер. Его единственное убеждение — вера в инженерный расчет и теорию вероятности. Любое упоминание судьбы, предчувствия или надежды вызывает в нем приступ холодной иронии: «Чтобы признать возможность или невозможность невероятного, мне мистики не требуется. Мне достаточно математики», — говорит он и далее излагает математические основы теории вероятности (кстати, тоже вполне популярно, ничуть не сложнее, чем в повести Н. Амосова, изложены сведения из теории информации).

Ирония Фабера обращена не только на веру в судьбу, в предопределение и прочее, в чем мы с ним легко соглашаемся. Он отказывается верить в реальность эмоций, вызываемых прекрасным пейзажем или произведением искусства, дружбой или любовным потрясением.

С огромным мастерством и блистательной иронией, особенно сильной потому, что роман внешне эпически-спокоен, Фриш показывает, как его герой пытается перевести все, что у остальных людей вызывает восторг или ужас, на точный язык научных терминов. Вот вынужденная посадка транспорт-

ного самолета забрасывает его в горное ущелье Центральной Америки. Опомившись от испуга, спутники изумляются величию безмолвного пейзажа. А инженер Фабер замечает по этому поводу: «...я уже часто задавал себе вопрос, что собственно имеют в виду люди, когда говорят о потрясающем впечатлении. Я — техник и привык видеть вещи такими, какими они являются на самом деле». И далее следует двойное, даже тройное описание горного пейзажа — как его видит обычный человек, способный чувствовать красоту природы, как его описывает обыватель, у которого для всего приготовлены штампы словесных красотей, и как терминами геологии и топографии описывает его запрограммировавший в себе отсутствие эмоций инженер Фабер.

В романе Фриша на героя обрушивается все, что он считал несуществующим — неожиданная любовь, сложнейшие моральные потрясения и даже «роковое» стечение обстоятельств.

Конструкция романа, в котором Фабер от гордыни приходит к краху и гибели, выстроена с такой заданной и беспощадной точностью, будто ее рассчитал в своем бюро инженер Фабер. Он попадает в Грецию, на ту землю, где было создано представление об «ананке» — роковой вине трагического героя. И именно на этой земле — перед лицом женщины, которую он когда-то предал (если судить его не по параграфам законов, но по законам чувств) и саму возможность встретиться с которой считал (согласно теории вероятности) «пренебрежимо-малой величиной», у могилы девушки, которую полюбил и перед которой роковым образом оказался виноват страшной виной — сходной с виной Эдипа, он понимает наконец, что мир не укладывается в чертежи и формулы. Эринния была для него лишь статуей в музее, куда он неохотно позволил себя затащить. Теперь она превращается в подлинную богиню возмездия за изгнанные чувства.

Роман Фриша, хотя в нем есть ссылки на труды по кибернетике и даже цитаты из них, не требует от читателей специальных знаний. Но изложение философии Фабера нигде не кажется читателю примитивным. Почему? Потому что его философия — не в тезисах, а в сути его поведения, в его манере вести себя, пить, есть, ехать в машине, целовать, даже в его интонации. Гиперболизированный образ живет, а его судь-

ба, хотя она развивается как притча, представляется читателю вполне естественной.

Философия Фабера побивается в романе этическим учением древних греков о трагической вине человека, осознанно или неосознанно преступившего нравственный закон, но побивается не изложением этой этики, а действенным возмездием, развивающимся по законам греческой трагедии.

Любопытно, между прочим, что Фриш не смог найти модернистскому техницизму Фабера достойного противовеса в современной философии и заставил его потерпеть поражение не на земле, скажем, Хейдеггера или Ортега-и-Гассета, а на земле Софокла и Сократа!

Однако подлинный спор между пусть наивной, но насквозь пронизанной этическими идеями философией древних и вполне

современной философией технократа составляет суть этого романа.

В повести «Мысли и сердце» настоящего спора между медиком и математиком нет, есть лишь его внешние приметы. Подлинно убедительные доводы автора и героя — не в словах, а в действиях. В них же и оптимизм книги.

Оказывается, что сильнее человеческие эмоции не мешают хирургу, а побуждают его принять самое трудное решение в этой повести и совершить самую трудную операцию. И для читателей, право же, неважно, будут ли эти эмоции названы теми терминами, которые он так охотно перенимает у своего молодого друга и оппонента, или за ними сохранились их вековые названия — любовь, дружба, отвага, мужество, сострадание.



ЖИЗНИ И ЖИЗНЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Бочаров. С верой в человека.— **Е. Гинзбург.** Живое сердце.— **Лев Рошаль.** «Дело ясное, что дело темное».— **Вл. Огнев.** Жизнь поэта.— **А. Анастасьев.** Правда театра и правда о театре.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Миндлин. Атеистическое наследие А. В. Луначарского.— **А. Липелис.** Книга публициста.— **Т. Гнедина.** От безумной идеи — к здравому смыслу.— **Б. Кафенгауз.** Интересные страницы истории.

Литература и искусство

С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА

Миколас Слущкис. Увертюра и три действия. Рассказы. Перевод с литовского. «Художественная литература». М. 1965. 344 стр.

Бывает так: съездит писатель в творческую командировку и напишет роман «из жизни...», потом поедет в другое место и оттуда привезет очередной роман «из жизни...». Для него книга — только беллетризация увиденного в поездке, а не факт собственного бытия.

Не го с М. Слущкисом — он, наоборот, очень личный, лиричный писатель, не стремящийся к тематической широте, а как бы живущий в своих героях. Потому, в частности, так незаметно, «без стыков», лирические монологи его персонажей переходят в авторское повествование.

В одном из рассказов М. Слущкиса о следах войны есть такой образ: «Их лица молоды и красивы. Рвы — в сердцах». Для писателя, условно говоря, важны не столько морщины на лицах или незаросшие траншеи на полях, сколько рвы в человеческом сердце.

За последние два года в русском переводе появились роман «Лестница в небо», повесть «Дорога сворачивает к нам» и вот

теперь сборник рассказов М. Слущкиса. Прочитанные в совокупности, эти произведения особенно отчетливо показывают внутреннюю органичность его творчества. И не только потому, что один из рассказов — «Первая командировка» — раскрывает автобиографические истоки некоторых ситуаций романа, а повесть выросла из его рассказов о детях — это все обстоятельства внешние. Есть несравненно более глубокое.

Сборник состоит, по сути дела, всего из двух «тематических слагаемых»: рассказов о детстве в буржуазной Литве (в основном, видимо, автобиографических) и рассказов о войне и первых послевоенных годах. Опубликованы они «вперемешку» в трех циклах книги, но сливаются в единое действие: «детские» рассказы органично входят во «взрослую» книгу благодаря тому, что писатель не просто приводит забавные случаи из прошлого, а отбирает те, которые позволяют ему, вспоминая о годах детства, утвердить свою сегодняшнюю жизненную концепцию.

То же и в рассказах о первом послевоенном годе, где внешние события связаны с террором гитлеровских последышей, забравшихся в лесные, барсучьи норы. Конечно, это только один эпизод в жизни литовского народа за последние четверть века, и обращается к нему писатель столь настойчиво не потому, что придает ему несоизмерно большое значение: драматические события того времени интересуют М. Слущикса не как бытописателя или историографа — в них он видит тот психологический узел, в котором сошлись воедино общие моральные проблемы бытия, в том числе и бытия сегодняшнего.

Обладающий талантом лирико-драматическим, М. Слущикс рисует острые ситуации, трагические столкновения. У него никогда нет правоучения, навязчивого морализирования; его рассказы иногда кажутся сюжетно незавершенными, но они неизменно цельны в своем эмоциональном впечатлении. Даже в тех случаях, когда так легко можно положиться на рассудок, М. Слущикс предпочитает доверяться чувству. «Не умом она это сообразила, а горячим, непогрешимым чувством», — говорит он об одной из своих героинь, а мог бы сказать и о себе: у него всегда лирическое чувство горячее и потому непогрешимое.

Именно такое чувство движет сюжетом «Диалога в море». Во время туристской поездки на пароходе полюбили друг друга латышский парень Бруно и немецкая девушка Христель. Но между ними, между их сердцами, между днем сегодняшним и днем будущим стоит прошлое: отец Бруно, партизан, был расстрелян немцами; отец Христель, солдат, был убит партизанами в Латвии. Здравый смысл объясняет: вряд ли в такой огромной войне их отцы могли встретиться лицом к лицу. Но можно ли таким объяснением переубедить чувство?

А на всех ли одинаково действует контраст, представляющий собой кульминацию рассказа? В трюме третьего класса на крохотном экране демонстрируется документальный фильм о карьере генерала Шпейделя. Высаживаются солдаты, и от этих «железных солдатских сапог сотрясается весь пароход». А в салоне играет джаз, танцуют шведы с польками, немки с русскими.

История эта внешне ничем не завершается. Но какой заряд она несет в себе? О чем она? О вражде до пятого колена? Нет, о том, какне долго не застающие

рвы в сердцах оставляет война и как нуждаются люди в сердечности и взаимопонимании.

В ту же, собственно, цель бьет и рассказ «На юру» — один из самых драматических в сборнике. Можно сказать, что это история литовских Ромео и Джульетты, но история, столь же пронизанная драмами своего времени, как была пронизана драмами своего времени га, первоначальная, которая стала затем символом всякой любви двух людей, оказавшихся в разных станах.

Касте, девушка из зажиточной семьи, полюбила бойца народной милиции, борющегося с бандитами-националистами. И он полюбил ее. Но как между Бруно и Христель стоит судьба их отцов, так между Касте и Юстинасом стоит судьба ее брата Римантаса, бандита.

Нет надобности пересказывать этот удивительный по силе драматических переживаний рассказ, почти весь построенный как нескончаемый, неслышимый диалог. Скажу коротко: любовь оказалась сильнее всех предрассудков, всех преубеждений. И хотя только мучительно краткие мгновения связали Касте с человеком, вторгшимся к ней из чуждого мира, в эти мгновения уместилась вся ее юность, все ее радости и горести. А когда Юстинас, решившись, пришел ночью к ее дому, его схватили бандиты и жестоко замучили.

И дело здесь не в опрометчивости, неосторожности возлюбленного Касте. Нет, автор пишет о другом: резко, контрастно сталкивает он чистоту и порыв любви и тех, кому не дана эта способность любить. С омерзением долго вспоминала Касте, как пришедший из леса брат бесцеремонно провел своей шершавой рукой по ее обнаженной груди, спросив «Завела уже хахаля?» Трагические испытания, выпавшие на долю любви и не угасившие ее, не меньше говорят о ее силе, чем возможный счастливый исход. Да, «зло» как будто возобладало над добром, но добро победило в конечном счете, ибо именно оно определяет наше отношение к описанному. Сила искусства — не в счастливых концовках, а в пробуждаемом нравственном чувстве.

М. Слущикс не любит высокие слова, он любит высокие чувства. Он безраздельно вопит в людей, в справедливость, в конечную победу нравственных начал, бескомпромиссно ненавидит погубление красоты. Поэтому открывающий сборник рассказ

«Как разбилось солнце» может считаться для него программным.

Это случилось давно, в детские годы писателя. Местечковый сапожник, вечно нищий фантазер, приобрел где-то большую керосиновую лампу — самую яркую в местечке. И к нему на огонек, как на солнце, потянулись поговорить, послушать новости из газет все, кто нуждается в свете — том свете, который иногда нужнее хлеба.

Но полицейский Гуога сказал жене сапожника, что, наверное, муж ее собирается власть свергать, коль у него в доме газеты читают. «Смотрите вы там, доиграетесь со своей лампой... Чтобы у меня ша!..» И напуганная сапожничиха разбила лампу, «разбила солнце». Ведь полицейским от века кажется опасной тяга людей к свету, для них свет — обязательно крамола, им неизменно хочется, чтоб кругом было «ша!».

Стало быть, можно разбить солнце? Только ненастоящее, а настоящее нельзя. Эти строки, собственно, и подводят нас к главной мысли рассказа: «Солнце нельзя разбить. Оно сияет высоко, выше облаков. До него не дотянешься, даже если подпрыгнуть или взобраться на самое большое дерево. Солнце светит нам сегодня и будет светить вечно. Разбилось... ненастоящее солнце».

«Детские» рассказы в книжке М. Слуцкиса подчеркивают общую гуманистическую концепцию автора — ведь все в детстве резче, контрастнее, яснее. Каким видится мир жадности и детстве? Мальчик нашел потерянную его теткой серебряную монету и, счастливый тем, что вернет тете сокровище, громко закричал об этом. А тетка, жадно вырвав костлявой рукой монету, торопливо запрятала ее в складки рыжей юбки. «...И почему-то я больше никогда уже не хотел слушать сказки Оняле, не хотел бродить с ней по лесам и никогда больше не ощущал с ее приближением запаха сосновой хвои и смолы...»

Этот случай «из детства» — словно увертюра к рассказу, давшему название всему сборнику, рассказу о трагедии интеллигента, поверившего в националистические лозунги. При приближении Советской Армии герой рассказа ушел из города на хутор и там увидел всю отвратительную кулацкую жадность. Богатый хуторянин лицемерно твердил: «Как-никак свои, литовцы, не оби-

дим», а сам заставлял укрывшихся у него людей убирать от зари дотемна его урожай, кормил их мясом дохлой свиньи и жалел угостить вишней, которая все равно осыпалась. В конце концов кулак совершает предательство по отношению к герою, выдав на поругание отступавшим немецким солдатам его молодую жену — Ирону.

М. Слуцкис не торопится удовлетворить любопытство читателя, привыкшего к сюжетно завершенному рассказу: не сообщает нам, где сейчас Ирена, что стало с кулаком. Смысл рассказа не в традиционной развязке, а в возникающей у нас ненависти к миру жадности и своекорыстия, который прикрывается высокими словами о родине и долге. Герой рассказа, обманутый и обманувшийся человек, говорит: «Вы, коммунисты, кулака не знаете. Для вас он, так сказать, политическая категория, классовый враг, камень на дороге. Но это... только видимая сторона луны». И Слуцкис, как писатель подлинный, показывает нам невидимую — психологическую — сторону: те рвы на сердце, которые появляются у каждого, соприкоснувшегося с миром эгоизма, стяжательства, человеконенавистничества, в сущности, с тем самым миром, который впервые возненавидел ребенка, нашедший серебряную монету своей тетки.

А вот рассказ о мире добра — «взрослый» рассказ «Без вести пропавший», где встречаются после войны две женщины: одна, провожавшая на фронт летчика из далекого сибирского городка и в последнюю ночь ставшая его женой, и другая — спасшая этого полубогоревшего летчика, сбитого над Литвой.

Идет напряженный, трудный диалог двух настороженно, даже неприязненно настроенных друг к другу женщин. Одной хочется, чтобы эта угрюмая литовская учительница чем-то развенчала себя, ибо мучительно ревнует своего мужа к спасшей его девушке, а другая считает, что военные воспоминания должны принадлежать только ей, выстрадавшей право на это, а не нарядной молодожавой горожанке, не испытывавшей всего — отчаяния от невозможности спасти умирающего, страха перед грозящей от немцев расправой, нежности к погибающему герою-летчику.

Как это часто бывает у М. Слуцкиса, в рассказе присутствует и третий собеседник — природа. В данном случае это озеро,

над которым сбили летчика и возле которого его похоронили.

Когда Маша, теперь Мария Александровна, входит в дом Альбины, озеро сверкает в ярких бликах солнца, как начищенное, соответствуя ее радужным надеждам узнать наконец правду о пропавшем без вести. И вот начинается мучительный разговор в доме, в окна которого упрямо врывается озеро. Когда Мария Александровна наталкивается на настороженную холодность Альбины, ей представляется, что и озеро отликает зловещей, холодной сталью. Затем перед ее взором ровная сверкающая гладь озера предстает словно безбрежный, отлитый из меди или другого блестящего металла аэродром. «Может, оно так же заманчиво улыбалось Николаю, когда замолчали пробитые моторы и серебряная птица, окутавшись дымом, ринулась вниз?»

М. Слуцкис уверенно опирается на символы и образы природы, повышающие экспрессию повествования и воздействующие прежде всего на сердце читателя. Смело обращается он к контрастам, к острым, трагическим ситуациям, побуждающим нас к раздумью. В рассказе «Когда возвращаются сыновья» старая одинокая женщина Моркунене, сын которой осужден за грабеж, привечает, пригревает Салюте, дочку убитого бандитами колхозника. Правда, ходили слухи, что и ее сын приложил руку к тому убийству, но толки так и остались толками: никто не мог доказать этого. А разве мать поверит, что ее сын может быть способен на такое!

Автор хочет, чтобы мы окунулись в глубины человеческих переживаний. И чтобы выплывали из них сами, без спасательного пояса.

Это доверие к читателю, способному почувствовать,— частица общей веры писателя в человека. В рассказе «Первая командировка» есть трагический образ учительницы. Она связана по своим прежним

отношениям с теми, кто ушел в националистическое подполье, и в то же время жадно тянется к новой жизни, к чему-то светлому. Она спасает комсомольца, ибо жаждет хорошей, достойной людей жизни, даже не зная толком, откуда она придет, и не до конца веря всему, что рассказывает этот приехавший молодой парень.

И оттого, что, ненавидя бандитов, писатель способен сочувствовать учительнице, этому «обломку старой жизни», как она себя называет, способен увидеть ее боль, ее прозрения, ее надежды, он и есть настоящий гуманист.

И его гуманизм виден во всем: и в памяти о русском солдате, добившемся, чтобы в вагон к тяжелораненым вопреки всем инструкциям посадили литовских ребят, выбравшихся к этому последнему поезду из разбомбленного немцами пионерлагеря, и в призыве сберечь человека, чудо природы. «Одним чудом меньше» — так называется самый большой раздел сборника по одноименному рассказу о стекольщике, который озарял солнечными зайчиками жизнь ребятшек. «Фашисты сожгли стекольщика в печи, как обрубок дерева, и на земле, полной удивительных чудес, стало одним чудом меньше...»

Верой в человека, любовью к нему и открылено творчество М. Слуцкиса.

Далеко не все в сборнике равноценно. Иногда автор суесловен, подменяет напряжение чувства нагнетением слов, иногда чересчур прямолинеен (назову хотя бы рассказ «Дружеская услуга»), иногда непомерно слащав («Улыбка»), иногда просто мелок («Пища богов, или Литовские свистульки»). Но все прощаешь за искренность, за то, что не остались авторской декларацией слова: «Давно уж я живу чужими радостями и чужими бедами. Мое сердце, наверное, похоже на огромное яблоко, все в трещинах и ушибах. На нем шрамы и от твоих ран...»

А. БОЧАРОВ.

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

Вероника Тушнова. Сто часов счастья. Новые стихи. «Советский писатель». М. 1965. 156 стр.

Новая книга стихов Вероники Тушновой оказалась ее последней книгой. Ее берешь в руки с горьким чувством, с обостренной готовностью принять в свое сердце эти стихи, судьба которых так тревожила ушедшего от нас поэта.

Я предвижу заране их трудную участь,
дождь и холод у запертых глухо дверей,
я заране их долгой бездомностью мучусь,
я люблю их — кровиночки жизни моей...

Нотки подобной тревоги и раньше проskalзывали в творчестве Вероники Тушновой, в ее раздумьях о судьбе ее стихов. Не случаен один из прежних заголовков — «О непомерных прихотях души».

Но нет. Та обнаженность чувства, с какой сталкивается читатель в «Ста часах счастья», отнюдь не воспринимается как «непомерная прихоть души».

О чем эта книга? Сначала кажется, что она о любви, и только о любви, о мучительном поединке двух душ. Но потом видишь, что главное в сборнике все же не это. Главное — смятение поэта перед надвигающимся концом, перед близким расставанием с дорогим миром. Иногда смятение и тревога прорываются почти отчаянным криком: «Неужели исчезнут и эти ели и этот снег навсегда растает? Люди любимые, неужели вас у меня не станет?» А иногда все та же мысль выливается в приглушенные разговорные интонации: «Все еще верю: позже, когда-нибудь... В марте... в мае... Моя последняя осень. А я ничего не знаю».

Все новые и новые возвращения к неотступной мысли о близком конце роднят книжку с некоторыми циклами стихов Марины Цветаевой. Во всяком случае известные цветаевские слова: «Мне так не хотелось в землю с любимой моей землей» — многократно вспоминаются, когда перелистываешь тушновский сборник.

Но, упорно продираясь к свету сквозь тревогу и страх, Вероника Тушнова не хочет принять цветаевского горького признания о жизни как одиноком сне. И вот перед нами несколько стихотворений о слиянности каждого со всеми, о связи времен, о том, как «ничто не пропадет, не минется», потому что непреложны законы бытия и законы человеческого сердца:

А стоит ли уж так печалиться,
прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается,
лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана,
в других печаль моя горька...
Сто тысяч раз
другая женщина
все пронесет через века...

Кровная связь соединяет поэта не только с этой другой женщиной, которая понесет наследство сегодняшнего дня в будущее, но и с теми, кто уже прошел до нас по нашему миру. Вот цветет на окне черемуха — «любимица покойной матери моей». Вот кричат в лесу кукушки, обещая долгий век нам, как обещали его тем, кого уже нет. В этом сознании вечности жизни, в чувстве сердца единого для поэта не только великое утешение, но и путь к счастью.

А счастье для Вероники Тушновой — это вовсе не то, что сияет ослепительным, но однотонным, ровным блеском, что исключает всякую боль, всякое страдание. В мире поэта с его чуткостью к негромким звукам, с его душевной ранимостью и готовностью к самоотдаче почти неуловима грань, отделяющая душевные муки от счастья и вдохновения. И счастье свое поэт собирает «по крупнице, по капле, по искре, по блестячке», создает его иногда «из тумана и дыма».

Чем внимательней следуем мы за Вероникой Тушновой, тем яснее становится, что эпиграфом к этой книжке могли бы стать блоковские строки:

Сердцу закон непреложный —
Радость — Страданье одно.

Именно в этом единстве светотеней и рождается насыщенное слово о подлинном счастье, достойном человека. Поэт поднимается над буднями, над отстоявшимися, обкатанными, банальными представлениями о счастье-благополучии. Через сложные повороты, преодолевая кружение повседневности, поэт рвется к постижению главного в жизни:

Шмелиной музыке внимаю,
вникаю в птичью кутерьму...
Я прозреваю, понимаю,
еще чуть-чуть —
и все пойму.

Стихи Вероники Тушновой — это женские стихи в добром смысле слова. И не только потому, что тема любви проходит через весь сборник как один из ведущих мотивов, но и по богатству эмоциональных оттенков, по душевной грации, по самозабвенной, безоглядной готовности презреть страдание ради предобещанного счастья. Жертвенность подлинной женской любви, ее стремление принять на себя все тяготы любимого, желание проникнуть в самые сокровенные «углы» его внутреннего мира — все это встает в истории этой любви, в которой, «случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала».

Пусть с точки зрения прямолинейного ригоризма любовь эта запретна. Все равно она чиста и целомудренна. И как верно передано чувство окрыленности и небрежения к благам земным в таких, например, строках:

Дом — четыре стены...
 Ну, а если у нас их нет?
 Если нету у нашего дома
 знакомых примет,
 ни окна, ни крыльца,
 ни печной трубы,
 если в доме у нас
 телеграфные стонут столбы
 если в доме у нас,
 громыхая, летят поезда?..
 Ни на что, никогда
 не сменяю я этой судьбы,
 в самый ласковый дом
 не войду без тебя
 никогда.

Любовные стихи сборника — это стихи-исповедь. Им прощаешь встречающуюся порой иступленность интонации. Она появилась оттого, что любовь здесь действительно, а не в качестве литературного приема соседствует со смертью.

На первый взгляд пейзажи Вероники Тушновой лишены локальных примет и воспринимаются только как фон для интимной лирики. Но это лишь на первый взгляд. А присмотревшись пристальней, узнаешь в звуках, цветах, запахах, встающих со страниц сборника, знакомые картины средне-русской природы.

Устремляясь к «снегу своего детства», к «свету своего детства», поэт видит тот самый знакомый приволжский «сгорбленный

сивый ельник», сияющий в сугробах по грудь, видит чавкающую, вязкую глину проселочных дорог, и лесной костер, и пылающий в нем сушняк. А над всем этим — родная Волга, иногда не названная прямо, но неизменно ощущаемая.

Вне этого привычного, родного нет и счастья. И когда поэтесса восклицает: «Осчастливь меня однажды, позови с собою в рай» — то конкретный земной адрес этого рая указывается тут же и не вызывает никаких сомнений:

Он ведь не за облаками,
 не за тридевять земель,—
 там снежок висит клоками,
 спит апрельская метель.
 Там синее ельник мелкий,
 на стволах ржавеет мох,
 перепархивает белка,
 словно розовый дымок.

От этих картин естествен переход к обобщенному образу родной земли. Поэт видит добрые руки матери-родины, руки, «от стирки сморщенные, слезами горькими смоченные, качавшие, пеленавшие, на победу благословлявшие»...

Как спасенье свое держу их,
 волнения не осияя.
 Добрые твои руки,
 прекрасные твои руки,
 мать моя, Россия!

Как-то не хочется рассуждать по поводу этого сборника об особенностях поэтики, о рифмах и ритмах, о профессиональных приемах автора, тем более что никаких формальных новшеств у Тушновой нет и она позволяет себе временами даже роскошь глагольных рифм. Нет, автор, безусловно, не размышлял в данном случае над вопросом, «как делать стихи». Потому что это стихи такого рода, о которых было когда-то сказано:

И чем случайней, тем вернее
 Слагаются стихи навзрыд.

Кусок живого сердца своего, бьющегося по непреложным законам нашего мира, оставила, уходя, Вероника Тушнова в своей книжке «Сто часов счастья».

Е. ГИНЗБУРГ.

Львов.



«ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ»

Лев Софронов. Все мы были мальчишками. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1965. 192 стр.

Герой повести Л. Софронова «Все мы были мальчишками» Валерка Синичкин однажды произнесет эту «избитую фразу, которая выручала его во всех щекотливых положениях».

А в положения такие Валерка попадал на протяжении повести неоднократно.

Вместе со своим дружкой Васькой он после окончания ремесленного училища пошел на Нефтьстрой, но оказались они в разных бригадах. Васька — в знаменитой бригаде Егора Гараина, «невысокого, ясноглазого крепыша с мальчишеской улыбкой». Валерка — в бригаде Брошкина, «плотного краснолицего дядечки лет сорока» («из-под кустистых бровей смотрели маленькие недвольные глаза. Колючки, а не глаза»).

Если читателю еще не дозелось ознакомиться с книжкой, то, думается, из одного этого описания легко догадаться — конфликт схвачен нами сразу же. Вряд ли у кого-нибудь возникнут сомнения в том, что «ясноглазый крепыш» и «краснолицый дядечка» в конце концов обязательно столкнутся. Иначе к чему бы одному иметь «мальчишескую улыбку», а другому «колючки, а не глаза»?

Даже фамилии обонх вступают в неприемлемое противоречие.

В фамилии Егора есть что-то одновременно и от Гагановой и от Гагарина, да и имя, одинаковое с космонавтом (Егор-Георгий-Юрий), — в повести можно обнаружить прямую ссылку на это хоть и внешнее, но весьма лестное сходство. А Брошкин? Разве в его фамилии не ощущается наследственная (папа торговал в палатке) тяга к украшению своей жизни дорогими безделушками, к золотушке, будь оно неладно, к стяжательству?

Если же читатель предположит — чисто умозрительно и даже не всерьез, а ради шуток, — что этот самый Брошкин начисляет членам своей бригады лишние деньги и за это в получку берет с них взятки, то он попадет в самую точку.

Может быть, Брошкин к тому же еще завывает показателю, делает липовые приписки, приучает молодежь к жульничеству? Увы, и это верно.

Каковы же члены гараинской бригады, что противостоят этому отщепенцу и халу-

ге Брошкину и его сотоварищам? Какие духовные ценности несут они в себе?

Уверовав в догадливость читателя, я не собираюсь его больше мучить таинственными вопросами — и так знаю, что он определит все наперед. Я не буду его уверять, что горячительным напиткам, включая пиво, гараинская бригада предпочитает молоко, потому что, само собой разумеется, так оно и есть. В то время как Валерка в обеденный перерыв бежит по поручению Брошкина в магазин за пивом, Васька закупает на всю бригаду бутылки с молоком.

Впрочем, так было не всегда.

Дело в том, что в жизни гараинской бригады существовало два совершенно не равноценных, решительно не похожих друг на друга периода. Один назывался «до», другой — «после».

«До» — это когда бригада еще не соревновалась за передовое звание, а «после» — когда уже соревновалась.

Пожалуй, это единственное обстоятельство, которое не отгадал бы ни один читатель.

Тут приходится со всей прямотой и ответственностью признать, что «до» если и не вся бригада, то во всяком случае отдельные ее члены к молоку относились гораздо более скептически, нежели «после». В книге на это есть прямые указания и косвенные. В ней откровенно, без обиняков сказано, что «до» Игнат Петрусенко любил «заложить за воротник». Более того, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены констатировать, что и «ясноглазый» Егор по этой части раньше тоже был не промах. Его жена Люба-Любушка, чтобы уговорить мужа поехать в воскресенье за город, выдвигает последний козырь: «Бутылочку прихватим». Правда, к чести Егора, он на эту приманку не клюнул. Но, видно, раньше клевал, раз жена выдвигает этот последний довод как наиболее веский.

Что же касается переживавший Любы-Любушки, то их можно понять. В воскресенье, как и следовало ожидать смекалистому читателю, у Егора полно общественных забот. А уж в другие дни и говорить не приходится. Ведь теперь, «после», бригада всегда вместе — и на стадионе, и в кино, и в читальне. Тут уж, разумеется, не до личной жизни, не до семьи.

«После» и в школу рабочей молодежи все поступили.

Наконец и в культурной, духовной жизни гарининской бригады произошел знаменательный переворот.

Раньше — хотите верьте, хотите нет — «любила бригада «забить козла». Но это было только раньше, «до».

«А «после» (я цитирую.— Л. Р.) Егор Гаринин как-то сказал:

— Бестолковая все-таки игра домино. Ни уму, ни сердцу ничего не дает. Давайте, братцы, переключимся на шахматы и шашки. Они хоть мозги тренируют».

Вспомнив, что Лев Софронов является автором нескольких сборников юмористических рассказов, я в этом месте рассмеялся. Уж не блестящая ли это пародия? Не написал ли Софронов теперь уже не рассказ, а целую юмористическую повесть?

Да, это было бы очень смешно, если бы не было таким грустным. Ибо автор совсем не пародирует, а излагает все самым серьезным да еще несколько умиленным тоном.

Положительных персонажей повести автор наделяет одним особым свойством — несмотря на свою, в общем-то, заметную ограниченность и даже малограмотность, — они любят выражаться возвышенно и по разным поводам цитируют то Чехова, то Маяковского и, уж конечно, Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». В этом — скорее всего помимо воли автора — отразилось одно печальное, но, к сожалению, бытующее и в жизни и в литературе явление. Еще не прочитав толком Горького, некоторые молодые люди всегда к месту умеют вспомнить, что человек — это звучит гордо. Всегда скажут, что прекрасное есть жизнь, что прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, что в человеке все должно быть прекрасно и т. д. и т. п., хотя, может быть, никогда не открывали ни Чернышевского, ни Николая Островского, ни А. Чехова.

Вместо того, чтобы с этим бороться, Л. Софронов не без удовольствия вкладывает в уста Валерки и Васьки звонкие цитаты и всякие красивые «книжные» слова, хотя один из них по простоте душевной убежден, что «Пигмалион» принадлежит перу «великого английского драматурга Шекспира», а другой из книг читал главным образом про летчиков, а из стихов помнит

только «Однажды в студеную зимнюю пору...».

Нельзя сказать, что в повести не происходит никаких столкновений. Нынешний писатель отлично знает: без противоречий нельзя. Но ведь бесконфликтная литература отличается вовсе не отсутствием противоречий, а какой-то гипнотической предопределенностью в их разрешении. Отсюда и «удивительная» читательская догадливость.

Автор превозносит положительные и дискредитирует отрицательных героев еще до того, как они успевают что-либо сделать или хотя бы раскрыть рот. Наивный Егор удивляется, почему это Люба-Любушка вышла замуж за него, а не за ухаживавшего за ней Сметанкина. Но подумай, Егор, разве может положительная девушка выйти за человека с фамилией Сметанкин, о котором с места в карьер сказано: «Галстук — бабочкой, усы — бабочкой, брюки — трубочкой»?

Подобное отношение автора к своим персонажам не есть нечто случайное и не является свойством только данной повести. Книга Л. Софронова привлекла наше внимание именно потому, что во всех ее компонентах необычайно отчетливо проявляются в своем крайнем выражении основные тенденции того широкого потока «беллетристики», «чтива», который так упорно пытается пробить дорогу к читателю. И лично я не проникаюсь бодрым оптимизмом, основанным на благодушно наивной уверенности, будто бы эти попытки совсем безуспешны.

Мне думается, глубоко ошибочно предполагать, что эти китики никого и ничему не могут научить. Напротив, повесть Л. Софронова, как и всякое литературное произведение, активно «учит». Она недвусмысленно старается доказать читателю, что жизнь состоит из совершенно определенных, неизменных, раз и навсегда выработанных стандартов. Надо только умело ориентироваться в них. Если человек курнос, с васильковым цветом глаз, то, разумеется, это хороший человек. А вот если большой «гоголевский» нос, то тут уж гораздо меньше шансов попасть в разряд положительных. Что же касается мужчины, обладающего «сверхмодной прической», как у молодых людей из заграничных журналов, то это уж, конечно, негодяй, каких мало.

Сводя все жизненное многообразие к окаменевшему шаблону, четко разделяя людей на ангелов и подлецов, автор тем са-

мым приучает и читателя к мышлению убогими стандартными категориями. Поэтому, несмотря на кажущуюся внешнюю правильность всего того, о чем рассказывает Л. Софронов, на кажущуюся безобидность книги, от нее остается тяжкое ощущение удивительной бездумности, сознательной интеллектуальной ограниченности, которые активно навязываются читателю.

В связи с этим чрезвычайно важно (разумеется, далеко не только для данного случая) обратить внимание на «метод», с помощью которого создает свои «образы» Л. Софронов. Потому что этот «метод» тоже типичен для подобной литературы. Сделать же это тем более просто и тем более интересно, что Л. Софронов сам о нем рассказывает.

Когда художник, приехавший на стройку, решил нарисовать портрет Гаришина, то он решил: «Будут в нем и ггаринские черточки, но что-то перейдет на полотно от... Егора Гаришина».

При всем моем огромном уважении к первому советскому космонавту, я все же никак не могу смириться с тем, что в портрете Гаришина будут главным образом ггаринские черточки и лишь что-то «перейдет на полотно» от самого Егора.

В своих откровениях по поводу творческого процесса автор идет дальше. Один из его персонажей, «бывалый» человек, который на старости лет долго думал, каким бы способом поделиться с миром накопленным

опытом, и решил, что лучше всего написать повесть, так говорит о своем герое: «В нем я объединил черты многих людей. Хотелось создать художественный образ».

Вот, оказывается, как создается художественный образ — надо только объединить черты многих людей! Что же касается своеобразия, индивидуальной неповторимости, собственных черт, то это, конечно, такая мелочь, которой можно вполне пренебречь.

Вот и разгуливают по страницам повести герои с «объединенными чертами», похожие друг на друга, как стертые пятак. Бедность духовная переплетается с бедностью художественной. Ложно понятая простота привела к нравственной и интеллектуальной худосочности. Автор, может быть, и думал рассказать о величии труда, но из-за примитивности героев тема рабочей гордости обернулась чванством, кичливостью. А важнейшая тема новых нравственных отношений оказалась начисто дискредитированной.

Вобрав в себя типические черты определенного рода литературы, повесть Л. Софронова может служить своеобразной энциклопедией штампа, а ее тираж (57 тысяч экземпляров) — символом необъяснимой живучести этой «литературы».

И вряд ли здесь может что-либо объяснить даже та избитая фраза, которая выручала Валерку «во всех щекогловых положениях»: «Дело ясное, что дело темное».

Лев РОШАЛЬ.



ЖИЗНЬ ПОЭТА

Л. О с п о в а т. Гарсиа Лорка. «Молодая гвардия». М. «Жизнь замечательных людей». 1965. 432 стр.

Гарсиа Лорка был поэтом с головы до ног. В нем было все, что людская молва связывает обычно с именем художника: он слыл бродягой, беззаботным повесой, человеком широкой души и предельного бескорыстия. Он жил, словно писал стихи, а поэзия слагалась в строки по законам его жизни — как бы случайно, внезапно, непредвиденно. Людей благоразумных — а таким был, скажем, его отец, крупный гранадский арендатор — Лорка огорчал и удивлял. Те, кто видел смысл жизни в борьбе за лучшие социальные идеалы, относились к нему не совсем серьезно: он казался им анархичным и ненадежным

фантазером, таким баловнем муз, мотыльком с нежными крыльями.

Но на рассвете 19 августа 1936 года фалангисты вывели Лорку из Гранады и на обочине шоссе расстреляли. Как горько и точно сказал однажды Пабло Неруда, фашизм в Испании начинался с того, что был убит ее лучший национальный поэт. Да, франкисты убили Лорку в первые же сутки мятежа.

Смерть большого художника всегда воспринимается как нечто незаконное, как нарушение естественной гармонии, как посягательство на основы самой природы. Особенно если смерть насильственна.

Лев Осповат — критик-испанист, автор монографии о Пабло Неруде — написал волнующую повесть о жизни Лорки, о вечном драматическом конфликте поэзии и реакции.

Эта книга для меня стоит в одном ряду с любимыми мной монографиями серии, на корешке и титуле которой изображен зажженный факел, символ прометеева огня, такими, как «Мицкевич» М. Яструна, «Шопен» Я. Ивашкевича, «Мольер» М. Булгакова, «Салтыков-Шедрин» А. Туркова.

Книга Л. Осповата — художественное раскрытие образа поэта в единстве его жизненного и творческого начала. Очень хорошо написана глава о рождении поэта в ребенке, о чуткой тишине души, в которую западают звуки окружающего мира, запечатлеваясь в ней необъяснимыми и поначалу хаотичными образами: это и психологически точный анализ, и свободная художественная импровизация.

М. Горький в письме к К. Федину сказал когда-то, что «лучшим критиком художника может быть лишь художник». Слова эти справедливы лишь в том смысле, что критик должен быть художником, но совсем не в том, в каком это понимает, скажем, Е. Книпович, что художник «практически» нередко — лучший критик, чем критики-профессионалы («Литературная газета», 23 сентября 1965 года). Думать, что кто-то, кроме критика, может делать его дело наилучшим образом, так же нелепо, как полагать, что писать настоящие стихи можно, не будучи поэтом. Поэт хорош в критике там, где плох критик. Но истина эта относительна — виноват фон. Другое дело, что у нас зачастую, а не «иногда» считают критиками тех, кто таковыми не является. Не оттого ли и возникает объективная потребность художников в «самообслуживании»? Но радоваться тут вроде бы нечему.

Вернувшись к предмету нашего разговора, замечу, что успех Л. Осповата определило не то обстоятельство, что Осповат из как бы второсортной в литературе области «критики» перешел в разряд «писателей», а то, что он поднялся до уровня истинного критика.

В книге «Пабло Неруда», вышедшей в 1960 году, Л. Осповат сделал робкую попытку проникнуть в душу художника лишь в первых главах, воссоздав образ тропических ливней в родном поэту Темуко. Стук

капель по цинковой крыше на всю жизнь остался у Неруды «музыкой детства». Л. Осповат почувствовал, чем был для поэзии Неруды раскинувшийся сразу за чертой города девственный лес — с его необыкновенными растениями, гигантскими бабочками и птицами самых причудливых расцветок, чем отозвались потом в стихах поэта далекие гулы и тяжелые вздохи пробуждающихся вулканов — земля вздрагивала от подземных толчков, а отдаленные склоны Андов озарялись зловещим светом: это просыпался вулкан Льяима... Но в работе о чилийском поэте Л. Осповат только приблизился к пониманию цельности, нераздельности факторов, формирующих поэта. В последующих главах критик переходит к методу «чистого» литературоведческого анализа, словесному или политическому объяснению стиха.

В «Гарсиа Лорке» от подобного расчленения не остается и следа. И не только потому, что избран новый жанр — автор стремится раскрыть и внутренний мир поэта, и движение жизни. Не только потому, что мы читаем повесть, построенную по законам художественного произведения. Но потому главным образом, что критику яснее стала органическая связь между жизнью и искусством, характером и обстоятельствами, культурной традицией испанского стиха и духом XX столетия, связь между фактами конкретной действительности (не только социальной, но и психологической, этической, эмоциональной) и особенностями человеческой индивидуальности Лорки.

Таланты похожи и не похожи друг на друга, как и вообще люди на земле — они сходны в своем человеческом естестве и они отличны друг от друга в том, что характерно только для них одних. Талант отличает уже в детстве острота восприимчивости, первичная чуткость к цвету, звуку, запаху, свету. Даже свойственная каждому ребенку тяга к игре, подражанию у таланта с годами трансформируется в нечто близкое к жажде человековедения: «С годами лицедейство вошло в привычку, Федерико слыл пересмешником, хотя и сам он не смог бы сказать, что тут было от игры, а что — от жгучего, становившегося порой непреодолимым желания проникнуть в чувства другого человека, через внешнее — жест, походку, манеры — прикоснуться к чему-то сокровенному в нем».

Особый путь Лорки к стиху начался с бродячего театра кукол, с андалузской песни, которую мастерски исполнял отец, с острого, характерного рисунка, нервно-прихотливого, затейливого, но и лаконичного, который хотя и был для Лорки баловством, но за которым угадывалось тяготение к театрално-зрелищному началу. Здесь, в театре, очевидно, сходились и страсть к «пересмешничеству», и не осознанное пока стремление к жизнеподобию. Ведь испанский театр долее других национальных театров сохранял верность народному характеру представления, оставался демократическим зрелищем. В театре Лорка чувствовал жизнь простую и в то же время высокую. Там сохранил народ истинные идеалы, свою гордость и достоинство, то, что все меньше обнаруживала окружающая поэта действительность. Диктатура паясничавшего «хозяина» де Риверы, продажность либералов, животная тупость фашиствующей реакции, меркантилизм самодовольных буржуа, застойная, сонная провинция, терпеливая бедность крестьянства — вот что такое Испания в 20—30-е годы, такой она окружала поэта. И Лорка, вполне обеспеченный, чтобы не добывать хлеб насущный, но и спасенный от буржуазной успокоенности художнической остротой переживания чужой боли, приходит к освоению правды жизни, жадно постигая ее смысл через музыку, рисунок, театр, стихи.

Одаренность Лорки в каждой из областей искусства была удивительной. Ему прочил славу композитора сам де Фалья, его рисунки, исполненные изящества, грации и народного простодушия, вызывали тайную зависть Сальвадора Дали, его актерские и режиссерские данные не подвергали сомнению такие корифеи испанской сцены, как Маргарита Ксиргу или Хосефина Диас де Артигас.

Но Лорку манило иное: «Изначальное зрелище, не расчлененное на поэзию, драму, танец, вырастающее прямо из жизни, чтобы вернуться в жизнь...» Л. Осоват показывает медленное, но последовательное движение Лорки к народному театру, где должны были соединиться (и соединились в постановках «Марианы Пинеды», «Иермы») и страсть к вымыслу, и музыка, и рисунки, и приверженность к произносимому, а не печатному слову. Это так. Но мне кажется, смерть оборвала развитие

Лорки на полпути. Вперед, по всей логике настойчивого нарастания в творчестве поэта революционных, бунтарских идей, по логике позднего, но глубокого созревания трагических предчувствий, характерных для новой поэзии, Гарсиа Лорка должен был перешагнуть и узкие для него рамки «площадного театра» с его неременной условностью форм, отвлеченностью абстрактной идеи. К чему бы он пришел, мы можем лишь гадать. Но не в его ли поэзии, не в слове ли позднего Лорки находим мы искомый им синтез?

В книге Л. Осовата совершенно правильно отмечается, что лаконизм, недосказанность, открывающая простор воображению, есть драгоценная черта народной испанской поэзии, что народ, вероятно, этим и руководствуется, сокращая песню и посвятому ее переделывая. Это ценное утверждение. Мы часто сталкиваемся с тенденцией искусственного упрощения поэзии под флагом народности. Истинно народному представлению о красоте свойствен лаконизм, здоровое отношение к форме. Прав Л. Осоват и тогда, когда указывает на народный характер цветовой символики у Лорки. Разве не так же, как безымянные сочинители, которые умели одним лишь упоминанием белого цвета сказать о грусти, а красным — о страсти, использует цветовую символику Гарсиа Лорка:

Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
И зелены волосы, тело,
Глаза серебра прохладней...

Или это:

Черные кони жандармов
железом подкованы черным.
На черных плащах сияют
Чернильные пятна воска...

...девушки мчатся,
и плещут их черные косы
в воздухе, где расцветают
выстрелы — черные розы.

И шел Лорка в развитии своих поэтических привязанностей не к усложнению стиха, не к эстетизации его, не к удалению от народной песни, а — напротив! — к воспитанию точного, здорового вкуса, от поэзии иронического Беккера, подражательного

Мануэля Мачадо, от пиршества звуков и красок у Дарио к сдержанному благородству строк Хименеса, где «все решало слово — весомое, безошибочно выбранное; поэзия рождалась от его соприкосновения с другими словами. Под народную песню Хименес не поддельвался, он учился у нее, а в чем-то и соперничал с нею».

Правильное истолкование поэзии Гарсиа Лорки имеет принципиальное значение. Вокруг этого имени, заслуженно легендарного, наплывало много чуждых наслоений. Есть две крайности. Одни исследователи склонны сделать из Лорки идейного брата Фучика. Другие норовят приспособить Лорку к декадентскому лагерю. И то и другое неверно.

Л. Осповат не стал полемизировать, он даже не упоминает о разных трактовках поэзии Лорки. Он рисует верный портрет поэта и человека. И Лорка предстает перед нами таким, каким он и был — революционером духа, бунтарем против всяческого насилия, певцом человеческой свободы и естественности. Внутреннее сопротивление, какое всегда испытывал Лорка в общении с Сальвадором Дали, — это не просто несходство характеров, это два принципиально различных пути искусства XX века. Дьявольские искушения цинической моды, беспринципность даже в ореоле абсолютной свободы художника интуитивно настораживала Лорку, и Сальвадор знал, «с каким упорством, скрытым под внешней мягкостью и уступчивостью, отстаивает Федерико свою крестьянскую цельность, свою стихийную, нерассуждающую веру в добро». Эта дружба-вражда со стороны Дали и дружба-настороженность со стороны Лорки представляются мне чрезвычайно показательными. «Не все в речах друга было ему понятно, — пишет Л. Осповат о своем герое, — а из понятного — не все нравилось, но какие-то мысли Сальвадора переключались с его собственными мыслями, в каких-то словах чудился ответ на неотвязные собственные вопросы». Так ведь и бывает: новое стучится в жизнь, и в искусстве оно принимает на время сходные очертания, но потом велением своей природы и велением времени определяется собственный путь художника. И мы долж-

ны понять, как непросто, противоречиво становление таланта.

Новое в искусстве века существует. И его надо не игнорировать, не сводить к однозначным определениям, а понять в его реальной сложности. Путь Лорки, как путь Неруды, Незвала или Рихса, — путь трудных поисков, но и путь находок. Это путь к народной цельности и глубине передовых идей, волнующих многих, но на основе новой поэтики, обогащенной достижениями начала века. Поэзия Лорки песенно проста, но метафоры ее и ассоциации в то же время необычайно сложны. Слово предельно освобождено от украшательства, смысл его оголен, но эта простота таит в себе заряд необыкновенной экспрессии, тревоги и драматизма.

Влияние Лорки на современную поэзию бесспорно. Ему посвящают стихи, о нем слагают баллады, о нем пишутся исследования. Разные стороны его дара привлекают поэтов. Но книга Л. Осповата, талантливо воссоздавшая портрет Гарсиа Лорки, как мне кажется, достигает главной цели — она без формулировок и менторских наставлений дает эмоциональный вывод о том, что мятежная судьба поэта закономерна, что героизм поэзии Лорки — в самой его поэзии, а героизм Лорки как человека — в том, что он оставался поэтом даже тогда, когда это означало смерть.

И тополя уходят —
но след их озерный светел.

И тополя уходят —
но нам оставляют ветер.

А он умирает ночью,
обряженный черным крепом.

Но он оставляет эхо,
плывущее вниз по рекам.

А мир светляков нахлынет —
и прошлое в нем потонет.

И крохотное сердечко
раскроется на ладони.

Этими строками Федерико Гарсиа Лорки, взятыми Л. Осповатом в эпиграф, мне и хочется закончить отзыв о талантливой книге критика.

Вл. ОГНЕВ.

ПРАВДА ТЕАТРА И ПРАВДА О ТЕАТРЕ

П. Марков. Правда театра. Статьи. «Искусство». М. 1965. 540 стр.

Среди авторских сборников театрально-критических статей книга Павла Маркова «Правда театра» особенно примечательна: в ней оживают страницы истории нашего театра, фигуры крупнейших мастеров сцены, и в каждой статье — будь то годовой обзор или газетная рецензия, литературный портрет или отклик на актерскую работу, режиссерский комментарий или воспоминание — всегда ошутим облик автора, слышится голос не только очевидца, но участника событий, одного из активных строителей советского театра.

Широки временные пределы книги: от статьи 1923 года о вахтанговской «Принцессе Турандот» до очерка о Черкасове в роли академика Дронова, написанного в 1964 году. Многообразно содержание работы: театральная жизнь двадцатых годов, Московский Художественный театр; Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов, Сулержицкий, Михаил Чехов, Качалов, Климов, Михоэлс, Щукин, Добронравов; приметы и штрихи театра на разных этапах его развития.

При всей тематической и жанровой разнolikости книги, при том, что автор особенно широк в своих эстетических пристрастиях, мы отчетливо видим то главное, что больше всего занимало критика на сорокалетнем пути его литературной работы. Главное в том, что театр новой эпохи только тогда выполняет свою общественную миссию, когда революционная идеология входит в его плоть и кровь, когда он становится социальным и современным не по внешним признакам, а по своей идейной и художественной сути.

«Если пафос и красота революции,— писал П. Марков в 1927 году,— пропитаны ощущением реальной и страстной жизни (а только из постижения великих потрясенной страны возможно построить глубокое обобщение); если факт конкретной жизни, послуживший художнику источником его произведения, выражает сложнейшую проблематику («ради чего») нашей современности; если цель театральной формы — всеми театральными приемами обострить внутренний смысл спектакля,— то только здесь и лежит правильный путь к рождению социального спектакля».

В этой фразе выражено театральное кре-

до П. Маркова. В обзоре «Театральные постановки Москвы 1923—1924 годов» критик пишет о «тоске по современному автору», потому что в театре «внутренняя борьба обусловлена не только вопросами формы, но в гораздо большей степени вопросами обозначаемой данными формальными качествами сущности и идеологии».

И когда в следующем сезоне появился «Шторм», который тогда воспринимался всего лишь как разведка новой темы, П. Марков дальновидно заметил: «Простой и ясный реалист, Билль-Белоцерковский «Штормом» делает значительный шаг в нашей драме — в овладении материалом революции». А в 1930 году, основываясь уже на большом опыте советского театра, критик утверждает: «Социально-политический спектакль одновременно и спектакль философски-художественный». В этой связи особенно интересны мысли автора, заключенные в главе «Театр Леонида Леонова».

Критические статьи П. Маркова на редкость профессиональны, в них всегда заметно пристальное внимание к форме, глубокое постижение художественной природы спектакля. Порой суждения критика о формальной стороне сценического творчества усложнены — это чувствуется, например, в статье «Принцесса Турандот» и современность». Надо признать, что эта статья трудна для восприятия читателя, не имеющего специальных знаний. Но, как правило, П. Марков пишет о сложных проблемах содержания и формы ясно, просто и точно, причем форма для него всегда лишь наилучшее средство раскрытия идеи, содержания.

Рождение революционного театра, продолжение и обновление реалистической традиции русского искусства в новых исторических условиях — это сложный, противоречивый процесс, острая и напряженная идейная борьба. Сейчас, с высоты времени, мы не только отчетливо видим те идеологические силы, что столкнулись в этой борьбе, но знаем эти силы в их дальнейшем развитии, в исторической перспективе. Вполне естественно, что во время боя — а на театральном поле были жаркие схватки — трудно было с окончательной точностью определить значение для будущего того или иного конкретного явления искусства, трудно было охватить борьбу в целом.

Можно заметить, скажем, что в начале двадцатых годов совсем еще молодой критик, бесконечно увлеченный идеями нового, революционного театра, недостаточно основательно судил о роли традиций, накопленных в прошлом. Порой автор ошибался в оценках того или иного спектакля. Но прогрессивная роль работы П. Маркова для развития советского театра той поры и современное значение его давних статей определяется тем, что критик уже тогда заметил основные тенденции становления социалистического реализма на советской сцене.

Достоинство книги П. Маркова состоит в том, что советский театр (прежде всего двадцатых и тридцатых годов) показан в ней таким, каким он был в действительности. Это крайне важно, в особенности потому, что под влиянием антиисторических концепций в нашей науке сложный и целеустремленный путь советского театра — в книгах, вузовских программах и курсах — был втиснут в искусственную, ложную схему, а многие явления сценического искусства либо замалчивались, либо толковались неверно, догматически. П. Марков восстанавливает правду о советском театре во всем его богатстве и сложности, с его борьбой и противоречиями. При этом П. Марков совсем не похож на бесстрастного летописца. Научная ценность, правильная идейная ориентация его книги в том, что автор выступал как убежденный реалист.

П. Марков еще в начале двадцатых годов чутко уловил, что в соотношении «левых» и академических театров произошли серьезные изменения, что театры переходят к оформлению реальной действительности. При этом борьба в театре приняла иные, чем в первые послеоктябрьские годы, формы. Автор убедительно показывает медленное, но верное движение старых театров к современности, закономерность кризиса «левого» театра и его обращение к внутреннему содержанию новой эпохи. Автор ясно и отчетливо определяет корни формализма в театре той поры, показывает его бесплодность. Примечательна в этом смысле оценка эволюции театра Фореггера от поисков новой формы к легковесному, «мюзик-холльному» искусству.

«Мюзик-холлу Фореггера оказалось не по пути с Мейерхольдом. Ритмометрические изыскания Фердинандова были осуждены на одиночество и обособленность», — пишет

П. Марков. Если нет чувства современности, нет связи с жизнью страны, то и самая высокая техника — пуста, бессодержательна.

С 1924 года, то есть с начала своей литературно-критической деятельности, П. Марков прочно связан с Художественным театром. Очень дорого, что он всегда сохранял объективность в оценке бурно развивающегося, многоликого советского театра. Он был объективен, говоря о «своем» театре, и столь же объективен, рассматривая спектакли Малого театра и Камерного, театров Мейерхольда и МГСПС.

Глубокое уважение к работникам искусства никогда не переходило у Маркова в лесть и апологетику. Вообще апологетика решительно чужда критическому методу Маркова. Объективный, точный анализ с позиций идейности и реализма — вот его позиция. Это и делает его старые статьи надежным источником для изучения советского театра давних лет. В этом — прекрасный урок современной театральной критике.

Значительная часть книги посвящена Художественному театру. В статьях разных лет мы видим основные этапы, основные звенья его развития в советский период: опасность длительного отрыва от родины в 1922—1924 годы, создание новой, молодой труппы, первые попытки откликнуться на зовы современности, сближение с советской литературой. Все это — без умаления трудностей, без обхода ошибок, удач и полуудач и вместе с тем в свете ясной, надежной перспективы, с верностью тому лучшему, чем богат МХАТ.

Мейерхольд и его театр, быть может, наиболее сложное и противоречивое явление в истории советского театра. Беда в том, что и сейчас, уже после гражданской реабилитации художника, после того, как он, бесспорно, признан крупным деятелем советского искусства, к нему сохранилось опасливое отношение. В последние годы сделаны попытки объективного подхода к творчеству и наследию Мейерхольда, но сделано пока крайне мало: мы говорим о противоречиях художника, а дальше этого не идем, и его творчество, его сценическая, режиссерская практика остается за семью печатями. Ценность страниц книги Маркова, посвященных Мейерхольду, прежде всего в том, что он с присущей ему объективностью пишет о спектаклях, о том, какими они были на самом деле и как восприни-

мались современниками. Без этого нам не понять Мейерхольда. Марков тоже видит и очень серьезно анализирует противоречия Мейерхольда, но они для него не спасительная формула, за которой ничего нет, а живое искусство режиссера. Не обходит автор и такое сложное явление, как эпигонство некоторых подражателей Мейерхольда, использование его внешних и частных приемов вместо творческого усвоения и развития наиболее плодотворных принципов. В этом П. Марков справедливо видит реальную угрозу реализму, подлинному искусству. Статьи П. Маркова о Мейерхольде и его спектаклях помогут подлинно научному, объективному изучению творчества выдающегося советского режиссера.

Это же надо сказать о Вахтангове. Вахтангов вроде бы давно и всеми признан как бесспорно передовой художник, необычайно обогативший советский театр. Конечно, это так! Но в оценке его творчества много упрощенчества. П. Марков более глубоко анализирует вахтанговское искусство. Это относится и к раннему творчеству режиссера (статья о Первой студии МХТ), и к его последней работе — «Принцесса Турандот». Особенно плодотворны мысли автора о том, почему этот спектакль был столь современным, почему он явился серьезным ударом по формализму на сцене и открывал новые пути в театре.

Наибольшую часть книги «Правда театра» занимают статьи двадцатых и тридцатых годов: в молодости П. Марков особенно много писал в газетах и журналах, критическая работа была для него главной; позднее начались режиссерские искания, педагогическая деятельность, активное участие в международном театральном сотрудничестве. Но и теперь П. Марков — старейшина советских театральных крити-

ков — продолжает свое литературное дело: в книге мы найдем его статьи об актерах наших дней — Тарасовой, Степановой, Грибкове, Черкасове, о некоторых примечательных явлениях современного театра. Конечно, хотелось бы, чтобы нынешний театр нашел бы в книге столь же верное и глубокое отображение, как и искусство ранних десятилетий его истории. Но что поделаешь — так сложилась творческая биография автора.

Книга П. Маркова — горячая и страстная книга. В каких-то оценках можно с автором не согласиться, поспорить. Где-то встречаешься с неточной терминологией, несвоевременной лексикой. В иных своих выводах и наблюдениях автор оказался не прав. Но разве существует художник, который остался бы неизменным на протяжении большого пути в искусстве? Разве время, жизнь в ее течении не влияют на любого советского литератора? Важно то, что критик прав в главном, что его мысли и наблюдения прошли жестокую проверку временем и помогают нам понять это время.

Несмотря на то, что в книге мы находим не много откликов на спектакли наших дней, вся она обращена к современности. Не только потому, что нам сейчас дороги традиции советского театра, раскрытые и осмысленные автором (это очень важно!), но и потому, что очень многие наблюдения, мысли и выводы П. Маркова сохранили живое, современное значение. И прежде всего его страстное утверждение правды и идейности на сцене, широты и смелости в поисках художественной формы. И его убежденное — до резкости — неприятие примитивной иллюстративности, штампов, голого техницизма, конъюнктурности и схемы в театре.

А. АНАСТАСЬЕВ.



Политика и наука

АТЕИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

А. В. Луначарский. Почему нельзя верить в бога? Избранные атеистические произведения. «Наука». М. 1965. 443 стр.

Во вводной статье к этому сборнику Ф. Олешук справедливо замечает, что о Луначарском и до сих пор в некоторых кругах антирелигиозного актива, среди тех, которые его не знают, существует непра-

вильное представление как о путанике, богостроителе, а обо всем его идейном наследии — как о «пройденном этапе», не имеющем значения для современности.

Да, было время, когда А. В. Луначарский

«впал в грех» и начал сочинять, по выражению Г. В. Плеханова, что-то наподобие «евангелия от Анатолия». Но под влиянием В. И. Ленина Анатолий Васильевич начисто отрекся от «богостроительства».

Правда, церковники не забывали его старых грехов, и впоследствии небезызвестный митрополит Александр Введенский на одном из диспутов, спасаясь от сокрушительной аргументации Луначарского, прибег к такому приему: процитировав высказывание из одной книги, он спросил аудиторию: «Знаете ли, кто написал эти благочестивые строки? — И, выдержав эффектную паузу, ответил: — Нарком Луначарский». Как же реагировал на это Анатолий Васильевич? Предоставим слово автору интересных воспоминаний о Луначарском К. И. Чуковскому: «Луначарский возразил ему не сразу. Он долго говорил о другом и, лишь сойдя с трибуны и шагнув по направлению к выходу, вдруг словно спохватился: «Ах да! Я совсем позабыл ответить моему оппоненту... вот о тех строках, которые он сейчас процитировал. Строки эти действительно были написаны мною. Помню, прочтя их, Владимир Ильич сказал: «Как вам не советую, Анатолий Васильевич, писать такую чушь! Ведь за нее всякий поганый поппик схватится».

Даже в период махистско-богостроительских блужданий Луначарского В. И. Ленин признавался А. М. Горькому, что продолжает «питать слабость» к Луначарскому, и вел за него настойчивую борьбу.

Ошибки Луначарского тем более поучительны, что он сам осознал их и сделал из них необходимые выводы. В этом можно убедиться, читая и изучая произведения, опубликованные в рецензируемом сборнике.

Круг вопросов, затрагиваемых в этой книге, весьма обширен. Здесь представлены такие разделы, как «Материализм против религии и идеализма», «Государство и церковь», «Народное просвещение и антирелигиозная пропаганда» и наконец «Искусство и религия». В каждом разделе содержатся глубочайшие научные положения, обогащающие марксистский атеизм, представляющие большой интерес для истории религии и атеизма, имеющие важное значение для научно-атеистической пропаганды.

Уделяя большое внимание диалектическому материализму как философской основе научного атеизма, автор обращается к книге В. И. Ленина «Материализм и эмпи-

риокритицизм». Эмпириокритики, пишет Луначарский, «доходили порой до недопустимой трактовки марксизма, как своеобразной «религиозной» формы... Все это и побудило Владимира Ильича выступить в защиту диалектического материализма с книгой, которая вошла в железный и золотой фонд пролетарской философии».

Коренное отличие марксистского атеизма от домарксистского заключается в правильном понимании социальной сущности религии. «Марксизм,— пишет Луначарский,— обладает другим оружием, только ему, как таковому, присущим, а именно законченным социальным анализом религии. Здесь уже религия поражается в самое сердце».

А. В. Луначарский уделяет большое внимание не только философско-теоретическим проблемам атеизма, но и истории атеизма и религии, в частности истории раннего христианства. Некоторые советские историки христианства утверждают, что для его ранних форм характерен лишь «бунтарский дух». Луначарский последовательно защищает точку зрения В. И. Ленина, считавшего, что первоначальному христианству присущи демократически-революционные стремления.

Более того, Луначарский считает, что раннее христианство было не только демократичным и революционным, но даже социалистичным... «Да, оно социалистично»,— говорил он. Но социалистично в смысле «потребительского социализма». Все эти исторические черты раннего христианства Луначарский не боялся отметить в диспуте с митрополитом Введенским, хотя тот и играл на этой струне, и довольно умело.

«Этот талантливый обманщик» (слова А. В. Луначарского), защищая христианскую религию, утверждал, что «сам марксизм кажется ему евангелием, перепечатанным атеистическим шрифтом».

Известно, что современные апологеты христианства тоже не прочь поспекулировать на раннем христианстве, но неотразимая аргументация Луначарского не дала в свое время этой возможности митрополиту Введенскому. Да, раннее христианство действительно было идеологией рабов и вольноотпущенников. Но «как только возникло духовенство... — пишет Луначарский,— и по мере того как это духовенство начало, выражаясь грубо, снюхиваться с господами мира сего, оно начало изменять свой демократический дух, и рядом с текстами, кото-

рые свидетельствуют о глубоком демократизме, появились и другие — о необходимости не за страх, а за совесть, в силу власти божьей, повиноваться господам, властям и т. д.». Религия рабов и бедняков стала религией господ и богатых. Такой она остается поныне.

Современные служители христианства, заигрывая с трудящимися, начинают говорить о «церкви бедных», восхваляют добродетели первых христианских общин — и все для того, чтобы остановить дальнейшее развитие кризиса религии, удержать трудящихся «в лоне церкви, не допустить в конечном счете крушения сильного мира сего, интересам которых издавна подчинила свою деятельность церковь».

Религия во все времена претендовала на монопольное владение этическими ценностями. В наше время эти претензии стали еще большими. Перейдя к обороне перед неудержимым натиском науки, религия пытается превратить мораль в узловой пункт сопротивления, в свою цитадель. Утверждая, будто без религии не может быть и морали, церковники нападают на прогрессивные учения, в особенности на марксизм. Хотя на Вселенском соборе и раздавались голоса о необходимости диалога с коммунистами, все же нашлось немало сторонников точки зрения епископа Барбьерни, сказавшего, что «научный и практический атеизм сам по себе и по своим последствиям в нравственном и духовном плане хуже, чем атомная бомба».

А. В. Луначарский последовательно вскрывает классовую сущность религиозной морали. В лекции, прочитанной в 1925 году, — «Мораль с марксистской точки зрения» — он говорил, что частные собственники «трепетали и трепещут от сознания того, что падение веры в бога может сразу толкнуть на... разрушение дорогого им общественного строя». И в то же время «в отличие от догматически настроенных атеистов Луначарский не исключает того, что религиозная мораль налагает известные запреты и на эксплуататоров. «Когда типичный буржуа, — говорит Луначарский, — становится неверующим, когда он не верит «ни в сон, ни в чох», тогда он становится негодяем, потому что, когда он верит, тогда его сдерживает страх суда божия». Если же буржуа приходит к выводу, что нет ни бога, ни бессмертия души, он начинает жить по формуле «все позволено». Для него становится хорошим

все то, что «может безнаказанно доставлять наслаждение». Он окончательно освобождается от «химеры совести», и именно поэтому, говорит Луначарский, «очень часто люди говорят: вот к чему приводит неверие».

Для рабочего класса, для пролетарской морали, отказ от веры в бога не означает переход к какой-то новой «вере». Критики научного социализма иной раз стремятся изобразить марксизм как своего рода светский вариант религиозного сознания. Эту выдумку разоблачает Луначарский. В марксизме нет ничего от веры. Он от начала до конца научен. Веря там, говорил Луначарский, где не могут знать. Мы не верим, а знаем, что стоим на правильной дороге. Но вместе с тем отказ от веры в бога вовсе не значит стать атеистом на буржуазный манер и «жить в брюхо».

Марксистский атеизм отнюдь не отрицает ни чести, ни совести, ни доброй воли человека, ни вдохновенного служения великим идеалам человечества, а, напротив, подчеркивает их значение.

Наибольший вклад в теорию научного атеизма принадлежит Луначарскому в области чрезвычайно сложной и трудной. Ей посвящен последний раздел сборника — «Искусство и религия». Апологеты религии во имя ее спасения в наши дни творят миф о том, что религия есть высшая ценность духовной культуры. Этому посвящены за рубежом сотни и тысячи статей и десятки книг.

А. В. Луначарский задолго до творимого ныне «дипломированными слугами религии» мифа рассмотрел эту проблему с позиций марксистского атеизма. И не только в своих атеистических работах, но и в своих многочисленных статьях, выступлениях, высказываниях, посвященных многим проблемам теории и истории культуры. Владея диалектикой, обладая поистине потрясающей эрудицией, историческим и, если можно так сказать, тончайшим интеллектуальным чутьем, Луначарский шаг за шагом отвергает вымысел о том, что религия — сердцевина духовной культуры.

Давая характеристику греческой трагедии в курсе истории литературы, Анатолий Васильевич полемизировал с Вяч. Ивановым и Ф. Зелинским, утверждавшими, что трагедия «осталась жертвенным действием». «Ее нельзя считать, — говорил Луначар-

ский,— богослужением, это уже театр». Без отделения от религии не было бы прогресса, ибо вначале «трагедия» была действием в честь бога Диониса.

«Средневековый театр начался тоже с церкви»,— говорил Луначарский. Оценивая средневековые мистерии и соглашаясь с Лансоном, что мистерно задушил ее реалистический элемент, он пишет: «Церковный театр, желая воздействовать на народ, сам себя опроверг». «Как в архитектуру храмов, так и в мистерии проникло все большие света, грации и радости...»

А. В. Луначарскому было ясно, что в определенные эпохи люди мыслили мир в религиозном облачении и иначе не могли. Средневековые — одна из великих эпох в истории человечества. В средние века упрочились такие мировые религии, как христианство, буддизм, ислам. Могла ли духовная культура в целом расти без влияния с их стороны? Разумеется, нет.

Готическая архитектура, зодчество и скульптура буддийских храмов, мавританские дворцы и сады, поэзия трубадуров, великие создания литературы несли на себе следы этого воздействия. Развитие культуры шло сложным, противоречивым путем. Характер этого противоречия с большой силой вскрывает Луначарский, анализируя творчество последнего поэта средневековья и первого поэта нового времени, врага папства, остававшегося правоверным католиком, великого Данте. В «Божественной комедии», с одной стороны, отчетливо видно влияние религии на духовную культуру, с другой стороны — вскрывается то, что ре-

лигия, которая далеко не всегда и везде была только тормозом духовной культуры, неизбежно превращалась в силу, противоборствующую ее движению вперед.

Когда у преддверия рая Вергилий, олицетворяющий светскую культуру, покидает Данте и тот встречает Беатриче, становится ясным, говорит Луначарский, что Данте, сохраняя «непоколебимую верность... идее светской культуры», все же не вступает в противоречие с христианством. «Все его построение,— образно говорит Анатолий Васильевич,— поднимается с земли навстречу богу, а небо спускается воронкой вниз, к земле, и оба начала гармонично соединяются».

В своем художественном творчестве, в драматургии (по-моему, незаслуженно забытой), в частности в драме «Оливер Кромвель», Луначарский также не предлагает однозначных, прямолинейных решений. И в «Оливере Кромвеле», и в других произведениях, как и в статьях, представленных в сборнике в разделе «Искусство и религия», составляющих лишь малую толику мыслей Луначарского об этом, ничего не достигается «путем опрощения дела...».

Характеризуя Луначарского, В. И. Ленин говорил, что это не только «на редкость богато одаренная натура», что он не только «знает все», но может выполнить любое поручение партии. Его атеистическое наследие, как и литературное наследие в целом, представляет большой вклад в советскую культуру. Оно имеет непреходящее значение.

И. МИНДЛИН.



КНИГА ПУБЛИЦИСТА

Илья Зверев. Что за словом? Политиздат. М. 1965. 239 стр.

Когда публицист собирает газетные статьи и фельетоны в книгу, он решается на серьезный экзамен. Книга многое проявляет. И она же предполагает единство целого.

Центральная тема книги Ильи Зверева, подчеркнутая заголовком,— невольное, а чаще намеренное злоупотребление словом, отрыв его от того, что за ним стоит,— тема не столько лингвистическая, сколько нравственная и социальная.

Начинает Илья Зверев с простейшего и

вроде бы безобидного. У въезда в Феодосию он увидел однажды огромный придорожный щит: «Смотрите кинофильмы в кинотеатрах». Бессмысленность такого рода «пропаганды» очевидна. А ведь на это «вопнящее, торжествующее пустословие» были произведены какие-то затраты. И кто-то почел выполненным свой служебный долг («При деле»).

Другие факты в этой статье столь же обыденны, но куда более неприятны. Молодые шахтеры, жившие в запущенном

бараке, обратились с соответствующим требованием к деятелю, который обязан был обеспечить им нормальные бытовые условия. Ответил он рабочим не делом и даже не обещанием, а обличительной речью насчет их малодушия и непатриотичности. И, конечно же, сослался, в укор и поучение, на героизм целинников и фронтовиков: тем, мол, приходилось хуже. «Этот мордастый бездельник, над которым не капало и не дуло, знал, чем взять таких ребят».

В обоих столь разных случаях за словами — пустота. Слова произносятся и пишутся не в интересах дела, а чтобы создать его видимость, чтобы укрыть за ними лень и бездарность.

Времена честных болтунов прошли. Ныне общие фразы (и громкие слова) идут обычно от неспособности сказать нечто дельное по данному поводу. К ним часто обращаются невежды, не разбирающиеся в существе дела, но желающие давать «установки». Об одном из таких болтунов «по должности» И. Зверев пишет: он «пустословил из чувства самосохранения». В иных обстоятельствах «чувство самосохранения» принимает агрессивную форму: в недавние времена с помощью громких фраз карьеристы-демагоги сводили личные и групповые счеты, дискредитировали оппонентов, с которыми бессильны были совладать в честном споре. Пустое общее слово и укоренилось в нашей жизни в те времена, когда им «мостились непроезжие дороги и маскировались пропасти».

Злоупотребление словом приносит вред делу: впустую растрачиваются силы, неверно информируется общество, закрываются перспективные направления в науке, культуре, производстве, выходят из строя или понижают активность ошельмованные работники, процветают бездельники и ловкачи и т. д. Но есть ущерб идеологический и моральный: падает доверие к понятиям и делам, стоящим за словом.

Борьба за истинность и содержательность слова — первейшая обязанность школы. Конечно, плохо, что школьное литературоведение часто преподносит ребятам сухой социологический экстракт, имеющий к тому же лишь приблизительное отношение к роману или поэме. Об этом немало было сказано и написано. Меньше говорили о другом: натаскивание на чужие слова и громкие фразы, на типовой псевдоромантический пафос, на сочинения положенного

содержания и стиля не только убивает самостоятельную мысль и живое чувство, но и поощряет — вопреки, разумеется, желаниям наставников — разрыв слова с жизнью. Этому посвящен небольшой раздел книги И. Зверева — «Начиная со школы». Главный пафос этого раздела: надо учить ребят говорить и писать «как есть» — труднейшему искусству, которое требует непрекращающихся усилий учителя и ученика.

Строго говоря, содержание книги И. Зверева шире темы, выраженной в заглавии. Автор пишет о разном. О нерассуждающих исполнителях, равнодушных служаках, о казенно-холуйском отношении к людям — по должности и диплому. О декоративных «мероприятиях». О чиновниках, барски пренебрегающих сигналами печати. Писатель за то, чтоб любая инстанция была реально подотчетна общественности и служила людям и делу, а не следующей инстанции.

Многие из этих мотивов «подключены» к главной теме книги: речь идет о людях, тип сознания и практика которых как раз и предполагают механическое либо заведомо нечестное обращение со словом. Правда, нередко эта связь устанавливается нами задним числом и рассудочно, и тогда-то возникают сомнения: не разрушает ли многотемность книги ее внутреннюю целостность? А есть, на наш взгляд, и совершенно посторонние главной теме книги разделы. Таковы печатавшиеся и рецензировавшиеся ранее очерки «Непридуманная история», «Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева». Их герои в контексте этой книги так и смотрят «пучениями» и «примерами», да притом еще слишком общих добродетелей.

Как публицист И. Зверев часто и наблюдателен, и умен, и решителен. Он не страшится обобщений, не выдает широко распространенное за «отдельные, кое-где встречающиеся недостатки». В целом это нужная, полезная книга. И за автором ее остается заслуга первого, так сказать, монографического освещения общественно важной темы.

Плодотворно стремление писателя активизировать самосознание читателя. Он верно формулирует: «Открытая и беспощадная война пустому слову — это дело всех порядочных людей». Роль публициста в этой «войне» не сводится к наставлениям и призывам. Она сложнее и родственна

писательской: подготовка сознания, утверждение непримиримости к пустому слову и всему, что за ним стоит, логикой фактов и отношений. В статьях «Укус из вина», «Компромат», «Штрих к проблеме», «Операция на сердце» и некоторых других публицист поступает именно так, и поэтому выводы, к которым он нас подводит, обоснованны и серьезны. К сожалению, И. Зверев не всегда последователен в верном понимании своих задач и возможностей.

Говоря о чисто обрядовом характере многих наших плановых собраний, бесполезных и невыразимо нудных, И. Зверев заключает разговор сугубо практическими рекомендациями: «Надо каждый раз, решив собраться вместе — классом ли, комсомольской ли организацией, — выбирать что-то главное, такое, о чем спорят»; «Все должны требовать, чтоб разговор шел о вещах, действительно важных и интересных для вас» и т. п. Вроде бы справедливо и даже деловито. Но ведь это инструкция, адресованная всем и никому: «надо», «все должны»...

Наиболее дидактична статья «Стратегия шестнадцатилетних». Это рассказ с комментариями и рассуждениями о встрече автора с группой старшекласников. Понятна, в общем, досада писателя на уровень разговора — незрелость многих выступлений, чрезмерную привязанность ребят к своим ближайшим делам, отсутствие у них страстного интереса к общечеловеческим проблемам. В принципе все это могло стать предметом размышлений публициста. И весьма содержательных. Но автор и его спутник-журналист сочли достаточным обратиться к своим собеседникам с упреками: «Неужели вам в самом деле большие нечего сказать о жизни...» И в таком духе — вся статья. Советы «думать» и не забывать об «ответственности перед временем», ссылки на людей, которые-де еще в

юности вникали в «проклятые вопросы» и «вечные проблемы», — это вполне естественная, но, увы, первая реакция на неприятный факт. И не зря именно здесь И. Зверев наиболее многословен: необязательность — в самом замысле статьи.

Кое-где в книге получается так, что дело лишь в отсутствии у людей понимания, доброй воли и что остановка — за правильными призывами и указаниями. Серьезность фактов, из которых исходит автор, не очень вяжется со столь легковесным просветительством. Как не случайно возникла и продолжает существовать инерция бездумной жизни, тяга к автоматическому и обманному общему слову, так не случайно она может и исчезнуть. Одни темпераментные воззвания не создадут «всеобщую нетерпимость к пустопорожнему слову, ко всему ленивому, равнодушному, тупому и подлому, что за ним прячется». Дело ведь и в том, что благонамеренное пустословие не всегда оказывается занятием безвыигрышным.

Читаешь книгу И. Зверева и обычно с ним соглашаешься: верно, бывает такое, правильно, с этим надо бороться. Испытываешь удовлетворение, потому что узнаешь жизненный материал. Но не всегда, к сожалению, он глубоко осознан. Многие самому И. Звереву представляется «до стыдного элементарным», ему «как-то неловко начинать на эту тему рассуждения: азбучно ведь». Известно, однако, что самые сложные темы как раз и кажутся «азбучными». Вопрос в том, как к ним относиться. Уважение к человеку и его личному мнению — принцип, разумеется, элементарный. Но отчего он так тяжело осваивается?

«Мы хотим додумывать все до конца», — пишет Илья Зверев. Это не только призыв к читателям. Это хорошая программа и для самого автора.

А. ЛИПЕЛИС.

Пермь.

★

ОТ БЕЗУМНОЙ ИДЕИ — К ЗДРАВому СМЫСЛУ

Ирина Радунская. «Безумные» идеи. «Молодая гвардия». М. 1965. 416 стр.

О чем написана книга Ирины Радунской? О том, что увлекает самого автора в развитии современной физики. Пожалуй, иначе определить ее направленность нельзя, потому что шестнадцать

глав книги не соединены жестким тематическим стержнем с какой-либо традиционной областью физики.

Да и сами названия глав не позволяют сразу угадать их содержание: «С неба на

землю», «Шторм в пробирке», «По следам «оловянной чумы», «Гарин был неправ». За этими заголовками скрываются научные очерки об открытии комбинационного рассеяния света, об исследовании физики моря, о сверхпроводимости, о квантовой электронике. И все же соединение шестнадцати свободных очерков воедино позволяет обнажить общие для них «питательные каналы», которые определяют развитие книги.

Это книга о современной физике — правда, о физике без полупроводников, без плазмы, без физики твердого тела. Это книга об астрофизике, о квантовой оптике, о теории относительности и наконец о физике элементарных частиц. А главной связью, объединяющей разделы книги, является, без сомнения, четкая концепция самого автора. «Механизм» развития истории науки представляется автору как возникновение революционных, нетрадиционных идей; вот единый принцип, по которому автор прослеживает нить научных событий. В этом подходе автор близок к тому настроению, которое владеет сегодня «самой фундаментальной областью познания» — физикой элементарных частиц. И может быть, именно поэтому И. Радунская уделила ей наибольшее место.

В ее книге изложение любого научного открытия проводится с неослабевающим эмоциональным накалом, исходя из критерия его «безумности» — именно в том смысле, в каком однажды употребил его Нильс Бор в своем известном высказывании. В ряде случаев автору это блестяще удается. Тонкой научной интуицией проникнута глава, посвященная открытию де Бройлем волновой природы электрона. Прекрасно излагаются этапы развития этой идеи с последовательным вступлением «в строй» Гейзенберга и Шредингера. Редкостная точность и изящество отличают очерк, посвященный открытию комбинационного рассеяния света, — от загадки небесной лазури до новых методов исследования вещества. Вся эта глава от страницы 52 до страницы 75 может быть рассмотрена как образец научно-исторического стиля в области естественных наук. Тонкие, почти зрительно воспринимаемые зарисовки главы об открытии Черенкова удивительно живо передают мучительную диалектику эксперимента. Тот же непрерывный накал «удив-

ленности» и свежести присутствует в разделе, посвященном физике низких температур.

Так же живо излагается история квантовой механики, теории относительности. Но здесь, к сожалению, проявляет себя слабость той вовсе не бесспорной точки зрения, что все новые идеи в физике парадоксальны или «безумны». Помимо того, что в каждом новом повороте витка спирали неизбежно присутствует частица традиции и преемственности, которую историку науки чрезвычайно важно уметь «высмотреть», беспрепятственное рукоплескание перед очередным «безумием» науки притупляет восприятие читателя, как повторяющиеся шумовые эффекты. К тому же необходимо остерегаться, как бы самое понятие «безумной идеи» не обросло пошлостью, если оно будет слишком часто циркулировать в научно-популярной литературе. Мы должны уберечь научные проблемы от обывательски-развязного толкования.

Возвращаясь к книге И. Радунской, которая выдержана на очень высоком уровне, заметим только, что отсутствие связей между «старой» и «новой» физикой снижает, на наш взгляд, яркость новизны описываемого открытия. Как известно, Эйнштейн считал, что частную теорию относительности можно изложить на четвертушке бумаги, если хорошо понять суть Ньютоновой физики. По-видимому, глубокое и «новое» освещение «старого» — одна из наиболее трудных задач историка физики. Кстати говоря, та свободная форма, в которую И. Радунская облекла свою книгу, показывает, как необходимо нашим историкам физики ломать свои традиционные, серые формы изложения материала, который вот уже в течение многих лет остается достоянием узкого круга людей.

Книга И. Радунской представляет ценность и в силу своей актуальности. Глава «Двойник луны» содержит данные о последних совместных работах, проведенных горьковскими и московскими радиоастрономами. И самый характер будничного описания метода исследования с помощью искусственных лун, этапов изучения луны превосходно отражает атмосферу сегодняшнего труда огромных научных коллективов. В некоторых случаях И. Радунская прибегает к непосредственному репортажу

«из кратера» научно-дискуссионных семинаров. Так, например, написан раздел об изучении сверхзвезд. Записи выступлений Амбарцумяна, Зельдовича, Шкловского, Новикова, Лебединского раскрывают перед

читателем сложный процесс зарождения противоречивых гипотез, из которых лишь немногие станут устоявшейся теорией.

Т. ГНЕДИНА.



ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. М. Штранге. *Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке.*
«Наука». М. 1965. 306 стр.

История русской передовой интеллигенции еще не написана. Некоторое внимание привлекала «крепостная интеллигенция» в лице крепостных актеров и художников, таких, как Параша Жемчугова — крепостная артистка графа Шереметева, художники Аргуновы, принадлежавшие ему же, крепостные архитекторы и т. п. Но этим далеко не исчерпывается демократическая интеллигенция, под которой следует понимать более широкий слой тружеников — представителей умственного труда. Поэтому книга М. М. Штранге представляет значительный интерес.

Автора интересует разночинная интеллигенция XVIII века. Разночинцами называли солдатских детей, получивших по закону свободу, даже если отцы их были крепостными, детей мастеровых адмиралтейств, семинаристов, не пожелавших идти в духовенство, отчасти украинских казаков и других. Их объединяло то, что они вышли из «податных» сословий (плативших подушную подать) и вместе с тем не входили ни в дворянство, ни в духовенство, ни в купечество. Разночинцев принимали в учебные заведения, за исключением дворянских привилегированных училищ, как кадетские корпуса (шляхетский и другие). Рассадниками демократической интеллигенции служили Московский университет и одна из гимназий при нем, университет при Академии наук в Петербурге, пока им руководил Ломоносов и его ученики, Академия художеств, духовные академии в Москве и Киеве и духовные семинарии, медико-хирургические школы, гарнизонные школы, горные школы на Урале.

В книге М. М. Штранге две темы: образование кадров демократической интеллигенции и создание передовой демократической идеологии, по существу антифеодальной (буржуазно-демократической). Обе темы тесно связаны между собой. Он просле-

дил, куда направлялись воспитанники Московского университета и других учебных заведений по окончании курса учения. Его внимание привлекают не только крупные деятели, писатели и ученые-разночинцы (о них уже писали много). В основном его «герои» — учителя, врачи и сотрудники государственных учреждений, секретари, «канцеляристы», переводчики иностранной литературы.

Образованные разночинцы становились преподавателями как в тех же учебных заведениях, в которых учились, так и в привилегированных, доступных лишь дворянам (шляхетском корпусе и т. п.). Они составляли учебники или переводили на русский язык иностранные пособия. Сочетание педагогической и литературной деятельности, выясненное в книге М. М. Штранге, привело к более полному освещению деятельности крупных писателей и вместе с тем помогло указать неизвестных или мало известных авторов. Так, Я. Козельский, автор книги «Философические предложения», переводчик сочинений западноевропейских просветителей, состоял преподавателем математики и механики в артиллерийском и инженерном корпусе. Он выпустил учебники под названием «Арифметические предложения» и «Механические предложения». Но рядом с этим выдающимся писателем были и скромные авторы учебников английского языка М. Пермский и французского — В. Бунин. Ученик Ломоносова Л. Сичкарев перевел книгу о прививке оспы.

Отдельную главу М. М. Штранге отвел разночинцам, служившим в сенате. По штатам шестидесятых годов XVIII века в сенате было сто шестьдесят шесть канцелярских служащих. Образованные, знающие языки «канцеляристы» сверх служебных обязанностей занимались литературой, переводили произведения передовых писателей. Сенатский секретарь В. Крамаренков пере-

вел с французского знаменитое сочинение Монтескье «О духе законов», осуждавшее монархический строй. Было издано несколько сборников переводов статей французских просветителей из знаменитой «Энциклопедии».

В эти сборники вошли статьи, направленные против феодального строя, в том числе статья Руссо «Политическая экономия». Переводы издавались с предисловиями, где развивались просветительские взгляды.

Деятельность передовых разночинцев проходила также в Академии наук и в Московском университете. Ломоносовские традиции в Академии наук продолжали С. Котельников, создавший учебники по арифметике, геодезии и механике, астроном С. Румовский — переводчик сочинений великого математика Эйлера, историк С. Башилов, подготовивший издание русской летописи. В скромной должности переводчика в Академии наук состоял А. Поленов — автор сочинения «О крепостном состоянии крестьян в России», поданного им на конкурс Вольного экономического общества. Оно осталось ненапечатанным, так как в нем предлагались меры, облегчавшие крепостной гнет (предоставление крестьянам права собственности на движимое имущество и другие).

В книге М. М. Штранге отмечено появление нового читателя в среде купечества и мещанства. Передовые сочинения распространялись в рукописных списках. В Петербурге и Москве имелись хорошие книжные лавки, возникли библиотеки общедоступного характера (например, при Киевской духовной академии).

Правительство понимало, как опасно для господствующего класса распространение просветительских идей. В книге М. М. Штранге показано наступление правящих кругов на демократическую интеллигенцию. Ученики Ломоносова увольнялись из Академии наук и Московского университета, Академический университет в Петербурге был закрыт. Той же задаче должна была служить и деятельность И. Бецкого по созданию кадетских корпусов и других учебных заведений, где должна была формироваться покорная правительству интеллигенция, далекая от просветительских идей.

Думается, что автору книги следовало бы обстоятельней рассказать о деятельности разночинцев в технике и промышленности, например, об окончившем горнозаводскую школу на Урале великом изобретателе И. И. Ползунове, создавшем прообраз паровой машины.

Б. КАФЕНГАУЗ,

доктор исторических наук.



К пятидесятилетию Константина Симонова

АЛ. СУРКОВ

★

БОЛЬШИМИ ДОРОГАМИ ЖИЗНИ

Исполнилось пятьдесят лет Константину Михайловичу Симонову — писателю, деятельность которого тесно связана с нашим журналом. Многие произведения Константина Симонова в прозе, поэзии, публицистике появились впервые и продолжают появляться на страницах «Нового мира». В наступающем новом году читатели смогут познакомиться с дневником 1941 года К. Симонова, который писатель готовит для публикации в нашем журнале. Мы с особой признательностью вспоминаем К. Симонова как одного из редакторов «Нового мира». Опытный и инициативный организатор, он в свое время много сделал для того, чтобы поднять идейно-художественный уровень и авторитет нашего издания.

Поздравляя от своего имени и от имени читателей «Нового мира» Константина Михайловича Симонова с пятидесятилетием, коллектив редакции сердечно желает ему доброго здоровья, долгой жизни и новых творческих успехов.

Начало октября 1965 года. Только что закончился шумный день на конгрессе Европейского сообщества писателей. Чтобы отвлечься и отдохнуть после напряженнейшей дневной дискуссии, я развернул взятый у Константина Симонова его военный дневник, и память унесла меня в далекие, полные трагизма первые дни и месяцы минувшей войны. От страницы к странице развевалась цепь событий того времени, вставали картины пережитого, возникали образы людей — тех, кому посчастливилось дойти сквозь почти четырехлетний железный ураган войны до Дня победы, и тех, чьи братскими могилами отмечены на тысячекилометровых пространствах дороги отступления до Сталинграда и Моздока и дороги победы до Вены и Берлина...

До войны я мало знал К. Симонова. Читал первые публикации его стихов. Как многие молодые, автор этих стихов немного отдавал дань начитанности, энергичным «киплинговским» интонациям. Иногда в садике Дома Герцена можно было встретить Симонова в шумливой стайке сверстников — студентов Литинститута. Знал я, что в 1939 году, когда загрели орудия в далеких монгольских степях, Симонов вместе со Ставским, Лапиным, Хацревиным и Славиним был сотрудником фронтовой газеты «Красноармейская героическая», показал себя хорошим военным журналистом и хорошим солдатом.

И вот через два года, в первую неделю Великой Отечественной, привелось нам познакомиться в тех краях, где это знакомство могло состояться в гораздо более благоприятной и счастливой обстановке.

Читая теперь — страница за страницей — дневник товарища, я припоминал эти дни, припоминал дороги, забытые скорбными толпами уходящих на восток беженцев, мычание коров, ржание лошадей, пронзительные женские причитания и леденящий душу детский плач. А по бокам этой нескончаемой реки народного несчастья, в лесах и кустарниках, — пушки и танки, грузовики и понтоны и пропыленные, обугленные июньским зноем красноармейцы и командиры. И над всем этим — хищное урчание эскадрилий «юнкеров», «хейнкелей», «кондоров», рез-

кий визг «мессершмиттов» и «фокке-вульфов», рвущий барабанные перепонки вой падающих бомб и сухая чечетка пулеметных очередей, тонущая в выбухах разрывов.

В те дни мне было легче, чем моим товарищам по редакции «Красноармейской правды», в которой нас свела судьба. Для меня, сорокадвухлетнего человека, эта война была четвертой на моем веку. Большинство же моих товарищей по газете не имело солдатского боевого опыта. Как и все их сверстники, они были воспитаны на не оправдавшей себя военной доктрине, предопределявшей победоносное решение войны «коротким и сильным ударом на чужой территории, малой кровью». Война началась на нашей территории; осыпаемые ударами с земли и воздуха, мы стремительно откатывались на восток, большой кровью кропя оставляемые врагу пространства родной земли.

Я читал дневник, и в моей памяти возникал образ его автора, каким он был тогда, — двадцатипятилетнего, ладно скроенного и крепко сшитого парня, загорелого, энергичного, в пропыленной гимнастерке, не надломленного грузом военных несчастий, ищущего настоящего солдатского дела. Это был военный газетчик, советский литератор, не отделяющий слово от дела, человек, похожий на «положительных» персонажей своих первых пьес, настоящий «парень из нашего города».

В эти трудные дни мы впервые встретились и, как это случается в большой беде, быстро подружились, несмотря на разницу в возрасте.

По общим маршрутам фронтовых газетных заданий мы исколесили на редакционном «пикапчике» и попутных грузовиках тысячи километров по прошитым бомбами шоссе и проселкам — от Могилева до Орши, от Борисова до Смоленска, от Смоленска до Вязьмы, по дорогам на Кричев и Пропойск, Краснополье и Чаусы, Дорогобуж и Рославль.

Я вспомнил первые стихи Симонова, написанные об этих днях, — «Майор привез мальчишку на лафете», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», вспомнил описание первых дней войны и первых боев в романе «Живые и мертвые» и сравнил их с тем, что прочитал сейчас в дневнике военных лет. Было ясно видно, как из сумятицы первых тяжелых фронтовых месяцев выплывали, откристаллизовывались лирические эмоции и реальные человеческие характеры. И политрук Синцов, с которым читатели симоновского романа знакомятся в обстановке первых недель войны, оказывается поразительно похожим по перипетиям биографии и поступкам на сотрудника газеты Западного фронта интенданта второго ранга Константина Симонова.

С первых дней войны Константин Симонов не боялся превратностей жизни армейского газетчика и поэта и, не раздумывая, шел навстречу этим превратностям. Может быть, именно в силу этого Симонову выпало высокое счастье одним из первых среди нас обрести твердый голос и начать говорить о советском человеке на войне — и в лирике, и в прозе, и в драматургии, и в публицистике. Из сплава незаурядных литературных способностей, решительного, волевого характера и страстного патриотизма советского человека возникли лирические строки цикла «С тобой и без тебя», «Третий адъютант» и образы первой в нашей драматургии продиктованной войной пьесы «Русские люди».

Никто из нас, советских литераторов, участников войны, не может похвастаться таким разнообразием своих фронтовых маршрутов, как Симонов. Тут и Одесса и Севастополь, Заполярный фронт и Подмосковье, Сталинград и Ржев, Чехословакия и Югославия и даже «челночные» авиационные базы на лазурном побережье итальянской Адриатики.

И эта обширнейшая география не мешала солдату-литератору писать много, во всех жанрах, и порой так, что созданное в горячке тех дней остается жить в нашем искусстве.

Кто из людей минувшей войны не помнит, как, возникнув на страницах «Правды», симоновское стихотворение «Жди меня» подобно электрическому току пронизало тысячи человеческих сердец, став своеобразным заклинанием женской

верностью от смерти и боли. И оно не ушло, это поразительное стихотворение, вместе с войной в область истории. В день, когда пишутся эти строки, я зашел на улице Горького в магазин грампластинок и увидел, как пришедшие, может быть, поискать «что-нибудь твистовое» молодые покупатели, притихнув, слушали следающие с черного диска слова: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Завидная судьба стихов!

...Страницу за страницей жадно проглатывал я строки дневника писателя-фронтовика. Незаметно время перевернуло за полночь. Почти совсем смолк шум на опустевших римских улицах. «Вечный город» отошел ко сну, довольный еще одним прожитым мирным днем. Я читал, и передо мной вставали картины величайшей из трагедий, постигшей человечество, и сквозь хаос отступлений, сквозь пыль, взвинутую бомбовыми взрывами, сквозь душную пелену ночных пожаров, уничтожающих «грады и веси», я видел наше, теперь уже далекое и такое памятное прошлое, видел своего товарища-литератора, еще черноволосого, уверенно идущего большой дорогой жизни вместе с миллионами своих сограждан, человека, которого именно это неласковое время привело в ряды большевистской партии и сделало душеприказчиком несчетного числа человеческих сердец.

И как-то странно мне, что уже четверть века прошло с тех пор, что приближающаяся зима жизни посеребрила мне голову моего молодого армейского друга и что он, незаметно для меня, да, наверное, и для себя, оказался маститым пятидесятилетним юбиляром, человеком, поработавшим во всех существующих жанрах нашей литературы, — лириком и романистом, драматургом и сценаристом, критиком и публицистом, всегда чутким к животрепещущей «злобе дня», всегда отзывчивым на самые сильные движения сердца своих современников.

Его пятидесятилетие отмечено появлением в последние годы хорошо принятых читателями книг «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются». Вступая во вторую половину века жизни, Константин Симонов пишет третий, завершающий роман своей большой военной трилогии. И есть основания надеяться, что трилогия эта станет существенной вехой на пути к давно ожидаемому миллионами читающих людей эпическому произведению о минувшей войне, в котором во всей широте и глубине предстанет титанический образ народа-победителя.

На больших дорогах жизни есть и резкие повороты, и неожиданные спуски, и крутые подъемы. Все мы дети своего трудного, требовательного, но неповторимо прекрасного времени. Многие из нас оступались и замедляли шаг, идя сквозь ветер времени. Бывало так и с Симоновым. Но солдатская школа гражданства была для него, как и для каждого из нас, опорой и ориентиром.

Жизненный и литературный путь Константина Симонова еще и еще раз доказывает, что возраст не мешает быть молодым сердцу ищущего и дерзающего человека.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ДЖЕК ЛОНДОН И ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Литературоведы — не только советские, но и прогрессивные зарубежные — не раз писали о влиянии на Джека Лондона русской революции 1905—1907 годов. При этом ссылались на статьи, публичные выступления американского писателя и его роман «Железная пята».

Однако фактов, подтверждавших непосредственные контакты Джека Лондона с русскими именно в эти годы, не было.

Часто упоминали Анну Струнскую — соавтора Джека Лондона по роману «Письма Кемптона и Уэйса», родившуюся в России. Но роман был завершен в 1902 году, а каковы были отношения этих двух людей в дальнейшем и что могла рассказать о России Струнская, ребенком привезенная в Америку и там воспитанная, — оставалось неясным.

Сравнительно недавно удалось узнать, что в годы первой русской революции Анна Струнская совершила поездку в Россию. Она была там вместе с мужем — известным американским публицистом Уильямом Инглишем Уоллингом. Уоллинги посетили многие города и деревни, были на Украине, в Поволжье, в Крыму, а также в Польше и Финляндии. Почти два года продолжалась их поездка.

Американский публицист и его жена беседовали с Львом Толстым, который принял их в Ясной Поляне. А. М. Горьким, В. Г. Короленко.

Уоллинги были социалистами. Это открыло им доступ к революционным кругам, в том числе находившимся в подполье. У Инглиша было рекомендательное письмо к В. И. Ленину, и он с ним встретился, о чем писал в своей книге «Послание России».

Обо всем этом я узнал, разговаривая с Анной Струнской во время своей поездки по США, а впоследствии из ее писем. Струнская сообщила мне, что она беседовала с Джеком Лондоном об идеях и целях революции, говорила с ним о героях русского революционного движения, о том, чему посвящена ее неопубликованная книга «Герои и мученики русской революции», рукопись которой она мне тоже прислала. Там рассказывалось о жизни и подвигах Перовской, Фигнер, Засулич и других народовольцев. Об этом я писал уже в очерке, опубликованном в «Огоньке» (№ 4, 1965).

Прислала Анна Струнская мне и другие материалы. Среди них — вырезка из американской газеты. Привожу ее с небольшими сокращениями:

«Мисс Анна Струнская и мисс Роза Струнская завтра утром уезжают из Сан-Франциско в Женеву (Швейцария), в штаб русских революционеров, где они присоединятся к революционерам, борющимся против царя. Юные леди присутствовали в субботу вечером на банкете, устроенном несколькими лицами, среди которых был и знаменитый Джек Лондон...»

Молодые леди получают в Женеве инструкции и, видимо, проследуют в Россию...»

Конец заметки прибавлен либо для сенсационности, либо по злому умыслу. Вряд ли, если бы у Струнских была цель заехать за инструкциями в некий «штаб», они сообщили бы об этом первому же журналисту. Однако тому, что были проводы и что на них присутствовал Джек Лондон, — можно верить.

Отношения Джека Лондона с Анной Стрункой были сложными и запутанными. Их связывала не только общность целей, совместная работа. Видимо, он собирался жениться на ней в 1900 году: это явствует из их переписки. Однако неожиданно Лондон женился вскоре на невесте своего погибшего друга Бесси Маддерн. В 1903 году он разошелся с женой, и пресса немедленно связала этот поступок с именем Анны Стрункой, которая часто бывала у Лондонов: до конца 1902 года они работали над романом о любви.

Позже выяснилось, что причиной разрыва была Чармейн Киттрэджд. В ноябре, добившись развода от Бесси, Лондон женится на Чармейн. Струнская в то время была уже на пути в Россию — она ехала к Уоллингу.

Первые недели в стране, где она родилась, захлестнули Анну новыми впечатлениями и заботами, она жадно впитывает все увиденное. Ее первое письмо Джеку Лондону было кратким, а второе большим и интересным; оно публикуется впервые.

«Санкт-Петербург,
24 марта 1906.

Дорогой Джек,

Роза только что ворвалась в комнату. «Забастовка железнодорожников объявлена на субботу... нам лучше уехать в Москву в четверг». Представь себе нашу радость! Давно настало время для забастовки и для Всего Дела¹. Правительство совершенно сошло с ума — реакция свирепствует. Кого боги хотят наказать, они вначале лишают разума. Дурново и Витте подают в отставку. Джек, я слышу, как ты смеешься, как ты приветствуешь этот хаос.

Я все еще не опомнюсь от удивления, что я в России. В сбывшейся мечте есть что-то пугающее. Всю жизнь я обращала свой взор к этой стране, но казалось, она так далеко. Были времена, когда я даже сомневалась, имею ли я право любить Россию, интересоваться ею. Я резко осуждала себя за надежды и планы и все же надеялась и строила планы. А теперь я здесь, и время, о котором мы мечтали, тоже настало. Все идет по намеченному нами пути... Даже не верится, как все хорошо! Не знаю, что мне делать с тем счастьем, с тем изумлением, которые переполняют меня...

Мы с Инглишем возвратимся в Америку, как только революция нам позволит, вероятно в сентябре. Я не сказала Вам, когда писала, что тот, кого я люблю и кто любит меня, — Инглиш Уоллинг. Мы пробудем в Америке около двух месяцев, а затем приедем сюда еще на год для изучения международных переворотов. Конечно, если забастовка шахтеров выльется в нечто более мощное, мы должны будем уехать домой раньше, вернуться сюда поскорее и пробыть здесь дольше!

Могу прислать Вам отличный материал: прокламации, рассказы, сплетни, разговоры, вероятно менее разработанный, чем Клондайк, но в то же время, конечно, острый и содержательный. Инглиш и я считаем, что Россия нужна Вам, так же как Вы нужны Международному Делу. И вправду, Джек, это единственное место в мире, где кипит жизнь. Здесь все: мелодрама, фарс и трагедия, небо и ад, отчаяние и вера. Это революция из революций, истинное начало прекрасного исхода. Где Вы еще найдете такое?

Инглишу нравится наша книга. Мы купили много экземпляров английского издания и уже много раздали². Мне просто стыдно подумать, что книгу, которую мы вместе написали, пропустила русская цензура!

Мы должны встретиться с Горьким. Он едет с лекциями в Америку. Я обещала ему Вашу рецензию на «Фому Гордеева», опубликованную в «Импрэнс». Он хочет с Вами познакомиться. Он — великая личность. В его лице и голосе горе. Мы беседовали с ним два часа, а потом целую неделю ходили под впечатлением этой встречи. Это Инглиш побудил его написать послание к рабочим мира!

Отец и мать Инглиша приедут примерно месяца через два. В конце лета мы возвратимся домой месяца на два (Роза, возможно, будет ожидать нас в Париже), а затем

¹ «Революции» — так пояснила мне Анна Струнская это место своего письма (Примечания здесь и далее автора.)

² Через два месяца в Ясной Поляне А. Струнская вручит эту книгу Толстому.

снова поедет в Россию, Францию и Германию — еще на год. В Нью-Йорке будем жить в д. № 3 по Пятой авеню, кооперативном доме, снятом несколькими социалистами¹.

Моя любовь еще глубже ввергает меня в мир. Мы решили никогда не иметь дома, никогда не привязывать себя к какой-либо замкнутой секте, никогда не мешать жизни тягивать нас в себя, никогда не мешать друг другу. Это не теория, а реальная действительность — таков характер у человека, который меня любит. Он еще меньше буржуа, чем я, а я не буржуа. Он мой старший товарищ, частица моего сердца. Наши жизни. любимый мой друг, покажут Вам, как хороша эта любовь!

С дружеским приветом, *Анна*.

Это письмо, в котором еще звучали отголоски их недавних горячих споров о любви, Джек Лондон получил в апреле. Неизвестно, дошли ли до него материалы о русской революции, собранные Анной Струнковой, но точно известно, что в августе он начал энергично работать над «Железной пятой» и к концу года закончил этот роман. Это была первая в Америке книга о пролетарской революции. Действие книги происходит в Америке, но вся она пронизана тем живым кипением, которое ощутила Анна в далекой, никогда не виденной Джеком Лондоном России.

Только в трех-четырёх случаях Д. Лондон прямо ссылается в романе на русский опыт. Но эти ссылки существенны. Так, на одной из страниц книги говорится, что при организации боевых групп революционеры опирались на опыт русской революции, а реакция создала нечто вроде «черных сотен», использованных в свое время самодержавием. В другом месте, рассказывая о переходе сына олигарха на сторону революции, писатель напоминает, что русские дворяне часто также участвовали в революционном движении. Но и без этих примеров ясно, что опыт русской революции оказал влияние на всю концепцию романа.

Тема России вообще занимала значительное место в творчестве американского писателя. Недаром в своих лекциях и статьях Д. Лондон назвал русских революционеров братьями, за что подвергся резким нападкам буржуазной прессы. Он читал Толстого, Достоевского, Тургенева, Горького, собирал материалы для произведения из эпохи русской революции. В его бумагах, которые хранятся в библиотеке Генри Хантингтона, есть папка с надписью: «Russian Revolution Short Story»². В ней находятся две вырезки. Одна, трехстраничная, из «Индепендента», — описание всеобщей стачки в Петербурге, другая — из социалистической газеты за 1906 год, озаглавленная: «Максим Горький отвечает некоторым буржуазным корреспондентам». Это, конечно, не те материалы, что обещала Анна Струнская: они извлечены из американских газет самим Джеком Лондоном.

Д. Лондону хотелось собственными глазами увидеть страну, о которой писала ему А. Струнская. Разрабатывая летом 1906 года маршрут своего кругосветного путешествия на яхте «Снарк», он включил в него и Россию. Он хотел пробить там зиму.

Но Лондону не повезло: землетрясение в Сан-Франциско задержало постройку яхты более чем на полгода, а потом в южных морях его свалила тропическая болезнь и он вынужден был прервать путешествие, едва добравшись до Австралии. На исходе был 1908 год. Уоллинги уже возвратились в Нью-Йорк. К лету следующего года в Сан-Франциско из Австралии вернулся и Лондон. Переписка между Анной и Джеком прервалась. Теперь голько Уоллинг пишет Лондону по партийным делам.

Царскому правительству удалось расправиться с революционным движением. Русские дела перестали быть центральной темой прессы, однако американский писатель не забыл о русской революции и преподанных ею уроках.

Ему не довелось побывать в России, поэтому он не рискнул избрать местом действия своей новой книги эту страну, но все же в романе «Бюро убийств» он выводит именно русских. Главные герои романа — Драгомиллов и его дочь Груня. Прототипом для третьего героя, возлюбленного Груни, Холла, послужил, вероятно, Инглиш Уоллинг.

¹ В том самом доме, в котором в апреле будет принят Горький.

² «Рассказ о русской революции».

Лондон прямо говорит о длительной поездке Холла в годы революции в Россию, о его статьях, появившихся в американских журналах и книгах.

В романе Лондон рассказывает о компании, занимающейся исполнением заказов на уничтожение любого лица — вплоть до короля и президента. Однако это не гангстерская шайка. «Бюро» требует от заказчика исчерпывающего обоснования смертного приговора. Должно быть доказано, что осуждаемое на смерть лицо заслуживает сурового приговора, что приговор этот «социально оправдан».

В конце романа Драгомилов, глава этого «Бюро», переубежденный Холлом — противником индивидуального террора, гибнет, направив на себя всю мощь созданной им машины. Погибают и другие члены «Бюро», и оно прекращает свое существование.

Несомненно, в этом романе звучат отголоски рассказов Анны Струнковой о русских революционерах, их безграничном мужестве и преданности делу освобождения страны. И в то же время здесь ясно видно осуждение индивидуального террора, анархических методов действия, свойственных русским народовольцам.

Джек Лондон до конца жизни помнил о далекой России. По словам его жены Чармейн, он рвался в Россию и хотел написать о ней книгу¹.

О своей любви к России, к русской литературе говорил Лондон русскому журналисту² за несколько месяцев до смерти, он говорил о том, что славяне — самый юный народ среди дряхлеющих народов мира, что им принадлежит будущее.

В. Быков.

¹ В. Кучерявенко. В Окленде, на родине Джека Лондона, «Звезда», № 7, 1949.

² Е. Кузьмин. У Джека Лондона, «Аргус», № 10, 1916.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТЕМОЙ И ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЕМ

В 1964 году Издательство политической литературы выпустило книгу «Молодой Ленин». Интерес к жизни и деятельности В. И. Ленина, к формированию его личности очень велик у молодежи, у агитаторов и пропагандистов, у широких слоев читателей, изучающих биографию Владимира Ильича. Большая по объему (45 печатных листов) книга «Молодой Ленин», изданная девяностысячным тиражом, довольно быстро исчезла с прилавков книжных магазинов.

В отличие от читателей критика не была столь внимательна к этому изданию и не откликнулась на него сколько-нибудь подробной критической статьей или рецензией. Между тем книга «Молодой Ленин» вызывает потребность серьезного обсуждения. Литераторам и историкам партии есть о чем поразмыслить над ее страницами.

На титульном листе указана фамилия автора — А. Иванский, который, надо полагать, в полном согласии с издательством, предупреждает читателя, что перед ним «повесть в документах и мемуарах» и что он, А. Иванский, при подготовке «повести» воспользовался «вересаевским методом» монтажа.

Практически же объявленный А. Иванским «метод» подобного монтажа означает, что он расчленил весьма популярные, неоднократно издававшиеся большими тиражами книги А. И. Ульяновой-Елизаровой «Детские и школьные годы Ильича», Н. И. Веретенникова «Володя Ульянов», воспоминания Н. К. Крупской, М. И. Семенова (М. Блана) и других и «прослоил» отрывки из этих произведений документальными материалами.

Что же, и такого рода книги — сборники и хрестоматии — нужны читателю и могут быть полезными. Но зачем их называть повестями?

Совсем недавно тот же Иванский выступал как составитель сборника воспоминаний и документов «Молодые годы В. И. Ленина» (выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1957 году). Прошло несколько лет, и А. Иванский, значительно увеличив объем изданного в 1957 году сборника, нимало не смущаясь, объявляет себя уже автором книги, составленной из текстов, принадлежащих перу более двухсот мемуаристов и исследователей.

Нет нужды доказывать, что работа составителя сборника или хрестоматии требует больших знаний, мастерства и заслуживает уважения. Выявить источники, опубликованные и хранящиеся в архивах, изучить их, выбрать все необходимое для публикации, расположить материал наиболее удобным для читателя образом, дать необходимые справки и комментарии к тексту — все это сложная и трудоемкая работа. Повторяем: когда мы говорим, что А. Иванскому более пристало числиться составителем сборника «Молодой Ленин», а не автором «повести», то этим не хотим умалить его ответственность или принизить роль составителя в создании книги.

А. Иванский счел необходимым отметить в предисловии, что в поисках подхода к теме он остановился на «вересаевском методе». Внешне это так. Но вот что странно — А. Иванский ни словом не обмолвился о своих предшественниках. О том, например, что издание сборника, подобного выпущенному Политиздатом, предпринималось издательством «Молодая гвардия» не только в 1957—1960 годах, но и Госиздатом более тридцати лет назад.

В 1929 году был напечатан сборник воспоминаний и документов «Молодой Ленин в жизни и за работой». Составитель сборника И. С. Зильберштейн, обследовав архивы

и периодические издания, выявил не один десяток ценнейших, ранее неизвестных документов, в том числе автографы В. И. Ленина и его родных. Зильберштейн впервые предпринял попытку дать критический обзор источников, отображающих детские и юношеские годы Владимира Ильича. Но, к сожалению, несмотря на тщательную работу, составитель не избежал серьезных ошибок, необоснованно включил в сборник некоторые материалы, которые вызвали резкий протест сестер В. И. Ленина, предreshивший судьбу книги.

В одном из писем М. И. Ульяновой за 1936 год можно найти объяснение этой коллизии. «...очень мало можно доверять тем рассказам, которые исходят о Владимире Ильиче и нашей семье от большинства его современников. В этом я убедилась, когда читала их «воспоминания», написанные для разных изданий. В большинстве случаев воспоминатели высасывают из пальца, выдумывают. Не думаю, чтобы здесь была какая-нибудь злостная цель — с тех пор как мы жили на Волге, прошло столько лет, что у людей действительность может перемешиваться вымыслом. Как бы то ни было, нельзя брать за чистую монету те рассказы, которые исходят от многих и очень многих лиц... В одной вовремя задержанной книге, кажется Зильберштейна, было много таких воспоминаний, в том числе и гимназических товарищей Владимира Ильича. Мы с Анной Ильиничной настояли тогда перед Институтом Ленина, чтобы книга была задержана»¹.

Родные Ленина категорически возражали против публикации недостоверных мемуаров, считая, что подобные воспоминания, как писала Мария Ильинична, «кроме вреда ничего принести не могут, потому что рисуют и Владимира Ильича и других в ложном свете».

А. Иванский, к сожалению, тоже включил в книгу материалы сомнительной достоверности.

Видное место в сборнике занимают «воспоминания» Д. М. Андреева — соученика Владимира Ильича по младшим классам Симбирской гимназии. Известно, что воспоминания эти написаны внучкой мемуариста Е. Андреевой на основе бесед с дедом. До

1939 года воспоминания Д. Андреева не появлялись в печати. При первой попытке публикации этих воспоминаний в 1936 году были получены критические замечания младшего брата Владимира Ильича — Дмитрия Ильича Ульянова. Он опровергал ряд вымыслов мемуариста и возражал против общего тона воспоминаний, стремящихся представить автора самым близким другом гимназиста Владимира Ульянова.

Составитель сборника А. Иванский не придавал значения и тому, что внучка мемуариста, публикуя воспоминания деда в 1939, 1941 и 1957 годах в разных журналах, не раз меняла редакцию текста. В результате — разнобой и противоречия в описании одних и тех же фактов. А затем Е. Андреева напечатала те же «мемуары» как свое беллетристическое произведение.

А. Иванский весьма пространно цитирует воспоминания А. А. Белякова о якобы имевшей место дискуссии между Владимиром Ильичем и лидером народников Н. К. Михайловским летом 1892 года в Самаре.

Известно, что сестры Ленина, посвятившие самарскому периоду жизни Владимира Ильича немало работ, ни словом не обмолвились на эту тему. Трудно представить, чтобы первое публичное столкновение молодого Ленина с лидером народничества, имей оно место, осталось неизвестным Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой, писавшей о юности Ленина, располагая широким кругом источников.

Воспоминания А. Белякова из-за явной недостоверности описания встречи Ленина с Михайловским в свое время были дважды отвергнуты редакцией журнала «Пролетарская революция».

Если бы Иванский руководствовался подлинно научными приемами подготовки текста сборника, он сопроводил бы воспоминания А. Белякова комментариями, привел бы доводы в поддержку версии мемуариста, дал бы ссылки на другие источники.

Между тем в мемуарах и переписке В. В. Водовозова, на даче которого, как утверждает Беляков, якобы произошел спор Ленина с Михайловским, нет ни слова об этом столкновении. В дневниках Михайловского, в заметках его племянника А. Мягкова мы не находим никаких намеков на будто бы имевшую место встречу Ленина с Михайловским.

¹ М. Шагинян. Семья Ульяновых. «Молодая гвардия». М. 1963, стр. 209.

Свидетельство А. Белякова нельзя принимать за достоверное. Не случайно поэту в изданиях Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (в биохронике, приложенной к первому тому Полного собрания сочинений В. И. Ленина, и в биографии Владимира Ильича) нет такого факта. Несмотря на это, А. Иванский делает сцену спора Ленина с Михайловским центральной в материалах самарского периода и приводит вымышленный эпизод в хронике жизни Ленина, приложенной к сборнику.

В книге «Молодой Ленин» использованы материалы, к которым в свое время обращался В. Алексеев. Чтобы составить представление о «ценности» этих материалов, нужно познакомиться с замечанием М. И. Ульяновой, высказанным после прочтения рукописи В. Алексеева. «Я решительно высказываюсь против печатания произведения Алексеева «Симбирский период жизни В. И. Ленина», — писала М. И. Ульянова в Институт Ленина. — Пора пресекать печатать об Ильиче халтуру, а немалая часть «воспоминаний», на которых базируется автор в своей работе, именно таковой и является»¹.

В сборнике помещено множество сведений об адвокатской деятельности Владимира Ильича. Но составитель не счел нужным поместить в книгу или в примечаниях к ней суждение А. И. Ульяновой-Елизаровой, высказанное ею еще в 1926 году, о материалах адвокатской деятельности В. И. Ленина. Она отмечала, что «перу Вл[адимира] Ильича в них не принадлежит ничего, кроме пары-другой формальных прошений; в делах, по которым он выступал, нет ни слова, принадлежащего ему, — они не записывались... Никакой черточки к характеристике Ильича материалы эти, как их ни выжимай, не дадут»².

Подготовка такого сложного по составу сборника требовала творческого подхода к источникам, тщательной проверки фактов, упоминаемых мемуаристами, исправления неточностей и ошибок, встречающихся в воспоминаниях.

Комментарии к материалам, включенным в сборник, занимают почти половину его объема. Некоторые примечания значитель-

но превышают комментируемый текст. Как видно, издательство не «поскупилось» и предоставило составителю сборника достаточную «площадь» для научного аппарата. Как же составитель использовал эти благоприятные возможности?

При внимательном знакомстве с комментариями можно обнаружить вольное использование широко известных работ: А. Л. Карамышева «Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина» (Ульяновск, 1958), Н. О. Рыжкова «Симбирская гимназия в годы учения А. И. и В. И. Ульяновых» (Ульяновск, 1931), В. Алексеева и А. Швера «Семья Ульяновых в Симбирске» (Ульяновск, 1925), статей Б. М. Волина в «Историческом журнале» (№№ 4—5, 1940; № 1, 1943), В. Н. Смирновой в журнале «Вопросы истории» (№ 10, 1949) и т. д. Однако не всегда даны ссылки на использованные материалы, встречаются и случаи прямого дословного использования чужих текстов под видом комментариев составителя. Так, например, на странице 102 последний абзац снизу весь без всяких кавычек, оговорок и ссылок списан дословно из книги Н. О. Рыжкова (стр. 18).

В комментарии включено с ссылками и без всяких ссылок множество цитат из книг, журнальных статей и справочников.

Комментарии, принадлежащие перу Иванского, грешат фактическими ошибками, а иногда запутывают читателя. Так, по воле Иванского, композитор В. Н. Пасхалов, умерший в 1885 году, продолжает жить и является учителем сестры В. И. Ленина Ольги Ульяновой в 1887 году (стр. 492); Н. М. Охотников становится студентом на год раньше поступления в Казанский университет (стр. 258).

На 407-й странице сборника приводится полный текст «Свидетельства», выданного Владимиру Ильичу при исключении из Казанского университета за участие в политической сходке. Подлинник этого документа, без которого Владимир Ильич не мог выехать из Казани, датирован 7 декабря 1887 года. Иванский без всяких обоснований принимает дату оформления документа за дату выезда Владимира Ильича из Казани (стр. 728), забывая о том, что на странице 407 в примечаниях им же сказано, что это свидетельство «было временно задержано согласно указанию казанского губернатора».

¹ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 14, оп. 1, ед. хр. 107, л. 1.

² ЦПА ИМЛ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 91, лл. 1—2.

Ко многим материалам, опубликованным в книге «Молодой Ленин», даны ссылки на архивы, которые могут создать впечатление, что составитель сборника самостоятельно работал в архивах, изучил немало фондов, впервые обнаружил ценные документы и воспоминания. Но такое впечатление обманчиво. В абсолютно подавляющем большинстве случаев ссылки на архивные фонды даны Иванским к тем документам, которые опубликованы значительно раньше выхода в свет рецензируемого сборника.

Характерно, что Иванский приводит якобы неопубликованные документы только в тех объемах, в каких они были напечатаны действительными первопубликаторами, иногда со всеми огрехами и ошибками. Вот некоторые примеры: воспоминания Е. Арнольд, И. Яковлева, Г. Назарьевой, В. Персиянинова взяты из книги В. Алексеева и А. Швера «Семья Ульяновых в Симбирске» (Ульяновск, 1925), однако ссылки даны на архивные фонды Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске. Даже примечания А. И. Ульяновой-Елизаровой, помещенные в этой книге, публикуются Иванским со ссылкой на Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (см. стр. 126).

Увлеченный методом монтажа, Иванский и не подозревает, что в ряде случаев отсылает читателя к тем архивам, где публикуемые им документы давно уже не хранятся. Например, протокольная запись выступления А. И. Ульяновой-Елизаровой на заседании комиссии по реставрации Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске, если верить Иванскому (стр. 35), находится в архиве Дома-музея, а на самом деле она давно хранится в Ульяновском областном партийном архиве. То же самое происходит с воспоминаниями однокурсника Владимира Ильича И. А. Левина. К этим воспоминаниям Иванский дал ссылку на фонды Комнаты-музея В. И. Ленина при Казанском государственном университете. На самом деле оригинал записи воспоминаний всегда хранился в другом архиве.

Существует группа писем О. И. Ульяновой гимназической подруге А. Ф. Щербо.

Частично они опубликованы Б. М. Волиным в книге «Ленин в Поволжье» (1955), в сборнике сотрудников Ульяновского дома-музея В. И. Ленина «Семья Ульяновых» (1960 и 1963), в публикации Ю. Я. Махиной (журнал «Вопросы истории КПСС», № 6, 1960). Иванский берет из этих публикаций ровно столько, сколько в них напечатано, и ссылается на разные архивы. Мнимая научность методов А. Иванского ставится явной, если учесть, что уже многие годы письма Ольги Ульяновой хранятся в одном месте — в Центральном партийном архиве.

Кстати сказать, в использовании приемов показной академичности А. Иванский не новичок. В приложениях к первому тому Полного собрания сочинений В. И. Ленина в числе других опубликованы два прошения Владимира Ильича от 28 февраля и 11 июня 1892 года. Подготовители тома указывают, к сожалению, что впервые эти документы опубликованы в сборнике, составленном Иванским, — «Молодые годы В. И. Ленина. По воспоминаниям современников и документам» («Молодая гвардия», 1957). Между тем эти документы имелись в сборнике, подготовленном И. С. Зильберштейном в 1929 году, откуда они и были заимствованы.

Иванский выдает себя и за первопубликатора надписи Владимира Ильича на рапорте присяжного поверенного О. Г. Гирифельда председателю Самарского окружного суда 15 (27) апреля 1892 года (стр. 605). Но широко известно, что эта надпись была впервые опубликована еще в 1955 году Б. М. Волиным в популярной книге «Ленин в Поволжье. 1870—1893».

Ясно, что подход к ленинской теме должен быть в высшем смысле ответственным.

Иванскому чувство ответственности перед ленинской темой и перед советским читателем изменило. Из этого горького опыта должны быть извлечены серьезные уроки всеми, причастными к выходу многотиражных книг Иванского.

Ю. А. Ахакин,
И. С. Смирнов,
Г. Е. Хаит.

ГЛАЗА, КОТОРЫЕ ГЛЯДЯТ НА НАС

Пишущий эти строки не имеет отношения к киноискусству или кинокритике. Он зритель. Но когда дело касается картины, в которой показан «обыкновенный фашизм», он считает себя вправе написать о том, что увидел. Речь идет о картине, значение которой выходит за пределы кино. Говорить о ней — значит говорить о современном мире, о политике и социологии, о международных отношениях и искусстве, о всей гамме звуков нашей эпохи. Пусть в этом фильме та или иная сфера затрагивается лишь мимоходом. Комплекс недель, одно переходит в другое, и целое касается каждого из нас, кто бы он ни был, любит ли он кино или нет. То, что мы видим и слышим, — неотъемлемая глава книги о жизни нашего поколения, пишущейся изо дня в день. Я знаю, что «Новый мир» не печатает кино-рецензий. Но он участвует в сборе материалов для этой книги. Вот почему, пользуясь правом публициста и историка, я позволяю себе написать о кинокартине.

В ней ничего не выдуманно и не сыграно. Играет сама история, и играет так хорошо и точно, что переиграть ее было бы трудно самым лучшим артистам. Никто лучше Гитлера не сыграет его самого, а он выступает в картине в самых различных сценах, начиная от зала в мюнхенском кабаке и кончая улицей разрушенного Берлина. Фильм «Обыкновенный фашизм» состоит только из документальных кадров, отобранных из просмотренных его создателями двух миллионов трехсот тысяч метров кинохроники. Работа продолжалась около двух лет. Я думаю, что эту картину, как документ нашей эпохи, будут смотреть и через сто лет.

Перед режиссером-постановщиком стояла исключительно трудная задача. Он мог потонуть в этих двух миллионах метров ленты. Этого не произошло. М. И. Ромм создал из сырого материала динамическую драму, захватывающую внимание зрителя с первого до последнего кадра, не отпускающего его ни на минуту. Художественное мастерство и историчность у Ромма неотделимы друг от друга. Он не заменяет историю и не навязывает ей чуждые ей роли. Он только помогает ей рассказать об одном из самых трагических периодов в жизни людей. Слушая ее, мы вместе с ним задумываемся над

тем главным, что она хочет нам сказать. Избитых фраз, шаблонов в фильме нет.

На экране мелькают тени. Фюреры, короли, министры; обыватели, солдаты, простые люди; задушенные и замученные. Многих из них некоторые из нас видели, слышали или даже знали. Кадр сменяется кадром, год проносится за годом, на важнейшие события уходит несколько минут. Но все это было с нами наяву. Роммовская машина времени со стремительной быстротой уносит нас назад, и многое из нее видно теперь отчетливее, чем тогда, когда мы смотрели на события простым глазом.

Мы глядим в черную бездну, в которую чуть не был сброшен мир, и понимаем, через что прошли люди в первой половине века и что еще может грозить им во второй. И когда в конце картины глаза замученных в течение нескольких минут в упор смотрят на нас, смотрят, не отрываясь, мы слышим, о чем они нам говорят.

Мне была предоставлена возможность наблюдать за созданием фильма «Обыкновенный фашизм», и я хочу сказать о том, что считаю наиболее существенным.

О фашизме можно говорить по-разному. Можно выступить против него с актуальным политическим памфлетом, Можно, рассказывая об его закулисной истории, сделать из материала нечто вроде уголовно-детективного фильма. Можно пойти по эмоциональному пути и сосредоточиться на показе страшного. Главная заслуга Ромма состоит, по моему мнению, в том, что он взглянул на фашизм с самой высокой — философской — вышки.

Два героя все время действуют в этом фильме: фашизм и Человек. Схватка между ними в решающий исторический момент к концу второго десятилетия нашей эры, накануне перехода людей к новому, бесклассовому обществу, и составляет подлинное содержание картины.

Динамичность и красота непрерывного творческого человеческого движения вперед — и фашизм как современная антитеза, как сила, пытающаяся спасти неправо общество и повергнуть Человека — творца, мыслителя, борца — к земле на пороге его величайших побед. Таков основной мотив, слышащийся все время, иногда приглушенно, иногда с мощной бетховенской силой.

Взяв это направление, Ромм выбрал сценически и технически наиболее трудный путь. Кинохроника не всегда укладывается в историческую симфонию. Но если бы он не пошел по этому пути, то об обыкновенном фашизме мог бы получиться обыкновенный фильм: либо что-то на манер стандартной газетной статьи, либо рыхлое нагромождение фактов с уклоном в сторону сенсационной дешевки, либо же просто скучная вещь, в худшем же случае — все это вместе. Но создан был сценически увлекательный и в то же время философски глубокий фильм.

Ромм избежал и другой опасности. В наши дни, через двадцать лет после взрыва третьего рейха, у некоторых людей, в частности на Западе, наблюдается тенденция смотреть на фашизм главным образом через очки слезливой патетики. В Гитлере видят некоего неповторимого изверга, какого-то сумасшедшего или даже «гениального» сверхубийцу, нацизм рассматривается как патологический феномен, и все разрешается тем, что его жертвам торжественно воздвигается памятник.

Но мы не хотим плакать. Мы хотим видеть и изучить врага, чтобы знать, как его уничтожить. В современном фильме о фашизме говорить должен мыслитель и трибун боевой армии народа, а не стонающий пророк Иеремия и даже не Золя («Я обвиняю»). Время для словесных обвинений фашизма прошло давно, теперь нужно довершать выполнение приговора. Перед нами злокачественный социальный процесс, иступленная попытка искривить и затормозить человеческую историю как раз накануне ее величайшего взлета, и это слишком трагично для патетики.

Иногда слышишь такие высказывания: тяжело, грустно смотреть на преступления фашистов. Какая там грусть! Нужно не грустить, не ужасаться, глядя на лагеря смерти, а испытывать безграничный, но сухой, активный гнев. Такой гнев и пронизывает этот фильм. У диктора никогда не чувствуется желания пустить слезу. Его голос суров, но задумчив и тверд. Страсть и ненависть у него — в сдержанности. Оттого он так действует.

Вот почему хорошо, что в картине нет ни успокаивающих снимков памятников жертвам, ни торжественно звучащих похоронных мелодий. Еще не время! Борьба не кончена, прощаться с темой, успокаиваться на

паныхидах не приходится. Глаза людей из Освенцима, Майданека и варшавского гетто требуют от современников не памятников. Они говорят о необходимости неотступно мыслить, не забывать о враге ни на секунду, о долге действовать каждого из нас.

Создатели фильма встретились с еще одной проблемой, разрешить которую полностью, к сожалению, не удалось. Речь идет о генезисе фашизма. Кто сделал ефрейтора Гитлера фюрером? Кто возвел его на престол третьего рейха и готовил в диктаторы мира? Говорят, что это будто бы сделали немецкие бюргеры, обыватели, миллионами устремившиеся к нацистам.

Мы знаем, что это не так или не совсем так. Дело обстоит сложнее. Обыватель никогда не творил историю, он только кидался туда, куда его толкали более высоко организованные и целеустремленные классовые силы. Да, бюргеры, в частности, огромная аморфная масса немецкой мелкой буржуазии вкупе с примкнувшими к ней отчаявшимися безработными и деклассированными, были армией нацизма. Но не его штабом, не его движущей силой. Такой силой, как теперь окончательно доказано, были скрывавшиеся за спиной Гитлера главари германского капитала. Сигнал к извержению коричневых бацилл дали господа в цилиндрах, с «двумя миллиардами марок» — короли угля, стали и вооружений, владевшие самым мощным, самым сжатым и потому политически самым взрывчатым резервуаром производительных сил монополий в Западной Европе. Нацистская партия была той бомбой, которая должна была взорвать сдерживавшие эти массы капитала границы рейха и открыть их владельцам путь к захвату хотя бы половины мира.

Мы поименно знаем теперь тех, кто в действительности вывел толстого немецкого бюргера из его квартиры с софами и безделушками, бросил его на улицу, опьянил его милитаризмом и антисемитизмом, наполнил его «тевтонской» злобой. Мы знаем, кто помог надеть на него и его сыновей коричневую форму, довести его до пароксизма, сплотить в террористическую армию Варфоломеевской ночи и затем, по сговору со старой немецкой военщиной, бросить его на мир. В картине «Обыкновенный фашизм» зритель видит, как это делалось и чьими руками. Он видит Гитлера, Геринга, Гимmlера, Геббельса в действии, наблюдает, как

они кричали, ревели, жестикулировали, лгали. Но он только мельком встречает тех, кто давал им деньги на это дело. Без денег же, грубо говоря, никакого фашизма, и как раз самого обыкновенного, из семян не возрастает.

Недосмотр постановщика? Нет. Ромм разбирается в экономике и социологии фашизма. Но он не мог дать того, что не заснято кинооператором или фотографом.

Отличие от книги, диссертации или газетной статьи документальный фильм сделан из заснятых кусочков подлинной жизни. Гитлер любил сниматься, и это было ему нужно. В картине показано, как методически он изучал позы для выступлений в присутствии фотографов. Муссолини испытывал физическое наслаждение, когда его снимали; он при этом даже фиглярничал, как самый захудалый актер, и показывающие его в такой момент кадры вызывают у зрителя оглушительный хохот. Существуют бесчисленные кадры об эсэсовцах и вермахте. Но финансовая олигархия — где бы то ни было в мире — боится кинокамеры, как огня. Когда же дело касается ее закулисных, сугубо секретных дел, то ни один разведчик не в состоянии окружить себя такой герметической стеной, как монополисты.

Ромм отобрал наиболее существенное из того, что было заснято самими немцами. Ему удалось вывести на экран не только почти всех видных фашистов, но и многих погибших антифашистов. О тех, кто оплатил самое страшное преступление в современной истории, нашлись лишь отрывочные, почти случайные кадры. Здесь такому мощному наблюдателю и свидетелю, как кинематограф, поневоле приходится уступить место пишущему политическому исследователю. Ромм, выступающий в картине диктором, говорит о закулисной стороне фашизма, но показать на экране то, что делалось за закрытыми дверями, в комнатах со спущенными портьерами, не может. Фильм не игровой.

Трудно показать в такой картине и другие существенные стороны темы. Что, например, может кинематограф сказать о глубоких причинах трагедии, постигшей в тот период германский рабочий класс? В фильме показан немецкий рабочий, которого диктор называет «великим мастером», включены кадры об антифашистских демонстрациях в Германии двадцатых и тридцатых

лет, волнующие каждого, кто о них помнит, показана удивительная галерея портретов людей «другой Германии», героических борцов против нацизма. Но где найти достаточно убедительные кадры, объясняющие трагический раскол германского рабочего класса в дни натиска Гитлера, иллюстрирующие, например, с одной стороны, капитуляцию правых социал-демократов, а с другой — действие пагубной теории социал-фашизма?

Мыслимы и замечания другого рода. Могут сказать, например, что в картине о фашизме неуместна сатира. Я не могу с этим согласиться. Не только потому, что сатира нередко разит врага сильнее, чем торжественная мрачность. Против фашизма борется человек со всеми его свойствами и способностями. Он ненавидит и тогда, когда высмеивает. Многие, очень многие в современной Германии, например, лучше поймут свое недавнее прошлое, не только когда еще раз посмотрят на лагеря смерти, но и когда убедятся своими глазами, какими до смехотворного ничтожными субъектами были, в сущности, вчерашние нацистские полубоги. Высмеивать — не значит снижать уровень ненависти, ослаблять готовность к борьбе. В картине Ромма есть, может быть, кой-какие мелкие кадры (не о фашизме), которые лучше были бы на месте в другом фильме. Но в общем и целом его тяжелая и легкая артиллерия разят с одинаковой меткостью.

Надо думать, у каждого второго или третьего зрителя найдется, что покритиковать, что предложить. Это и хорошо. Если бы дело обстояло иначе и фильм состоял из одних всем известных трюизмов, то едва ли он был бы особенно нужен. Задача заключалась не в том, чтобы собрать и аккуратно воспроизвести все главные материалы в наличии, а в том, чтобы побудить современника — и у нас и на Западе — еще раз по-настоящему задуматься о фашизме. Каждый режиссер сделал бы это по-своему. Задуматься же надо не только о прошлом, пережитом. Еще важнее в этой связи подумать о настоящем и будущем.

Глубоко и трагически ошибаются те — их особенно много на Западе, — кто считает, что фашизм был убит и похоронен в 1945 году. Такие люди плохо понимают наше время. Фашизм старого образца, первого призыва, был убит Советской Армией, войском социализма. Это показано и подчеркнуто в отдельной главе картины. Но

в капиталистическом мире уже произрастает неофашизм. Ницше, предтеча фашистских идеологов, говорил: «Кладбище — предпосылка воскресения». Процессы гниения, которые в двадцатых и тридцатых годах породили Гитлера и Муссолини, не приостановились, микробы возникают и теперь. За несколько дней до своего ареста и расстрела Муссолини сказал в интервью с газетой «Пополо ди Александрия»: «Двадцать лет фашизма было слишком мало... Человек, более великий, чем я, когда-нибудь доведет фашистскую идею до победы. Если союзники (антифашистская коалиция военных лет.— Э. Г.) победят, то третья мировая война... неизбежна. А тогда пробьет час Италии (то есть итальянского фашизма.— Э. Г.), если она найдет человека, который сыграет козырем».

Гитлер провозглашал, что немцы должны воевать каждые пятнадцать—двадцать лет. Ночью 29 апреля 1945 года, за час до самоубийства, он написал свое «политическое завешание». В этом документе, который немецкие нацисты по сей день чтут как святыню, он обязывал их «ни при каких обстоятельствах не прекращать борьбу» и «продолжать ее в соответствии с учением великого Клаузевица. Из жертвы наших солдат и из моей собственной связи с ними не на жизнь, а на смерть,— продолжал фюрер,— в германской истории когда-нибудь так или иначе вновь произрастет семя сияющего возрождения национал-социалистского движения». Это предсмертное завешание Гитлера заверено подписями Геббельса, Бормана и двух эсэсовских генералов.

Ученики Гитлера и Муссолини живы и действуют в наши дни: одни в подполье, другие (их гораздо больше) под видом до-стопочтенных «демократических» политиков,

третьи в окружении влиятельных генералов. Их тактика изменилась, сообразуясь со временем, их цели неизменны. Они лишь выжидают подходящей внутренней и — еще более — международной ситуации. Те же олигархические силы, которые треть века назад сделали Гитлера владыкой Германии, держат в глубоком резерве потенциальных неоэсэсовцев.

Но фашизм жив не только в Европе. После войны он пересек Атлантический океан, и в будущем его новая цитадель может оказаться именно за океаном. Уже зондируется идея новой концентрации сил международной черной реакции — блока германского реваншизма, американского атомного бонапартизма, крайне правой военщины во Франции, Испании, Италии, Японии, Латинской Америке и других районах капиталистического мира, расистов в Африке, блока под общим знаменем ядерного антикоммунизма и срыва мирного сосуществования.

На нечто подобное и возлагает свои надежды современный неофашизм. Почти несомненно, что, если начнется серьезный подкоп против мирного сосуществования, наследники Гитлера и Муссолини, как и предвещали они сами, попытаются перейти в наступление. В картине Ромма показаны лица некоторых из нынешних фашистских главарей. Они как бы срисованы с лиц Гитлера и Гимmlера. Атака на идущего вперед Человека продолжается. Глядя на последние кадры фильма, убеждаешься, что «обыкновенный фашизм» с повестки дня не сошел. Сам, своей смертью, он не умрет.

...На экране мелькают тени мертвых. Но глаза замученных как живые. Они продолжают смотреть на нас.

Эрнст ГЕНРИ.



КОРОТКО О КНИГАХ



АНТОН РАКИТИН. Именем Революции... (Очерки о В. А. Антонове-Овсеевко). Политиздат. М. 1965. 191 стр.

С обложки смотрит человек в очках, в воинской гимнастерке, — человек с обликом комиссара времен гражданской войны. Жизнь этого человека, неразрывно связанная с историей революционного движения России, с историей гражданской войны и становления советской власти, оборвалась трагически.

Книга посвящена одному из выдающихся героев великого Октября — В. А. Антонову-Овсеевко. Она написана просто, обильно документирована и оттого особенно убедительна. Автор рассказывает о герое своих очерков с горячей любовью. Перед читателем встает образ бесстрашного революционера-интернационалиста, которого партия послала на самые трудные участки революционной борьбы.

В 1904 году подпоручик Овсеевко основывает военно-революционную организацию РСДРП в Варшаве, потом вместе с Держинским готовит вооруженное восстание в Пулаве. Став профессиональным революционером, Владимир Александрович ведет подпольную работу в Кронштадте и Петербурге. Там, в Питере, он под кличкой «Штык» получает первое задание Ленина — возглавить восстание частей столичного гарнизона в поддержку московских рабочих.

В начале 1906 года Антонов-Овсеевко редактирует большевистскую подпольную газету «Казарма».

Блестяще выполнив в октябре 1917 года почетную роль одного из руководителей петроградского вооруженного восстания, Антонов-Овсеевко участвует в разгроме генерала Краснова, каледишщины на Дону, организует отпор немецким оккупантам на Украине, разгром банд Петлюры.

В первые годы строительства советской власти уполномоченный ЦК партии и ВЦИК Антонов-Овсеевко работает в Тамбове, Витебске, Перми. Осенью 1921 года он прибывает в Самару.

В Поволжье шел тогда бой с голодом, бой за жизнь миллионов людей. Мне довелось тогда познакомиться с Владимиром Александровичем. Он запомнился как обаятельнейший человек, как руководитель, обладающий железной волей и железной партийной дисциплиной.

В книге объективно отмечается, как Антонов-Овсеевко порой оступался на сложном и трудном пути революционера. В 1923—1927 годах он примиренчески относился к Троцкому и троцкизму. Эту ошибку он честно признал и делами доказал свою беспредельную преданность партии.

Точность, правдивость — вот что особенно ценно в книге Антона Ракитина. Не могу не упомянуть в связи с этим о реплике А. Совокина, который в «Известиях» (от 10 июля с. г.) несправедливо обвинил В. А. Антонова-Овсеевко в фальсификации одного исторического документа. Автору реплики пришлось извиниться (см. «Известия» от 31 августа).

Мне думается, что каждый читатель книги сердечным присоединится к словам, которыми она заканчивается: «Партия, верная ленинской правде, вернула народу имена соратников Ленина, и среди них имя Владимира Александровича Антонова-Овсеевко, чья жизнь, подобная звонкой революционной песне, всегда будет примером беззаветного служения коммунизму».

И. Кирышкин, член КПСС с 1918 г.



Э. С. ВИЛЕНСКАЯ. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). «Наука». М. 1965. 487 стр.

Э. С. Виленская взялась за сложную задачу, вызывающую серьезные споры, рассказать об «Организации» — тайном обществе, объединившем в 1865 году московских и петербургских революционеров, наиболее крупном центре подполья середины шестидесятых годов. Книга Э. С. Виленской остро полемична, в то же время ее отличает и очень осторожное, критическое отношение к источникам. Во многих случаях Э. Виленская не позволяет себе идти далее гипотез, хотя и стремится документально обосновать свои предположения. Анализируя борьбу идейных течений на материале подпольных прокламаций начала шестидесятых годов, она доказывает прямую преемственность московской революционной группы по отношению к «Земле и воле», и именно к социалистической части «Земли и воли» шестидесятых годов, следовавшей за Чернышевским. Она скрупулезно восстанавливает также практическую деятельность московских и

петербургских кружков, проследивает обширные связи подпольщиков, их участие в организации побега Ярослава Домбровского из московской пересыльной тюрьмы, их замыслы увести Чернышевского с сибирской каторги.

Ряд исследователей отмечал противоречие в деятельности «Организации»: с одной стороны — социалистическая пропаганда, рассчитанная на подготовку масс к социалистическому перевороту, с другой — покушение Д. В. Каракозова на цареубийство, единственный террористический акт, не связанный с движением масс. Это противоречие объясняют разногласия между руководителями московской и петербургской групп Н. А. Ишутиным и И. А. Худяковым, индивидуальными настроениями Каракозова.

Э. С. Виленская подходит к этим фактам иначе. В частности, выстрел Каракозова она пытается объяснить как тактический шаг, связанный с отношением революционеров к подготавливавшемуся политическому выступлению «конституционной партии». Поскольку ничего конкретного ни об этом выступлении, ни об этой партии автор дать не может, такая гипотеза требует, конечно, дополнительной разработки. Но интересно и ценно в исследовании Э. С. Виленской то, что за указанным противоречием она видит движение вперед. Революционеры шестидесятых годов, утверждает она, убедившись на историческом опыте своего времени, что крестьянская масса не способна самостоятельно подняться на революцию, не отвернулись от борьбы, искали выход из тупика. Таким выходом для них явилась теория инициативной роли революционной интеллигенции, революционной организации.

Книга Э. С. Виленской адресована читателю, хорошо знакомому с историей революционного движения. Очевидно, именно поэтому в этой книге отсутствуют подробные характеристики революционеров шестидесятых годов — даже таких крупных фигур, как Ишутин, Каракозов, Худяков. Читатель не узнает, что Худяков, например, был писателем, этнографом, составителем народных учебников, запрещенных цензурой. Вне внимания Э. С. Виленской остается такое важнейшее явление в истории революционного подполья шестидесятых годов, как постепенное формирование профессиональных революционеров.

В. Лейкина-Свирская,
доктор исторических наук.

★

Л. КОРОЛЕВ. Один из «Партии расстрелянных» (Габриель Пери). Политиздат. М. 1965. 102 стр.

Луи Арагон сказал о Габриэле Пери: «Его биография неотделима от истории Франции, от истории человечества».

Рассказ журналиста Л. Королева о жизни и борьбе этого замечательного человека и патриота полностью убеждает в справедливости слов, сказанных Арагоном.

Сознательная жизнь Габриеля Пери началась в то время, когда весь мир был охвачен первой мировой войной. Юноша вместе с друзьями-лишестами начал издавать в Марселе школьную газету, в которой клеймил зачинщиков бойни. Это были первые его шаги на пути революционной борьбы.

В книге Л. Королева — основные этапы революционной деятельности французского коммуниста: пропагандистская работа в Марселе в защиту русской революции, борьба за присоединение французской социалистической партии к Коммунистическому Интернационалу, поездка в 1922 году в Советскую Россию, сотрудничество в газете «Юманите», которая для Габриеля оказалась вторым отчим домом. Два замечательных коммуниста стали здесь его учителями — Марсель Кашен и Поль Вайян-Кутюрье. «Они были для меня постоянными советниками и сердечными наставниками», — писал позже Г. Пери. Статьи Габриеля Пери, острые, насыщенные важным политическим материалом, публиковались в газетой «Правда». «Разверните наугад любой номер «Правды» за 1928 или 1929 год, и вы непременно на первой или на второй полосе найдете строку: «Париж, от нашего собственного корреспондента», — сообщает автор книги. Этим «собственным корреспондентом» был Г. Пери.

Когда в 1933 году фашисты в Германии пришли к власти, Габриель Пери начал открытую разоблачительную, непримиримую борьбу с ними. «Уступки нацизму не увеличивают шансы мира, а уменьшают их», — говорит Пери в палате депутатов.

Пятнадцатого декабря 1941 года нацистские пули оборвали жизнь Габриеля Пери, пламенного патриота, члена ЦК Французской коммунистической партии, которую народ за жертвы, принесенные ею ради освобождения родины от фашистского ига, назвал «Партией расстрелянных».

В предсмертном письме Габриеля Пери были слова: «Я умираю ради того, чтобы жила Франция!»

Рассказ о жизни Габриеля Пери автор книги сопровождает рассказом о политической обстановке во Франции, приводит много эпизодов, связанных с деятельностью Французской коммунистической партии, говорит о классовой борьбе французских рабочих и о соглашательской политике буржуазных правительств. Словом, со страниц небольшой, но насыщенной фактическим материалом книги встает не только образ главного героя, но и пунктирно прослеживается история Франции в один из наиболее острых и трагических ее периодов.

Г. Койранская.

★

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ. Бег в ночи. Повести и рассказы. «Советская Россия». М. 1965. 195 стр.

Уже первые рассказы, а потом сборники рассказов Николая Воронова, появившиеся

пять—десять лет назад, вызвали живой интерес читателя. Критики охотно писали о даровитом рассказчике, об иных рассказах спорили. И их тема, проблематика, и сама направленность таланта автора были характерны для литературы, ведущей серьезный разговор о человеке, об его истинной ценности.

Запомнился рассказ Воронова «Кассирша»: сама героиня Сима с «глазами блеклыми, без блеска», с опостылевшей ей работой в бухгалтерии, бессмысленной гибелью ее мужа. Думается, что читатель оценил душевную красоту этой милой молодой женщины с незадавшей жизнью. И дело не в том, что рассказанное автором было «похоже» на то, что происходит подчас с читателем или рядом — с его соседом, а в том, что этот рассказ помогал восстанавливать в себе столь важную и необходимую способность понимать суть человека, умение видеть в незначительном, частном, «обыкновенном» душевную красоту и душевную силу.

И вот новая книжка Николая Воронова «Бег в ночи». А в ней — и старые рассказы: «Нейтральные люди», «Ожидание», «Симпатяга»... И недавно написанные маленькие повести «Мальчик, полюбивший слона», «Гудки паровозов»...

Мы читаем книгу подряд — знакомые и новые для нас вещи — и испытываем все то же душевное волнение. Оказывается, ни темы, ни проблематика рассказов Воронова не устарели. Читателю все так же близок душевный склад героев писателя, все так же дорог его интерес к людям, независимо от степени их удачливости в жизни или высоты занимаемого положения в обществе. Ведь именно по тем же причинам рассказы Воронова и были замечены в свое время читателем — их успех не прихоть литературной моды, он совершенно естествен. Поэтому и сегодня нас трогает милая кассирша Сима с ее бедами и тревогами или Чурляев, за спиной которого нелегкий жизненный опыт (рассказ «Нейтральные люди»). Поэтому интересны нам и герои новых произведений Воронова — скажем, маленький Гека и вся история его удивительной дружбы с огромным слоном из заезжего зверинца («Мальчик, полюбивший слона») или машинист Пантелей Кузовлев и его трудная жизнь («Гудки паровозов»).

Новая книжка Николая Воронова — свидетельство все того же не повторяющего себя, а органичного развития дарования, которое ищет поэтическую правду в самой жизни, находит ее в том, что порой до сих пор пренебрежительно называют «частным» и «незначительным».

Ф. Светов.

★

АЛЕКСЕЙ КИРНОСОВ. Необитаемый остров. «Молодая гвардия». М. 1965. 352 стр.

«Ежедневно стремись стать ближе к тому делу, которое ты считаешь любимым» — в этих словах одного из героев А. Кириосова

пафос книги. Она о тех, кто не ищет легких путей в жизни.

Правдиво, без прикрас показывает молодой писатель, связавший с пятнадцати лет свою судьбу с морем и ставший помощником капитана дальнего плавания, суровую романтику морских будней. У Кириосова нет любования морской экзотикой — его краски скупы, но точны.

...До той ночи, когда одиннадцатибалльный ветер бросил на риф шхуну «Аэгна», юный штурман «Нептуна» Игорь Соколов был уверен: «романтика моря начинается за Датскими проливами» (повесть «Ветер»). Здесь, на Балтике, он может лишь мечтать о подвиге.

Участвуя в спасении «Аэгны», Игорь впервые увидел буднично строгое рождение героизма. И будто первый раз — своих товарищей. Они боролись с грозной стихией насмерть, моряки с утопающей «Аэгны», — и скупой на громкую фразу капитан Каховский, и мрачноватый штурман Август, и скрюченный морскими болезнями старик Пыльд.

На героя другой повести — «Золотая рыба» — обрушивается несчастье, нелепое, унижающее: Еремина лишают прав капитана. Трудно быть под началом у бывшего подчиненного, ныне капитана, Трохова. Драматическая основа конфликта — столкновение сильных людей с разным пониманием жизни и отношением к делу. Кириосов не упрощает характеры героев. Еремина, увлеченного своей работой до самозабвения, обычно очень чуткого к людям, мы видим и в минуты душевного разлада, злых придинок к инспектору Бурову. А равнодушный к промыслу, порой черствый Трохов способен на благородный риск и мужество: он спасает ереминскую «Лугу».

Острота конфликтов, сочетание юмора с драматизмом повествования — таковы достоинства писательской манеры А. Кириосова.

Не все равномерно в книге. Рядом с повестями «Золотая рыба» и «Ветер» соседствует полный недомолвок рассказ «Голубая звезда», где отношения героев определяются не жизнью, а сентиментальной грезой безликой и безымянной красавицы о голубой звезде. А юмористическая по замыслу автора повесть «Путешествие на барже» — о влиянии суровой жизни моряков на изнеженных представителей искусства — оказалась попросту скучной.

Е. Левитан.

★

ЯН БЖЕХВА. Пора созревания. Роман. Перевод с польского Е. Егоровой. «Художественная литература». М. 1964. 372 стр.

Летом этого года польская общественность отмечала пятидесятилетие литературной деятельности Яна Бжехвы. «Классик для детей» — так была озаглавлена одна из статей, появившихся в связи с его юбилеем в «Трибуне люду». Как автор произведений, написанных главным образом для

детей дошкольного и школьного возраста, Ян Бжехва в последнее время приобрел известность и у нас.

Напечатанный впервые в 1958 году и обращенный на этот раз к взрослым, роман «Когда плод созревает» («Gdy owoc dojrzewa») сразу выдвинул Яна Бжехву в ряды лучших польских прозаиков.

«Пора созревания» — так назван роман Я. Бжехвы в русском переводе — это, на первый взгляд, нечто вроде книги воспоминаний, написанных умело и тонко. Герой у порога старости оглядывается на годы своего детства и отрочества, проведенные им в России времен царизма, а частично в тогдашнем Царстве Польском.

Роман, по-видимому, автобиографичен, хотя мы затруднились бы определить и степень привнесения в него творческого вымысла. Важнее, однако, то, что ни одна из его глав не вызывает скуки, а ведь это и есть прежде всего успех художественный!

Думаю, что у читателей романа Яна Бжехвы не будет желания пропустить ту или иную страницу в ожидании чего-то «более существенного». Благодаря творческой воодушевленности писателя, умному отбору жизненных впечатлений детства и затем отрочество ничем особенно не примечательного польского мальчугана воспринимаются как некий правдивый жизненный документ, частица большого опыта истории... Автор описывает такие, например, события, как 9 января в столице империи, забастовка железнодорожников в Москве, еврейский погром в Великих Луках, рассказывает о первых полетах Уточкина в Киеве и т. п. Эти известные исторические эпизоды нередко приобретают под пером Я. Бжехвы остроту материала непривычного, словно впервые встречаемого. И внутренняя серьезность повествования не исключает юмористического и даже сатирического ракурса — в эпизодах и сценах более «домашних», но нередко столь же значительных. Книга насыщена типично бжеховским юмором.

Роман Яна Бжехвы убеждает в том, что и в условиях царизма существовала реальная близость между русскими и поляками, дружба между демократическими элементами в той и другой нации, взаимопонимание между ними — все то, что бессильны были уничтожить царские держиморды и польские шовинисты.

К сожалению, перевод Е. Егоровой не очень удовлетворительно передает достоинства подлинника, живое разнообразие и энергию слога автора. Вот некоторые примеры:

«...она стала протискиваться вперед и скоро стала неподалеку от нас» (стр. 130), «...вернувшись, не стал больше играть, подошел к Полине и стал с ней беседовать...» (стр. 152). Там, где у автора мальчик восклицает: «Бедная, любимая Полина!» («Biedna, sochana Polina!») — у переводчицы на странице 72 появляется: «Бедная моя, о б о ж а е м а я Полина!»

На странице 83: «...много раз перечитывала волнительный отрывок из письма знаменитого писателя...» Но в подлиннике вместо искусственного «волнительный» стоит вполне литературное слово «wzruszający», то есть «трогательный». Жаль, что перевод не был отредактирован более умело.

Игорь Поступальский.

★

И. КРАМОВ. Александр Малышкин. Очерк творчества. «Советский писатель». М. 1965. 226 стр.

Книга И. Крамова о творчестве Александра Малышкина — книга живая и современная, хотя читатель не найдет в ней как будто сенсационного материала, «острых» цитат, мало в ней и собственно биографических сведений — перед нами прежде всего очерк творчества известного советского писателя. Современность книги — в широте взгляда критика, серьезно думающего о настоящем и трезво оценивающего прошлое.

И. Крамов обстоятельно исследует, что нового внес А. Малышкин в современную ему литературу, как он отвечал на запросы и требования своего времени, но не меньший интерес его вызывает то, чем может помочь творчество Малышкина ответить нам, людям середины века, на наши вопросы об эпохе революции, первых годах советской власти, периоде тридцатых годов.

Критик показывает путь писателя от ранних рассказов 1913—1915 годов, посвященных изображению русской дореволюционной провинции, до последнего прославленного романа Малышкина «Люди из захолустья», над которым он работал все последние годы.

Чувство историзма и вместе с тем умение поставить разбираемые произведения перед судом читателя-современника составляют принцип, основу литературоведческого анализа в книге. Удачны главы о раннем творчестве Малышкина, главы же о «Падении Даира» и «Севастополе», на мой взгляд, лучшие.

Известны нападки рапповской критики, которым подвергся «Севастополь» и больше всего его главный герой Шелехов. В образе Шелехова «видели доказательство того, что интеллигенция исторически обречена, и отказывали Шелехову в праве на место в обществе. И. Крамов вспоминает слова М. Горького из письма его к Ф. Gladкову: «Вы все забываете, что большевизм и творец его Вл. Ленин — это пришло из интеллигенции». В герое повести А. Малышкина критик видит представителя широких слоев демократической интеллигенции, которая ищет свои пути приобщения к революции. И главное заключается тут не только в самом решении, выборе пути, но и в том, примкнул ли он к революции вследствие «органического развития... или лишь потому, что деваться некуда и за спиной победителя и гегемона спокойнее».

Не только ответственность Шелехова и всей интеллигенции перед временем, но и

ответственность времени перед обществом, перед человеком — вот что волнует Малышкина и вместе с ним автора книги.

К сожалению, анализ романа «Люди из захолустья» менее удачен. Тема романа — человек и история — не получила в книге столь же яркого истолкования, как это сделано по отношению к другим, более ранним произведениям Малышкина. Наиболее остро и интересно проведен разбор образа Зыбина, человека с холодными глазами, который «бестрепетно готов отвернуться от фактов, нарушающих его душевный уют», «одного из ведущих, незадумывающихся», как говорит о нем один из персонажей произведения. В противопоставлении резонеру Зыбину рыцаря революции, «человека для людей» Подопригоры — одна из главных линий романа, ярко выявленная И. Крамовым; одна из главных, но не основная.

Автор добивается большей удачи, когда разбирает образы интеллигентов — Николая Соустина, Ольги, Зыбина, Подопригоры. Люди «захолустья». Журкин, Тишка — главные герои романа — предстают в книге лишь неким «народным фоном» для деятельности этих лиц. И поэтому, хотя И. Крамов пишет, что «писатель убежден, что там, где плохо Журкиным, и Шелеховы должны страдать», — эта мысль остается неподтвержденным тезисом.

Многие наблюдения критика метки, выводы основательны, но все же роман как целое не собран вновь воедино после анализа, разъявшего его по частям.

В целом же книга Крамова — заметное явление среди литературоведческих книг этого года.

С. Кайдаш.

★

ДРЕВНЕРУССКИЕ РУКОПИСИ ПУШКИНСКОГО ДОМА (обзор фондов). Составил В. И. Малышев. «Наука». М.—Л. 1965. 230 стр.

Почти ежегодно Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР устраивает выставки древних рукописей, привезенных сотрудниками из экспедиций, полученных в дар или купленных у отдельных коллекционеров. Собрание института молодое, но быстро растущее. За пятнадцать лет его существования в нем скопилось 3110 рукописей и исторических документов. В большом количестве здесь представлены списки ранее известных произведений, тексты оригинальной русской повести, начиная с памятников XV—XVI веков и кончая бытовыми повестями конца XVII — первой четверти XVIII века. Особое место занимают сатирические произведения, возникшие во второй половине XVII века. Есть здесь материалы по истории старообрядчества, разнообразные по содержанию акты документы, образцы личной переписки XVII—XIX веков. Сотни рукописных книг украшены искусно выполненными миниатюрами, заглавными буквами и заставками.

В. И. Малышеву, знатоку и собирателю древнерусских рукописей, одному из организаторов собрания Пушкинского дома, понадобилась солидная книга, чтобы дать краткое описание хранящихся здесь материалов. Показывая их место среди других собраний, автор особо отмечает связь большинства рукописей с русским Севером, с его богатой рукописно-книжной традицией. В прошлом многие из рукописей принадлежали крестьянам, охотникам, ремесленникам, рыбакам.

В книге обозрение собраний дано в алфавитном порядке. Составитель приводит сведения о владельцах собраний, основную литературу о них, данные о собраниях учреждений, влившихся в состав коллекций Пушкинского дома, и о собраниях ИРЛИ, созданных в результате работы в экспедициях. Обзор памятников древнерусской письменности начинается с повествовательной литературы, оригинальной и переводной. Затем следуют произведения русских писателей XI—XVII веков, история, стихотворство, драматические произведения. Замыкают обзор церковнослужебные рукописи.

Разнообразие сведений, приводимых В. И. Малышевым как о собирателях, так и о рукописях, обширная библиография, включающая в себя отечественную и зарубежную литературу, подробный указатель имен и произведений высоко поднимают научное значение книги и делают ее образцом для подобного рода путеводителей.

История формирования рукописного собрания Пушкинского дома показывает, что у жителей окраин, у коллекционеров и любителей старины наших городов и сел все еще сохраняется значительное количество ценного для науки рукописного материала. Он должен и в дальнейшем бережно собираться и стать достоянием советской науки.

Л. Домановский.

Ленинград.

★

Б. ГРЖИМЕК. Они принадлежат всем (Борьба за животный мир Африки). Перевод с немецкого. «Мысль». М. 1965. 120 стр.

Не правда ли, как-то даже странно вдруг выяснить, что и мы должны беспокоиться о судьбе львов и тигров, леопардов и носорогов в далекой Африке? А между тем самое настоящее беспокойство за судьбу африканских диких животных охватывает вас после прочтения этой книги. Автор ее — известный зоолог, директор зоопарка во Франкфурте-на-Майне и куратор национальных парков Восточной Африки, доктор наук — всю свою жизнь отдаст страстной борьбе за сохранение животного мира Африки. Он снимает на Черном континенте интереснейшие фильмы, пишет увлекательные книги, беседует о судьбе животных с премьерами молодых африканских республик. И во всех своих работах страстно доказывает, какое огромное значение имеет для африканских стран их фауна.

Он заставляет своих читателей негодовать по поводу того, что где-то в глубине Конго некий торговец скупает рога носорогов; вслед за автором вы начинаете опасаться за судьбу леопардов, которых, оказывается, нужно не уничтожать, а переселять, и наконец, закрывая книгу, вы ловите себя на том, что тоже прониклись чувством живейшей симпатии к любимым автором бегмотам...

Однако не просто симпатии к экзотическим животным вдохновляют автора в его страстной защите африканской фауны от бессмысленного уничтожения. Ведь колонизаторы не только не принимали никаких мер для сохранения животных, но варварски истребляли их. Между тем дикие животные представляют собою не только часть африканского пейзажа. Они могут и должны стать источником крупных доходов и одним из средств повышения жизненного уровня местного населения. Так, разделанная туша бегмота, пригодная в пищу, составляет почти семьдесят один процент от его общего веса, в то время как у европейского рогатого скота этот процент равен пятидесяти пяти. В связи с этим автор замечает: большая часть африканского населения не страдала бы сейчас от болезней, возникающих из-за белковой недостаточности, если бы не бесцельное уничтожение европейцами этой благодати африканских рек... Далее Б. Гржимек приводит серьезные обоснования для создания заповедников как научных центров дальнейшего изучения природных ресурсов и указывает на тот огромный доход от туризма и охоты, который могут получать страны Африки, если они бережно сохраняют слонов, носорогов, леопардов.

Читатель книги становится единомышленником автора. Симпатии к нему особенно возрастают, когда мы узнаем, что даже трагическая гибель единственного сына Б. Гржимека — его помощника и соратника — не прекратила благородного труда ученого.

Нам приятно прочитать похвальное слово автора советскому заповеднику Аскания-Нова, о котором он сейчас пишет работу.

Содержательное послесловие советского ученого А. Г. Банникова и прекрасные фотографии придают его увлекательной книге особый интерес.

Л. Серебряник.

Ф. БЕНИТЕС. Путешествие к индейцам тараумара. Перевод с испанского. «Прогресс». М. 1965. 103 стр.

Несколько веков тому назад испанские конкистадоры огнем и мечом завоевывали Мексику, сгоняя с плодородных земель коренных жителей — индейские племена. Индейцы племени тараумара бежали в леса и горы Сьерра-Мадре. Их именем теперь называется этот обширный район, изумительный по красоте, но суровый для жизни людей, лишенных элементарных условий цивилизации, бесцельно ограбляемых, нищих в самом буквальном смысле этого слова. Мексиканский журналист Фернандо Бенитес рассказывает печальную историю этого «простодушного народа», с душевной болью рисует его трагическую судьбу.

Самобытная цивилизация индейского населения существовала еще в глубокой древности. Задолго до испанского завоевания здесь культивировали более тысячи видов растений — кукурузу, томаты, картофель и многие другие, ставшие впоследствии достоянием всего человечества. Древнее индейское искусство и в наши дни оказывает сильное влияние на художников латиноамериканских стран. А те, чьи предки все это создали, живут в ужасающей нищете и невежестве, голодают, умирают от истощения и болезней. Небольшой отряд энтузиастов — учителей, врачей (их называют «лесной армией») — не в состоянии преодолеть все трудности, чтобы помочь этим беззащитным людям. Свора хищников беззащитно грабит индейцев. Даже объединившись в кооперативы (эхидо) по разработке лесных богатств Тараумары — а они действительно огромны, — даже зарабатывая нелегким трудом миллионы песо, эти люди остаются нищими. Прикрываясь лицемерными фразами о неразумности индейцев, банк и государственные ведомства не выдают им заработанного. Индейцы, мол, из-за своей некультурности не сумеют правильно использовать деньги. И «нищие миллионеры» продолжают жить в кошмарных условиях и умирать от голода.

Ф. Бенитес приводит множество деталей, живых зарисовок, характерных бытовых сценок. Но это не объективистская регистрация виденного, а гневное обличение тех, кто под флагом цивилизации без зазрения совести грабит беззащитных людей.

Л. Лерер.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. 384 стр. Цена 68 к.

О созыве очередного XXIII съезда КПСС. — Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятые 29 сентября 1965 года. 16 стр. Цена 2 к.

Л. И. Брежнев. Речь на Пленуме ЦК КПСС 29 сентября 1965 года. 32 стр. Цена 3 к.

А. Н. Косыгин. Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 27 сентября 1965 года. 64 стр. Цена 6 к.

М. Варненская. Ищу Балтазара Куявского. Перевод с польского. 152 стр. Цена 22 к.

Е. Воробьев. Кляксы на мраморе (Заметки писателя). 200 стр. Цена 20 к.

Т. Вострухова. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма (1894—1904 гг.). 112 стр. Цена 11 к.

Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872. Протоколы. 464 стр. Цена 89 к.

В. Гомулка. Избранные статьи и речи (1961—1964). 804 стр. Цена 1 р. 52 к.

Т. Живнов. Избранные статьи и речи. В 2-х томах. Том I (1942—1961 гг.). 856 стр. Цена 1 р. 55 к.

С. Львов. Еще один экзамен. 112 стр. Цена 10 к.

Партизанские были. 528 стр. Цена 90 к.

«МЫСЛЬ»

Б. Базунов, В. Гантман. Три фута под килем. 216 стр. Цена 55 к.

В. Бахта. Аотеароа. 144 стр. Цена 28 к.

Вопросы научной организации труда на промышленном предприятии. 238 стр. Цена 84 к.

В. Выгодский. История одного великого открытия Карла Маркса. 200 стр. Цена 65 к.

Д. Даган. Человек в подводном мире. Перевод с английского. 431 стр. Цена 95 к.

В. Жукровский. Странствия с моим Гуру. Перевод с польского. 239 стр. Цена 65 к.

Ф. Карсан. Робинзоны космоса. Научно-фантастическая повесть. Перевод с французского. 183 стр. Цена 51 к.

Д. Колдуэлл. Отчаянное путешествие. Перевод с английского. 285 стр. Цена 54 к.

Л. Леонтьев. Энгельс и экономическое учение марксизма. 446 стр. Цена 1 р. 33 к.

Личность и труд. 365 стр. Цена 1 р. 21 к.

И. Магидович. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки. 455 стр. Цена 1 р. 60 к.

Методологические проблемы политической экономии. 302 стр. Цена 1 р. 15 к.

И. Новик. О моделировании сложных систем. Философский очерк. 335 стр. Цена 1 р. 27 к.

С. Обручев. В сердце Азии. 127 стр. Цена 21 к.

Д. Пензин. Судан. 167 стр. Цена 29 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бартэн. Всегда тринадцать. Роман. 495 стр. Цена 91 к.

С. Баруздин. Повторение пройденного. Роман. 384 стр. Цена 63 к.

М. Белкина. Человек и гора. Очерки. 264 стр. Цена 33 к.

А. Велогин. Ветер с Волги. Поэма. Перевод с белорусского. 99 стр. Цена 26 к.

Б. Вердян. Рожденный в горах. Роман. Перевод с армянского. 316 стр. Цена 64 к.

М. Гусейн. Месяц и один день. Путевые заметки. Перевод с азербайджанского. 140 стр. Цена 20 к.

Л. Демьян. Свадьба без жениха. Рассказы. Перевод с украинского. 172 стр. Цена 28 к.

День поэзии 1965 г. Сборник. 324 стр. Цена 68 к.

И. Ефимов. Смотрите, кто пришел! Повесть. 188 стр. Цена 27 к.

Т. Жароков. Взлет. Стихи. Перевод с казахского. 60-стр. Цена 11 к.

Б. Изаков. Все меняется даже в Англии. Очерки. 232 стр. Цена 41 к.

Ю. Капусто. Город на реке. Повести. 230 стр. Цена 35 к.

С. Каспаров. Четвертое измерение. Роман. 336 стр. Цена 64 к.

М. Кибек. Чужая беда. Повести. Рассказы. Перевод с чувашского. 272 стр. Цена 50 к.

Э. Котляр. Свет-город. Стихи. 68 стр. Цена 12 к.

Г. Леонидзе. Волшебное дерево. Воспоминания. Перевод с грузинского. 284 стр. Цена 56 к.

К. Мерилаас. Береговая ласточка. Стихи и поэма. Перевод с эстонского. 112 стр. Цена 19 к.

И. Новиков. Дороги скрестились в Минске. Документальная повесть. Перевод с белорусского. 436 стр. Цена 82 к.

С. Олейник. Из книги жизни. Рассказы. Перевод с украинского. 160 стр. Цена 17 к.

В. Солоухин. Жить на земле. Стихи. 68 стр. Цена 14 к.

М. Терентьева. Испытание. Стихи. 88 стр. Цена 17 к.

З. Яхнин. Границы. Стихи. 66 стр. Цена 13 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Аварские сказки. Перевод с аварского. 328 стр. Цена 43 к.

А. Бек. Волоколамское шоссе. 560 стр. Цена 1 р. 20 к.

Е. Долматовский. Избранное. 552 стр. Цена 1 р.

Р. Ивнев. Избранные стихи. 203 стр. Цена 25 к.

Хосе Рубен Ромеро. Никчемная жизнь Пито Переса. Роман. Перевод с испанского. 176 стр. Цена 33 к.

Э. Самуйленок. «Теория Каленбрун». Повесть. Рассказы. Перевод с белорусского. 280 стр. Цена 59 к.

А. Таммсааре. Новый Нечистый из пекла. Роман. Перевод с эстонского. 264 стр. Цена 46 к.

Ю. Тувим. Стихи. Перевод с польского. 416 стр. Цена 78 к.

П. Тычина. Избранное. Перевод с украинского. 248 стр. Цена 57 к.

Эса де Кейрош. Знатный род Рамирес. Роман. Перевод с португальского. 359 стр. Цена 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Батурич. Я скоро вернусь... Повесть. 240 стр. Цена 56 к.

Ю. Беккельман. Золотой смерч. Записки молодого человека из хорошей семьи. Перевод с немецкого. 224 стр. Цена 35 к.

В. Болховитинов. Столетов. 512 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 97 к.

Л. Бублик. Становление. Из дневника безвестного строителя. Перевод с чешского. 288 стр. Цена 67 к.

А. Валтон, О. Кооль. Ночь без происшествий. Рассказы. Перевод с эстонского. 176 стр. Цена 20 к.

И. Варламова. Окно. Рассказы. 208 стр. Цена 45 к.

Л. Власов, Д. Трифонов. Занимательно о химии. 256 стр. Цена 39 к.

И. Волгин. Волнение. Стихи. 88 стр. Цена 12 к.

Ю. Гаврилов. Барселона, Толедо, Мадрид. 144 стр. Цена 25 к.

А. Дихтяр. Истина. Стихи. 80 стр. Цена 10 к.

С. Есенин. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

С. Жемайтис. Взрыв в океане. Повесть. 160 стр. Цена 19 к.

Б. Зубков, Е. Муслин. О стихиях, «цидо» и реальности фантастики. 152 стр. Цена 25 к.

Л. Колесников. Небо. Роман. 240 стр. Цена 50 к.

М. Колесников. Миклухо-Маклай. 272 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 58 к.

О. Куваев. Чужаки живут на Востоке. Рассказы и повести. 288 стр. Цена 41 к.

П. Макрушенко. Рассказы об Ильиче. 192 стр. Цена 39 к.

Н. Перовский. Небо. Стихи. 96 стр. Цена 13 к.

М. Рыльский. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

Э. Сафонов. Дождь в пригорных. Повесть и рассказы. 240 стр. Цена 37 к.

З. Скуинь. Форнарина. Роман. Перевод с латышского. 352 стр. Цена 67 к.

В. Соколов. Смена дней. Стихи. 216 стр. Цена 27 к.

В. Тендряков. Свидание с Нефертити. Роман. 477 стр. Цена 83 к.

А. Фадеев. О времени и о себе. 304 стр. Цена 45 к.

А. Филипенко. Моряк летучей рыбы. Очерки. 160 стр. Цена 22 к.

М. Шагинян. Первая Всероссийская. Роман-хроника о семье Ульяновых. 367 стр. Цена 73 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Аман. Мальчишка из Джакарты. Повесть. Перевод с индонезийского. 111 стр. Цена 25 к.

Е. Андреева. Баллада Мефистофеля. 191 стр. Цена 39 к.

М. Ефетов. Морские камни. Повесть. 221 стр. Цена 43 к.

К. Киньябулатова. Голос отца. Повесть. Перевод с башкирского. 111 стр. Цена 26 к.

А. Коробицын. Тайна музея восковых фигур. Приключенческая повесть. 198 стр. Цена 56 к.

А. Котовщикова. Нитка кораллов. Рассказы. 151 стр. Цена 33 к.

Озорные хлопоты. Рассказы румынских писателей. Перевод с румынского. 127 стр. Цена 30 к.

С. Радд. На нашей ферме Повесть в двух частях. Перевод с английского. 175 стр. Цена 38 к.

А. Саларов. Мальчишка из Ленинграда. Из фронтовых тетрадей. 182 стр. Цена 38 к.

С. Сарыг-оол. У Саян. Повесть и рассказы. Перевод с тувинского. 111 стр. Цена 24 к.

Ю. Третьяков. Рыцари Березовой улицы. Повесть. 111 стр. Цена 24 к.

Р. Хигерович. Помилуван каторгой. Повесть. 175 стр. Цена 37 к.

Н. Ходза. Испытание. Повесть. 159 стр. Цена 35 к.

В. Шмерлинг. Дочка. Повесть. 256 стр. Цена 56 к.

«НАУКА»

Вопросы методики исследования размещения производства. Сборник статей. 168 стр. Цена 50 к.

И. Вяткин. Горнозаводский Урал в 1900—1917 гг. 400 стр. Цена 1 р. 60 к.

М. Герд, Н. Гуровский. Первые космонавты и первые разведчики космоса. 239 стр. Цена 37 к.

Г. Комков. Идеино-политическая работа КПСС в 1941—1945 гг. 440 стр. Цена 1 р. 66 к.

В. Корабевич. У народов Восточной Африки (Сафари минги). Перевод с польского. 152 стр. Цена 60 к.

Р. Корниенко. Рабочее движение в Турции. 1918—1963 гг. 175 стр. Цена 60 к.

С. Крамер. История начинается в Шумере. Перевод с английского. 256 стр. Цена 90 к.

В. Ламанин. По берегам и островам Байкала. 191 стр. Цена 32 к.

Ленин об элементах диалектики. 512 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Манусевич. Польские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России. Февраль — октябрь 1917 г. 412 стр. Цена 1 р. 44 к.

А. Некрич. 1941. 22 июня. 174 стр. Цена 30 к.

Э. Нитобург. Политика американского империализма на Кубе. 1918—1939. 430 стр. Цена 1 р. 91 к.

Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. 462 стр. Цена 1 р. 67 к.

К. Рехо. М. Горький и японская литература. 163 стр. Цена 51 к.

Русско-индийские отношения в XVII веке. Сборник документов. 656 стр. Цена 3 р. 36 к.

М. Семиряга. Антифашистские народные восстания. 267 стр. Цена 42 к.

В. Синорский. Индонезийская литература. Краткий очерк. 166 стр. Цена 36 к.

Сказание о Панджи Семиранг. Перевод с малайского. 152 стр. Цена 39 к.

Сказки Мадагаскара. Перевод с французского. 272 стр. Цена 90 к.

Средневековые памятники Восточной Европы. 156 стр. Цена 80 к.

Е. Тарле. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV — начало XIX в.). 427 стр. Цена 1 р. 88 к.

И. Товстых. Бенгальская литература. Краткий очерк. 290 стр. Цена 57 к.

И. Шифман. Финские мореходы. Исторический очерк. 84 стр. Цена 18 к.

«ЛИТЕРАТУРА ДА ХЕЛОВНЕБА» (ТБИЛИСИ)

Д. Сулишвили. Крепость Зураба. Повести, рассказы, воспоминания. Перевод с грузинского. 399 стр. Цена 77 к.

С. Чилая. Грузинские писатели-демократы конца XIX — начала XX вв. Литературно-критические очерки. Перевод с грузинского. 150 стр. Цена 59 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1965 ГОД

К 95-летию со дня рождения В. И. Ленина

Б. Альберт-Плошанская. Странички воспоминаний. IV—19.

Полина Виноградская. Памятные встречи. IV—3.

К шестидесятилетию статьи **В. И. Ленина** «Партийная организация и партийная литература». XI—3.

А. Твардовский. По случаю юбилея. I—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Ю. Аракчеев. Подкидыш. Рассказ. IX—64.

Т. Ахтанов. Буран. Повесть. Авторизованный перевод с казахского Е. Герасимова. III—3.

Генрих Бёль. Самовольная отлучка. Повесть. Авторизованный перевод с немецкого Л. Черной. I—127.

Джеймс Болдуин. Утро да вечер, и вскорее... Рассказ. Перевела с английского Татьяна Иванова. V—171.

М. Булгаков. Театральный роман (С послесловием В. Топоркова). VIII—6.

Владимир Войнович. В купе. Сценка. II—69.

Николай Воронов. Спасители. Рассказ. III—60.

М. Галлай. В полетах и после полетов. Из записок летчика-испытателя. II—92.

Е. Герасимов. Дикie берега. X—7.

И. Грекова. Летом в городе. Рассказ. IV—84.

В. Гусев. Рыбный день. Рассказ. VIII—103.

Ефим Дорош. Поездка в Любогостицы (Из дневника). I—81.

Р. Киреев. Мать и дочь. Рассказ. X—44.

В. Климушкин. Два рассказа: Зойка; Круглым путем. XII—58.

В. Конашевич. О себе и своем деле (За-

писки художника. С предисловием Константина Федина). IX—12; X—78.

Виктор Лихоносов. Что-то будет. Рассказ. VII—31.

А. Марьямов. Девушка у колодца. II—81.— За тюлькой. X—65.

Анна Масс. Любкина свадьба. Рассказ. XII—79.

Н. Мельников. Один рейс (Из записок корреспондента). XI—85.

И. Метгер. Практикант. Рассказ. II—72.

Виктор Некрасов. В мире таинственного. Рассказ. I—91.— Месяц во Франции. IV—102.— За двенадцать тысяч километров (Из камчатских записей). XII—3.— Случай на Мамаевом кургане. Рассказ. XII—35.

Л. Пантелеев. Из ленинградских записей. V—142.

Елена Ржевская. От дома до фронта. Повесть. XI—11.

Владимир Рудный. Маяк Каллбода. III—132

Ада Рыбачук. На острове Колгуеве. Из записок художницы. VII—43.

Виталий Семин. Семеро в одном доме. Повесть. VI—62.— Ася Александровна. XI—77.

С. Славич. Из жизни Парфентия Пятакова. VII—9.

И. Соколов-Микитов. Страничка прошлого. I—96.— Из таймырских записей. IX—83.

Дж. Д. Сэлинджер. Выше стропила, плотники! Повесть; Хорошо ловится рыбка-бананка... Рассказ. Перевела с английского Р. Райт-Ковалева. IX—106.

В. Тендряков. Подёнка — век короткий. Повесть. V—95.

Конст. Федин. Костер. Роман. Книга вторая «Час настал». I—21; V—61.

Джон Чивер. Ангел на мосту. Рассказ. Перевела с английского Т. Литвинова. IV—167.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга шестая. I—103; II—7; III—77; IV—29.

Александр Яшин. Угощаю рябиной. Рассказ. VI—149.

СТИХИ

Фазу Алиева. Родное село. Стихотворение. Перевела с аварского И. Лиснянская. XI—110.

Анна Ахматова. Лирические стихотворения; Из цикла «Ташкентские страницы». I—88.

Ольга Берггольц. Первый день. Стихотворение. I—80.

Уильям Блейк в переводах С. Маршака. Из «Песен Невинности»; Из «Песен Опыта»; Стихотворения 1793—1811 гг.; Из «Прорицаний Невинности» (Со вступительной статьей В. Жирмунского). VI—157.

Петрусь Бровка. Стихи этого года. Перевел с белорусского Я. Хелемский. VI—60.

Галина Гампер. Старуха. Стихотворение. IV—165.

Франтишек Грубин. Из стихов военных лет. Перевел с чешского Юлий Даниэль. VII—98.

Иван Драч. Баллада с ведра. Перевел с украинского Ю. Даниэль. IV—164.

О. Дриз. Два стихотворения. Перевела с еврейского Т. Спендиарова. IX—104.

Евг. Евтушенко. Баллада о браконьерстве. I—94.

Дюла Ийеш. Из лирики. Перевел с венгерского Юрий Левитанский. IV—25.

Фазиль Искандер. Баллада об охоте и зимнем винограде. X—72.

Мустай Карим. Новогодние строфы. Перевела с башкирского Елена Николаевская. I—19.— Из лирики. Перевели с башкирского И. Снегова и Е. Николаевская. II—66.

Вл. Корнилов. Три стихотворения. VIII—101.— Дочке. Стихотворение. XII—57.

Давид Кугультинов. Пять стихотворений. Перевели с калмыцкого Юлия Нейман, Д. Долинский, В. Стрелков, С. Липкин. XI—9.

Аркадий Кулешов. Два стихотворения. Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского. I—78.

Кайсын Кулиев. Новые стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев. I—99.— Из новой книги стихов. Перевел с балкарского Н. Гребнев. X—3.

Михаил Луконин. Грузинская зима. Стихи. VII—3

Альфонсас Малдонис. Мой сосед Адам. Перевел с литовского Юрий Левитанский. VIII—3.

Юстасас Марцинкявичюс. Вечер: атомная бомба. Перевел с литовского Юрий Левитанский. VIII—3.

Э. Межелайтис. Лесная архаика. Стихи. Перевел с литовского Д. Самойлов. III—57.— Кордильеры. Перевел с литовского Юрий Левитанский. VIII—4.

А. Межиров. Из лирики. Стихи. XII—55.
Пимен Панченко. Из лирики. Перевел с белорусского Я. Хелемский. IX—60.

Хесус Лопес Пачеко. Шесть стихотворений. Вольный перевод с испанского Константина Симонова. III—130.

Алексей Пысин. Солдатам. Стихи. Перевел с белорусского Н. Кислик. XI—72.

Александр Рытов. Два стихотворения. II—78.

Д. Самойлов. Память. Стихотворение. I—126.

М. Светлов. Из неопубликованного. Стихи. V—90.

Дмитрий Сухарев. Дорога; Поедем в Бухару. Стихи. XI—75.

Максим Танк. Новые стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. II—3.

А. Твардовский. Из новых стихов. IX—3.

Анхела Фигера. Баллада об украденном хлебе; Дом; Рождающийся человек; Мертвый; Тополь. Стихотворения. Перевела с испанского Т. Макарова. XI—157.

Французские стихотворения Ф. И. Тютчева. С предисловием К. Пигарева. Перевел с французского М. Кудинов. II—88.

Роберт Фрост. Два стихотворения. Перевел с английского Андрей Сергеев. XII—90.

Глория Фуэртес. Из разных книг. Стихи. Перевел с испанского М. Самаев. X—74.

Марина Цветаева. Стихи разных лет. Подбор и подготовка текстов В. Швейцер. III—153.

Владас Шимкус. Тополя. Перевел с литовского Юрий Левитанский. VIII—5.

Игорь Шкляревский. Как будто облако упало. Стихи. X—63.

Ганс Магнус Энценсбергер. Пять стихотворений. Перевел с немецкого Лев Гинзбург. VI—145.

*К 700-летию со дня рождения
Данте Алигьери*

Данте Алигьери. Стихи о Каменной Даме. Перевел с итальянского Н. Н. Голенищев-Кутузов. V—197.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Борис Пастернак. Стихи и проза. Публикация и примечания Льва Озерова. I—163.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. А. Антипенко. Тья фронта. VIII—116.
Валентин Бережков. На рубеже мира и войны. С дипломатической миссией в Берлине (1940—1941). VII—143.

А. Бибик. Духом окрепнем в борьбе... XII—139.

И. Конев, Маршал Советского Союза. Сорок пятый год. Страницы воспоминаний. V—3; VI—3; VII—100.

И. М. Майский, академик. Борьба за второй фронт. Из записок посла. VI—168; VII—185; VIII—166.

В. Сухомлин. Гитлеровцы в Париже XI—111; XII—96.

К 70-летию со дня рождения Э. Багрицкого

Н. Любимов. Поэтический факультет. XI—201.

К 70-летию со дня рождения С. А. Есенина

В. С. Чернявский. Встречи с Есениным. Публикация подготовлена А. Козловским. X—189.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

К. Буковский. Малые города. VIII—188.
Леонид Иванов. Снова о родных местах. II—181.

ПУБЛИЦИСТИКА

А. Бирман, профессор. Мысли после Пленума. XII—194.

Н. Верховский. Искусство управлять (Заметки из Целинного края). VI—187.

П. Волин. Продиктовано жизнью. Заметки о практической экономике. X—176.

Генрих Волков. Человек и будущее науки. III—194.

М. Гефтер, Я. Драбкин, В. Мальков. Мир за двадцать лет. VI—206.

Цецилия Кин. Блеск и нищета фашизма. V—204.

Инга Кичанова. Земной взгляд на «божественное». II—213.

Г. Лисичкин. Гектары. Центнеры. Рубли (Заметки экономиста). IX—212.

Отец и сын (Документы из жизни семьи Маковских). Публикация и комментарий И. Брайнина. IV—200.

А. Тучина, Б. Яковлев. Ленин в первый год Октября (По страницам большевистских газет 1918 года). XI—162.

Ю. Черниченко. Кубань — Вологодчина. IV—175.— Русская пшеница. XI—180.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Маргарита Алигер. Чилийское лето. II—144; III—167.

Геннадий Фиш. У писателей Швеции. XII—153.

С. Шервинский. Восток на западе. X—152.

В МИРЕ НАУКИ

Норберт Винер. Творец и робот (Из книги «God and Golem, Inc»). Перевели с английского М. Аронэ и Р. Фесенко. XII—214.

Леопольд Инфельд. Страницы автобиографии физика. Перевела с польского Ю. Мирская. IX—169.

Б. Кедров. Пути познания истины (Раздумья о судьбах естествознания). I—213.

Е. Фейнберг. Обыкновенное и необычное (Заметки о развитии современной науки). VIII—207.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Лев Любимов. «Пермские боги». IX—196.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. Каверин. За рабочим столом IX—151.
Г. Тропольский. О реках, почвах и прочем. I—185.

А. Шаров. Взрослые и страна детства. X—130.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. Аникст. «Носороги» в Нью-Йорке. VIII—230.

Ф. Бирюков. Снова о Мелехове. V—236.

И. Виноградов. По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша. VII—234.
Александр Гладков. Виктор Кин и его время. XI—213.

А. Дементьев, Н. Дикушина. Пройденный путь (К 40-летию журнала «Новый мир»). I—236.

Л. Зонина. Заметки о Сент-Экзюпери. VI—237.

В. Лакшин. Писатель, читатель, критик. Статья первая. IV—222.

Сергей Львов. О мужестве и сострадании. XII—226.

С. Маршак. Молодым поэтам. IX—230.

Е. Полякова. Минувший век во всей его истине... (Заметки об историческом романе). II—230.

В. Соколов. Свой жанр (О документальной прозе С. С. Смирнова). VI—231.

Е. Старикова. Герои Веры Пановой. III—230.

А. Твардовский. О Бунине. VII—211.

О. Чайковская. Природа и время (Заметки о пейзаже в современной литературе). X—202.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Л. Азадовская. История одной фальсификации. III—213.

В. Быков. Джек Лондон и первая русская революция. XII—262.

Из переписки А. М. Горького с Всеволодом Ивановым (Публикация Архива А. М. Горького). Подготовка текстов и комментарии кандидата филологических наук С. И. Доморацкой. XI—231.

К автобиографии И. Бунина. Публикация, вступительная заметка и комментарий А. Нинова. X—222.

Письма А. В. Луначарского. Публикация и примечания И. Смирнова. IV—241.

Н. П. Смирнов-Сокольский. Последняя находка (Подготовила к печати С. П. Ближниковская). X—213.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ю. А. Ахалкин, И. С. Смирнов, Г. Е. Хайт. Об ответственности перед темой и перед читателем. XII—266.

В. Борнычева, лаборант. Если спроецировать на жизнь. VIII—270.

В. Верещагин. «Творческие домыслы» о Верещагине. V—282.

Эрнст Генри. Глаза, которые глядят на нас. XII—270.

В. Голубцов. О научном издании литературного наследия Н. К. Крупской. X—276.

И. Губанов, учитель. Традиционность или шаблон? VIII—274.

Г. Зинченко, закройщица. Встречи с С. Я. Маршаком. X—271.

М. Малкин, полковник запаса, бывший начальник разведотдела штаба 47-й армии I Белорусского фронта. Эм. Казакевич — войсковой разведчик. V—280.

Л. Малюгин. О нетерпимости в полемике. V—284.

А. Топоров, народный учитель; **М. Федик,** журналист. ...И зримо даже для слепых! X—278.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Ю. Айхенвальд. Стихи Михаила Светлова последних лет (Михаил Светлов. Охотничий домик. Книга новых стихов). VII—254.

А. Анастасьев. Правда театра и правда о театре (П. Марков. Правда театра. Статьи). XII—248.

Н. Баранова, В. Баранов. Писатель и живопись (Горький и художники. Воспоминания. Переписка. Статьи). VII—265.

Г. Березкин. О прошлом — сегодня (Александр Исбах. На литературных баррикадах). VI—258.

А. Берзер. Снова война (Ф. Горенштейн. Дом с башенкой. Рассказ). I—266.— Когда черное — бело (Владимир Чивилихин. Елки-молалки. Повесть). VII—258.

Гр. Бернандт. Бесспорное или спорное? (Краткий словарь по эстетике). II—264.

И. Борисова. В поисках прошлого (Михаил Лохвицкий. Неизвестный. Роман). VIII—253.

А. Бочаров. С верой в человека (Микола Слущик. Увертюра и три действия. Рассказы. Перевод с литовского). XII—236.

Ю. Буртин. О пользе серьезности (Михаил Алексеев. Хлеб — имя существительное. Повесть в новеллах). I—257.— Постигание жизни (П. Ребрин. Это было осенью... Рассказы и очерки). V—254.

Е. Гинзбург. Живое сердце (Вероника Тушнова. Сто часов счастья. Новые стихи). XII—240.

В. Гоффеншефер. Читая Кайсына Кулиева... (Кайсын Кулиев. Раненый камень. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с балкарского). II—253.

И. Дюшен. Дневник Гонкуров (Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. В двух томах. Перевод с французского Том 1. Том 2). IX—261.

В. Жданов. Гипотезы и находки (Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова). V—257.

М. Злобина. Искания и открытия Гойтисоло (Хуан Гойтисоло. Ловкость рук Прибой. Цирк. Остров. Романы. Перевод с испанского). I—268.

А. Кондратович. «Командир мой единственный — совесть» (Аркадий Кулешов. Новая книга. Стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского). I—255.— Накануне войны (Александр Розен. Последние две недели. Роман). X—231.

З. Крахмальникова. Обвинение Андруса Лапетеуса (Пауль Куусберг. Происшествие с Андрусом Лапетеусом. Роман. Авторизованный перевод с эстонского И. Кононова). XI—262.

Анатолий Кузнецов. Очевидцы рассказывают о Ленине (Живой Ленин. Воспоминания писателей о В. И. Ленине). XI—259.

Л. Лазарев. По приказу совести (Василь Быков. Повести огненных лет. Перевод с белорусского М. Горбачева). V—251.

Е. Ландау. Странный и обыкновенный человеческий взгляд (Андрей Платонов. Жан. Повесть). VI—253.

М. Ландор. Дар надежды (Ф. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Роман. Перевод с английского Е. Калашниковой). X—244.

А. Лебедев. К выходу собрания сочинений Луначарского (А. В. Луначарский. Собрание сочинений. В восьми томах; т. 1, т. 2, т. 3). II—261.— Дороги, которые мы выбираем (Арчил Сулакаури. Возвращение Авеля. Рассказы. Перевод с грузинского). X—234.

Л. Лебедева. Мужественная поэзия (Давид Кугультинов. Стихи. Перевод с калмыцкого («Библиотека советской поэзии»). VI—250.

Л. Левицкий. Стихи хорошие и стихи случайные (Константин Ваншенкин. Повороты света. Лирика). IX—253.

С. Львов. Верность традиции и верность себе (В. Богомолов. Зося. Рассказ). IV—256.— Библиотека, которой еще нет (Из дневников современников. Составитель Г. Марчик). VIII—246.

Г. Макаров. Книги-близнецы (Алексей Налдеев. Владыка мира. Тема труда в современной советской прозе. Александр Влащенко. Герой и современность. Раздумья о положительном герое в литературе наших дней). X—238.

Ю. Манн. Белинский в изображении Е. Серебровской (Елена Серебровская. Я в мире — боец. Повесть о жизни Виссарона Белинского). III—250.

А. Меньшутин. Пути русской поэзии (Л. Гинзбург. О лирике). X—241.

А. Наркевич. Книга о судьбах слова (Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века). IX—259.

Н. Наумова. Сатира — это серьезно (И. Ямпольский. Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859—1873). III—258.

Вл. Огнев. Жизнь поэта (Л. Осповат. Гарса Лорка). XII—244.

Р. Орлова. Знакомство с Андайкиом (Джон Андайк. Кентавр. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса). V—260.

З. Паперный. Читательский мирафон (Мих. Кочнев. Потрясение. Роман). IV—265.

И. Питляр. Записки сельского учителя (Сергей Крутилин. Липяги. Из записок сельского учителя). III—239.

Юрий Полетика. Никогда! (М. Рольникайте. Я должна рассказать). VIII—249.

Е. Полякова. Книга Михоэlsa (Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэlse). XI—270.

Л. Поляк. Книга художника (Ю. Пименов. Необыкновенность обыкновенного). IV—267.

Всеволод Ревич. Лед и пламень (Александр Казанцев. Лды возвращаются. Фантастический роман). VI—255.

С. Розанова, В. Фридланд. Тургеневский том «Литературного наследства» («Литературное наследство», т. 73. Из парижского архива И. С. Тургенева. Книга первая — неизвестные произведения И. С. Тургенева; книга вторая — из неизданной переписки). VIII—257.

Лев Рошаль. «Дело ясное, что дело темное» (Лев Софронов. Все мы были мальчишками. Повесть). XII—242.

М. Рубинчик. С точки зрения старожилы (Владимир Ляленков. Сестры Стралева. Рассказы и повесть). III—248.

К. Рудницкий. Три грани времени (Б. Зингерман. Жан Вилар и другие). III—255.

Ю. Рюриков. Пагубные тенета (Евгений Пермьяк. Счастливое крушение. Маленький роман). VIII—251.

Ф. Светов. Детали и суть (Юрий Нагибин. Далеко от войны. Повесть). IV—262.

Видас Силюнас. Трагедия мертвого времени (Ана Мария Матуте. Мертвые сыновья. Роман. Перевод с испанского). VI—261.

А. Синявский. Есть такие стихи... (Евг. Долматовский. Стихи о нас). III—244.

Инна Соловьева. Дневники истории (Дневник Нины Костериной. Всеволод Багрицкий. Дневники, письма, стихи). I—262.

Е. Старикова. Идеальная драма сатирика (А. Турков. Салтыков-Щедрин). II—257.

В. Сурвилло. От пьесы к роману (Александр Кроп. Дом и корабль. Роман). II—248.

И. Травкина. Автору роман нравится... (Аркадий Первенцев. Оливковая ветвь. Роман). IX—255.

А. Турков. Когда поэзия возвращается... (Тициан Табидзе. Стихотворения и поэмы. Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка). IV—259.— Драма Тыну Прилупа (Эдуард Вильде. В суровый

край. Молочник из Мяэюлы. Романы. Перевод с эстонского). VII—256.

З. Файнбург. Зачем нужны звезды (Станислав Лем. Возвращение со звезд. Роман. Перевели с польского Е. Вайсброт и Р. Нудельман). XI—266.

М. Чудакова. По строгим законам науки (Труды по русской и славянской филологии. Ученые записки Тартуского государственного университета, т. I, т. II, т. III, т. IV, т. V, т. VI, т. VIII). X—247.

Б. Яранцев. На царской каторге (П. Ф. Якубович. В мире отверженных. Записки бывшего каторжника, т. I, т. II). VII—262.

Политика и наука

Л. Безыменский. Когда журналист становится историком... (П. А. Наумов. Бонн — сила и бессилие (Записки журналиста). XI—278.

М. Брагин, старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР. Не забывать час «Ч» (П. А. Жилин. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз). IX—264.

Д. Валентей, проф., доктор экономических наук. Наука о народонаселении (Население мира. Справочник). VI—268.

Г. Герасимов. Будущее, какое оно? (Какое будущее ожидает человечество? Материалы международного обмена мнениями, организованного редакцией журнала «Проблемы мира и социализма» и Центром марксистских исследований (СЕРМ) в Руайомоне в мае 1961 года). I—274.

Е. Гнедин. Глазами историка и современника (А. С. Ерусалимский. Германский империализм: история и современность. Исследования, публицистика). III—260.— На Западе не без перемен (Западная Европа: трудящиеся против монополий. Новые явления в положении и борьбе рабочего класса стран «Общего рынка». Сборник). XI—275.

Т. Гнедина. От безумной идеи — к здравому смыслу (Ирина Радунская. «Безумные» идеи). XII—255.

В. Гоффеншефер. Первая марксистка (П. Виноградская. Женни Маркс). VI—264.

А. Губер. Репортаж с переднего края (Уилфред Бэрчетт. Война в джунглях Южного Вьетнама. Репортаж). VII—274.

М. Гутин, кандидат исторических наук. Народная война (Л. Н. Бычков. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. Краткий очерк). V—268.

А. Давидович, С. Покровский. От глубокой древности до наших дней (Краткая история СССР в двух частях. Часть первая. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Часть вторая. От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней). IV—269.

С. Езерский. Важные вопросы педагогики (Л. А. Левшин. Педагогика и современность). VII—276.

И. Зыков. Сохранить и умножить богатства природы (Осетровые южных морей Советского Союза. Биология, промысел, воспроизводство. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. Сборники 1, 2, 3). IV—278.

С. Иванов. Человек среди автоматов (Инженерная психология. Сборник статей. Перевод с английского. Инженерная психология. Сборник статей). I—277.

Л. Иванов. Необъективные обобщения (Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева. Культура и быт колхозников Калининской области). IV—272.

А. Каждан. Рассказы о тиранах и народолюбцах (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В трех томах. Перевод с древнегреческого). I—280.—Между революцией и диктатурой (С. Л. Утченко. Кризис и падение Римской республики). IX—271.

А. Калачников. Живее всех живых (Таким был Ленин. Воспоминания современников). VII—269.

И. Карпенко. Намерения были благими (Пути ликвидации текучести кадров в промышленности СССР. Сборник). IX—268.

Б. Кафенгауз, доктор исторических наук. Интересные страницы истории (М. М. Штранге. Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке). XII—257.

Л. Клещкий, кандидат исторических наук. От отсталости к прогрессу (Ш. Ш. Абдуллаев. От неравенства — к расцвету. Борьба Коммунистической партии за ликвидацию фактического неравенства народов Узбекистана. А. Канапин. Культурное строительство в Казахстане). VII—271.

Р. Ковалев, доктор сельскохозяйственных наук; **С. Селяков,** кандидат геолого-минералогических наук; **В. Ильин,** кандидат сельскохозяйственных наук. Выдающийся ученый-патриот (Д. Н. Прянишников. Популярная агрохимия). XI—273.

С. Козлов, генерал-майор. Крупный военный теоретик (М. Н. Тухачевский. Избранные произведения. В двух томах). II—269.

А. Кондратов. Новое оружие атеиста (Ю. Антомонов, В. Казаковцев. Кибернетика — антирелигия). V—271.

Ю. Кузнец, кандидат исторических наук. Торжество правды (В. К. Фуряев. Советско-американские отношения. 1917—1939). VI—270.

В. Лакшин. Против догмы и фразы (В. И. Ленин. Против догматизма, сектанства, «левого» оппортунизма). V—264.

О. Лацис. Пульс экономического соревнования (Соревнование двух систем. Справочник). II—272.—Новое надо отстаивать (Е. К. Лигачев. Экономика, политика, принципы управления В. И. Те-

решенко. Организация и управление (Опыт США). X—253.

Б. Левин, проф. Рассказывает «отец кибернетики» (Норберт Винер. Я — математик. Сокращенный перевод с английского). VI—275.

Л. Лерер. Человек для людей (Герман Занадворов. Дневник расстрелянного). III—266.

А. Липелис. Книга публициста (Илья Зверев. Что за словом?). XII—253.

Л. Лихачев, член-корреспондент Академии наук СССР. «Камни — немые, если человек не заставит их говорить» (Г. К. Вагнер. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской). III—264.

Г. Макаров. У обочины (Когда восходит солнце. Сборник). VIII—266.

А. Манфред, проф. Деятели Великой французской революции (Б. Поршнев. Мелье. А. Акимова. Дидро. Михаил Герман. Давид. А. Левандовский. Дантон). II—278.

И. Миндли. Атеистическое наследие А. В. Луначарского (А. В. Луначарский. Почему нельзя верить в бога? Избранные атеистические произведения). XII—250.

А. Монгайт, доктор исторических наук. Новые методы в археологии (Археология и естественные науки). X—265.

С. Осокин, действительный член Географического общества СССР. Сокровища океана (С. В. Михайлов. Экономика Мирового океана. Н. В. Васильчиков. Поделись, Нептун!). III—274.

А. Рубакин, проф. Нужно издание (Французский ежегодник. 1963. Статьи и материалы по истории Франции). III—271.

Е. Скрипилев, кандидат юридических наук. Серьезный вклад в историческую науку (Е. Н. Городецкий. Рождение Советского государства. 1917—1918 гг.). VIII—260.

Г. Старушенко. Арьергардные бои идеологов колониализма (Е. Д. Модрижская. Распад колониальной системы и идеология империализма). X—256.

В. Твардовская. Факсимильное издание «Колокола» («Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная русская типография. 1857—1867. Лондон—Женева. Факсимильное издание в двенадцати выпусках). IV—274.

Вл. Тендряков. Знакомьтесь — Ломоносов, Франклин, Резерфорд, Ланжевен (Академик П. Л. Капица. Жизнь для науки). VIII—263.

А. Турков. Портрет деспотизма (С. М. Степняк-Кравчинский. Россия под властью царей. Перевод с английского М. Ермашевой). III—269

Ю. Шарпов. Рассказывают московские большевики (Слово старых большевиков. Из революционного прошлого. А. С. Курская Пережитое). X—251.

Д. Шелестов. Комиссары возвращаются в строй (Комиссары. Составители И. Гаглов и И. Селищев). II—274.

Д. И. Щербаков, академик. Горький о науке (Горький и наука. Статьи, речи, письма, воспоминания). I—272.— Преображенная тайга (Б. И. Вронский. На золотой Колыме. Воспоминания геолога). X—268.

Алексей Эйсер. Они сражались за Испанию (Под знаменем Испанской республики. 1936—1939. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании). X—259.

С. Эпштейн. Ученые приказчики капитала (Г. В. Осипов. Современная буржуазная социология. Критический очерк). VI—272.

И. Юньев, проф. Краеведы-энтузиасты (О краеведческой работе в Эстонской ССР. Сборник статей). VIII—265.

К пятидесятилетию Константина Симонова

Ал. Сурков. Большими дорогами жизни. XII—259.

Коротко о книгах: I—284; II—282; III—278; IV—282; V—274; VI—279; VII—279; VIII—277; IX—275; X—280; XI—281; XII—274.

Книжные новинки: I—287; II—287; III—287; IV—287; V—287; VI—287; VII—287; VIII—287; IX—281; X—287; XI—287; XII—280.

От редакции. IX—283.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 2/XI 1965 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 9/XII 1965 г.
А 12834	Формат бумаги 70×108 ^{1/16} .	9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
	Зак. 2693.	Тираж 127 900.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636